

ЖОБЕ
МИР

8

1950

||
8
||

ЖОБЫЛ МИР

||
1950
||

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVI

№ 8

Август, 1950 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
С. МАРШАК — На страже мира, кантата	3
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — Тихий океан, стихотворение	8
ФЕДОР ГЛАДКОВ — Вольница, повесть. Продолжение	9
ФАТМИР ГЯТА — Песня о партизане Бэнко. Авторизованный перевод с албанского Д. Самойлова	173

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

Ю. МИЛЕНУШКИН — Новое в науке о жизни	182
---------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. НИКОЛАЕВ — Их голос звучит в наши дни	199
Н. РЕФОРМАТСКАЯ — Новые книги о Маяковском	210

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	222
-------------------------------	-----

Александр Чаковский. За мир! — Г. Маргвелашвили. Антология грузинской поэзии. — Вл. Николаев. Два памфлета Ярослава Галана. — Н. Грибачёв. Слово о друзьях. — Л. Михайлова. Для детей и о детях. — Т. Мотылёва. «Фауст» в переводе Б. Пастернака. — В. Александров. Некрасовские тома «Литературного наследства». — И. Липпай. Пути венгерской интеллигенции. — Н. Москвин. Невоплощённый замысел. — Я. Фрид. «Розы возвращения».

<i>История. Международные отношения. Рабочее движение</i>	254
---	-----

А. Александрова. «Сын народа». — А. Иглицкий. Полезная брошюра о Корее. — Б. Леонтьев. Американский империализм и Ватикан. — Д. Мельников. Поворотный пункт в истории Европы. — В. Азаров. Борьба за демократическую Германию. — Доктор юридических наук М. Шифман. Дорога чести — дорога коммунистов. — Л. Любимов. Соревнование в невежестве и во лжи.

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
	274
<i>Экономика</i>	
Доктор экономических наук А. Погребинский . Книга о народном хозяйстве Украины.	
	276
<i>Химия</i>	
Член-корреспондент Академии наук СССР А. Капустинский . Капитальный труд по истории отечественной промышленности.	
	277
<i>География</i>	
Доктор географических наук Н. Думитрашко . Ценная работа об Алтае.— Кандидат географических наук Е. Лукашова . Впечатления советского натуралиста. — А. Хавин . Заявка на большую тему.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (июнь—июль 1950 года)	284

С. МАРШАК

★

НА СТРАЖЕ МИРА

Кантата

*Музыка к этим стихам написана
композитором Сергеем Прокофьевым.*

I.

Едва опомнилась Земля
От грохота войны.
Её леса, её поля
Разрыты, сожжены.

Остались груды кирпичей,
Где бой за город шёл,
И шеи глиняных печей
На месте прежних сёл.

Избу, где век жила семья,
Шутя, разрушил враг,
И уцелела от жилья
Его душа — очаг...

II

С ребёнком мать сошла в подвал,
Где местный люд отбой ждал
На койках, на полу.
И мальчик что-то лепетал
В колясочке в углу.

Родился он в военный год,
Блокаду перенёс.
И озабоченный народ
Жалел его до слёз.

Никто вокруг не мог понять,
О чём он говорит.
Его расспрашивала мать:
— Мой мальчик, что болит?

«Бобо, бобо!» — он лепетал,
Болтая сам с собой.
Но скоро понял весь подвал, —
Он говорит: «отбой»!..

Он ждал того же, что и мы:
Когда ж ему отбой
Позволит из подвальной тьмы
Вернуться в мир дневной?..

III

Кому сегодня десять лет,
Тот помнит ночь войны.
Ни огонька в окошках нет:
Они затемнены.

Пропали в сумраке дома,
Исчезли фонари.
На сгни вёрст сплошная тьма
До утренней зари.

Кто прожил только десять лет,
Запомнил навсегда,
Как, потушив дрожащий свет,
Ходили поезда.

Во тьме на фронт везли войска,
Детей — в далёкий тыл.
И поезд ночью без гудка
От станций отходил.

Неслышно крался в темноту
Бессонный паровоз,
И приглушали на мосту
Вагоны гул колёс...

IV.

Он не забудет никогда,
Хоть был он очень мал,
Как дорога была вода,
И не всегда была еда,
И как отец его тогда
За счастье воевал!

Он не забудет тех минут,
Когда в его окне
Взвизвался огненный салют
И таял в вышине.

V

Встают из праха города,
Сожжённые колхозы.
Бегут на стройку поезда,
И свищут паровозы.

Мы новый город Сталинград
Над вольной Волгой строим.
И каждый дом, и каждый сад
Здесь памятник героям.

К стене прибитая доска
Гласит в любом квартале:
— Здесь насмерть храбрые войска
За родину стояли.

Один этаж тогда был наш.
Другой этаж был вражий.
Ещё повыше — снова наш.
И каждый боевой этаж
Всю ночь стоял на страже.

У полыхающей реки
Среди огня и чада
Сумели выстоять полки
Гвардейцев Сталинграда.

И бросил Сталин на врага
Накопленные силы,
И стали Волги берега
Могильщику — могилой!

VI

Бойцам Сталинграда
Не надо
Меча¹ на музейном столе.
Да будет героям наградой
Незыблемый мир на Земле.

Пусть больше не будет ареной
Воздушных боёв небосвод.
Пусть голос тревожный сирены
Не гонит в подвалы народ.

И словом и делом сражаться
За мир, за свободу свою
Живущих зовут Сталинградцы,
Стоявшие насмерть в бою!

¹ После Сталинградской победы англий-
ский король прислал городу Сталинграду
рыцарский меч.

VII

Из соседней голубятни
Голубь вылетел ручной
И сверкнул в лучах закатных
Свежей, снежной белизной.

И, собрав так много света,
Лёгких крыльев белизна
Через миг исчезла где-то
За пределами окна.

Это наш московский мальчик
Из окошка чердака
В небо выбросил, как мячик,
Молодого голубка —

И напомнил нам, что дети
Городов и деревень
Мира требуют на свете
В этот славный летний день.

И в Париже и в Шанхае
Не один голубевод
В тот же миг бросает стаю
Голубей под небосвод.

И они, над миром рея,
Возвещают с вышины,
Что борцы за мир сильнее
Всех зачинщиков войны!

В Индонезии, Вьетнаме
В этот день ребята шлют
Делу мира вместе с нами
Голубиный свой салют.

VIII

Ныряет месяц в облаках.
Пора ложиться спать.
Дитя качая на руках,
Поёт тихонько мать:

— Уснули ласточки давно
И люди спят в домах.
Луна глядит в твоё окно,
Нашла тебя впотьмах.

В саду деревья шелестят,
И говорят они:
Скворчата спят, галчата спят,
И ты, малыш, усни!

Усни, не бойся — наша дверь
Закрыта на засов.
К нам не придёт косматый зверь
Из сумрака лесов.

Не залетит орёл сюда
С крутой своей скалы —
Не вылетают из гнезда
В полночный час орлы.

Не смеет вражий самолёт
Нарушить твой покой.
Ночное небо стережёт
Надёжный часовой.

Оберегают жизнь твою
И родину, и дом
Твои друзья в любом краю —
Их больше с каждым днём.

Они дорогу преградят
Войне на всей земле.
Ведёт их лучший друг ребят,
А он живёт в Кремле.

Усни — соседи спят давно.
Глядит луна в твоё окно.
Спят под луной леса, поля,
Во сне рассвета ждёт земля.

IX

В Москве на мирном торжестве
Как будто море пенится.
Проходят с песней по Москве
Дружины юных ленинцев.

Вот русских школьников отряд
С гостями-белоруссами.
Знамёна золотом горят
Над головами русыми.

Идут украинцы в ряду
С грузинами, армянами,
Играет ветер на ходу
Их галстуками рдяными.

Проходят у Кремлёвских стен
Узбек, латыш с эстонцем.
Вот молдаванин и туркмен,
Таджик, любимый солнцем.

Киргиз, литовец и казах,
Карел с азербайджанцем...
И лес знамён у них в руках
Слепит глаза багрянцем.

Проходят дети Октября,
Их детство светом залито.
В леса, на взморье — в лагеря
Они умчатся на лето.

Ребятам всей земли — салют!
Пусть будет мир на свете.
Пускай счастливыми растут
Отцам на смену дети.

За мир бороться все должны,
Долой зачинщиков войны!

X

А вот идут ряды ребят
По улицам Парижа.
Шаги их чёткие звучат
Отчётливей и ближе.

По краю улицы цветут
Тенистые акации
И шлют душистый свой салют
Ребятчей демонстрации.

Идёт отряд «Вайан-Вайант» —
Отряд детей отважных.
Над ними реет транспарант
Из красных лент бумажных.

— «Мы, дети славных парижан,
Росли в борьбе суровой.
Мы братья храбрых партизан,
Бесстрашной Казановы!

За мир бороться все должны.
Долой зачинщиков войны!»

XI

И над берлинской мостовой
Плывут знамёна тоже —
Вольнолюбивой, трудовой
Германской молодёжи.

По шёлку синему летит
«Штурмфогель» — буреветник.
И шёлк по ветру шелестит,
Как будто вторит песне:

— За мир бороться все должны,
Долой зачинщиков войны!

XII

— «За мир бороться будь готов.
Пусть кровь не льётся больше!», —
Поют ребята городов
И сёл свободной Польши.

Поля, и горы, и леса
Разносят песен эхо.
В ответ чешутся голоса
Освобождённых чехов.

Летит со склонов, из долин,
Сливаясь в общем кличе,
Припев венгерцев и румын,
Болгарских «Септемврийче».

Албанцы вольные поют.
И, громом нарастая,
В ответ доносится салют
Свободного Китая:

— За мир бороться все должны,
Долой зачинщиков войны!

XIII

Растёт и крепнет дружный хор.
Он слышен в целом мире.
А в полночь тайный разговор
Дельцы ведут в эфире:

— «О'кэй! Отправил Вашингтон
В Европу сотню тысяч тонн.
Идут в Марсель,
Идут в Брюссель,
В Руан, Дюнкерк, Тулон
Под сотней пломб
Запасы бомб,
Смертей сто тысяч тонн.

О'кэй! Отправленную кладь,
Судов военных грузы
Сегодня будут выгружать
Бельгийцы и французы.

Они давно работы ждут —
Народ они голодный
И за любой возьмутся труд,
Когда и где угодно!»

XIV

Но гневный слышится ответ
Из гавани французской:
— У нас в порту сегодня нет
Рабочих для разгрузки.

Хоть грузы грузчику нужны,
Но не полезет в трюм он

Таскать снаряды для войны,
Что затевает Трумэн!

Решенье приняли одно
Бельгийцы и французы:
Для безопасности на дно
Отправить ваши грузы!

Ступайте прочь из наших стран,
В наш огород не лезьте.
Пускай Шу-ман
И Ли-Сын-Ман
Отчалил с вами вместе!

Пора вам с острова Тайван
И с берегов Кореи
К себе домой за океан
Убраться поскорее!

Не заслонить вам свет дневной
Тревожной тенью ночи,
Весь мир готов к войне с войной,
Весь честный люд рабочий.

Чтоб голос воющих сирен
Не возвещал тревоги,
Решилась лечь Раймонда Дьен
На полотно дороги.

Пред ней со скрежетом колёс
В пути меж полустанков
Остановился паровоз
С тяжёлым грузом танков.

На свете нет прочнее стен,
Чем те живые люди,
Что могут, как Раймонда Дьен,
Орудья встретить грудью!

XV

Могучим и дружным усильем
Рассеет тревогу Земля,
Так смерч разлетается пылью
От залпа с бортов корабля.

Ведущей рукой огневою
Простёрлась, пряма и светла,
Над мирной столицей Москвою
Подъёмного крана стрела.

Возводится дом небывалый
В просторной Советской стране.
И ты под лесами не балуй,
Наёмник, зовущий к войне!

XVI

Ранним утром над Москвою —
Снега первого белей —
Мчатся в небо голубое
Крылья лёгких голубей.

Над Кремлём несётся стая,
Вся лучом озарена,
И быть может, видит Сталин
Эту стаю из окна.

Сталин знает, что ребята
Всей земли сегодня шлют
Делу мира свой крылатый,
Годубиный свой салют!



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

ТИХИЙ ОКЕАН

У рифов каменистых островов,
То набежав, то снова вдаль отпрянув,
Гремят, столкнувшись, волны двух миров
В сто раз сильнее, чем волны океанов.

Раскаты грома в сизой вышине
Не заглушают грозный гул эфира:
Всё яростней звучит призыв к войне
И всё мощней — всемирный лозунг мира.


Немолчный, он летит из края в край.
И, как бы тучи ни смотрели хмуро,
Встаёт коммунистический Китай
В трёх сотнях миль от ставки Макартура

И маяками среди бурь и гроз
Глядят вперёд, полны спокойной силы,
Норд-ост встречая грудью и зюйд-ост,
Наш Сахалин, Камчатка и Курилы.

Нет удержу бушующим волнам,
Всё выше взмёт, кипенье всё сильнсе,
Клокочет несдающийся Вьетнам,
Девятым валом поднялась Корея.

Пусть ураган сменяет ураган,
Пусть всё шумней глухое клокотанье,
Хранит недаром Тихий океан
До наших бурных дней своё названье.

Обезоружив новую войну,
Мы утвердим победу мира в мире,
И океан узнает тишину
На всей своей необозримой шири.



ФЕДОР ГЛАДКОВ

★

ВОЛЬНИЦА

Повесть *

14

Рано утром я выбежал на палубу — и, поражённый, засгыл, прижавшись к косяку двери. Всюду блистала зелёная вода. Она сливалась с небом, и чудилось, что наша баржа плывёт в воздушной безбрежности. Только рядом за бортом волны густо плыли длинными грядами одна за другой и убегали назад. Небо было глубокое, мягкое, и солнце, которое только что вынырнуло из воды, выплеснуло в море потоки ослепляющего света. Пароход впереди казался маленьким, а канат, спадающий в середине и скользящий по взбаламученной воде, был похож на очень длинную нитку. Бурый дым из трубы относил в сторону, и он прыжком обдавал расплывался и оседал далеко в море. Широкая кипящая дорога текла от парохода навстречу барже, а от колёс расходились в обе стороны волнистые ленты, которые разрезались тяжёлой зыбью. Эти зелёные маслянистые валы зыби ползли вдоль баржи, и атласные горбы их заглядывали на палубу. Баржа глубоко утопала в воде и не чувствовала толчков этих волн, а мне было жутко смотреть на бескрайний и бездонный океан зелёных блистающих волн, и я чувствовал себя пылинкой на этой просмолённой щепке, которую может каждую минуту захлестнуть страшное море. Воздух был пустой: ни одна птица не летала над морской зыбью. И на барже было пусто и сонно: люди лежали и на корме, и на носу неподвижно, и нельзя было отличить их от мешков, узлов и грязного хлама. Вдруг я увидел недалеко в волнах лысую мокрую голову и покатые плечи черномазого уродца. Он поднимался и опускался в волнах и смотрел на нашу баржу выпученными глазами, с сердитым удивлением. Оглядевшись по сторонам, он быстро юркнул в воду. И тут впервые я ощутил особый запах ветерка — пахло рыбой, гнилой травой и чем-то терпким и свежим, как весной во время ледохода.

Прошёл мимо Корней и подмигнул мне.

— Ну, вот тебе и море. Видел, как на тебя тарачил глаза тюлень-то? Здесь их немного, а больше всего — там, далеко, на-полдень. Хорошо в море-то? Вольготно?

— Нет. Одна вода. Страшно.

— Ну? Это ты не привык.

На волнах опять закачался мокрый уродец и опять уставился на нас.

— Вон он опять! Какая рыба-то чудная!.. — и я бросился к борту баржи. Но тюлень опять юркнул в глубину.

— Они, тюлени-то, — не рыба. Видал морду? Они на собаку похожи,

* Продолжение. См. «Новый мир» № 7 с. г.

а живут только в море. Страсть любят поглядеть на пароходы и на всякую посуду. Мы на них каждую зиму охотимся: на льду их бьём.

— А как охотитесь-то, дядя Корней? Расскажи.

— Ну, это, брат, долгий разговор. Гляди-ка, народ-то... — он кивнул головой на людей, лежащих вповалку, и опять подмигнул мне. — Зарылись с головой. Многие и глаза поднять на море боятся. Полевой народ, пахари. А на ватагах маются, как мухи в тенётах. Эх, люд бездольный! Расползаются, как тараканы перед пожаром — ищут благостей да радостей, а попросту куска хлеба. Думают, что в рай плывут, а на самом-то деле — как вобла в неводе.

— Нас и в Астрахани страшают, и ты вот пару поддаёшь, дядя Корней. А я совсем не боюсь. Где люди живут, — вспомнил я фразу, которую слышал не раз от взрослых. — Вы-то вот с дядей Карпом не пропали ведь. Зачем люди страдают друг друга? Разве это хорошо?

— Чего хорошего, — согласился Корней и сплюнул через зубы. — Верно — страшают, любят страдать. Мне самому хочется страх нагонять. Зачем? Хоть ты мал, а устраиваешь строго. Может, стращают-то слабых да робких. Робких да слабые у нас не любят, как нищих. А храбрый да сильный работы не боится: он себя в обиду не даст. Ему сам чёрт не брат. И ты, значит, не боишься? — подмигивая, спросил он и засмеялся.

Он потёр большими руками свои бока и сжал кулаки. Я уже заметил у него эту привычку: он будто всегда чувствовал около себя какую-то опасность и, зорко озираясь, готов был ко всякой неожиданности.

— Это хорошо, что не боишься. Бояться ничего не надо. Боятся того, чего не знают. Ребятишки боятся бирюков, боятся темноты, разных пугал, бабы — пьяных мужьёв да чертей, а старики — домовых. А вот этот народ — неизвестности. Вот они и лежат, как бараны со связанными ногами. Мать-то у тебя тоже беззаботная: хуже, говорит, не будет, на земле, говорит, всё человеку по силе. Ничего!.. Надо жить смелее. Это только трусу всегда страшно да трудно, а смелому и трудное кажется лёгким. Я тоже когда-то боялся. А сейчас мне всё нипочём. Мы с Карпом и штормы пережили, и смерть видали, во льдах и в пучине замерзали, а вот только умнее стали да покрепче сбились. Ну, походи по барже, привыкай к морю, к людям присматривайся...

На корме одни спали, другие, полулёжа, опирались на локти и с боязливым изумлением смотрели на море. Иные лежали, как больные, и жаловались друг другу:

— И головы поднять не могу: небо да вода. Страхота! Сердце заходится!

— И не говори: мутит и мутит. Всё нутро поворачивается. Непроста говорится: кто в море не бывал — страха не видал.

Одна баба, нагнув платок на глаза, качалась вперёд и назад и плакала. Слёзы текли по её щекам крупными каплями. Мужик в лаптях и в синей дмотканной рубахе, взлохмаченный, жидкобородый, тянул её за рукав рубахи, понукая лечь, и уговаривал:

— Да бу-удет тебе!.. Аль воды не видала? Вода и вода... Привы-ыкнешь! — И виновато усмеялся. — Привы-ыкнешь! И в аду, говорят, привыкают. А коли поплыли по своей воле — с собой счёт веди. Ложись — и боле ничего.

Но баба продолжала качаться и плакать.

Я подошёл к борту и сразу с ужасом отскочил назад: зелёная, гладкая волна вздыбилась передо мною, прозрачная, жуткая, стремная, и мне почудилось, что она хотела броситься на меня, смыть с баржи

и проглотить. Но она уж отхлынула дальше, а на место неё хлынула другая. Далеко на таких же упругих и гладких волнах кое-где поднимались и опускались усатые морды тюленей. На носу кто-то пронзительно свистнул, несколько человек захохотало, и кто-то задорно выкрикнул:

— Эх, как тюлени-то мне обрадовались! Узнали старого знакомого.

Эти юркие и забавные уродцы с собачьими мордами, сверкая на солнце мокрыми головами, пристально глядели на нашу баржу и будто потешались над чёрной махиной.

На носу звонко заиграла гармония. Вчерашний гармонист, коротко стриженный, с чёрными усиками, стоял у борта и, подняв гармонию к щеке, широко растягивал меха. Серебряные трели и звон колокольчиков встревожили всех, кто спал и крепко лежал на палубе. Люди поднимали головы, садились, и опухшие от сна лица свежели и улыбались. Курносая девка сидела на одеялке, обхватив колени, и равнодушно смотрела на музыканта, а подруга гармониста, гладко причёсанная, опрятная, с таким же, как раньше, бодрым и весёлым лицом, подошла к нему и прислонилась к его плечу. Но он будто не заметил её и не оглянулся. А я не мог понять, зачем он стоит у самого борта, глядит на морскую зыбь и играет так заливисто и призывно. К ним подошёл и Гриша-бондарь, с растрёпанными кудрями, с весёлым любопытством в глазах, потом ещё двое заспанных мужиков в красных рубашках без пояса. «Хохлушки» тоже подбежали к борту. Они ходили рука в руку и не разлучались, словно боялись потерять друг друга.

Я подбежал к гармонисту и уже ничего не видел, кроме цветистых мехов гармонии и тонких пальцев, которые быстро прыгали по медным пуговкам ладов. Эти разливные трели и напевы были чисты, звонки, как детские голоса. Колокольчики позванивали вместе со стоном басов, и гармония смеялась и плакала. Женщина задушевно запела:

Я молодая, да старо горе...
Ах, улечу я да чайкой в море!..

Она шагнула в сторону от парня, прислонилась к стенке борта, вскинула голову и забросила руки на шею. И пока парень играл сложный залиvistый перебор, она охнула, а потом призывно, с гневным порывом пропела:

Ох, я страдала, да не пропала,
Только сердце злее стало...

Гриша-бондарь поворошил мои волосы и засмеялся.

— Гляди-ка, что делается... Умора! Тюлени-то... на гармонию выплыли. Видишь, как слушают?

Недалеко от баржи выныривали тупорылые, усатые тюлени и качались на волнах. Они пристально уставились на нас и небоязливо, толкаясь друг о друга, глянцево, повернулись к нам. Вдали в разных местах часто выныривали одинокие уроды, скрывались и опять появлялись, уже ближе.

— Страсть как любят музыку! И пенье обожают, особливо когда поют женщины. Умора! Прямо, как дети. Обо всём забывают и уже без опаски тормошатся.

Надутые, как пузыри, тюлени колыхались на волнах, и мне казалось, что им очень хотелось подплыть вплотную к барже и прыгнуть на палубу. Но близко они не подплывали, а некоторые даже пятились назад и исчезали в воде. Их морды были так серьёзны и по-собачьи насторожены, что я неудержимо смеялся про себя. Пароход буравил

воду своими колёсами, спрятанными в пузатых кузовах, и, покачиваясь, плавно поднимался и опускался.

Там, на корме, под железными дугами стояло несколько человек в парусиновых рубахах, видно было, что они смеялись. Вдруг пароход заревел густо и могуче — так, что у меня задрожало в груди. И в тот же миг все тюлени скрылись под водой, как растаяли.

— Эх, Харитоша! — вздыхая, сказала женщина гармонисту. — К тюленям, что ли, броситься? Видишь, какие они вольные и беззаботные?

Парень сосредоточенно думал о чём-то своём, и смуглое, сухое лицо его с плотно сжатыми губами было неподвижно, безучастно, жёстко. Во всей его сухощавой фигуре было что-то недоброе, опасное, самоуверенное.

На жалобы женщины он не ответил, только скривил рот в усмешке. А Гриша-бондарь, румяный и добродушный, засмеялся и, поплёскивая белыми зубами, весело крикнул:

— Тебе, Анфиса, воздуху надо больше, а ты в воду хочешь броситься. Ты на земле крепко стой да умеешь размахнуться. Некие бабы, как ты, атаманшами были.

Молодой мужик с растрёпанными волосами и смятой бородой, заворачивая портянку на ноге, с насмешливым пренебрежением пробасил:

— Да где это ты видал, чтоб баба атаманом была? Во сне, что ли, привиделось? Баба ни в жизнь командиром над мужиком не будет.

Анфиса брезгливо оглядела мужика:

— Да таким раскорякой, как ты, и командовать зазорно. Куда ты годишься? На тебе только воду возить.

В толпе захохотали, а Гриша громче всех. Мужик тоже смеялся, лукаво поглядывая на Анфису. Только гармонист попрежнему с жёстким лицом думало о чём-то своём, да девка сидела, обхватив руками колени, и покачивалась вперёд и назад.

— Вот тебе и атаман налицо! — радостно крикнул Гриша и пошлёпал Анфису по лопаткам.

Она отбросила его руку и сдвинула брови, но глаза её смеялись.

— Я не лошадь, а ты не калмык. Не набивай мне цены. Я лучше тебя цену себе знаю. — И ласково обратилась к девке: — Не качайся, Наталья. Не баюкай тоски. Тоска не знает сна: она злостью тешится.

Она упала на скамью и ударила кулаком по столу.

— Играй скорее, Харитоша, а то у меня сердце закатилось. Не тюленям, а мне играй. Тюлени для жиру живут, а у меня от музыки душа бунтует. Одна утеха — озорничать хочется и смеяться. Только ты мне — радость, мальчишка: никого ты не боишься и ножом ходишь среди людей. А перед игрой твоей и враги-недрузи головы клонят. Что мне богатство, что мне муж ненавистный, миллионщик! Выдали меня насильем, а в цветах, под фатой да в карете словно меня хоронили. И заперли меня, как в склеп. А вот вырвалась же на волю!

Харитон сел рядом с нею, невозмутимо сосредоточенный, весь какой-то жгучий. Он обнял Анфису, крепко прижал к себе без всякого стеснения и поцеловал её взапас. Она ахнула и с блеском счастья в глазах обхватила его шею гибкими руками. Он бесцеремонно разнял её руки и сказал с ласковой угрзой:

— А ведь муж-то твой, Анфисочка, пронюхает, на каком быстролёте мы удрали. И, моё почтение, прибежит на своей шкуне и пришвартуется к нашему борту. Задача: куда мы с тобой скроемся? Поймает он свою птичку и опять посадит в клетку.

Я ожидал, что Анфиса замрёт от страха и будет умолять Харитона спасти её. Но она не испугалась и даже отодвинулась от него.

— Мой муж — ты. Ты меня и защитишь, если сумел оторвать от него. Он меня никогда не увидит.

Харитон кривил губы и рассеянно смотрел в морскую даль.

— Я тебя не насиловал, дорогая Анфиса. А драться с твоим мужем охоты не имею.

Анфиса побледнела и сразу как-то осунулась. Руки её, белые и красивые, дрожали, судорожно переплетаясь пальцами. Мне показалось, что она сейчас заплачет и забьётся в отчаянии или бросится на Харитона и начнёт его бить. Но она вдруг успокоилась, вздохнула и тихо засмеялась.

— Я и без тебя сумею собой распорядиться и найти свою судьбу.

Гриша-бондарь конфузливо отошёл в сторону и сел рядом с мужиком, который возился с портянками. Многие ещё спали под клетчатými одеялками. Несколько мужиков умывались у борта, поливая друг друга воду из ковша, и смеялись.

А я сидел на свёрнутых канатах и не мог оторваться от Анфисы и Харитона. Я чувствовал, что нехорошо глазеть на людей, когда они заняты своими душевными делами, что я хоть и малолеток, но могу стеснять их, и они прогонят меня, как непрощенного свидетеля. И всё-таки я сидел и не отрывал от них глаз: какая-то непонятная сила притягивала меня к этим двум незнакомым людям, таким необычным, поразившим меня с первой же встречи с ними.

Анфиса напоминала мне Раису и белым лицом, и бровями, которые разлетались крылышками, и волосами, лежащими высокой золотой короной. Одета она была чисто, аккуратно, не так, как вчера: юбка — чёрная, кофта — синяя, с высоким воротничком до круглого подбородка и до самых щёк с ямочками. Она мучительно улыбнулась и вместе с Галей и Оксаной отошла от стола. Они сели около Натальи. Оксана долго всматривалась в её лицо, потом заговорила с нервной горячностью.

Харитон засмеялся и проводил её лукавой игрой в глазах.

— Анфиса! — позвал он её с радостной дрожью в голосе. — Родная! Иди сюда, иди ко мне! Никакому чёрту не отдам тебя.

Подошёл Гриша-бондарь и, всматриваясь в Харитона с добродушной улыбкой, признался:

— А я, брат, думал, что ты это всерьёз... Хотел уж без приглашенья оглушить тебя. Разве так гоже с женщиной обращаться?

Харитон усмежнулся и закрутил головой.

— Скучно, Григорий, и нет душе отрады. Куда плывём? Куда бежим? Не убежишь от супостатов. Скучно, друг. Не хочется жизнь свою продавать за копейку. Я свою честь имею. Анфиса — такая же. Анфиса, иди сюда, голубка!

— Ты её, голова, не тревожь. Пускай немножко отдохнёт. Сядем-ка, потолкуем с тобой. Ты на какую работу-то едешь?

— Мне работа не работа. Я и кузнец, и слесарь, и судоделец, и бондарь — на все руки мастер. Только начинаешь во вкус работы входить, а тут холуй и погонщик хозяйский тебе норовит в зубы дать. Пошлешь его подальше за мюжай — и всё противно делается: и работа не мила, и сам себе готов морду бить. Полаешься с холуями да с хозяевами — и на улицу. Остаётся одна отрада — гармония, души моей утеха. С Анфисой мы давно в любви живём. Она у матери — одна. В модной мастерской работала — хорошая портниха. Видишь, какая она статная? Держит себя не хуже барыни. Идёт по городу — как звезда сияет, все на неё глаза пялят. Вот купец один, хлеботорговец и парходчик, кутила, скандалист, на всю Волгу известный, — Блякин — и облюбовал её. Подослал к матери всяких баб да монашек. Ну, и про-

дала она её этому блудодею и пьянице. — Харитон заскрипел зубами, схватившись за голову. — Продала, ведьма... А чтобы девка не убежала, караулили её монашки и бабы. А потом её быстрым манером — в церковь.

— А ты-то где был, голова еловая? — вознегодовал Гриша. — Рохля ты, а ещё на все руки мастер! Гармонист!

Харитон жгуче уставился на него и ответил:

— Не было меня в городе. Я у этого же прохвоста Бляхина шкуну в артели для его походов заканчивал. Выходит, что шкуну-то готовил для новобранцев. Приехал я в город — и к Анфисе, а она уже в купеческих хоромах госпожой Бляхиной манежится. Я голову потерял, запил, и в полицейском участке отоспался, избитый весь, разутый и раздетый. Вышел босяк-босяком, и не стыдно: всё равно жизнь искалечена. В сердце — огонь, и себя не жалко. А в мыслях одно: или я Анфису вырву из лап Бляхина, или убью их обоих и себя. Справился я маленько, в разум вошёл, призял у друзей деньжонок и приодется. Купил новую гармонию — старую-то украли, когда пьянствовал, — и стал каждый день прохаживаться мимо бляхинского дома. Иду с товарищами и заливаюсь на все меха. Ничего не вышло: её и к окнам не подпускали. А кончились эти мои прогулки конфузю: подскочили ко мне городовые и утащили в часть: не смей его степенство беспокоить! Бешеный я стал, на себя не похож. И мысли пошли бешеные. Решил я стакнуться с шайкой молодцов — мастеров-налётчиков. Нападём, мол, как разбойники, на дом, я утащу Анфису, а они сделают своё дело. С неделю мы меркали, как бы это без шума и гама устроить и концы спрятать. Пока они головы ломали — пожива-то для них была примечательная, — помог мне случай своего добиться. Шёл я по набережной, мимо Больших Исад, вижу, стоит пара рысаков, а в карете Анфиса с какой-то старой каргой, вся в кружевах да в шелках. Тут меня и ударило. Я — к ней. «Скорей, говорю, прыгай, Анфиса! Бежим!» А кучер вытарашил глаза и обжёг меня кнутом. Схватил я с дороги горсть песку да в рожу и ему, и карге. Анфиса выскочила из кареты и рука об руку со мной — в толпу, в Исады. А позади визг, рёв, суматоха. Притаились мы на Балде, у дружка в лачужке. А Бляхин всю полицию на ноги поставил. У старухи всё перерыли, облавы в разных местах провели, а о самосадках на Балде и не догадались. И слухи пошли: озверел Бляхин, зачертил во всю горькую, перебил посуду и зеркала в ресторанах, всех баб и девок из своих лабазов по городу, как баранье стадо, гнал, а сам издала на коляске ехал и бросал в них помидорами. Злость свою срывал, мстил за Анфису. «Всю землю, говорит, перекопаю, весь город в прах разорю, а найду Анфису или живую, или мёртвую». Сыщики поднял — тыщи посулил. А меня обещал в Волге утопить или в полиции на части разрезать. Но тут же во всё горло хвалил: «Молодец, говорит, парень! И я бы, говорит, на его месте так же сделал. За смелость хвала ему, а за дерзость казнь». На эту баржу мы нарочно открыто в толпе прошли — незаметно. Здесь ребята свои, не выдадут.

Гриша поглядывал на Харитона и на Анфису и почему-то смеялся, когда Харитон рассказывал о самых тяжёлых моментах своей истории, а когда описывал проделки Бляхина и похищение Анфисы, хмурился, крутил кудрявой головой и кричал.

— А где вы девку эту подцепили, Натку-то? — спросил он равнодушно. — Чего-то она больно мается. Всё время качается и накачаться не может.

Харитон сорвал шляпу с головы и бросил её на стол. Хоть он и усмехался, но глаза его наливались злобой.

— Её в лабазе изнасиловали. Девка здоровая — не сразу сдалась. Потом в Балду бросилась и хотела утопиться. Я в это время случился и спас её. А сейчас она от нас отчалить не может.

Гриша и тут засмеялся:

— Эх, ты... чего жизнь с людьми-то делает! — И вдруг тяжело накрыл своей тяжёлой ладонью руку Харитона. — Ну, вот что, голова. Ежели погоня будет, можешь с Анфисой и не прятаться. А прибежим на Жилую, в бондарню иди: со мной вместе работать будем. У меня, кроме этого, планы на тебя есть.

— На меня люди всегда с планами, как с капканами. А я совсем не желаю в планы да в капканы лезть. Я и сам свою волю имею.

— Ну, в этот план ты, голова, сам полезешь. Я о союзе говорю.

— В союзники при всяком разе готов.

— Так вот башкой думай, а не гармоньей. — Он обернулся, увидел меня и изумлённо поднял брови. — А ты чего здесь торчишь? Рано ещё тебе такие сказки слушать. Много будешь знать, голова треснет. Иди-ка, иди отсюда!

Харитон пытливо посмотрел на меня.

— Пускай учится: может, и ему пригодится. Да он, поди, уже много кой-чего знает. По глазам вижу.

Но я пошёл вдоль борта к себе на кухню. Я не обиделся на Гришу: я уже знал, что взрослые очень не любят, когда их слушают ребятишки. Почему это? Может быть, потому, что они стыдятся своих поступков, встречая детские глаза, как укор? А может быть, потому, что боятся, как бы дети не поняли их по-своему и не заразились разрушительной болезнью познания? А может быть, просто потому, что мы, подростки, живём себе на уме и для взрослых — слишком строгие судьи? Я благодарно улыбнулся Харитону, когда он говорил в мою защиту и когда встретил знающий его взгляд.

Я шёл вдоль борта и смотрел в море. На зелёных спинах плывущих волн ослепительно пересыпались солнечные искры, а вдали разливалась длинная сияющая полоса. Тюлени выныривали далеко и, вглядываясь в нашу баржу, быстро исчезали. Приземистый пароход легко поднимался и опускался на волнах, покачиваясь из стороны в сторону.

Меня догнал Гриша, потрепал по голове и засмеялся.

— Аль рассердился на меня? Ты не обижайся. Я это любя. Тут дело-то такое, что тебе не нужно вникать в человечьи глупости. Плохое-то как зараза: оно и хорошего человека дурманит. — Он остановил меня и с пытливой строгостью в глазах предупредил: — К Харитону с Анфисой ты пока не подходи. Они не в себе. В бегах они сейчас, думают, что от людей убежать можно. А куда от людей убежишь? Где люди, там и закон. А закон-то наш — как хомут для одра, как коршун для цыплят. Закон везде человека найдёт. Он для Анфисы удавка, а для её мужа-богача — волшебная сила. А в море этот закон за бортом: он на земле сила, где люди за оградой живут, а у моряков свой закон: на бога не надейся, сам не плошай.

Рассуждения Гриши были понятны мне: я уже и в деревне хорошо узнал страшную силу закона. Жертвой этого закона была тётя Маша, которую, как лошадь, продали в ненавистную семью и которую староста вместе со свёкором и Филькой через всё село вели с позором, когда она убежала от мужа. Этот закон заковал хорошего парня Петрушку Стоднева, когда он восстал против своего брата-богача. Я рассказал об этом Грише горячо, с насадой, с дрожью в голосе и, должно быть, растрогал его. Он ласково и грустно засмеялся:

— Ну, думки-то у тебя не ребячьи. А поживёшь — не то увидишь.

дружок. И самому пострадать придётся. На ватаге-то люди разные, не такие, как в деревне: там люди к земле не привязаны, им нечего терять. Есть там и забубённые головы, есть и бараны, а есть и товарищеский народ. Управители и подрядчики хуже волков. Им нужно из рабочего люда все соки выжимать. А выходит по закону так: рабочему человеку везде худо, и нет ему нигде защиты. Россия наша не мать нам, а злая мачеха.

Но по лицу его, белому и румяному, с русой молодой бородкой, и по глазам его, весёлым и прозрачным, как ключевая вода, не было видно, что он измучен и измордован этим жестоким законом, что из него выжаты все соки. Это был здоровый, сильный и радостный человек. Он ласково, с улыбкой любовался морем, облаками, солнышком и смеялся тюленям, что качаются на волнах. Он был близок и понятен мне, потому что держался со мною, как ровня, и говорил так же, как со взрослыми — не покровительственно, не свысока, а как с самостоятельным парнем, который его понимает и внимательно слушает. Может быть, он говорил больше сам с собою, может быть, видел во мне доверчивого слушателя, а не избитого жизнью человека, который на людей смотрит насторожённо.

Пресную воду он носил матери из трюма с охотой, тоже весело, с неугасающей улыбкой, играючи. Он шутил с матерью походя, и в кухне становилось вольготно, легко и спокойно: и огонь горел в печке веселее, и кастрюли, и чугуны как будто оживали, а мать светлела: опечаленные глаза её вспыхивали изумлением, и она смеялась, как девушка. Она с пристальным любопытством следила за ним, и я видел, что ей было приятно, когда врвался к ней Гриша, и ей самой хотелось быть весёлой и радостной.

— И чего это ты такой бойкий да разбитной, Гриша? — удивлялась она, любуясь им. — Словно и горя ты никогда не видал, словно всегда тебе было хорошо.

— А чего тужить-то, Настя? — смеялся он беспечно. — Ежели горевать от всякой обиды да тягости — скрутит тебя кручина в три погибели. От этого заболеешь и, не доживя веку, умрёшь. А я умирать не хочу, здоровья даром не отдам и никому не поддамся, Солнышко и мне светит и говорит: не робей, Григорий! Для меня ничего лучше нет, как работой тешиться. Она всякую дурь да боль выгоняет. А когда любишь свою работу, да ещё в артели — работа-то в руках играет. Ведь ты и сама, замечаю я, в работе играешь. Горе-то весельем выгоняй: гнут тебя, а ты не поддавайся.

Однажды он так разошёлся, что подхватил мать своими ловкими руками, начал крутить её по комнате и легко вскидывать, как девочку. Она смеялась, отбивалась от него, но ей была приятна игра Гриши. И мне было тоже приятно смотреть на эту их игру и самому хотелось ввязаться в их возню. В нём бурлила горячая жизнь, и тело его требовало движений. Должно быть, и в работе своей он такой же горячий, и я верил ему, что работа играет и смеётся у него в руках. Должно быть, всякие огорчения и обиды отлетают от него, как щепки от топора.

В сумерки около Харитона собиралась толпа. Он играл на гармонии и всё время задумчиво молчал, словно сам прислушивался к своей игре. Ночь наплывала на нас со всех сторон, горизонт гас, туманился, море сливалось с небом, и оттуда тяжело и густо двигалась мгла. Ленивые

волны упругими горбами проходили мимо баржи и без всплесков уплывали назад.

Жизнь на барже была спокойная, молчаливая, дремотная. Люди обычно проводили время на своих пожитках, ели, спали, разговаривали. Кое-где играли в засаленные карты, кое-где мужики натужно спорили о чём-то или сонно напевали заушывные песни. В этой водяной и воздушной безбрежности мы — одни, и если море взбунтуется, забушует, волны, как звери, бросятся на нашу баржу и швырнут всех этих людей с их пожитками за борт или зальют водою баржу, — она захлебнётся и потонет, тяжёлая, грузная, жирная, неповоротливая. Я долго смотрел на небо, чтобы не видеть этой наплывающей тьмы, и мне было легче. Я видел знакомые созвездия, которые мерцали надо мною ещё в деревне: вот семизвёздный ковш, вот яркий крест, а прямо над головою переливается радужными вспышками, улыбается мне и что-то попржежнему шепчет знакомая яркая звезда. Мне было утешительно и приятно смотреть на них: они словно следили за мною и провожали меня, как родные. Они улыбочиво мерцали, ободряли меня: «не бойся! мы каждую ночь с тобою...» Вправо, за чёрной тенью парохода, мутно краснел низко над водой разбухший и сонный месяц. От него в далёкой мгле и близко на волнах растекалась широкая огненная дорога, которая колыбалась, разрывалась на клочья и рассыпалась искрами. И эта угрюмая луна и огненно-кипящая дорога казались мне волшебными и тревожными. Я видел, как Балберка поднимал на верёвочке фонарик к излому мачты и прикручивая конец верёвочки к железному крюку. Потом деловитыми шагами шёл вперевалку мимо и будто совсем меня не замечал.

Музыка манила к себе молодых мужиков и баб. Они толпились вокруг стола и слушали сначала молча и несмело, а потом робко просили Харитона сыграть плясовую. Харитон молчал и угрюмо перебирал басы, тихо наигрывая какую-то протяжную песню. Толпа пересмеивалась и невнятно переговаривалась, терпеливо и уважительно слушая задумчивые стоны гармонии. Тут стояла и мать, не отрывая широко раскрытых глаз от Харитона и его гармонии, и слушала, как заворожённая. Она тянулась к столу, незаметно пробиралась к гармонисту с застывшей улыбкой. Анфиса сидела на скамье, тоже задумчивая, закинув руки за голову, и смотрела на небо. Гриша, опираясь локтями о стол, подбодрил музыканта весёлым говорком:

— Ну, что задумался, служивый? Гляди, сколь народу-то навалило! И так все без дела стосковались, а ты ещё душу туманишь. Ведь всем хочется встряхнуться. Приударь-ка, милоч, да погорячее!

И Харитоша действительно приударил. Он вскинул гармонию и оглушительно заиграл серабряный перебор, зазвонил колокольчиками и сразу перешёл на плясовую дробь. Чудилось, что этот размашистый и задорный речитатив засверкал, завихрился над палубой и стаей птиц разлетелся по морю. Мне даже показалось, что толпа ахнула и засмелась.

Гриша озабоченно вышел из-за скамейки и без обычной улыбочки, строго приказал:

— Раздайся, народ!

И взмахами руки оттеснил всех назад, потом остановился на пустом месте, встряхнул кудрявой головой, прижал ладони к груди и, высоко подняв локти, выбросил ногу вперёд и зыбко заколыхался. Он требовательно всматривался в толпу, словно искал кого-то, потом взвизгнул и притопнул сапогом. Кто-то не утерпел и жалобно закричал:

— Гришаня, мужик! Душа радостная!.. Оглушил, милоч... Эх, разударь, волгарь!..

Я слышал, как взволнованно дышали люди, нетерпеливо напирали друг на друга и как-то странно постанывали. Вдруг Гриша рванулся к толпе и выдернул мать. Она как будто ждала этого и с застывшей улыбкой плавно пошла дробным шагом вокруг Гриши. А он, словно потрясённый изумлением, всматривался в неё некоторое время, потом схватился за голову и в отчаянии крикнул:

— Да что же это такое, братцы мои? Да как это она, такая цыцарочка, попала в нашу ватагу?.. А? Друзья-товарищи, успокойте моё сердце!

Толпа задрожала, зашевелилась, закричала разногласно, а некоторые женщины взвизгнули, как от щекотки. Гриша вскинул голову, подбоченился, завертелся на месте, а потом пошёл за матерью, ладно и чётко отбивая под гармонию дробь каблуками и подошвами. Это был уже не тот Гриша-бондарь, рассудительный и спокойный человек с ясной, умной улыбкой, с пристальными глазами цвета морской волны. Сейчас он мне казался буйным весельчаком, которому всё трын-трава. Он выделял заливчатские коленца, изгибался, подпрыгивал, приседал и вертелся на каблуках, как волчок, потом внезапно подхватывал мать, кружил её вокруг себя, а она испуганно вскрикивала. В тесно сбитой толпе люди, захлёбываясь от восторга, покрикивали, покрикивали, заливно смеялись и, заражаясь буйной пляской, нетерпеливо перебирали ногами и подёргивали плечами, словно пьяные. Я ещё никогда не видел мать такой задорно-смелой. Робость и молчаливая пришибленность её вдруг исчезли, словно она вырвалась на свободу и сразу же охмелела от вольного простора.

Я восхищался и гордился ею. Её пляска захватила меня, мне хотелось, чтобы ей завидовали и засматривались на неё.

Гармония звонко заливалась, рассыпаясь серебром. Харитон встал и сам стал притопывать и, показывая белые зубы, встряхивал головой. Толпа уже готова была броситься в пляс: все кричали наперебой, махали руками, грохотали сапогами о палубу. Гриша разгорячился ещё сильнее, он высоко подпрыгивал и падал, раскинув руки, как птица. Мать извивалась, кружилась, и сарафан её поднимался и раздувался колоколом.

Вдруг она с отчаянным криком сорвала платок и волосник с головы и наотмашь бросила на стол. Что-то оборвалось у меня внутри, и я, как в угаре, отошёл в сторону.

Ко мне подошёл Карп Ильич и повёл меня за плечо к каюте.

— Пойдём-ка, парешок, ко мне. Здесь тебе никакой пользы нет. Там у меня книжки есть в сундучке. Сколь годов вожу их с собой, а читаю по складам, да и то в год раз. А охота! Рыбаком всякий может быть и привыкнет в море бегать. А книжку неизвестный человек пишет, редкий человек, с великим даром. Такие люди, как святые: они есть на земле, а их не достигнешь. Ну, есть из них пророки, наставники — всяких тайн хранители, а есть блудословы — всякие дерзости сочиняют, небылицы в лицах. Ты сам-то чего читаешь? Годочки у тебя ещё малые: любишь, поди, сказки да складки, да почуднее потехи...

Мне жалко было уходить от весёлого хоровода: хотелось посмотреть, как пляшет Анфиса, кто из мужиков выбежит ей навстречу и кто кого перепляшет. Анфиса привлекала меня своей статностью и миловидностью, и я думал о ней весь день: она — буйная, с вольным характером и любить хочет по-своему. Выдали её насильно за богатого купца, одел он её в шелка и стал катать в дорогой коляске, а она убежала к Харитону — не позарилась на барское житьё. В её судьбе было общее с тётёй Машей, и нравом она такая же крутая, только как будто веселее и радостнее. Харитон казался мне странно жгучим, и я был уверен, что

они страдают, но виду не показывают. И если бы муж Анфисы погнался за ними и накрыл их, они живыми в руки не дались бы. Их судьба похожа была на сказку: их история напоминала «Руслана и Людмилу», но Харитон не был похож на Руслана, а Анфиса была непокорная и вольная — не такая, как глупенькая Людмила, которая соблазнилась нарядами у Черномора.

Я оглядывался на возбуждённую весельем толпу, ловил звенящие перезвоны гармонии, но шёл с Карпом Ильичём охотно: он сразу покорила меня обещанием показать свои книжки.

Вдруг налетел на нас гулкий порыв ветра и взвизгнул где-то наверху. Месяц был разорван длинным облачком, далеко внизу лежал на море грязно-седой туман. Дым из трубы парохода быстро относил в сторону и сразу же бросало вверх и рвало в клочья. Карп Ильич остановился и поглядел вдаль.

— Да. Морянка заиграла. Она в это время ласковая. Это хорошо: у Жилой Косы ближе к берегу подойдём.

Он оглушительно свистнул и подтолкнул меня в дверь.

— Иди-ка в каюту, а я сейчас вернусь. Не бойся, это всегда здесь бывает. Подует ветерок, поволнуется море, и опять затихнет. Облачишки лёгонькие, шутейные.

Но двери я не затворил, а остановился на пороге. Ветер затих, но в море замерцали барашки, и чудилось, что они сами светились зелёным огнём. На носу звенела гармония и раздавался топот пляски. К Карпу Ильичу подошёл Корней, а за ним приковылял Балберка. Они невнятно поговорили о чём-то вполголоса, но я ничего не понял, только услышал новые для меня слова: «вахта», «драить», «зюд-вест». Когда Корней и Балберка пошли к корме, Карп Ильич сказал спокойно, как-то по-домашнему:

— Вы там, ребята, народ не спугните. А тех, плясунов, совсем не тревожьте.

— Знаем, не впервой, — обидчиво проворчал Балберка, а Корней шлёпнул его по спине и захохотал.

Карп Ильич захлопнул дверь и мягко погладил меня по плечу. Над столом тусклым пузырьём горела лампа, и жёлтый язычок пламени сверху похож был на допаточку. На полу лежала чёрная кошма, а на ней три одеяла и три красные подушки. Знакомый сундук Балберки поблёскивал серебряной оковкой.

— Ты, парешок, не думай ни о чём, не бойся. Мы на барже-то, как на острове. Такую толстуху никакая волна не берёт. Наш буксир покачается на волнах как мартын, а мы спать будем, как дома. Нам, рыбакам, доводилось не раз в бурю, в пургу на льдине отрываться. Несёт её шторм, ломает по кускам, и деться некуда, и защиты никакой. А то в осенние бури швыряет парусники, как гречишную шкурку в кипятке, тут уж только на себя надейся, как бы из драки чёрта с богом выскопить. Я уже двадцать годов на рыбачьих посудах бегаю — от Эмбы до Дербента, от Бирючей Косы до Кара-Бугаса. И нет того года, чтобы со смертью не дрался.

Позабыв о своей робости, я нетерпеливо крикнул:

— А как дрался-то, дядя Карп? Расскажи!

Должно быть, ему понравился мой горячий порыв, и он, всматриваясь в меня, встряхнул бородой усмехаясь.

— А книжки-то как же, читалец?

— Книжки-то, чай, не уйдут, дядя Карп. А я тебя близко-то вижу только за едой. С маленьким со мной ты ведь не калякаешь.

Он бросил кожаный картуз на стол и удивлённо поднял клочкастые

брови, Умные и жёсткие глаза его играли лукавой улыбкой, а в красной бороде при тусклом свете лампочки мерцали искорки.

— Я вот тоже, когда был твоего возраста, у отца выпрашивал, как да что... Он тоже рыбак был. И семья наша и село — со Стеньки Разина рыбачили. И все помнят, как наши предки в Стенькиных да Пугачёвых вольных ватагах с врагами дрались. Ежели душонка у тебя заграла от моего разговора, моряком будешь. Аль тебе не страшно?

— Знамо страшно, да хочется.

На крыше что-то загрохотало, а пожарные вёдра, которые висели оторочкой снаружи над окном, задребезжали и зазвякали. Ветер засвистел за окном и с гулом забушевал вокруг избы. Что-то глухо шлёпнулось перед окном на палубе и хлынуло ливнем. Стёкла залило водой, и пузырьки струйками потекли вниз. Потом опять стало тихо, но гул ливня стал сильнее. Я понял, что это волны бьются о борт баржи. Мимо окна пробежало несколько человек, где-то далеко закричали испуганные голоса. Но звон гармонии не прерывался.

— Ничего! — добродушно утешил меня Карп Ильич. — Это море пляшет под Харитонову гармонику. Играет он ретиво.

Он стал на корточки перед своим сундуком и со звоном отпер его, но крышки не открыл, а сел на неё и кивнул в сторону гармонии.

— Вот такой же лихой гармонист в третьем годе в море погиб. И не заметил, должно, как сгинул — по-геройски, богатырём. Вспомнишь о нём — и душа плачет, и зависть берёт: какие меж нас отважные да неизведанные люди есть! Наша артель тогда на Чечени, на острове, работала. Моряки — природные, дружные, хожалые. Исстари так положено: на берегу веди себя как хошь — вольничай, пей, буйствуй, хоть самому чёрту рога ломай, а уж когда в море, на посуде — о себе забудь, обо всём забудь: ты только для артельного дела, ты в артели — в едином теле, для всей артели, для товарища жизни не жалея. Так и поговорка у нас сложилась: один в море — не рыбак, без артели — не моряк. От этой артели остались только я да Корней. Балберка только в прошлом году к нам пристал, парнишка безбоязненный, с большой дружкой. Так вот, ранней весной было, в буйное время. Удача-то день на день не приходится: на рисковое дело идёшь. Мы, моряки, люди привычные: бежишь в море при всякой погоде, отказаться — чести лишиться, от моря отрешиться. После этого в море не побежишь — не примет море. Море не простая вода: море — живое. Побежали мы на паруснике на соседнюю банку. Семеро нас было: четверо — природные моряки, трое — морские пасынки, только по году солились в морской воде. Четвёртый из нас, моряков, ещё холостой, картина-парень, силач, гармонист был знаменитый. Со своей гармонией и в море не расставался. А гармония у него отменная была: сам в Саратов ездил, и мастер ему по его указке её делал. Звук у неё был колокольный, чистоты дивной и на версту кругом сердце людям тревожил. А в море тюлень вокруг нашей посуды кишел, как заколдованный, — бери его голыми руками, и не заметит.

Карп Ильич сидел на сундучке, опираясь локтями о колени, и смотрел на свои большие руки, опутанные набухшими жилами. Мне казалось, что он совсем забыл обо мне: зачем я ему, маленький подросток, который ещё не может подняться выше детской игры и у которого слова взрослого, да ещё такого морского волка, как Карп Ильич, не могут умещаться в головёнке? И я видел, что он говорил не со мною, а с самим собой, и если чувствовал меня около себя, то воображал, может быть, какого-то таинственного собеседника, внимательного, мудрого, как его собственная тень. За окном свистел ветер, грохотали волны о борта

баржи, близко и далеко перекликались голоса, и звенящие переборы гармонии то громко и чётко бились о стёкла окна, то относились ветром в море и лепетали едва слышно. Глухо и дрябло завыл пароход, но Карп Ильич только отметил спокойно:

— Знак даёт, чтобы ребята на руль становились.

— Ты, дядя Карп, не уходи, а рассказывай.

— Рассказываю. Ребята и без меня знают, что надо делать. Это не шторм, а свежий ветерок. Не бойся.

— Я не боюсь, только больно непривычно.

— Вот и привыкай. Надо ко всему привыкать, чтобы вместо страха душа веселилась. А это тогда с человеком бывает, когда он с открытой грудью спроть всякой грозы идёт и знает своё дело до тонкости. Ну, и море надо постигнуть, а это не всякому дано.

— А чего было-то, дядя Карп? Как гармонист-то сгинул?

— Какой ты скорый! Мы со штормом боролись целые сутки. У меня до сего часа сердце кровью обливается, а ты хочешь, чтобы я тебе в минуту мою быть рассказал. Да. Так вот, выбежали мы в море в штормовую погоду. Парусник наш старый был. Хозяин денег на разгул не жалел, а посуду держал до тех пор, пока она не развалится. И жизни людские не жалел: человек, мол, сам о себе должен заботиться. С морем мы сжились. Море нас ещё младенцев солёной волной своей крестило да нянчило. Мы все его повадки, весь нрав знаем: и весёлость его, и гнев его. Оно и щедро и благостно, нещадно и свирепо. Судно, как чайка, по шквалам гуляет, и рыбы — улов богатый. Бывало, и посуду искалечит, и по неделе на этой щепке тиранит, а всё же на берег выбросит. То же и на льдинах бывало. А в этот раз жестокое было море. Вышли мы из залива с беспокойством: моряна поднималась. Ну, да ведь не впервой выбегаем в море. При свежей моряне и посуда веселится — стрелой летит, только на руле будь хорошим кормчим. Вижу — и дружки мои тоже тревожатся, а гармонист шутит: «Я, говорит, немножко погода, когда штормик разбушует, раздольную песню ему заиграю». Посуда была хоть и старенькая, хоть и кряхтела и поскрипывала, а ходом резвая была, руке послушная. Нырлет она по волнам, со шквала на шквал перелетает, а парусок пузырём надувается. Как-то и на душе стало легче: море играет, шквалы через палубу хлещут, как будто с виду никакая беда не грозит. А знаю, не миновать беды. Небо — грозное, чёрное и будто на нас оседает, издали словно гора надвигается. Назад повернуть нельзя: приказ у нас выполняется строго, да и в обычае ловцов не было, чтобы от моря драпать. Мне, лоцману, приходилось с каждым шквалом хитрить и на сноровку свою надеяться. Ведь только лоцман за жизнь человечью в ответе. В этот час обо всём передумаешь. Корней у меня подручным был. Парень он железный. Как сейчас вот, так и в бурю спокойный и ладный бывал, будто и страха никакого не ведал и никакой опаской не тревожился. Ходит заботливо, трубочку посасывает, а глаза каменные. Скажет слово, скомандует — улыбнётся, и от улыбочки этой на душе свежее. И вот, когда темнеть начало и посуду стало бросать с горы на гору, парусок приспустили, чтобы посуду по ветру чайкой держать. А Корней и говорит мне: «Зюд-ост на девять баллов, лоцман. Сейчас крушить начнёт. Видишь, какая стена несётся? Сиди на руле сам, а я уж с командой буду. Нашему гармонисту до гармонии своей не добраться». И в первый раз увидел, как он трубку изо рта вынул и в карман спрятал. «Держи, говорят, на ост — наперерез ветру — к косе. Ежели справишься, Ильич, — а тебя и морской бог слушается, — как-нибудь до банки доползём... Только руль береги — без руля пропали». — «Знаю, говорю,

не учи!» — «Потому, говорит, намекаю, что лучше моего знаешь». И сам этот руль оглядел да ощупал. А когда отошёл да оглянулся на меня — сердце у меня заныло и душа заледенела: в глазах-то его улыбочка, как топор, блеснула. Повернул я на ост, к берегам, под острый угол шторму. А кругом — чёрная, лохматая тьма, и нет воздуха — шквалы и ливень. Не успел Корней с ребятами парусок убрать — сорвало его, как тряпочку, и швырнуло в море. Посуду кувырнуло бортом в волну, и даже я, опытный лоцман, чуть было за борт не улетел. Страшный шквал накрыл палубу, и, как сейчас вижу, вместе со шквалом полетели за борт два человека. А на палубе одни плашмя лежат, как раздавленные, другие за мачту держатся, третьи рвутся в кубрик. Вот тут и случилось это самое. Стало бросать посуду, как щепочку, и ничего, кроме воды и тумана, не видно. Ураган такой был, что, кажись, никогда такого не испытывал. Посуду так бросало, что палуба в воде скрывалась. И грохот, рёв, гул кругом, как в аду. Вижу сквозь туман и ливень — возятся ребята, и вдруг задрожал весь корпус посуды, затрещало что-то, словно ударились мы о скалу, а потом подбросило кверху и завертело волчком. Мельком заметил, как срезало мачту, и она, как палочка, шлёпнулась на палубу, в щепки разнесла кубрик. Тут же швырнуло её в сторону. Корней я уже не заметил, только померещилось, что ползают около мачты двое, словно их прищемило, и они никак освободиться не могут. А когда ещё рвануло посуду и накрыла её волна, почувствовал я, что руля моего уже нет — разбило его вдребезги. Посуду уже стало кувыркать, как чурку. Бросился я к ребятам, к мачте. Вижу, лежат трое под мачтой и меж ними Корней: ноги ему прищемило. А двоих придавило поперёк тела. Только гармонист возится поодаль, под мачтой, а она качается, дышит, потом стала подниматься. И крик слышу, такой нагсадный, хриплый: «Выползай, ребята!» Корней за обломок мачты уцепился, а двое так и не пошевелинулись. Держит гармонист мачту на спине, дрожит весь, ноги расползаются, и хрипит: «Братцы, спасайся! Тащите ребят-то, а то не выдержу». Я схватил одного за ноги и рванул в сторону, а другого не успел. Мачта грохнулась, а гармонист рядом с ней, и кровь у него, вижу горлом хлынула. А в это время ринулся опять на нас шквал, как водопад, и положил посуду на борт. А когда она опять стала на киль, на палубе уже ничего не было — ни мачты, ни кубрика, ни снастей, ни людей. Волны, как горы, с разных сторон скидывают нашу посудинку, в высь и в пучину бросают. Так мы с Корнеем, природные моряки, и держались вместе за обломок мачты до утра, покамест всю посуду нашу не порвало по всем швам. У Корнея ногу раздробило — видел? До сих пор припадает. «Мы, говорит, Карпуша, как вместе морячили, так вместе в обнимочку и помрём. А ежели спастись, думаешь — сам-один на воде держись: обо мне не заботься — без ног я плохой пловец и моряк». И на что уж крепкий парень, а застонал. «Нет, говорю, Корней, мы ещё поживём и по морю побегаем. Нас море-то побережёт». И подлинно, вера у меня в душе была: не погибнем, жить будем и хоть вплавь, на обломках, а доберёмся до берега. Посуду нашу всю измочалило, обшивку, как лучину, драло, а потом, когда шторм-то стихать стал, посуду наша ко дну пошла, я с Корнеем долго ещё нырял с обломками в руках. Он сильно ослабел, и у меня было одно беспокойство: как бы он не захлебнулся и не утонул. В такой час не о себе думаешь, а о товарище: кажись, сам бы погиб, лишь бы товарища спасти. Должно быть, так нашему брату-моряку положено. Гармонист-то живота своего не пожалел, чтобы товарищей своих от смерти вызволить: ну-ка, мачту-то — такую махину — поднять! Не думал он, что сам себя губит. Поднять-то поднял, а сломался, всё нутро порвал: смертью за это заплатил.

Я слушал Карпа Ильича, сдерживая дыхание. Рассказывал он с наугуи, словно ему не хотелось вспоминать об этом событии или он считал, что такие приключения — самое обычное, будничное дело. Но я видел, что он до сих пор вспоминает пережитое с волнением: глаза его встревоженно блестели, он теребил бороду, и она казалась раскалённой при огне лампы. Временами он чутко прислушивался к себе и судорожно поводил плечом. Коренастый, мускулистый, он, казалось, томился тяжестью своего тела. Но в те минуты, когда он говорил о богатыре-гармонисте, поднимающем упавшую мачту, чтобы спасти товарищей, он беспокойно выпрямился и словно хотел соскочить с сундука. И тут же смущённо улыбулся. Передо мною раскрывался новый, огромный мир, где необыкновенные люди совершают необыкновенные дела. Вот он, Карп Ильич, в кожаной одежде, грубо сколоченный, тяжёлый, с красной бородой; вот припадающий на ногу коренастый Корней, приветливый, с доброй улыбкой; вот как живой передо мною великан-гармонист, должно быть весёлый певун. Эти люди — какой-то другой породы, способные только на необычайные подвиги, живущие только борьбой с бурями. Вспомнились слова Карпа Ильича о зимнем буране и о льдинах, на которых уносило рыбаков в море. Кругом бушуют такие же страшные волны и до самого неба — ураганы снега. Ничего не видно, кроме белых вихрей, а на льдине, которая несётся по чёрному всклокоченному морю, сбились в кучу несколько человек, обречённых на гибель. Волны захлёстывают этот белый островок, ломают его, рвут на части, а ураган засыпает снегом людей. И нет им спасения. Вздрагивая от ужаса, я пролепетал:

— А как же, дядя Карп, на льдинах-то?.. Как вы спасались-то?

В каюту ввалился Корней и с обычной улыбкой добродушно спросил:

— Это какого же по счёту парнишку ты растравляешь, Карп? Что это за охота мальчат бунтовать?

Карп Ильич усмехнулся, подхватил пальцами бороду и покрыл ею лицо до самых глаз.

— О гармонисте нашем да о тебе рассказывал. К слову пришлось. А это ему в науку. Весь век помнить будет. Пускай знает, какая цена есть дружбе. Только в нашем ловецком деле верность крепится.

Корней оживился, ударил себя по бёдрам и сдвинул картуз на затылок. Глаза его вспыхнули, но лицо сурово ожесточилось.

— Мы с тобой, друг мой Карпуша, кровью в верности нашей связаны. А умрём в один час — в обнимку. Мы ведь клятву дали Герасиму. — Он шагнул ко мне и строго приказал, указывая на Карпа Ильича: — Ты дядю Карпа не забывай, а чего он внушает — в уме держи. Он, дядя Карп-то, два раза меня от смерти спасал. Однова на льдине — сам чуть не замёрз, а меня отогрел. А вдругорядь в этот самый шторм...

Карп Ильич встал и угрюмо набросился на Корнея:

— Ты молчи, Корней! Ты да я, да мы с тобой... Ежели мы будем попусту болтать да разбирать, кто кого спасал, одна только канитель будет, одна неразбериха. А вот ты запиваешь да в драку со мной лезешь, за это я тебя уж не один раз к мачте привязывал.

Корней обмяк и стыдливо замигал глазами. Лицо его дрожало от виноватой улыбки.

— От тоски это, Карпуша... Сам знаешь... Душа ноет... В неоплатном я долгу перед тобой... — И вдруг опамятовался, встряхнулся и засмеялся. Обычным деловым голосом доложил: — Ну, шутки в сторону, а хвост набок. Чего я пришёл-то? Нас догоняет шкуна. Мчит на всех парах. Уж не Бляхин ли с ума сходит?

Карп Ильич спокойно надел картуз, огладил ладонями свой бушлат и пристально поглядел на Корнея.

— Иди-ка, скажи ребятам, чтобы на баржу ни одного человека не пускали. Не давать пришвартоваться. А кто посмеет ворваться на борт — бросай в море.

— А ежели это Бляхин?

— Он! — уверенно подтвердил Карп Ильич.

— А ежели сам ворвётся?

— В море! — отрезал он хрипло.

Корней озадаченно крутнул головой.

— Сроду не был в такой переделке... будто и не ловецкое это дело...

— Это моряцкое дело. Не мне говорить, не тебе слушать.

Оба они забыли обо мне и вышли из каюты.

16

На палубе была уже ночная тьма, и холодный, мокрый ветер метался вдоль стены избушки, глухо гудел, взвизгивал, качал развешенные над окном ведра, а они, толкаясь, дрябло звякали. На носу уже не слышно было ни гармонии, ни голосов: должно быть, люди разбежались по своим местам. Небо было чёрное, густое и тяжёлое. Волны хлестали в борт баржи и вихрями взлетали вверх. Эти вихри и всплески тускло вспыхивали в призрачном мерцании фонаря на мачте. Толпы косматых волн мчались к барже, напирали друг на друга и клокотали бурунами и пеной. Необъятная тьма казалась живой, зловещей и неслась к нам с гулом, с шумом ливня и порывами влажного ветра.

Жёлтая звёздочка фонаря вздрагивала и мигала на переломе мачты, словно ей тоже было жутко в этой взбаламученной тьме. Впереди маячили огоньки на пароходе: они плавно поднимались и опускались, летя из стороны в сторону: пароход качало. А позади, за невидимой кормой, так же качались и летали вверх и вниз три огонька: красный и зелёный, а высоко над ними — жёлтый.

За бортом с грохотом взорвалась большая волна, взлетела вверх и шарахнулась на палубу вихрем брызг. Мне стало страшно. Прижимаясь к стене надстройки, я подбежал к двери кухни. Мать, стоя на пороге, упавшим от испуга голосом крикнула:

— Куда ты запропастился, неудалый? Я бегала по всей барже — искала тебя... Сердце у меня зашло.

Я сделал вид, что мне несколько не жутко, и задорно похвалился:

— Мы с Карпом Ильичём в каюте калякали. А тут Корней пришёл да сказал, что за нами шкуна вдогонку бежит. Вон она! Видишь огоньки-то?.. Уж близко.

Мать порывисто повернулась к корме и стала всматриваться во тьму. Платка на голове и волосника у неё не было, а косы она закрутила в узелок на затылке. И от этого голова у неё стала маленькой и чужой. Мимо прошёл Гриша без картуза, но в длинном пиджаке. Кудри его трепал ветер.

— Иди-ка, Настя, к Анфисе, — озабоченно сказал он. — К себе в кухню её уведи. Чёрт его гнёт, дармоеда! На своей новой шкуне форсу задаёт.

И он почему-то засмеялся. Мать заволновалась и загорелась от любопытства.

— Неужли это за Анфисой погоня-то?

— Нет, за месяцем: видишь, он спрятался за тучку, — пошутил Гриша. — А всего проще — купец хочет свою шкуну Анфисе подарить.

Иди-ка проворней! Нет, уж лучше я тебя провожу, а то ветром в море унесёт.

— Вот ещё! Я, чай, сама... Аль я листочек осиновый?

Мать я чувствовал очень чутко с ранних лет: вероятно, её нервный трепет отзывался во мне с той безумной ночи, когда она в припадке «порчи» выбежала из избы на мороз и призраком носилась по лунно-снежной луке. Мне казалось, что я всегда прислушивался к ней, следил за каждым её движением и знал, что она переживает каждый час. Вот и сейчас я почувствовал, как по телу её заструилась судорожная дрожь. С широко открытыми глазами она озиралась и хваталась за сердце. Она ещё раз с тревогой взглянула на огоньки за кормой и побежала по палубе на нос. Порывом ветра и шквалом брызг её отшибло к стенке домика, но она совсем этого не заметила. Вдруг она рванулась назад и крикнула:

— Парнишку-то, Гриша, побереги! Как бы в море его не унесло. Захлопни его в кухне, Гриша, милый!

Гриша с пристальной улыбкой смотрел ей вслед и молчал. Не замечая меня, он пошёл дальше, к корме, прищёлкивая пальцами. Волосы его рвал ветер и выбивал их кудрявым руном.

— Дядя Гриша! — крикнул я, подбегая к нему. — Я — с тобой. Чего я один в кухне-то делать буду?

Не оборачиваясь, он далёким голосом отозвался:

— Идёт. Держись бок о бок: вместе сильнее будем.

Из-за борта летели брызги и мокрая пыль. Небо тяжело и непроглядно чернело очень низко и, казалось, опускалось до самого моря, только кое-где в прорывах мерцали искорки звёзд и сейчас же гасли. Мы с Гришей прошли к чёрным теням у правого борта. Хриплый басок Карпа Ильича спокойно и благодушно наставлял:

— Баграми его отгоняйте! Бросят чалку — руби её. Возьми топор, Балберка. А ежели рваться на баржу будут — в кулаки. Я этого кутилу знаю: на всё пойдёт, везде куролесить привык, чтобы все перед ним прыгали, как лягушки.

Около Карпа Ильича стояли Корней и Балберка. Харитона я не узнал сначала: он стоял поодаль, заложив руки за спину, без шляпы. Волосы его трепал ветер и сбивал их на лоб. Он пристально глядел на огоньки шкуны, которая чернела уже близко и легко качалась на волнах. Балберка нетерпеливо взмахивал топором и заикался от смеха.

— Ишь как режет волну носом-то! Аккуратная посудинка, барыня! Только ей не по морю мотаться, а в Кутуме гулять да по ерикам.

К Харитону подошёл Карп Ильич и ласково, но властно приказал:

— Иди-ка отсюда в сторонку, браток. Тебе здесь покамест нечего делать.

Харитон, не оборачиваясь, ответил ему:

— Знай своё дело, Карп, а меня не трогай.

Но Карп Ильич так же мягко и властно потребовал:

— Добром говорю: уходи. Ты сейчас здесь — вредный. Не теряй ума. Мы, кажись, друг друга понимаем. Когда будешь нужен, сам крикну по-хозяйски.

Харитон, сжав кулаки, пошёл широкими шагами на нос. А Карп Ильич будто помолодел и стал выше ростом.

Шкуна выскочила как-то сразу из темноты и, качаясь на волнах, с шумом, со вздохами, со свистом пара, почти впритирку подошла к нам. Из маленькой трубы её толчками вылетал дым. На нас пахнуло нефтяной теплотой. Это было небольшое, стройное судёнышко, неразличимой, тёмной окраски. Под парусиновым навесом стояли, вцепившись в латун-

ные поручни, несколько человек в кожаных куртках и картузах. Все были молодые, коренастые, со стриженными бородками. Поодаль от них держался за поручни нестарый человек с одутловатым лицом, с русой квадратной бородкой, в кожаной шляпе, похожей на башлык. Он зорко и угрюмо осматривал нашу палубу и по-хозяйски, надтреснутым голосом кричал:

— Чалку бросай! Матросы! Готовься на борт с кастетами!

А Карп Ильич с весёлой строгостью scomандовал в свою очередь:

— Чалки не принимать и рубить! Матросов встретить по-морячки!

— Эй ты, морда! — забеспокоился человек в кожаной шляпе и весь перегнулся через поручни. — Да ты знаешь, кто я? Я тебе шею сверну, болвану.

Карп Ильич усмехнулся и спокойно, с достоинством ответил:

— Для меня ты в море сейчас — разбойник, а с разбойниками у нас разговор короткий. — И он по-свойски предупредил матросов, которые стояли с чалками в руках у сходней: — Советую добром, ребята: чалок не бросать. Без легостей останетесь. И вам, друзья, кастеты не помогут: мы ведь народ просоленный, всякие виды видали. Кто Карпа-ловца в Астрахани не знает?

— А я раздавлю тебя, ловец-подлец, — вдруг успокоился человек в кожаном башлыке. Мне показалось, что он пьяный. — Ты кто такой, чтобы распоряжаться? Я прикажу связать тебя и бросить ко мне на шкуну, чтоб сдать тебя полиции в Астрахани. Как ты посмел принимать на борт беглянку с бродягой?

— Я здесь хозяин, и перед тобой не в ответе, — очень веско ответил Карп Ильич. — А вот ты там, за моим бортом, для меня — враг.

— Я — Бляхин. Чувствуешь?

— Ты Бляхин — в Астрахани, а здесь, в море — просто арбешник.

Бляхин вдруг растерялся. Должно быть, он не ожидал такой встречи от людей на барже: он привык наводить страх и видеть подобострастие и покорность. Слово его было законом для всех, он повелевал тысячами людей. Вероятно, он тоже кричал и топал ногами на городских властей, как и купец Пустобаев, о нраве которого я слышал на волжском пароходе. И вот здесь, на барже, Бляхин встретил внезапный и смелый отпор. Он беспомощно поглядел на своих спутников и ударил кулаком по золотистым поручням.

— Чалки, матросы! И прыгай на баржу! Рожи коверкайте этим идиотам! Обыскать все места и закоулки! Проучить это вахлачье, чтобы запомнили на всю жизнь, как супротивничать Бляхину!

На баржу полетели две связки чалок: одна с носа шкуны, другая — с кормы.

Вслед за ними спрыгнули на палубу два человека в кожаных куртках. Корней, Гриша и трое молодых мужиков схватили их за руки и забарахтались около них. Я услышал буханье кулаков, криканье и задушливые ругательства. Балберка подскочил к легости и взмахнул топором. Потом со всех ног бросился к другой чалке, но наскочил на матроса, который спрыгнул со шкуны. Балберка замахнулся на него топором, но к нему подскочили два человека от руля и оглушили матроса кулаками. Он бросился к борту и с отчаянной решимостью перепрыгнул обратно на шкуну. Один за другим кувыркром полетели на шкуну и двое в кожаных куртках, но уже без картузов.

Карп Ильич с угрозой предупредил Бляхина:

— Вот что, купец Бляхин: всякий, кто осмелится сюда прыгнуть, нырнёт в море.

Бляхин задыхался от бешенства.

— Ну так я сам ворвусь на твою брехатую посудину. Воровать и увозить чужих жён?.. Я сам её поймаю.

— И тебя к тюленям отправим.

— Меня? Бляхина? И ты, гнида, посмел со мной пререкаться?

На нашей палубе уже сбилась толпа мужиков. Одни смеялись и выкрикивали:

— Пускай прыгает, наплевать! Мы ему бока-то намнём: нам не впервой на кулачках драться. Хоть потешимся малость.

Другие испуганно бормотали:

— Тут греха не оберёшься, ребята. Не ввязывайтесь! Он -- по закону... Наше дело — сторона... Мы же в ответе будем...

Замелькали над головами багры, шесты, и кто-то надсадно крикнул:

— Нажми, ребята! Дружно!

Шкуна плавно отпрыгнула от баржи, поднимаясь и опускаясь на волнах. Бляхин уже не бесился больше: он стоял молча, с угрюмым упрямством в одутловатом лице, и видно было, что он тяжело дышал. Его власть и сила столкнулись с дружной силой простых людей, вольных рыбаков. Над ним смеялись эти люди, а Карп Ильич со своими подручными держали себя независимо и уверенно.

Шкуна вдруг рванулась вперёд, к пароходу, ныряя в волнах и поднимая позади себя фонтаны воды.

Она растаяла во тьме и слилась вместе с пароходом в одно размытое пятно. Но вскоре она оторвалась от парохода, сделала крутой оборот и опять с шумом и плеском подплыла к нашей барже. При тусклом оранжевом накале спиральных ниточек в стеклянных шариках Бляхин с сумасшедшим лицом и растрёпанными волосами ломал поручни и бил по ним кулаками. Он рычал и задыхался.

Я ждал, что он со своими помощниками сам бросится к нам на баржу. Когда я смотрел на Карпа Ильича, твёрдого, спокойного и весёлого в своей суровости, и на Гришу, который забавлялся бешенством Бляхина, люди на шкуне уж больше не казались мне страшными. Я верил, что наши моряки к барже её не подпустят.

Гриша говорил посмеиваясь:

— Толстосум-воротило хотел, должно, капитана обратить. А капитан-то, видно, морячок бывалый: знает, чем море дышит.

Карп Ильич с довольной усмешкой подтвердил, не отрывая глаз от шкуны:

— Наш капитан вырос на море. У него и команда отборная. Он и разговаривать не будет со всякими бродягами и гуляками.

Шкуна опять заскользила вдоль борта баржи впритирку, и Бляхин надсадно заорал:

— Кто тут лоцман? Выдай беглецов! Впрочем, только одну беглянку.

Карп Ильич скомандовал:

— Багры! Дружно!

В шкуну воткнулось несколько багров, и она опять стала отходить от баржи.

— Лей бензин на их колымагу! Зажигай паклю и бросай туда же! — Бляхин кричал уже сорванным голосом и метался вдоль борта: — Анфиса, беги сюда... Беги, а то соришь на этом гнилом корыте!..

Неподалёку от нас шлёпнулись о палубу, разбрасывая брызги, два выплеска, и нас обдало удушливой бензиновой пылью. Но клочья горячей пакли рвануло ветром в сторону. Один из них упал в море, а другой отшвырнуло обратно под полотняный навес шкуны. Там поднялась суматоха. Толпа мужиков заметалась по палубе баржи, завизжали ба-

бы. Но наши рыбаки стояли твёрдо на своих местах и молчали. Длинные багры угрожающе направились против шкуны, которая старалась приблизиться к нам, но бултыхалась на волнах и отходила всё дальше и дальше. Бляхин, как безумный, орал:

— Капитан! Тарань их, прохвостов! Ломай обшивку!.. Не сожжём, так потопим их, как тараканов...

Карп Ильич властно пробасил:

— Не буянь, купец! Нас угрозами не возьмёшь. Ты в чужой дом ворваться хочешь, а хозяева не из робких: ничего не выйдет, купец. На море мы сильней тебя. Честью говорю: уплывай-ка домой на своей шкуне, а то расславим по всем ватагам, и на смех тебя поднимут по всей Волге.

Но в это время на баржу опять полетели клочья горячей пакли. Ветер швырял их за борт, и они, вспыхивая, гасли в воде. Один клочок всё-таки попал на палубу, и его понесло вдоль борта. Но Балберка быстро настиг огонь и стал топтать пылающие обрывки пакли.

Толпа мужиков и баб бросилась к борту, озлобленно закричала и угрожающе замахала кулаками:

— Башку сорвать надо душегубу!.. Пускай подплывёт, мы ему все кости переломаем. Ишь, боров пьяный! Он и вправду поджигать норovit... Ребята! Айда за поленьями! Круши их, арбешников!

И как будто в ответ на этот истощный крик мимо нас пролетело полено и брякнулось в овальное окно неподалёку от Бляхина. Зазвенели разбитые стёкла.

— Бей, ребята, не жалея! Открываем сраженьё! Круши супостатов! Они нас огнём, а мы их дубьём...

Поленья полетели одно за другим под весёлые крики мужиков. Бляхин и его дружки, нагнувшись, побежали под парусный навес и скрылись за углом каюты. Поленья летели, кувыряясь в воздухе, и бухали по стенкам и окнам каюты. Шкуна отплывала всё дальше и дальше, а вслед ей летели поленья под хохот толпы.

Карп Ильич и Корней сердито закричали вперевод:

— Не бросать поленья! Марш на свои места! Довольно баловаться!

Неожиданно подбежала к борту Анфиса, растрёпанная, с искажённым лицом. За ней прибежала мать. Харитон тоже подошёл к борту. Голос Анфисы зазвенел твёрдо и гневно:

— Кузьма Назарыч, силой меня не возьмёшь. Я вам не жена и не была женой. Я не продажная, Кузьма Назарыч. И не взять вам меня. Бляхин выскочил из-под навеса и протянул к ней руки:

— Анфисушка! Всё твоё... всё моё богатство... Топчи меня, как собаку, только не уходи... только пожалей... — И вдруг заревел иступлённо: — С кем убежала? На кого променяла меня? На бродягу... Вернись! Всё забуду... Озолочу тебя, осыплю драгоценностями... Вся Астрахань будет перед тобой ползать и лизать твои ноги...

— Для вас мой Харитон — бродяга, Кузьма Назарыч, а для меня — краса, месяц ясный. Вашего богатства мне не надо: оно проклято, слезами, кровью полито. А я как работала, так и буду работать. Свобода дороже всего на свете. Уезжайте сейчас же, Кузьма Назарыч, не поросьте себя!..

Она круто повернулась и пошла обратно.

Бляхин будто омертвел, когда услышал выкрики Анфисы. Он смотрел на неё как оглушённый. Но когда она скрылась за углом нашей избушки, он осатанело захрипел сорванным голосом:

— Ах, так? Ну так я тебя из-под земли достану. С полицией по этапу приволоку. Закон — на моей стороне.

Харитон смеялся и выкрикивал:

— Толстосум, светило волжское... а дурак. Разве умный человек в море скандалить поедет? Удирай скорее, а то твой пароходишко утонет от стыда. Над тобой смеются даже твои холуи.

И он захохотал во всё горло.

Бляхин, словно пьяный, зашатался, завыл, и его подхватили под руки люди в кожаных куртках.

Шкуна задымила, зашуровила водой, широко обогнула баржу и быстро скрылась во тьме.

17

Наша казарма — длинный сарай, построенный из камыша, обмазанного глиной. Этот сарай тянется вдоль улицы, дальше идут такие же сараи. Окна только с одной стороны — на улицу, маленькие и пыльные. Внутри казармы к стенам примыкают нары в два яруса. Верхние и нижние нары густо забиты постельками и всякими пожитками. В этой казарме помещаются семейные и холостые женщины — девчата и одинокие молодухи. Направо от входа — дверь в комнату подрядчицы. Эта комната чистая, светлая, просторная, с кисейными занавесками на окнах, с «астраханской» мебелью. Подрядчица — толстая баба с красным лицом, с маленькими бесстыдными глазками и крошечным носиком, который прячется в разбухших щеках. Мне было смешно, когда эта толстуха с широчайшим трясущимся задом, с разбухшей грудью и маленькой головой, с пучком волос на затылке, бегала очень проворно, беспокойно и задиристо орала, как торговка на базаре. Все звали её в лицо Василисой Андреевной, а за глаза «бочарой».

К передней стене примыкала огромная печь с широкой плитой сбоку, с котлом, вмазанным в боров, и с лежанкой позади. Около печи возилась с утра до ночи кашеварка Матрёна Даниловна — тётя Мотя — с заплаканным от дыма лицом. У неё болели ноги, и она отдираала их от пола с большим трудом, тяжело переваливаясь с боку на бок.

Ночью, когда люди приходили с работы, в казарме была бестолковая толчея. За длинным столом мест не хватало, и люди ужинали на нарах, а когда ложились спать, нары сплошь покрывались одеялами и шубами. Была смрадная духота: пахло рыбьими внутренностями, гнильём и дымом.

Нас с матерью тётя Мотя поместила над печью, на верхних нарах, в углу. Забраться туда было не легко: сначала нужно было с края нижних нар впрыгнуть на боров, с борова на лежанку, а с лежанки — в своё гнездо. С плиты несло жаром, ржавой воблой, казанским мылом: на плите всегда стояли огромные бадьи, в которых кипятилась грязная одежда резалок и плотовых рабочих. Приварок (вобла, постное масло и пшено), который получали рабочие и работницы из хозяйской лавочки, сдавался тёте Моте, и она стряпала общий «обжорный» обед для всей казармы. На плите в другом котле всегда кипел «калмыцкий» чай. Хлеб выдавался из хозяйской пекарни — чёрный, кисло-горький, тяжёлый и противно липкий. Каждый день я слышал, как работницы на плоту и на дворе пели рыдающими голосами:

На ватаге, на Жилой,
Вода горька, хлеб сырой.

Действительно, вода здесь была горько-солёной, она привозилась в бочках из колодцев. Сырой пить её было нельзя, её кипятили только с прессованным чаем. Но и к этому напитку было очень трудно привыкнуть: он отзывался веником и тухлым яйцом. Как благоденствия и небес-

ной милости ждали мы дождя. После дождя я с тётей Мотей и кое-кто из работниц бежали с вёдрами к колдобинам и ямам и торопились вычерпать грязную воду из этих луж на улице (во дворе всюду лежала соль) и слить её в кадучки, стоящие на углу казармы. Когда вода отстаивалась, её выливали в котлы и в ушат, который стоял в закутке у печи, где помещалась тётя Мотя. Из этого ушата воду пили наперебой.

Гриша-бондарь, как некурящий, расположился в нашей казарме — на нижних нарах, под нами. Наташа — на верхних, около нас. Харитон с Анфисой — перед запечным кутком. Карп Ильич и Корней с Балберкой поселились в другой, соседней, казарме вместе с холостыми рабочими.

Гриша и здесь был такой же весёлый, как и на барже, и так же хорошо улыбался.

— Вот как по-доброму вышло! — радостно сказал он, когда устроил своё гнездо. — Третий год на своём месте. Даниловна никому, кроме меня, этой норки не отдаёт. И с вами, Настенька и Федя, тоже близкие шабры. Тут и Харитоша с Анфисой — рукой подать. Народ мы не робкий: ежели случится... а тут всяко случается... мы уж сумеем постоять друг за друга.

И я видел, что мать тоже была довольна, что он рядом с нами. Мне казался он очень ясным, открытым, душевным, и я верил каждому его слову, верил его улыбке и жизнерадостной его походке сильного, уверенного в себе человека. Эта моя вера в его неодолимость и неломкую его волю, тоже ясную и весёлую, укрепились во мне после одного события, которое произошло в первый же день нашего вселения. Перед обедом в казарму вошли белобрысый, пучеглазый приказчик с бумагой в руках и подрядчица. Они оглядели нары хозяйским взглядом, потом подрядчица, рыло колыхаясь при каждом шаге, задрав жидковолосую голову, прошла к столу и горласто крикнула:

— Встать! С нар долой! Все — на ноги!

Приказчик ухмыльнулся, скосив усы.

Все начали сползать с нар и становиться в ряд. Оксана и Галя заняли места в дальнем углу против входа. На крик подрядчицы они даже не обернулись и не двинулись с нар. Харитон с Анфисой скрывались за печью. Гриша подошёл к столу и сел на скамью, поглядывая на приказчика и подрядчицу с весёлым недоумением, словно видел их в первый раз.

Подрядчица бойко и легко поворачивалась в разные стороны, будто собиралась плясать. И было противно смотреть на её жирное тело, которое вертелось и тряслось так проворно и порывисто, что казалось, оно, как надутый пузырь, сейчас же подскочит к потолку. Я вспомнил, как отец возил её на своей пролётке по Астрахани и как она кричала ему на всю улицу: «Катай меня чёртом, чтобы все барыни лопнули от зависти!..» Вот и здесь, в казарме, она держит себя, как хозяйка, и нахально поблёскивает своими заплывшими глазками. Ведь всех нас она купила на рыбной бирже, и все мы теперь на девять месяцев — её живая собственность. Правда, она дала только по пяти рублей задатку, остальное будет выплачивать помесечно по 6 рублей 66 копеек.

Спрыгнули со своего верхнего этажа и мы с матерью и встали рука в руку у борова печи. Гриша подмигнул нам и одобрительно кивнул головой: не бойтесь, мол, держитесь смелее!

Подрядчица взъярилась на Галию и Оксану и ткнула в их сторону рукой.

— Курбатов, вытряхни отсюда этих крыс! Они чего-то с первого же разу нахальничают.

Гриша засмеялся и спросил:

— А чем они тебе помешали, подрядчица?

Она круто повернулась к нему и затрясла отвислыми складками на мясистых щеках.

— А ты чего тут развалился, как в трактире? Кто ты такой здесь?

— Человек. И не в трактире, а в своей квартире. Да и люди не верблюды. Распоряжайся на работе вместе с плотовым, а не здесь. Зачем людей торчком поставила?

Приказчик и Василиса пропустили мимо ушей возражение Гриши. Они долго и нудно осматривали покорно стоящих у нар мужиков и баб, подходили то к одним, то к другим и щупали их руки, осматривали пальцы и тыкали в рёбра и животы.

Когда приказчик подошёл к нам с матерью и повернул её за руку кругом, а потом протянул к ней свою лапу, она, к моему удивлению, отшибла его руку и гневно нахмурилась.

— Это твой мальчишка? — сердито спросил он, щёлкая меня пальцем по лбу и делая страшные глаза.

— Чай, не чужой, — обиженно ответила мать, и я увидел, что у неё задрожало лицо от оскорбления.

Приказчик пошевелил усами в усмешке, пристально рассматривая её, защемив пальцами подбородок. Она в ужасе отшатнулась от него и поставила меня перед собою, словно я мог защитить её от этого длинного человека в кожаной куртке.

Гриша вскочил с места, схватил приказчика за шиворот и, не угадая улыбки, тихо, внушающе сказал ему:

— Ты для чего сюда приставлен? Смотрины устраивать или людей по урокам расставлять? Ежели к этой женщине ещё раз пристанешь, я тебе шею сломаю. Помни.

— Ну, и ты помни, бондарь, — глухо, с ненавистью в глазах, так же тихо пригрозил Курбатов и, будто ничего не случилось, повернулся к закутке перед печью и шепнул что-то подрядчице. Гриша широко улыбнулся и с удивлением оглядел толпу.

— Чего вы, други милые, торчите? Лезьте в свои гнёзда и больше никаких. Распорядителей тут много — замордуют.

Курбатов ухмыльнулся, и глаза его выпучились ещё больше:

— Смутьянишь, бондарь... Управляющий не похвалит тебя за это.

— Знаю, знаю тебя, наушника, — засмеялся Гриша. — Только не посмеешь ты на меня наушничать: со мной играть тебе невыгодно.

А подрядчица сварливо выкрикивала:

— Эй, вы! Кто это там за печкой прячется? Выходи сюда, показывайся! Какие-то приبلудные появились. Кого ты, кашеварка, укрываешь? У меня приبلудников да бродяжек не бывает. Я по контрактам людей вербую. Ну, выходи, винись! Ого, да там двое полюбовников! Сразу вижу — меня не проведёшь: беглянка.

Приказчик насупился, вытянул шею и, отрубая каждое слово, будто малограмотно читал бумагу, лял:

— После... обеда... все... на двор... Каждому... дам... урок... на плот...

Из закуты вышел Харитон с гармонией подмышкой, смело просеменил к Василисе, притворно поклонился ей и пропел голосом нищего:

— Секи повинную голову, госпожа подрядчица. Сама ведь ты, мученица, от любви страдала. Чего же нам сейчас, несчастным, делать-то? Перемени гнев на милость.

Должно быть, ей понравился Харитон и польстил ей своим наигранным смирением. Она захохотала и хлопнула себя по бёдрам.

— Вот так прокурат! Ловкий какой, душегуб! Люблю таких пройдох. Ты где это подхватил такую кралю? Обязательно у мужа украл.

Харитон стоял, понурившись, как виноватый, притворно кроткий и беспомощный.

— Такое дело, госпожа подрядчица, — вздохнув, согласился Харитон. — Обязательно украл бы, да она сама от именитого купца Бляхина упорхнула.

Подрядчица, поражённая, разинула рот, ахнула и взмахнула руками.

— Так это она?.. Так это он из-за неё всю Астрахань на дыбышки поставил? Гос-споди! Дай-ка, герой испанский, на неё поглядеть-то. Как это можно здесь держать её! Ей хоромы нужно предоставить. Вдруг ежели прилетит сюда сам... а она, пожалуйста, — в грязище, в духотище, с мужланами, с бабищами...

Но приказчик сделал строгое лицо, погладил усы, уставился на Харитона, покосился на запечек и что-то начал царапать карандашиком на бумаге.

— Посторонних лиц да ещё беспачпортных... бегунов разных... строго запрещается держать в казарме. Сию же минуту эти безвидные должны оставить помещение.

— Это супруга-то купца Бляхина безвидная? — заорала на него подрядчица. — Да ты с ума спятил! За эти слова Бляхин с тебя шкуру спустит. Иди, дурачина, поклонись ей да прощения попроси.

Гриша весь трясся от молчаливого хохота и лукаво поглядывал на Харитона. Но Харитон притворился, что не замечает бондаря. Он вдруг вскинул гармонию и оглушительно заиграл какой-то залихватский, дробный перебор, наступая на подрядчицу. Сначала она испугалась, а потом раскисла в блаженной улыбке.

— Гармонист-то... батюшки! Фокусник-то какой! Ну, недаром за тобой купчиха увязалась. Да я сама бы за тобой, таким, на край света убежала. Ох, какие мы слабые, женщины! Долго ли соблазнить нашу сестру!

Она так расчувствовалась, что глаза её, спрятанные в жирных мешках, заискрились слезой.

Харитон оборвал игру и медленно начал приближаться к приказчику, впившись в его лицо злыми глазами. Приказчик насторожённо окинул его с головы до ног и ухмыльнулся. Но Харитон медленно, шаг за шагом теснил его вдоль стола, пронизывая обжигающими глазами, а потом помотал пальцем перед его носом.

— Вот какой короткий с тобой разговор. Понял?

Одни уже сидели на нарах, другие залезали наверх. Мы с матерью тоже поднялись в свой тёмный угол.

Подрядчица вдруг всполошилась и схватила за голову.

— А ведь, пожалуй, беды наживу... Как это беглянке-то потакать? Да ведь Бляхин меня, как мокрицу, раздавит. Кто это привёл их сюда?

Гриша встал и ясными, хорошими глазами уставился на неё.

— Я их привёл. Вместе с ними плыли от самой Астрахани. Тебе, подрядчица, придётся на работу их принять: он — мастер на все руки, она — портниха, но лихая на всякую работу.

— А кто будет голову подставлять?

— Я. Да их голыми руками не возьмёшь. А именитый купец их пальцем не тронет.

— Не ты ли купцу-то помешаешь? — заколыхалась от смеха подрядчица и вдруг разбушевалась: — А управляющий? а полиция?

— У него пачпорт есть, а про неё молчать надо. Ты и Курбатову накажи, чтобы язык за зубами держал.

Но Харитон и Анфиса прошли мимо них отчуждённо и гордо и направились с узлами к выходу. Подрядчица проводила Анфису алчными глазами. Гриша бросился за ними, изумлённый и встревоженный:

— Вы куда это, друзья?

Анфиса, не оборачиваясь, весело ответила:

— Пойдём на горку, поищем норку.

Гриша взял их обоих под руку и вышел с ними из казармы.

Подрядчицу словно подхлестнули кнутом: она, подбоченившись, загорланила:

— Ну, загнала я вас сюда, в пески — бежать вам некуда. Запрягайтесь сейчас же в работу: горячее время — путина. Обеда сейчас вам нет: ещё не заработали.

Она подошла к нарам у противоположной стены и рванула клетчатое одеяло. Раскосмаченная женщина, худая, с лицом в красных пятнах, лежала, тяжело дыша, должно быть в жару.

— Эй ты, корова! Ишь разлеглась, как дома... На работу пора. Какая от тебя выгода?

Больная едва слышно пробормотала сквозь стоны:

— Моченьки моей нету... Рада бы, да всё нутрё сгорело... Знамо, я тебе в тягость... Какой от меня толк-то? Может, умру скоро...

Тётя Мотя подошла к нарам, оттолкнула плечом подрядчицу и опять накрыла одеялом больную.

— Горячка у неё. И не ест, и не пьёт. Не мешай душе её маяться.

— Ну ты... коряга!.. — заорала подрядчица. — Знай свою кашеварню.

Но тётя Мотя заботливо покрывала одеялом больную.

В полдень ввалилась толпа женщин, молодых и старых, в коленкорových, очень грязных штанах, и рассыпалась по казарме с криком и смехом.

— Новых приволокли!..

— Ой, девки, теперь в казарме не продохнёшь: как воблы в чану...

Все торопливо копошились на своих нарах, подбегали к плите со своими чашками и ложками и становились в очередь. Тётя Мотя безмолвно наливала каждому из котла ковшиком на деревянной ручке мучную похлёбку из воблы. Так же торопливо женщины бежали к столу, кусая на ходу чёрный хлеб, похожий на колоб. Я смотрел на эту толпу женщин в узких штанах, в разноцветных кофтах, перетянутых в талии, в платках, сколотых булавкой под подбородком. В духоту казармы эти женщины принесли запах сырой рыбы. На штанах у них поблёскивала перламутровая чешуя. Мать сидела неподвижно, поджав под себя ноги, и смотрела застывшими глазами в одну точку. Я чувствовал, что ей тяжело и страшно, что эта казарма, тесно набитая людьми, — наша неволя: уйти отсюда некуда, всюду пески и море. Люди здесь чужие друг другу, и таким, побитым жизнью, как мать или как Наташа, которая лежит по соседству с нами, трудно будет привыкать к жестокому равнодушию людей, к обидам и самоуправству подрядчицы и приказчика. Вон лежит женщина в горячке, и никто не замечает её, никто не подходит к ней, а она мечется в жару и стонет. Только тётя Мотя как будто жалеет её, но и она ничем не может помочь ей, да и сама едва двигает больными ногами. Очевидно, нужно быть такими же отчаянными и смелыми, как Оксана и Галя или как Гриша с Харитоном. И мне вспоминались слова Степаниды и Раисы: «Будь смелее, Настя, не робей: робкими да покорными на ватаге рыбу кормят». Даже Анфиса, вольная, сильная, рядом с Харитоном — и та, должно быть, испугалась

этих людей, обречённых на беспросветную кабалу, и этой охальной подрядчицы с пучеглазым приказчиком.

Около тёти Моти толпились женщины в штанах, с чашками и ложками в руках. Вокруг стола плечо в плечо сидели работницы, хлебали из своих чашек деревянными ложками болтушку и вылавливали разваренные обрывки воблы с костями. Ели и на нарах, и стоя у печи и стола. Мужчин было мало: это были возчики, конюхи, солильщики — семейные. Отдельно от всех, на нижних нарах перед печью, хлебал полхлёбку рослый чернобородый кузнец Игнат в кожаном прожжённом фартуке и с закопчённым лицом. Рядом с ним, скорчившись, сидела очень худая женщина с болезненным лицом. Даже узкие штаны у неё казались пустыми и плоскими, а кофта висела на узеньких плечах тряпицей. Кузнец ел молча и угрюмо, а жена его всё время бормотала что-то надрывно, словно боролась со слезами. Но он, очевидно, уже привык к этому и не обращал на неё внимания. Все женщины — и пожилые и молодые — казались мне одноликими: на всех были одинаковые штаны, заправленные в шерстяные чулки, на всех были одинаковые кофты с перехватом на поясище. Впрочем, девчат можно было отличить от замужних и холостых женщин по платкам, лихо вздёрнутым к затылку и завязанным узлом под подбородком, да по вертлявости и задорно звонким голосам. Пожилые женщины сидели устало и задумчиво, переговаривались тихо и невнятно. Но одна рябая, крупнотелая, высокая женщина с чёрными широкими бровями по-хозяйски бросала взгляд в разные стороны, будто искала тех, к кому можно придраться.

Она облюбовала Оксану и Галю, которые, не стесняясь мужчин, надевали на себя белые штаны с привычной ловкостью.

— Новый красный товар прибыл. Сразу видно, что хохлушки: хорошатся, как индюшки.

Её соседка, пожилая женщина, бледная, длиннолицая, с глубоко запавшими глазами, кротко укорила её.

— Будет тебе, Прасковья, людей-то бесславить!.. Приветить бы их, а ты — на рога... Посовестилась бы, постыдилась бы...

Прасковья насмешливо оборвала её:

— Чай, я не старуха, чтобы совеститься. У тебя, верно, преподобная Улита, грехов-то много, ежели ты грустишь да молишься от стыда. Стыд бабью красоту съедает, старушка. Стыдливых у нас сушат, как воблу, и солят, как селёдку.

Галя охотно откликнулась на насмешку Прасковей:

— Ты, кацапочка, не задавайся: хоть и длиннонога и черноброва, а по годам — не потянуть волам. Не быть макитре глечиком.

За столом и на нарах захохотали. Но Прасковья невозмутимо смотрела на «хохлушек» с пристальным любопытством и улыбалась.

— Девки — по мне, сразу видать. Они и побунтовать непрочь. Хожалые! Настоящие ватажницы!

Смеялись девчата и все, кто был помоложе. Посмеивались и «хохлушки», натягивая штаны.

Все торопливо хлебали болтушку и жадно жевали чёрный хлеб, который издали казался мокрым. Кое-кто подходил к плите со своими чугунками и сковородками: в чугунках варили мучной кисель, а на сковородках жарили в говяжьём сале ломтики хлеба. Кузнечиха тоже торжила у плиты. Кузнец лежал на нарах, и у него смешно торчала сверху борода. Рядом с ним неподвижно лежала девочка моих лет с жёлтыми волосами: она была, вероятно, больная.

Прасковья, большая, стройная, вальяжно прошла к Оксане с Галей и сразу же по-свойски засекретничала с ними. К моему удивлению, они

встретили её с радостными улыбками. Улита, похожая на монашку, опустилась на колени впереди стола, между печью и нарами, закрестилась, забормотала молитвы и стала тыкаться головою в пол. Кузнечиха раза два, словно не нарочно, толкнула её ногой, когда проходила к своим нарам.

— Ишь, место прохожее выбрала! Только под ногами и ползаешь... Ты и богу-то, верно, до смерти надоела, как нам.

Но Улита, не смущаясь, с истовой набожностью крестилась и кланялась в пол.

Мать попрежнему сидела с застывшими глазами. Я бережно потрогал её за плечо и спросил, не заболела ли она, но она не пошевелилась и не ответила.

Подрядчица вышла из своей комнаты и закричала:

— Эй вы, новые! Кончайте переодеваться! Выходите на двор! Выйдете на двор — становитесь в ряд: уроки будем давать, наряжать на работу. Живо!

Всюду, на нижних и верхних нарах, заворошились женщины: затрепыхались сарафаны, замелькали белые штаны. Одни переодевались бойко, привычно и, спрыгивая на пол, форсисто прохаживались, приплясывая, посмеиваясь и оглядывая себя. Другие неуклюже, сконфуженно натягивали на ноги штаны, втискивая в них сарафаны и юбки.

Мать словно проснулась от выкрика подрядчицы и обожгла меня своими странно вспыхнувшими глазами. Она улыбнулась мне, не видя меня, и прошептала:

— Иди... вниз иди!.. Туда... чтобы я видела тебя...

Наташа переодевалась медленно, нехотя, молча, прислушиваясь к себе. Она была, как слепая. С матерью она не перекинулась ни одним словом и об Анфисе будто совсем позабыла.

Гришу я в этот день не встречал.

18

Так началась наша жизнь на Жилой Косе.

Стояли солнечные дни начала октября. Небо было мягкое, голубое, близкое и казалось очень тёплым. Воздух был сухой, звонкий и зеркальный в даях. Море ослепительно сверкало вдали и за жёлтой рябью песчаной отмели чудилось призрачным. И среди этой ослепительной россыпи искр и вспышек огромная чёрная баржа грузно лежала на боку, как мёртвая туша гигантского чудовища, выброшенного бурей из морских глубин. Толстые рёбра торчали из зияющих пустот на приподнятом боку, а на палубе, в тени, переплетались какие-то обломки, покрытые солью, как инеем, и твёрдым знаком прилипал к корме скосившийся руль. Эта полуразрушенная баржа манила меня к себе своей таинственной заброшенностью и жуткой пустотой утробы. Очень далеко на горизонте реяли белые рыбацьи паруса. Казалось, они застыли на месте, греясь на солнце. Над морем трепетали вихри чаек.

Казармы нашего промысла стояли в конце песчаной улицы поселья, а за ними золотыми сугробами и застывшими волнами растлались до самого горизонта пески, мерцающая маревом вдали, и мне чудилось, что где-то недостижимо далеко сияют и волнуются голубые озёра и реки. На этих буграх и сугробах яркими пятнами зеленели тугие пучки каких-то кустарников и колочей травы. Эта жёсткая злая трава росла всюду — и на улице, и на дворе, и даже на камышевых крышах казарм и сараев. И странно было видеть, как среди этих пустынных песков по склонам барханов ползало стадо овец; оно исчезало, опять появлялось, и одинокий человек в рыжем балахоне и остроконечной ушастой шапке, с

длинной палкой в руке, шагал впереди плотно сбитого гурта, потом останавливался и застывал, как призрак, в этой мёртвой пустыне. Или поднимался на курган, садился на его вершине и качался вперёд и назад.

Каждый день по этим пескам шагали один за другим задумчивые верблюды. И низко над курганами кружились коршуны.

Через улицу, за длинным дощатым забором раскидывался широчайшим двором наш промысел. Со стороны моря он был открыт и пологим склоном спускался к прибрежному песку. Направо, примыкая друг к другу, тянулись лабазы с камышевыми стенками, а за ними пластался широкий плот под пологой двускатной камышевой крышей на столбах в четыре ряда. Этот внутренний плот был построен на земле, но пол застлан толстыми досками. Между столбами стояли скамьи, и на них сидели лицом друг к другу резалки в штанах, с багорчиком в левой руке и с ножом — в правой. Они проворно выхватывали багорчиком из трепещущей серебристой кучи рыбу, бросали её на скамью и мгновенно потрошили ножом. Молоки сразу же сбрасывались в деревянный ушат.

Дальше, за плотом, двор был ровный и чистый, а за этой площадкой под прямым углом друг к другу стояли два деревянных дома: один нарядный, с резными наличниками и верандой, другой попроще, с двумя высокими крылечками. В нарядном доме жил управляющий промыслом, сухощавый челоовек в золотых очках и с острой бородкой, с обвисающими усами под тонким, острым носом. Он ходил в коротком сюртучке и чёрной шляпе и смотрел через очки как-то вбок. Лицо его было холодно-равнодушно, а когда встречались ему рабочие и работницы и кланялись ему, он не отвечал на их поклоны и не замечал людей. Я ни разу не слышал его голоса и не видел, чтобы он приходил на плот: говорили, что он брезгует глядеть на рыбу и не выносит её запаха. Но почему-то его все очень боялись, а подрядчица, которая обычно орала на плоту, подгоняя резалок и ругая их за разговоры, шикала на всех, бегая вдоль скамеек, когда видела вдали управляющего, и говорила шипящим голосом, с ужасом в глазах:

— Сам... сам идёт... тиш-ше!.. молчать!..

А резалки злорадно посмеивались, что управляющий её видеть не может и велит ей стоять у порога конторы, когда она приходит по делам.

За открытыми воротами, на береговом песке стоял на сваях другой такой же плот, а по обе стороны от него, на взгорочке, лежали борт о борт лодки. Этот плот оживал, когда ветер пригонял море до самого взгорка и под плотом с шумом плескались волны, а лодки одевались парусами и весёлой толпой уплывали куда-то вдоль берега, скрываясь за песчаным бугром, а потом опять появлялись, полные живой рыбы. Они окружали плот, и рабочие сетчатыми черпаками выбрасывали из лодок рыбу на плот. Подплывали и широкие, утонувшие до самых бортов прозеи — лодки худые, как решето, рыба кишела в них сплошной массой.

Улица тянулась далеко и наконец поворачивала в сторону. Там над камышевыми крышами торчала серо-голубая колокольня. По береговой стороне улицы примыкали друг к другу промысла разных хозяев, а по другой стороне тянулись длинные казармы и дощатые заборы. Посёлок был большой, но в центр его я один не ходил — боялся драчунов и собак. Только позднее, в воскресенье, мы прошли с матерью на базар, перед церковью, на песчаной площади, который кишел народом. Здесь были хорошие деревянные и глинобитные дома с раскрашенными ставнями, с занавесками и цветами на окнах, с двускатными крышами над воротами. По обе стороны площади красовались две пятистенные избы

с высокими крыльчками. На карнизе одного крыльца врезана была вывеска с надписью: «Школа», а на другом — «Волостное правление». Я долго оглядывался на школу и с завистью думал: «Почему другие парнишки учатся, а я нет? Может быть, я лучше всех учился бы?..» Я сказал об этом матери, но она испуганно ответила:

— Рази можно? И думать не думай! Тут богатые учатся. Нам с тобой сейчас купить бы маслица, пшеница, капуста бы аль картошки... а денег-то и нет. На руки-то гроши будуг выдавать, а на остальное в лавке товаром забирай. А что в лавке-то? Та же вобла да постное масло... Ну, чай, сахар, мука ржаная... Как жить-то будем?

Да, нужда заставляла и меня думать, как заработать хлеб и на свою долю: матери выдавали хлеб и воблу на одного человека. А я видел, как она на базаре продала свёрток захваченного с собой холста, чтобы прикупить говяжьего сала, муки и пшена. Я твёрдо решил пойти к Грише и попросить его пристроить меня или в бондарню, или на плот.

Но пока что я болтался без дела: мне, малолетку, не находилось места среди взрослых. Их работа была тяжёлой, требовала сноровки и физической силы. В рыбаки я не годился, как не годилась для обработки мелкая рыбёшка, которая выбрасывалась обратно в море или кучами гнила на берегу. В бондарне все были мастера, сильные ребята, которые одной рукой бросали бочары в штабели. Они легко играли разьыми топорами — изогнутыми и прямыми — и на своих верстаках работали скобелями, как фокусники.

В лабазах в два ряда зияли широченные круглые ямы — деревянные чаны, глубоко врытые в землю. В полусумраке сараев эти огромные дыры чернели, как пропасти. В чанах длинными шестами со скребками на конце двое рабочих размешивали тузлук — крепкий соляной раствор. Соль подвозили на тачках, сбрасывали её в чан, где бурлила под мешалками и кипела пеной грязная жидкость. Рабочие бегом гнали с плота тачки с воблой и сбрасывали её в тузлук. Живая рыба корчилась, судорожно извивалась и быстро сваривалась в этом жгучем растворе.

В первые дни я наслаждался свободой, как чайка. Я никому не мешал и не нужен был никому. И за эти дни я узнал все виды работ на промысле: я искал работу по своим силам и верил в свою понятливость и переимчивость. Вот здесь, в лабазах, я мог бы и мешать тузлук, и солить рыбу. Но на меня орали и тачечники, и солильщики, как только я подходил близко.

Работа начиналась с шести часов утра и продолжалась до семи вечера. На обед давался перерыв на один час. Я вставал вместе с другими: мой ребячий утренний сон прерывался суетой в казарме, говором, грохотом чугунов на плите, зычным криком подрядчицы.

От ночной духоты болела голова, и я чувствовал себя отравленным. Мать, с опухшим лицом, как больная, торопливо натягивала штаны и кофту и казалась мне несчастной. Наташа тоже копошилась в одежде с натугой и с тоской в глазах. Она попрежнему молчала и тяжело думала о чём-то своём.

Все наскоро пили «калмыцкий» чай с остатками вчерашнего хлеба — «сусло из веника», как шутили работницы, — и с ножами и багорчиками выходили из казармы.

На дворе женщины толпились вокруг приказчика и подрядчицы. Предраассветный воздух был свежий и мягкий. Очень чётко скрипели колёса на улице, где-то на соседних ватагах пели женщины. Звенели молотки в кузницах. Как шум прибрежных волн, шелестели соляные мельницы. И несмотря на запах свежей и солёной рыбы, в воз-

духе пахло морем и особым непередаваемым ароматом утра. Эта белоштанная толпа женщин шевелилась, толкалась плечами, невнятно переговаривалась, раздавался девичий смех, и казалось, что все пустятся сейчас плясать в многолюдном хороводе. Мужчины из нашей казармы и из соседнего барака расходились по двору, по лабазам, в бондарню, на укладку рыбы в тару. Резалки шли на плот, а остальные на подвозку рыбы с Эмбы и на помол соли здесь же, на дворе. Мельницы стояли среди влажно-серых курганов соли. Днём её кристаллы поблёскивали на солнце перламутром. В заднем углу двора дымилась кузница, и кузнец в кожаном фартуке брякал железом, ругался, и на фоне бушующего в горне огня его чёрная фигура казалась огромной и крылатой.

На плоту мать сидела на скамье вместе с Марийкой, маленькой девушкой, которая с виду казалась смирной, боязливой, но глаза её, красивые, голубые, с длинными ресницами, хитренько улыбались, и видно было, что она всегда себе на уме. Миловидное личико её, задорно курносенькое, с пухлыми губами, очень привлекало меня. Я любил смотреть на неё, и она постоянно ласкала меня сияющими взглядами. Как опытная резалка, которая работала на этом промысле два года, она сама выбрала мать, вероятно потому, что обе были маленькие, хрупкие и лицом похожие друг на друга. Может быть, своей нежностью, мягкостью, нервным беспокойством и мольбой в доверчивых глазах мать пленила её, и она решила, что нашла себе подругу по душе.

В пролётах между рядами столбов и скамей лежали кучи живой рыбы, которая корчилась, трепыхалась, подпрыгивала, раскрывая красные жабры. Рабочие подвозили на тачках и сбрасывали в разных местах новые кучи рыбы: она всюду сверкала своей серебристой чешуёй. Карсаки в остроконечных шапках багорчиками на длинных черенках считали рыбу, откидывая её в другую кучу рядом: «бер! ике! уш! турт!» Этот их счёт я запомнил быстро вплоть до ста, повторяя за ними странные, неслыханные слова. В длинных верблюжьего цвета балахонах эти скуластые люди с жиденькими бородёнками, с узенькими влажными глазами очень мне понравились: они двигались неторопливо, мягко, сосредоточенно и казались мне добрыми, кроткими. Приказчик орал на них походя и обязательно давал кому-нибудь из них оплеуху безо всякого повода. И они безропотно сносили эти обиды. Я ненавидал приказчика, злился на карсаков за их покорность, и мне хотелось выхватить багор у потерпевшего и ударить им приказчика. Должно быть, он видел, как я негодую, и, сворачивая рот на сторону, целился в меня щелчком или старался неожиданно схватить за ухо. Я злобно отшибал его руку и, сдерживая слёзы, от бессилия кричал:

— Цапля! Журавь! Не трог меня, а то покаешься...

Вероятно, это выходило у меня потешно: резалки хохотали, повизгивая от удовольствия, а приказчик скалил крупные жёлтые зубы. Плотовой, коренастый, краснолицый мужик, с чёрной бородой, похожей на войлок, с пьяными опухшими глазами, в длинном стёганом пиджаке, в высоких рыбацких сапогах, в картузе, надвинутом на глаза, мычал на приказчика:

— Связался верблюд с гаранкой... чертило лихопутное! А ты, людёнок, не вертись тут, не мешай! И без тебя здесь много всякого отброса.

Его боялись не только резалки, но и приказчик с подрядчицей. Когда он проходил по плоту, закинув волосатые руки за спину, с опущенной головой, и косился на резалок и тачковозов, они съёживались, будто ждали от него кулака. И верно, он приказывал и вразумлял не словом.

а кулаком. Я не раз видел, как он, казалось бы тупой и равнодушный, проходил между рядами скамей, минуя карсаков и тачечников, и вдруг кулак его, будто сам собою, вылетал из-за спины и бухал по спине или сшибал шапку с рабочего. Насупившись, с козырьком, надвинутым на нос, этот тяжёлый человек молча тыкал пальцем в пол, отшибал сапогом рыбу или растирал подошвой слизь на полу и шагал дальше. Это значило, что рыбу разбрасывать нельзя, а слизь надо смыть водой. Однажды он ткнул кулаком двух пожилых резалок и так же молча показал пальцем на скамью, запачканную молóками. Женщины заплакали, с лихорадочной торопливостью схватили вёдра и стали смывать грязь со скамьи. Подрядчица кубарем подлетела к ним, раздувая, с синим от ярости лицом, и, брызгая слюной, дико заорала:

— Ах вы, подлюки чёртовы! Дождались самого плотового. Хлеб-то жрёте, а работаете через пень-колоду... и не работаете, а варакаете. Это — не рыба, а грязища. На урок вам по полторы тысячи даётся, вы и над тыщей кряхтите, заварзы.

Женщины молча всхлипывали, склонившись над скамьями. Наташа сидела вместе с благочестивой Улитой. Она тоже была опытная резалка. Работала она как будто медлительно, но споро. Лицо у неё было неподвижно, словно ничего она не видела и не слышала. С Улитой она не разговаривала, да и в казарме на нарах лежала, как немая.

На участливые вопросы матери она отвечала удивлённым взглядом. Только однажды, когда мать спросила её, не больна ли она, Наташа твёрдо и резко ответила:

— Здоровее да сильнее меня здесь никого нет.

Как-то плотовой остановился перед Улитой, ткнул толстым пальцем в её руку, перевязанную грязной тряпицей, и хотел толкнуть её кулаком. Наташа вскочила и схватила его за локоть.

— Рукам воли не давай, плотовой! — сказала она требовательно и спокойно.

Плотовой от неожиданности попятился и с изумлением уставился на неё из-под козырька.

— Чего это? — спросил он озадаченно, словно самого его оглушили ударом. — С какого неба ты свалилась? Здесь кругом вобла, а ты одна здесь щука оказалась.

Он отошёл с обычным равнодушием и ленивой развальцей. Так же бойко подлетела Василиса-подрядчица и задрбезжала:

— Это как же ты посмела-то? С самим плотовым сцепилась, а? Ещё не учёная, да?

Наташа так же спокойно отбила её наскок:

— Руки коротки, подрядчица. Отойди от греха.

— Я тебя, гадину, оштрафую. Охалиться со мной хочешь?

Наташа медленно повернула к ней лицо и пристально посмотрела на неё. Плотовой сейчас же вернулся, молча взял Василису за плечо и усмехнулся.

— Ты, бабья ошибка, прочь отсюда. Мои следы не топчи. Ежели услышу, что девку эту обижать будешь, весь жир твой выдавлю.

А Наташа попрежнему работала, далёкая от всего, сосредоточенная в себе. Улита покорно и смиренно причитала:

— Охрани тебя, владычица, от злой руки. А восставать-то не надо бы, дева... Не нам их судить. Я вот помолюсь за них, мне и легко будет.

Наташа не слушала её.

— Вот молодец девка! — в восторге вскричала Марийка. — Я бы

так не могла — молоденькая очень: меня плотовой-то пальцем перешибёт.

Мать была потрясена и улыбалась с изумлением.

Прасковья, которая сидела с Оксаной, с грохотом бросила на скамью багорчик с ножом, стремительно прошла мимо подрядчицы к Наташе. Ни слова не говоря, она крепко поцеловала её и так же молча пошла обратно, будто не замечая Василисы. Этот случай так взволновал весь плот, что резалки только и толковали об этом весь день.

Запевались горестные песенки. В одном конце жаловались:

На ватаге девки вянут:
Подрядчицы жилы тянут.

А где-то в стороне смешливо глумились над собою:

Больно, девки, слабы мы!
Нас деньгой не балуют.
Сделают нас бабами —
И платком не жалуют.

Мне очень хотелось взять багорчик у карсака, чтобы откидывать по счёту рыбу в кучу у скамьи матери, но я боялся плотового и приказчика: вдруг кто-нибудь из них подойдёт ко мне и треснет кулаком по спине или по шее. Но мне казалось, что я не хуже карсака буду поддевать багорчиком рыбу и отбрасывать её в кучу около скамьи. И карсака мне было жалко: не столько мне достанется, сколько ему. Работал здесь багорчиком Карманка — очень приветливый, с реденькими волосиками на подбородке, в длинном балахоне. Встречал он меня сморщенной улыбочкой и ласково кивал головой. Его смешное имя нравилось мне: в нём было что-то очень простенькое и игрушечное.

Я никак не мог привыкнуть к работе резалок. Она вызывала у меня отвращение. Лежит рядом со скамейкой скользко-холодная серебристая куча рыб, которые корчатся, извиваются, поднимают жабры, выпрыгивают из кучи и бьются об пол. Мать и Марийки безжалостно пронзают их багорчиками и мгновенно разрезают их, так же мгновенно выскребают внутренности и скидывают ножом в ушат. Потом режут наискось спины и отбрасывают, уже мёртвых, обезображенных, в другую кучу. Руки у Марийки и матери выпачканы кровью и слизью. А они будто не замечают ни своих рук, ни рыб, и их проворные движения, повторяемые тысячи раз, совершаются сами собою. Я смотрел на других резалок (а их было на плоту не меньше сотни), и всюду мелькали в моих глазах быстрые взмахи багорчиков и ножей, полёт рыб и белые ноги, обнимающие скамейки. И сгорбленные фигуры женщин, и их лица, скучные и отчуждённые, казались мне неживыми, как у заводных кукол. И я чувствовал, что запевки резалок, сидящих за этой однообразной и противной работой по двенадцать часов, похожи были на крики отчаяния, на плач, на призыв о помощи. Но эти вздохи и рыдания освежали их лица: глаза вспыхивали волнением и какой-то внезапной мыслью. Эти запевки заражали и пожилых женщин, и все наперерыв пели, подбирая новые складные слова, часто острые, терпкие, злые, мстительные, в которых они выражали свою боль, свой гнев и проклятья безрадостному труду. А потом перекидывались шутками, начинался общий беспорядочный разговор — вспоминали прежние дни, облегчённо хохотали, а такие, как Прасковья, кричали на весь плот:

— Товарки! Девки! Не унывайте! Не вешайте носа! Живи, не тужи, веселись назло лиходеям! Выгоняй горе злостью, а сердце утоляй весельем.

И каждая пара резалок с наслаждением вставала со своих скамеек, подхватывала за концы палки полный молóками ушат и вскидывала их на плечи. Они покачивались на ходу, разминая застывшие члены, и через двор шли за ворота, в жиротопню — к дымящей на прибрежном песчаном кургане печи, от которой несло смрадом рыбьего жира.

Карманка долго не давал мне своего багорчика, хотя и хотелось ему удружить мне. Он робко озирался и шептал:

— Ой, плотовой ругат! Приказчик бить зубам... Годи, коли шайтан их угонит.

И вот однажды, когда на плоту ни плотового, ни приказчика, ни Василисы не было, он радостно сунул мне свой багор и прошептал хихикая:

— Считай, малок! У меня свой счёт, у тебя свой счёт.. Оба-два — одно.

Я выхватил у него багор и, повторяя его движения, подцепил рыбу острым крючком на конце черенка и откинул в кучу у скамьи.

— Бер, икэ, ушь, турт, бис...

Карманка был очень доволен и морщился от улыбки.

— Якши, якши, малок!..

Однажды я так увлёкся этой Карманкиной работой, что бойко, как заправский счётчик, гордый своей ролью рабочего, перекинул больше двухсот штук. Я считал уже вслух распевно и звонко. Марийка смеялась и подбодряла меня:

— Ну и работничек! Ах, какой ловкий! Как это у тебя весело да ладно выходит! И нам вольготнее работать!

Мать тоже смеялась и любовалась мною.

Мы не заметили, как к нам подошёл плотовой с закинутыми за спину руками. Из-под надвинутого картуза смотрели на меня хмельные глаза в кровавых белках. Он похож был на старого пса, который с любопытством смотрит на играющего щенка и усмехается усами. Я замер от ужаса и мельком увидел, как побелела мать и втянул голову в плечи Карманка. Но плотовой тяжело и медленно вынес свою чудовищную руку из-за спины и поворошил мои волосы.

— Ладно, ладно, не бойся, людёнок! Расторопно считаешь. Мал золотник, да дорог. Курбатов, дать ему в руки багор — пускай трудится. А Карманке засчитать всю работу.

Но всё-таки не утерпел и ткнул его кулаком в грудь. Карманка от поощрительного толчка пошатнулся и попятился на шаг, хотя и преданно морщился от улыбки.

— Это чей мальчишка? — спросил плотовой с угрюмым благодушием.

Мать встала и дрожащим голосом виновато ответила:

— Это мой, Матвей Егорыч. Работать всё рвётся, без работы оставаться не любит.

— Твой-то твой, а вот он смелее тебя. Ну, чего дрожишь, как колючка на ветру? Мать должна за своё дитё стоять, как волчица. У меня тоже такой вот вертун. В школу ходит.

Плотовой отвернулся и грузно пошагал вдоль плота, заложив руки за спину и уткнув бороду в грудь.

Плотовой — это грозная, неограниченная власть хозяина на плоту. Приказчик и подрядчица — его холоуи. Подрядчица доставляет работниц и отвечает перед плотовым за исполнительность и мастерство нанятых ею женщин. Она берёт подряд на подбор и доставку на промысел многолюдной ватаги резалок и укладчиц, солильщиков и икряников, и выжимает из них все силы за двенадцать часов ежедневной ра-

боты. Если работницу или рабочего сваливала болезнь и они в жару метались на нарах, за такой прогул с них вычитался их дневной заработок. Больных не лечили. Их кормили товарищи, а ухаживала за ними тётя Мотя. Приказчик каждое утро распределял людей на работе, следил за порядком, за ходом всех видов работ, за их непрерывностью: доставленная на одноколках или в моряну на лодках рыба сортировалась, пересчитывалась, развозилась на тачках к скамьям резалок, обработанная рыба отвозилась в чаны для засолки. Так проходила работа в осеннюю пугину — в те дни, когда мы поселились на Жилой Косе.

Подрядчица распоряжалась своими ватажницами, как ей хотелось: это были её рабыни. Она могла выбросить из казармы всех, по её мнению, нерадивых, она вычитала с больных за каждый прогульный день и не выдавала положенный паёк. И все дышали лютой ненавистью и к подрядчице, и к приказчику, и к плотовому. Но эта ненависть была задушена страхом перед самовластием плотового и подрядчицы. Каждая женщина дрожала за свою судьбу: вдруг чем-нибудь не угодит им или заболит — и будет обречена на голод или на безработицу.

Узнал я это из разговоров работниц в казарме, а потом был свидетелем событий, которые произошли поздней осенью — в бурю, в холод и непогоду.

Когда плотовой распорядился выдать мне багорчик, мать со страхом в глазах поманила меня к себе и, озираясь, прошептала:

— Беги скорее отсюда! Замают тебя. Приказчик-то вцепится в тебя и измываться будет.

— Да ничего! — радостно утешал я её. — Мне хочется. Чай, мне за работу-то платить будут.

Марийка лукаво засмеялась, но сказала сердито:

— Кто это тебе сказал, что платить будут? Они рады, что лишнего карсака не наймут, а деньги себе в карман положат. Ты не знаешь, какие тут волки. Уж ежели сунут тебе багор — и отдохнуть не дадут. Беги-ка отсюда, пока не пригвоздили тебя этим багром-то.

— Вот ещё! — запротестовал я. — Маленький я, что ли? Я, чай, не сробею. Увидят они, как я работаю, похвалят, тут я им и скажу: я не хуже Карманки работаю — давайте мне жалованье.

— Ух какой ты прыткий, герой! — опять засмеялась Марийка. — Вот погляжу ужю, как ты воевать будешь!

— Уходи, уходи! — нетерпеливо шептала мать. — Беды с тобой не оберёшься...

Карманка морщился от улыбки и одобрительно кивал мне остроко-нечной бараньей шапкой.

В эту минуту приказчик крикнул издали, потрясая багром:

— Мальчишка! Эй! Беги сюда, бери багор! Будешь здесь считать рыбу.

— Вот! — упала духом мать. — Видишь, до чего достукался? Теперь там тебя затуркают.

Но я уже бежал к приказчику вприпрыжку, довольный, что получу свой урок, как самосильный работник. Курбатов ткнул мне в руки багор и свирепо оглядел меня.

— Благодарю плотового, Матвея Егорыча: огнёсья к тебе, чтобы не шатался без дела. А ты, чай, и считать-то не умеешь. Тут на каждую скамью две тыщи надо.

— Я ещё больше умею, — храбро похвалился я, — тыщу-то я без отдышки просчитаю.

Приказчику, должно быть, показалась забавной моя смелость: он вытаращил на меня налитые смехом глаза, и в них увидел я какой-то

злой задор. Такую злинку в глазах я замечал у наших деревенских парней, которые стравливали нас, малолеток, на драку. Этого Курбатова я возненавидел ещё в первый день, когда он обидел мать. Чувствуя, что он хочет сделать мне какую-то каверзу, я попятился от него с багром в руках и опасно нахмурился.

— Ну, начинай, шемай! Вот тебе косяк рыбы, отсчитывай её к скамье Прасковей-Пятницы. Рыбу будут подвозить на тачках. Я проверю, как ты считаешь. Только знай: я тебе не только ни копейки не заплачу, а и этого вот судачка не дам. Тебя никто не нанимал: ты сам по охотке напрашивался. А отвечать за урок должен, как заправский мужик.

Я поплевал на ладони и стал перекидывать рыбу из судорожно-кишащей кучи к скамье Прасковей. А она и Оксана поглядывали на меня и посмеивались. Курбатов стоял, покручивая и подёргивая жёлтые усы, и следил за моим багром.

— Ты зачем, мальчёнш, цену нам сбиваешь? — строго упрекнула меня Прасковей. — Кто тебя надоумил поперёк артели итти? Урок-то труда стоит, а труд награды просит. Брось багор и беги: они на даровых работников охочи, как судаки на шамайку.

А Оксана мечтательно пропела:

— Ах, как я побежала бы с тобой, хлопчик, моряну встречать! И зачем тебе рыба? Этот дылда тебе хребет поломает.

Она махнула ножиком в сторону Курбатова. Приказчик погрозил ей пальцем.

— Не грози, пугало! — озорно осадил его Прасковей. — Верблюдом видом страшный, да дурашный.

Но я не слушал их: мне нравилось считать рыбу багорчиком. А багорчик плотовой распорядился дать мне, как Карманке, который работал здесь, должно быть, давно. Он издали смотрел на меня и поощрительно кивал своим колпаком, и я чувствовал, что он подружился со мной, что он радуется моей смелости, что в этой его доброй улыбке готовность помочь мне и обещание не дать меня в обиду. Он что-то внушал матери и тоже улыбался ей, кивая головой. Но когда к нему обернулся Курбатов и показал ему кулак, Карманка испуганно согнулся и начал быстро работать багром. А я уже знал, что Прасковей с Оксаной заинтересовались мной, что им любопытно следить за моей прыткой работой, что они и потешаются, и любят меня мною. Только подрядчица сварливо забубнила, брезгливо оглядывая меня.

— На плоту-то я людьми распоряжаюсь. Ежели плотовой этого щенка в расчёт мне подсунет, я с матери взыщу.

Сначала я опасно следил за приказчиком, который задумал сделать что-то нехорошее со мною. Но потом так увлёкся переброской рыбы багорчиком из кучи в кучу, что приказчик и подрядчица как-то размыслились и исчезли, и я их больше не ощущал около себя. Когда я оглянулся, они стояли далеко в задней части плота, около низкого борта огромного чана. В разных местах резалки надрывно распевали запевки. О чём-то бормотали Прасковей с Оксаной. Я не слушал их, считая уже вторую сотню. К моим босым ногам вдруг ринулся густой поток живых судаков, они забились на полу, извиваясь и подпрыгивая, скользкие, холодные, с разинутыми зубастыми пастьями. Волосатый мужик в длинной рубахе уже откатывал тачку обратно, а старик татарин в тюбетейке на бритой голове катил другую тачку живой рыбы. За ним напирал на ручки тачки третий молодой парень, курносый и губастый. Он с насмешливым изумлением вытаращил глаза и разинул рот.

— О! Три одра на одного комара... Завалим тебя рыбой, затынет

тебя тряси́на, а резалки тебя обработают, как судака. Что за умора — комары в ход пошли?

Оксана весело блеснула глазами и засмеялась.

— Этот наш хлопчик бросает рыбу, как танцует, а считает, как поёт.

Прасковья улыбнулась мне ласково, притянула за руку и шепнула:

— Ты не очень-то старайся. Приказчик хочет над тобой потешиться. Ему, лоботрясу, от скуки нечего делать, как над безобидным поиздеваться. Ты считай ни шатко ни валко, чтобы из силёнки не выбиться.

И она уже не казалась мне грубой и взбалмошной бабой, которая задирает каждого, кто ей попадётся. И вдруг она прижала меня к груди и со слезами в глазах выдохнула с болью:

— Милый мой! У меня был такой же мальчик, как ты, и такой же кудрявенький. Умер здесь, в казарме. В третьем году сгорел в горячке. Приварил меня к своей могилке в песках. Ты не думай, родненький, что я злая. Я это за него да за свою жизнь мщу всей этой ватажной сволочи. Всех я их, кровососов, ненавижу... и житья им не дам!

— Прасковья! — испуганно прошептала Оксана. — Идут щучьи морды...

Приказчик защеми́л мне пальцами ухо и дёрнул к себе.

— Кому багор дали?

В первое мгновение я очень испугался, а потом инстинктивно ударил его пинком между ног. Он охнул, вырвал у меня багор и замахнулся им, бледный от бешенства. Я услышал истошный крик матери и увидел, как Прасковья вскочила со скамьи и вцепилась в его руку.

— Моего сына сожрали, и этого хочешь растоптать? Не дам! Живодёры чёртовы!

Прибежала мать и, с помертвевшим лицом, с безумными глазами, потащила меня за руку. Оксана сидела, усмехаясь, и спокойно резала судака. Резалки со всех сторон плота смотрели на нас с любопытством и тревожным ожиданием.

Марийка встретила меня сдержанной усмешкой и, работая багорчиком и ножом, пошутила:

— Ну, мальчик-с-пальчик, наработался? Ты, оказывается, и подрагаться охочий. Хорошо, что тебя Прасковья выручила: она с горя ничего не боится. Этого тебе приказчик не спустит, а матери из-за тебя придётся попрыгать, как рыбки на сковородке. Ну да всё-таки молодец!

Потемневшие и лихорадочные глаза матери смотрели пристально и странно, словно не узнавали меня.

Целый день до темноты я бродил по прибрежному песку. Он растянулся широким и ровным полем и, мерцая, сливался с блистающей полосой моря у горизонта. Небо было бездонно-синее, кроткое, родное, будто оно пришло сюда вместе со мною из деревни. И воздух был такой чистый и прозрачный, что на далёких песчаных курганах отчётливо видны были ветки мелкого кустарника и яркозелёные колючки. На одном из курганов стоял коричнево-пёстрый коршун и лениво чистил клювом свои крылья. А по дороге между курганами скакали лошади, запряжённые в одноколки с широкими ящиками на колёсах. Белоштантные девчата сидели впереди на ящике, свесив ноги, и, подпрыгивая на ухабах, шлёпали лошадёй вожжами. Это возили с ерика рыбу на промыслы.

С моря дул свежий ветер, тёплый и влажный. Далеко над морем реяли чайки. Мёртвая баржа попрежнему лежала на боку, огромная и таинственная. Направо, за нашим промыслом, перед посёлком, на таком же золотом песке бегали мальчишки и голенастые девчонки. И я

видел, что они играли радостно и самозабвенно. А я иду по сыпучему песку, к морю, такой же покинутый, как эта баржа, и у меня нет товарищей. На плоту я хотел работать с охотой и облюбовал работу по своим силам и по душе: мне нравилось размеренное перекидывание рыбы. Там на плоту много людей, и каждый делает своё дело привычно, ловко, без передышки — все и каждый связаны друг с другом, одна работа зависит от другой: резалки попарно колышутся на скамьях, и руки их проворно повторяют одни и те же движения и багорчиком и ножом; счётчики, такие, как Карманка, бросают им рыбу багром бойко и без промашки; рабочие подвозят на тачках и выплёскивают вдоль плота всё новые блистающие серебром кучи живой, трепещущей рыбы; подбегают другие рабочие с тачками, подгребают широкими черпалками обработанную рыбу и увозят её в лабазы. На плоту много суеты, движения, всюду — говор, песни, смех. Я добился и своего багра, и своего урока, но приказчик хотел только поиздеваться надо мною: мой трудовой порыв он превратил в потеху.

В этот день я не обедал: противно было думать о еде, о людской толчее и духоте в казарме. Ненависть к приказчику и подрядчице гнала меня дальше от промысла. Невыносимо было встречаться с ними, да и опасно: я чувствовал, что такие люди, как приказчик или Василиса, привыкшие властвовать над подневольными людьми, не спустят отпора и самозащиты. От них постоянно надо ждать внезапной расправы. Я никому не мешал и был рад удружить всем, мне хотелось поработать в общей артели, а меня сразу поймал на этом плотовой и думал помытарить Курбатов. Ведь я видел, как он приказал рабочим подвозить рыбу на тачках только ко мне. Он хотел поиграть со мною. Значит, здесь с работницами и рабочими один разговор — толчки плотового, грубая брань, удары багра Курбатова и охальные окрики подрядчицы. И люди сносят это потому, что боятся, как бы их не выбросили с промысла на нищенство и неприютность. Астрахань далеко, а здесь — море и сыпучие пески без конца и края. Все работают от темноты до темноты, не разгибая спины, и только в час обеда срыжуются со скамеек, бегут с плота на двор с криками и начинают кружиться и плясать. И я вижу, что кружатся они и пляшут, сбиваясь в толпу, не потому, что им весело, а потому, что болят спины, затекли ноги и одеревенели руки — надо размяться, разогреться, подышать свободно. Под плясовые выкрики все идут к воротам, в казарму, и тормозятся, взмахивают руками, толкая друг друга, извиваются в пляске.

Вечером тоже долго работали при тусклых фонарях, и на плоту в полумраке резалки шевелились, как призраки. А когда дробно и долго заливался колокол — конец работы — и на скамью падали багорчики и ножи, наступала тишина короткого ожидания, и вдруг чей-то голос требовательно запевал:

Госпожа наша подрядчица!

И все подхватывали с нетерпеливой настойчивостью:

Ах, не пора ли шабашу нам давать,
Шабашу давать, на ужин отпустить?

Все вскакивали с мест, чувствовалось, что эти женщины сейчас свободны, и ни плотовой, ни подрядчица не в силах заставить их дольше работать. Их песня разносилась по двору уверенно, в ней звучал смех уставших, но сильных в своей сплочённости женщин:

Наши щи приустали кипучи,
Нашу кашу во полон взяли,
Чашки, ложки воевать пошли.

И не дожидаясь разрешения подрядчицы, все скопом, с ножами и багорчиками в руках выходили на двор и толпою направлялись к воротам. Тут они уже не боялись ни плотового, ни Василисы, ни Курбатова, чувствовали себя вольно и распоряжались собою, как хотели. Так же, как и в обеденный перерыв, они начинали кружиться, прыгать, с хохотом и визгами шлёпать друг друга, обниматься, бороться, плясать. Песня не угасала до самой казармы, и слова её, дерзкие и озорные, выкрикивались с разудалым вызовом:

Все пойдёте щи да кашу выручать —
Чашкам, ложкам воевать помогать.
Плотовому обломаем кулаки,
А с приказчика сдерём-сорвём портки.

Улита сокрушённо трясла головой и стонала:
— Ах, охальницы, ах, безбожницы! И страху-то у них нет.. И наказанья-то не боятся, отчаянные...

Но и сама не могла сдержать улыбки.

Поводырём впереди, приплясывая, выкрикивая самые озорные и терпкие слова, всегда шла высокая, небоязливая Прасковья.

19

На плот я не ходил несколько дней: опасался приказчика и Василисы. Я видел их в казарме каждый день утром и вечером, но там я сидел на своих нарах — наверху — и смотрел вниз, как скворец из скворечницы. В полумраке я перечитывал свои книжки — «Руслана» и «Робинзона». Каждый раз, как только я открывал страницу, мне улыбались милые лица Варвары Петровны и Раисы. Книжки оживали в моих руках и говорили голосами этих женщин. Я встречал и Руслана и Робинзона, как своих друзей: я сроднился с ними, любил их, и мне иногда казалось, что это я сам в доспехах скачу на коне, сражаюсь с богатырями и побеждаю Черномора или, одетый в козью шкуру, вольно хозяйничаю на острове, доблестно расправляюсь с людоедами и освобождаю Пятницу. Черномор и людоеды превращались то в купца Бляхина, то в плотового, то в приказчика, Нанна — в подрядчицу, а Людмила — в Анфису, в Наташу, в мать или сразу во всех женщин в казарме. Меня накрывала необъятная волна сказочных видений и уносила в волшебный мир мечты. Я наслаждался свободой Робинзона и бродил с ним по острову среди густых зарослей невиданных деревьев, где нет ни плотовых, ни приказчиков, ни подрядчиц. Всюду играет солнце в пахучей листве деревьев, поют птицы и разговаривают со мной попугаи, похожие на цветы. Но особенно очаровал меня Руслан, непобедимый витязь. Музыка стихов наполняла мою душу напевами неслышанной красоты и таким волнением, что часто я вскрикивал и стонал от потрясения. Меня будила тётя Мотя.

— Аль ты заболел, Федяша? Ведь от этого нашего хлеба-то да сухой воблы и верблюд занедужит.

Но я торопливо успокаивал её:

— Нет, тётя Мотя, я ничего... Это я книжку читаю.

— Да что это за назола какая, книжка-то твоя? А ты брось её—дайка я в печке её сожгу. Видишь, какая от неё вереда!

— Сроду не дам! — негодовал я. — Книжки-то эти к иконам надо ставить, — вспомнил я слова швеца Володимирыча.

Больная женщина на нижних нарах металась в жару и нудно стонала. Тётя Мотя подходила к ней, давала ей пить, накладывала на голову мокрую тряпицу и со скорбным лицом садилась рядом с нею.

Каждый день я заходил в бондарный корпус на плотовом дворе. Это был длинный сарай, который тянулся до половины двора. К нему примыкал склад клёпок и обручей, похожий на плот: под камышевой двускатной крышей на столбах громоздились штабели досок и пучков, тонких ореховых и берёзовых палок для обручей. В просторной мастерской без потолка и в переплётках перекрытий, в ворохах кудрявых стружек, среди клёпок и бочар возились бондаря в холщёвых фартуках: одни из них сидели на своих верстаках и щёлкали башкастыми тисками и скоблили клёпки и обручи, другие тесали изогнутыми топорами трости, третьи набивали обручи, и ладный, плясовой стук вторил бойкой суетне мастеров. И обязательно меня встречала разливная песня молодых, задушевных голосов. Бондаря славилась, как хорошие песенники, их любили за весёлый нрав и шутливость. Да и лица у них были, как у лихачей-кудрявичей. — ясные, жизнерадостные, и держались они дружно и независимо. Резалки часто ходили к ним в казарму послушать и попеть с ними песни и поплясать под гармонию.

Когда я входил в этот размашистый простор сарая, с высокими и широкими окнами в частых переплётках, меня встречала буря грохота, визга пил, кашель верстаков, тяпанье топоров, барабанный бой молотков и многоголосый говор, смех и песни.

Гриша, кудрявый, белолицый и румяный, ещё издали встречал меня улыбочкой и кричал:

— А-а, Васильич, нагрязнул! Топорик-то свой принёс? Что же это ты, братец мой? А я тут уже расславил, что ты у меня подмастерьем будешь. Ну, как твои дела?

Я рассказывал ему о своей незадачливой работе на плоту, о том, как Наташа вцепилась в кулак плотового, как Прасковья помешала Курбатову ударить меня багром. Гриша смеялся, словно ему было очень забавно слушать эти новости. Он подмигивал Харитону, а тот понимающе поглядывал на меня и усмехался.

— Значит, он тебя за волосы, а ты ему в пах? Ловко. Хвалю, что не заплакал и дёру не дал. А Натку я знаю, она сейчас такая злая, что себя не пожалеет. Даже Анфиса удивляется: совсем другая стала Наташка.

Я спросил его, где они живут с Анфисой. Он переглянулся с Гришей и, озираясь, сказал неприветливо:

— Живём и дышим, ходим по крышам.

Гриша резал уторы в собранной бочаре и, как нарочно, громко шоркал своим инструментом по клёпкам. Вдруг он оборвал работу, наклонился ко мне и испытующе-строго предупредил:

— Ты, Васильич, про Анфису — молчок. Играть играй, книжки читай, а друзей не замай. Догадался, о чём говорю?

— Чай, не маленький, — обиженно протестовал я.

— То-то! Потому и калякаю с тобой, Васильич, что ты догадливый.

Я уже давно уразумел смысл таких предупреждений: молчание — неотразимое оружие в борьбе и самозащите.

— Ты, дядя Гриша, не говори. Я — опытный. А в решето воду не льют, — вспомнил я чьи-то слова. — Самосильных в зыбке не качают.

Гриша засмеялся и потрещал меня по плечу.

— Гляди, Харитон, какой у нас Васильич-то... житейский парень!

Харитон уже улыбался мне тепло и доверчиво.

— Чую.

Он встряхнул мою руку и серьёзно сказал:

— Вот у нас с тобой и полюбовный союз. Когда можно будет, приходи с Григорием в гости. Анфиса рада будет с тобой покалякать. А сейчас мы живём, как мыши под полом: того и гляди, какой-нибудь шкодливый кот заберётся.

И он стал уверенно и ловко обрубать пластину для обруча. Двумя— тремя ударами топора он сделал защепы, связал обруч, надел его на бочару и осадил обухом. А Гриша опять зашоркал своим уторником по внутреннему краю бочары. Мне не удавалось разговаривать с ним в казарме, хотя он не забывал посмотреть на наши нары и по-дружески крикнуть мне:

— Моё почтение, Васильич!

Обычно он приходил с работы позднее всех и не садился ужинать за стол, а брал ломоть хлеба, густо посыпал его крупной солью, шептался о чём-то с тётей Мотей у плиты и брал из её рук кружку калмыцкого чаю. Иногда он походя перехватывал мать, оттеснял её в сторону и о чём-то горячо разговаривал с ней, а она смотрела на него широко открытыми глазами и вся светилась. Улыбка долго не угасала у неё в глазах. Гриша вскоре уходил из казармы и возвращался поздно ночью, когда все уже спали.

Как-то встретил я на плотовом дворе Карманку. Он вёз тачку с икрой в лабаз. В своём длинном балахоне и сыромятном колпаке он казался смешным и чужим здесь.

— Зачем не шёл на плот, малай? Не бойся — никто не тронет. Не дадим обидам.

Этот добрый карсак всегда трогал меня своей незлобивой и детской простотой. Его беззащитность, благодушная покорность и кроткая необиличность на толчки плотового и приказчика, на их брезгливое презрение к нему и к другим карсакам и возмущали меня, и возбуждали жалость к этим терпеливым людям. И странно, в их мягких и кротких лицах и узеньких живых глазах я видел какую-то непонятную мне мудрость. Его обещание не давать меня в обиду рассмешило меня: как он может защитить меня, если сам не в силах защищаться?

— Тебя самого, Карманка, обижают. Плотовой-то тебя кулаком угощает, а ты ему шею подставляешь.

Карманка лукаво щурился.

— Пускай тыкает: ведь шеям да спинам — открытый. Сердцам — закрыта, душам прячем. Правдам живём, правдам своё берем... Погоди-ка!.. Наш народ умнай. Ты — храбрый. На плоту бабы за тебя дракам идут, а у карсак душам играт.

Мне нравилась его безмятежность и умная жизнерадостность. Он не унывал, не чувствовал себя затравленным. В нём таилась какая-то своя устойчивая сила, своя правда и неомрачённая вера в человека. Его бесчисленные морщинки постоянно играли ласковой улыбкой, словно он видел во мне и в женщинах что-то очень хорошее, неугасающее, и радовался, как ребёнок. И было странно видеть эту тёплую улыбку в то время, когда работницы и рабочие надрывались, чтобы выполнить свои уроки — ведь каждой из них нужно было обрабатать до двух тысяч рыб, а каждому рабочему подвезти сотни тачек. И мне казалось, что Карманка видел в лицах резалок и тачечников особую живую силу, о которой они не догадывались, но которая ему была ясна и понятна.

Эта встреча с Карманкой как будто вылечила меня от гнетущей подавленности и тоскливой оторопи перед приказчиком и подрядчицей.

Однажды я пошёл со своим «Робинзоном» на берег. Недалеко от ворот промысла, на песчаном обрывистом бугре, покрытом колючками и жёстким кустарником, стояла закопчённая печь жиротопни. Она постоянно дымилась. Рядом с ней громоздились пузатые бочки. Жиротоп Ермил — тоже закопчённый и пропитанный жиром старик с длинным черпаком в руках, плаксиво морщился от дыма и переливал из бочки в бочку густой, как мёд, рыбий жир. Я не мог привыкнуть к смраду жиротопни, который разносился по берегу, и бегом пронёсился через это отравленное место на золотую песчаную гладь побережья.

В этот день я заметил, что море — совсем недалеко, и волны белыми барашками бегут к барже и бунтуют вдоль её днища. Волны мчались из туманной дали, кипели пеной и широким наплеском обливали песок. Направо, за береговым плотом бежали по песку мальчишки и девчонки, перегоняя друг друга, и весело кричали и смеялись. Они неслись прямо к барже — должно быть, как я, встречать море. А с моря вместе с волнами дул ветер, тёплый, упругий, в пряных запахах морской воды. Над морем и над песчаными далями летели стаи белых облаков. По песку ползли навстречу мне пепельные тени. А я, завернув выше колен штанишки, с книжкой в руке бежал по мягкому рассыпчатому песку и чувствовал себя лёгким и крылатым. И мне чудилось, что я — Робинзон, что баржа, лежащая на боку, разбитая и израненная, — мой корабль, с которого я смыт волнами и выброшен на берег.

Я повернул к барже, чтобы пристать к бежавшим ребятишкам и, задыхаясь от беспричинной радости, смеялся и солнышку, и облакам, и ветру. Вот они передо мною — дикари, я сейчас настигну их, испугаю, и они бросят одного — вон того маленького человечка, которого тащит за руку парнишка побольше, а я захвачу его и назову Пятницей. Но вдруг я задел за что-то ногою и с разбегу брякнулся в песок. Я хотел вскочить, но на меня упал и перевернул на спину парнишка. Не успел я очухаться, как он оседлал меня и надавил кулаками на грудь.

— Живота или смерти?

Поджарый, большеголовый, коротко стриженный, он злорадно впиался в меня острыми глазами. Должно быть, он изо всех сил догонял меня, потому что дышал запалённо. Я ткнул его кулаком в губы. В глазах его вспыхнуло изумление. Я вывернулся, обхватил его шею и прижал к себе. Мы яростно начали бороться, катаясь по песку. Он задыхался и старался схватить меня за горло. Но я оказался сильнее его: мне удалось сесть на него верхом и прижать руки его к песку. И как он ни извивался, как ни старался обмануть меня — ничего у него не выходило. От этого он слабел ещё больше. Глаза его наливались отчаянием. Он вдруг обмяк и словно проснулся: пристально вглядываясь в моё лицо, он как будто недоумевал, почему очутился подо мною и почему я, незнакомый парнишка, сижу на нём, прижимая его руки к песку.

— Живота или смерти?

Раздувая ноздри, он молчал и продолжал рассматривать меня с удивлением. На губах у него была кровь. Вдруг он улыбнулся и примирительно проговорил:

— Слаюсь. Ты — ловкий и не трус. Будем дружить.

Но я не доверял в таких острых положениях мальчишкам: обычно они коварны. Чтобы проверить его, я ещё сильнее прижал его руки к песку и сказал:

— Докажи, что ты не обманщик.

— Ну, вот ещё! Раз я сказал, значит верно. Я всегда держу своё слово. Я буду лежать и рук не подниму, а ты вставай. Сам увидишь.

Я быстро вскочил на ноги и стал смахивать с себя песок. Он немного полежал, а потом встал и с той же хорошей улыбкой протянул мне руку.

— Мир и дружба.

Я встряхнул его руку и тоже сказал с горячим порывом:

— Мир и дружба. — И спросил удивлённо: — Откуда ты взялся?

Голос у него был немного хриплый, как будто простуженный, но тёплый, искренний:

— А я пришёл из школы и побежал моряну встречать. Вижу, знакомый мальчишка. Дай, думаю, проучу его: какое он имеет право по нашему берегу бегать? Ну и припустился за тобой. Да ты чей, откуда?

— Тутошный, из казармы. А ты откуда? Я тебя никогда не видал.

— Ну, сказал тоже!.. Я на промысле-то живу давно: не помню даже, когда сюда привезли меня. Мой папаша плотовой здесь.

Он сразу стал мне неприятен, словно в нём я увидел отражение его отца. Невольно я отшагнул от него.

— Ты что надулся?

— А то... Твой отец на плоту кулаком карсаков да резалок туркает.

— Ну так что? У него должность такая.

— Это бить-то — должность?

— Ну да! — убеждённо крикнул парнишка. — Чтоб боялись все, чтоб все хорошо работали. А то норовят хозяину поменьше, а себе побольше.

Это было уже враньё: я знал, что работницы и рабочие не могли взять себе ничего, а трудились с раннего утра до позднего вечера, не разгибая спины. Как же это резалки и рабочие могли обирать хозяина? И как это они могли работать меньше, чем им задано по уроку? Парнишка явно клеветал и на работниц, и на карсаков. Свои небылицы он болтал, должно быть, с чужих слов. Он оскорблял не только резалок, мать и Карманку, но и меня самого, потому что я был неотделим от них и сам едва не испытал на своей спине ударов багра.

— Ты дурак! — возмущённо крикнул я, сжимая кулаки. — Твой отец только и ищет, кого бы припаять кулаком. И приказчик такой же злой: он хотел и меня багром огреть, да я его пиннул. Ты не был на плоту и ничего не знаешь.

Он побледнел и в первый момент не знал, как отразить моё нападение. Глаза его то таращились на меня, то щурились, веки болезненно дрожали.

— Как ты смеешь ругать моего отца! — угрожающе проговорил он, наступая на меня и засучивая рукава. — Он начальник над рабочими. А тебя раздавит, как таракана.

Я уже ненавидел его, как врага.

— Ну, нечего языком трещать. Столковались! — вызывающе крикнул я и засучил рукава. — Мне, брат, не впервой тузить таких хрульков, как ты.

— Я тоже, брат, не один раз давил таких клопчат, как ты.

Он даже посинел от злобы, глаза его обжигали меня.

— Ха, сам признался, что клопобой, — ядовито засмеялся я. — У тебя смелости хватает только на клопчат. Твоего отца не побоялась и Наташка: за руку его схватила. У него кулак-то только на прибитых гораздый.

— Не смей хаять моего отца! — крикнул он с искажённым от бешенства лицом и затопал босыми ногами. Он замахал кулаками передо мною, но я отшиб их.

— А ты не смей хаять резалок и мою мать! Становись! Готовь кулаки-то, клопобой!

Я стал перед ним с кулаками наготове, как бывало в деревне, а он набросился на меня, как слепой. Я увернулся от него, и кулаки его замахали в воздухе. А когда он хотел повернуться ко мне, чтобы опять ринуться на меня, я с размаху ударил его по щеке. Мой кулак, должно быть, оглушил его: в глазах у него вспыхнул испуг, а сухошавое лицо задрожало. Он стал извиваться около меня, и в какой-то момент ему удалось толкнуть меня в грудь, а я, как опытный боец, бил наверняка. Он был старше и выше, но драться не умел и махал кулаками зря. Лицо его покрылось пятнами от моих ударов. Раза два он больно ударил меня по голове и по плечу. Я тоже рассвирепел и, уже не рассчитывая ударов, бросился на него всем телом. Мы вцепились друг в друга, забарахтались и шлёпнулись в воду. Нас накрыла холодная солёная волна. И в тот же момент я услышал вокруг себя кипение и плеск воды, которая мчалась на нас, как большая река.

— Моряна нагрянула! — крикнул парнишка. — Бежим скорее к берегу! Она, знаешь, как несётся? Сразу же нахлынет и проглотит.

Он схватил меня за руку, и мы побежали обратно к промыслу. Вода неслась бурно, волны уже прыгали и пенились выше колен, а позади подгоняли друг друга, перекачивались и клокотали брызгами и пеной. Волны, зелёные, прозрачные, обгоняли нас, звенели, смеялись, торопили сами себя, вскипали и рассыпались брызгами и пеной. Ветер упруго подгонял нас и посвистывал в ушах. Нижняя часть баржи уже погружалась в воду, и волны хлестали в её израненный бок, взлетали вверх, сверкали радужными вспышками и исчезали в чёрных проломах. Чайки с натугой летели навстречу солнечному ветру, падали, взвивались кверху и визгливо перекликались: «девки-и! товарки-и!..»

Мне стало вдруг легко и радостно на душе, и я, перегоняя зелёные волны в кружевах пены, перепрыгивал через них и смеялся. Смеялся и парнишка. Он сжимал мои пальцы и покрикивал:

— А здорово дерёшься... и бежишь здорово! Будем дружить... Дураки мы с тобой: дрались и забыли, что у нас был мир. Наддай сильнее! Видишь, где моряна-то? Далеко уже удрала. Надо её перегнать. Ежели не перегоним, волны нас в спину будут хлестать.

— Пусти руку-то! Давай вперегонки! Вот так вода! Вот так чудо! Откуда только она хлынула? Словно живая.

— Ну да, живая. Это же — море, — убеждённо кричал парнишка стараясь перекричать шум и плеск волн: — Не живое-то не рвётся к берегу. Видишь, какое оно многоголовое? Видишь, как оно рты разевает и зубами играет?..

— Да ведь это в сказке чудища-то многоглавыё, — возразил я неуверенно. — В сказке-то есть и другое: тридцать витязей прекрасных выходят из волн, а с ними дядька их морской...

— Ну, это где-нибудь там, а у нас здесь — просто: мчится на берег прорва чертей, когтями в песок впивается и грызёт, и гложет...

Я не возражал ему: может быть, он видит то, чего не могу по-новости видеть я. Может быть, черти в деревне — иные, чем здесь, в море. Очень возможно, что эти косматые волны — на самом деле страшные чудовища.

— Мы сдружились с тобой, — нетерпеливо кричал парнишка. — А ежели сдружились, значит давай зваться. Меня зовут Гаврюшкой, а тебя? Ого! Сразу заподлицо: Федяшка — Гаврюшка... без обреза. Ну и знай, с этого дня мы связались: мои товарищи — ученики — все узна-

ют, что мы — два сапога пара. Ты ловкий драться. Подучишь меня, тогда мы — атаманы.

— А ты мне показывать будешь, как ты в школе учишься?

— Это пустяки. В два счёта. А вот в пески поход сделать — это я понимаю... А то вон в баржу пробраться... В неё никто ещё не отважился залезть.

— Я книжки читать люблю, — возразил я. — Вот у меня в казарме «Руслан и Людмила», да вот эта — «Робинзон Крузо»...

Но «Робинзона» в руках у меня не было. Я забыл о нём, когда схватился с Гаврюшкой, и мы, должно быть, затоптали книжку в песок. Мне было больно от этой потери: я любил эту книжку, как бесценный подарок Раисы. Я рванулся назад, но навстречу мне бежали волны в барашках и окатывали меня брызгами, словно торопили меня.

— Скорее беги на берег!

Гаврюшка тащил меня за руку и испуганно оглядывался.

— Не видишь, что ли, слепота? Волны-то уж выше колен. Бежим скорее! Беда, ежели шквал нахлынет: свалит и в море утащит. Один раз я чуть не утонул: так же вот замешкался недалеко от баржи — хотел в брюхо ей залезть, а моряна-то тут как тут... Я — бежать, а волны-то быстрее меня. Ну, и свалил меня один шквал. Насилу спасся. Море, должно быть, никого не допускает до баржи-то. Там обязательно клад есть... сокровища заколдованные...

Я бежал уже с трудом, вприпрыжку, и вода казалась мне густой и липкой. Волны мчались далеко впереди, играя ослепительно белой пеной на солнце. Они неслись на жёлтый песок, сталкивались, взрывались брызгами, и чудилось, что эти снежно-белые толпы резвились, прыгали, хохотали, шумели, как ливень, разбегались по широкой дуге побережья и обмывали пески снежной пеной. До сухого берега было недалеко, но море уже бурлило в сваях пустого плота и в свалке лодок на песчаных буграх. Гаврюшка бежал впереди меня и беспокоило оглядывался на волны. Он, вероятно, ещё не мог пережить недавнего страха перед озорными шквалами. Но мне было весело и совсем не страшно. Я впервые в жизни видел это чудо: почему море, которое блистало очень далеко, вдруг ожило, забеспокоилось и неудержимо полилось на берег? Что его взбудоражило, какая сила забушевала в нём и заставила его залить эти пески, как в полую воду? И мне чудилось, что волны смеются, смотрят на меня множеством зелёных глаз, по-мальчишески дразнят меня и зовут играть с ними, хватая за ноги. Они плещут в меня брызгами, звенят колокольчиками и переливаются птичьими голосами. Глазам было больно от ослепительных вспышек солнца, и пронзительные искры метелью летали всюду, мерцали, трепетали и рассыпались радужной пылью. Я забыл о своём «Робинзоне», забыл о своих пережитых невзгодах, забыл обо всём: я вдруг очутился в сказочном мире — в мире неожиданных видений, волшебных перемен, где сияющие пески и живое море — без конца и края, и небо тоже живое, как море, с белыми облачками — коврами-самолётами. Ветер, тёплый и упругий, ласково треплет мои волосы и срывает пену с убегающих волн. Он пахнет солодом и подсолнухами. Я впервые переживал минуты счастья, когда небо так близко — на взмах руки, когда хочется взлететь чайкой, реять над морем и встречать бесконечные толпы волн, нарядных, как девушки в троицын день, украшенные зеленью и цветами.

Я очнулся в ту минуту, когда почувствовал, что ноги мои погружаются в горячий сухой песок.

Гаврюшка шлёпал меня по спине и смеялся приплясывая:

— А мы всё-таки перехитрили чёртову моряну-то — ускользнули от

её пасти-напасти. Она только что просыпалась — потягивалась да позёвывала. Черти-то морские во-он где крыльями машут да пасти разевают — там, где небо с морем сходится. Бывает так, что озлится море и начнёт махать через двор, через плоты — на улицу. По улице и по дворам на лодках ездят. Папаша тогда весёлый бывает, сам на лодке с шестом носится и всегда меня с собой берёт. Один раз он поплыл со мной в бондарню. Я на лодке один остался, а пока он в бондарне-то распоряжался, я не будь плох: шест в руки — и давай по двору гулять... Слышу, папаша орёт: «Эх ты, мореход! Держи сюда бударку-то. За то, что ты, говорит, смелый — хвалю, а за то, что без спросу поплыл — уши нарву». Ну, я и стал сгоряча бударку толкать. Ослеп от страху да к воротам нос направил. А тут шквалы один другого злее налетели и давай мою бударку, как щепку, бросать. Не помню, как к папаше подплыл. Увидел только, как он вцепился в борт, повернул кормой к лесенке и вскочил, как молоденький. Жду, вот он сейчас мне выволочку даст, а он кричит: «Ну, Гаврюшка, раз взялся за шест, толкай в мужскую казарму, через улицу, на соляной двор! Надо гнать рабочих клёпки и чаны спасать — колья вбивать, ограду делать». Ох, и ловко я тогда с радости катал его! А он сидит, смотрит на меня и только бородой со смеху трясёт...

Я стоял на горячем песке, усеянном пёстрыми ракушками, и смотрел на наплески воды неподалёку от нас: эти наплески шаг за шагом покрывали песок, ползли всё дальше и дальше на берег, а песок, лёгкий, как пыль, плавал на приливных всплесках, как чешуя. Ветер дул уже порывами и толкал меня назад, дальше, на берег. И вот вода уже опять облила мои ноги, словно прогоняла со своего пути. Я стал отступать, пятиться назад, но потоки и наплески обгоняли меня. Гаврюшка смеялся и отшибал от себя воду, а она как будто сердилась и хватала его за ноги.

— Ух и злые они, черти! Ты не гляди, что они ласться да лижутя, как щенята. Проморгал — враз тебя облапят и уволочут в море. Они только с бударкой ничего сделать не могут: на бударке я, как чайка, поплыву навстречу, только дай мне вёсла в руки...

Мне смешно было слушать его хвастовство: он трусливо улелётывал от наплесков маленьких волн, а грозился плыть на лодке в открытое море, навстречу бушующим шквалам.

Вся песчаная даль, которая уходила к горизонту, где море сияло узкой полоской, теперь неоглядно блистала приливом, и волны в кудрявых барашках бежали всюду к берегу. Мы с Гаврюшкой пятились от широких взмётов воды, а они плавным порывом настигали и перегоняли нас.

И вдруг я заметил, что баржа, которая мёртво лежала на боку, выпрямилась, повернулась носом навстречу ветру, и корма её с огромным рулём медленно поплыла в сторону: с носа баржи спускалась толстая цепь и погружалась в воду. Дыра чернела, как диковинная рана, обнажая три бурых ребра. Я застыл, поражённый этим новым чудом, и не чувствовал, как волны обливают мои ноги. Гаврюшка, отбегая от воды, был уже далеко и кричал, махая рукою:

— Скорее беги, удирай! Не взвидишь, как волна-то тебя с ног свалит. Эх, вот бы сейчас на бударке к барже-то!.. Побежим к плоту — там тоже вода. Пока добежим, вода до лодок доберётся. Может, на наше счастье, бударочку с вёслами найдём...

А я стоял и не мог оторвать глаз от баржи. Мимо неё, облизывая старые доски, догоняя друг друга, неслись волны. На моих глазах произошли удивительные перемены. Когда я бежал к барже по щербатому

песку, баржа лежала на сухом месте, а сейчас там волнуется море. Оно плещется и здесь, недалеко от песчаных бугров и крутых обрывов. Жиротопня дымится на высоком песчаном кургане. Старик-жиротоп, молчаливый, с большими ногами и плачущими глазами в разбухших веках, весь пропитанный рыбьим жиром, машет нам своим длинным черпаком и что-то кричит, встряхивая закопчённой бородой.

Меня ударил холодный шквал и швырнул в воду. От неожиданности и студёной волны я заорал и хотел вскочить, но другая волна с грохотом накрыла меня, потом подбросила кверху, и я захлебнулся солёной водой. Волна хлынула на берег, и я очутился на песке, который смывался в море. С рубашки и штанишек ручьями стекала вода. Дрожа от холода, я хотел побежать к Гаврюшке, который прыгал на песке и скалил зубы от хохота. В этот момент зелёная волна опять с рёвом толкнула меня и облила до плеч, но я удержался на ногах. И, когда она понеслась дальше, я увидел растрёпанную книжку, листы которой веером колыхались в воде. Я успел схватить её и, убегая от волн, бросился со всех ног к Гаврюшке. Это был мой «Робинзон». Он, как и положено ему, не утонул: волны выбросили его на берег.

Я пустился бежать на промысел — домой, в казарму, чтобы переодеться. Гаврюшка хохотал и плясал от удовольствия. Когда я пробежал мимо него, он крикнул мне требовательно:

— Сейчас же прибегай сюда, как переоденешься. Я ждать буду. К лодкам пойду, поищу бударку с вёслами.

Дед-жиротоп махал мне черпаком и мычал что-то невнятное. Он смеялся.

Перед воротами меня догнал Гаврюшка и схватил за руку.

— Я — тоже с тобой, только не через двор, а вдоль забора и по улице. На дворе увидит папаша и прогонит домой.

Он настойчиво потянул меня за руку, и мы побежали по песчаным сугробам вдоль глухого забора из камыша, виляя между колючек и голых кустарников. Я ёжился и дрожал от прилипшей к телу мокрой рубашки и противно-клейких штанишек. От ветра они были холодные, как лёд.

— Ну и чудной ты сейчас!.. — смеялся Гаврюшка. Его сухощавое и бледное лицо разрумянилось, а широко открытые глаза осматривали меня с весёлым участием. Я сейчас только заметил, что лицо его — в мелких рябинках. Да и рябинки были задорны: лицо от них казалось приглядным и умненьким. И я чувствовал, что он с этого дня будет самым желанным моим товарищем. В нём было что-то общее с Кузьярем, но он был мягче, рассудительнее и как будто не горазд на выдумки и злые шалости.

Когда мы вбежали в казарму, меня обдало душным теплом, и я вдруг почувствовал усталость и приятную лень. Тётя Мотя, как обычно, возилась у плиты, а большая бредила и судорожно искала что-то на себе жёлтыми костлявыми руками. Молчаливая и, казалось, безучастная ко всему, тётя Мотя обернулась к нам и неожиданно кинулась ко мне с ужасом в обожжённом лице:

— Матушки мои! Вот так рыбак!.. Без бахил рыбу ловил, да штанами неводил. Лезь скорее на нары-то да переменись — околечел весь. Я чаем вас с Гаврюшей напою. Морячки вы мои несолёные, балберочки лёгонькие!..

Гаврюшка смеялся:

— Это он с моряной вольничал, а она его отшлёпала и кувырком бросила.

Тётя Мотя наставительно предупредила меня:

— Ты нашей моряне-то, рыбачок, поклонился бы: она наша кормилица. Глупый ты ещё — весь земляной.

Гаврюшка залез вместе со мною в тёмное и тесное наше гнездо и оторопело застыл озираясь.

— Ну и живёте вы! Чай, тут задохнёшься. В этом логове и повернуться негде: сиди по-карсачьи — ноги калачиком, или лежи да в потолок плюй. И темнота, не видать ничего.

Больная женщина застонала и стала сбрасывать с себя одеялку. Она металась, раскидывала руки, бормотала что-то непонятное, вскрикивала и мычала задыхаясь. Тётя Мотя подошла к ней с кружкой в руке, влезла на нары и осторожно подняла её голову. Она поднесла кружку к её рту, а потом положила на лоб больной мокрую тряпку.

— И пожалеть-то некому несчастную... — вздыхая, жаловалась она. — Так наша сестра и гибнет... и сгорает, не доживя веку... Не тоскуй, Маланьюшка! Муки-то наши — облачки наши. Владычица знает, кого приголодуть да радостью обрадовать.

Я переоделся, и мне стало так тепло, что запылало всё тело. Гаврюшка слушал тётю Мотю, следил за нею, и я видел, что его угнетала и душная, смрадная казарма, загромождённая нарами с постельным тряпьем, и больная, которая металась в горячке, и тётя Мотя, похожая на тронувшуюся.

— Пойдём отсюда... — с жалкой улыбкой прошептал он и спрыгнул на боров. — Я больше не могу... Узнает мамаша, что я был здесь, и заскулит. Как это ты живёшь здесь? Я дня бы не выжил.

Он растерянно и беспомощно озирался, словно нечаянно попал в западню и не знал, как выбраться из неё. А я вдруг почувствовал, что я — опытнее и сильнее его: ведь я жил в этой казарме не один день и буду жить много дней, потому что это наше логово — наш приют, куда загнал нас хозяин и где сторожат нас его надсмотрщики — приказчик и подрядчица.

— А где бы ты посоветовал мне жить-то? — насмешливо спросил я его. — Аль у себя меня приветишь?

— Ежели бы папаша разрешил, я к себе перетащил бы тебя, — горячо ответил Гаврюшка, но сразу же виновато оговорился: — Может, папаша-то не прочь бы, да мамаша на глаза себе из ваших никого не пускает. Она не велит мне даже близко к казармам подходить. А на плот и папаша не разрешает.

— Ну, так сам суди, — внушительно заключил я. — Ты живёшь в горнице, а я вот на нарах в казарме, ты в школу ходишь, а мне нельзя, у тебя отец — распорядитель, а моя мать — резалка. Какой я тебе товарищ? Узнает отец, что ты со мной связался, лупцовку тебе даст. Ты лучше со мной не водись, а то моя мать кулаков не оберётся.

Гаврюшка густо покраснел и бурно запротестовал:

— Ну да, как же! Так я и поддался... Мы с тобой дружить будем сами. Приключения будем делать. А папаша говорит, что смелых любит.

Я положил «Робинзона» на горячий боров печи, чтобы он просох, и спрыгнул на пол. Гаврюшка, бледный, с блуждающими глазами, уже стоял у двери, ожидая меня. Тётя Мотя возилась с больной женщиной и забыла о нас. Но когда я был уже на пороге, она повелительно позвала к себе меня и Гаврюшку и потащила свои больные ноги к печи. Гаврюшка нетерпеливо подмигивал мне из-за порога и настойчиво махал рукой: удирай, мол, скорее, да и мне невтерпёж!

А тётя Мотя уже шла к нам и протягивала две ржаные лепёшки. Лицо её было попрежнему неподвижно и угрюмо покорно.

— Натек-ка, орлятки, поешьте моё печенье,— прогудела она ворчливо, но я уже знал, что этой своей ворчливостью она выражает сердечность и ласку. — Где он там, Гаврюша-то? Поди-ка, поди-ка, паренёчек! Не побрезгуй моей стряпнёй-то. Угощенье от души — слаще мёда-сахара.

Гаврюшка стоял в сенцах и со страхом глядел на неё: должно быть, она казалась ему зловещей колдуньей или бабой-ягой. Меня забавлял и злил его страх. Я засмеялся и потянул его за руку.

— Ну, чего ты трусишь? Чай, не кулак тебе суёт тётя Мотя-то, а горячую лепёшку. Я и то твоего отца не боюсь.

— Я сказал тебе: отца не тронь! — враждебно крикнул он и рванул свою руку. — Тронешь ещё раз — насовсем раздружимся. Мой папаша хороший. Это ничего, что он пьёт. А когда пьёт, он всех жалеет. Лучше пойдём, а то все лодки цепями прикуют.

Тётя Мотя вышла в сени и хотела погладить по голове Гаврюшку, но он в ужасе отскочил в сторону. Я засмеялся.

— Ах вы, дети боговы! — проворчала она и сунула лепёшки мне и Гаврюшке. Он молча и послушно взял лепёшку, похожую на подошву, и растерянно улыбнулся.— Все дети боговы, да отцы-матери убогие. У меня вот тоже был такой же, как вы, паренёчек, да утонул... здесь и утонул... в моряну... Не углядела, не порадела, вот и несу скорбь свою в наказанье.

Лицо её попрежнему было неподвижно и безучастно. Говорила она о своём сынишке, как о чужом мальчике, и мне казалось странным, что она никак не выразила своего горя — не взволновалась и не всплакнула.

Гаврюшка не вытерпел и сердито крикнул:

— Ну, я ждать тебя не хочу. Для меня каждая минута дорога. Лодки-то вытащат — всё пропало.

А тётя Мотя, как нарочно, обняла его одной рукой, а другой погладила по волосам.

— Я папашу твоего, Гаврюшенька, давно знаю: вместе на ватагу приехали. Молодой-то он был весёлый, лёгкий, всем был защитник и никого не боялся. А вот сломился и запил. У него тоже печаль на сердце. — И вдруг схватила и меня и Гаврюшку за плечи и строго спросила: — Это вы куда собрались? Про какие такие лодки толкуете? Уж не кататься ли норовите на лодке-то? Нет, Гаврюшенька, не пушу... Разве мысленно, в моряну-то? Да вас так же море похитит, как моего Костю. Не пушу и не пушу!

Мы перемигнулись с Гаврюшкой и рванулись из сеней на двор. За воротами мы пробежали улицу и, прижимаясь к забору плотового двора, юркнули в узенький проход между забором и копнами камыша, который привезли сюда для крыши нового сарая. Потом завернули за угол забора и очутились на маленьком дворике с землянкой, похожей на деревенский «выход». На нас кубарем налетела пёстрая собачонка и залилась тоненьким голоском, но узнала Гаврюшку и сконфуженно завилыла хвостом. Мы выбежали на берег с другой стороны прибрежного плота. Здесь лодок было очень много на берегу, и они плотно прижимались бортами одна к другой. Море уже кипело всюду, и волны с прибойным шумом обливали прибрежный песок.

Гаврюшка вскочил в лодку и выбросил вёсла.

— Бери! Мы сейчас её столкнём. Поддевай под киль!..

Вёслами, как рычагами, мы сдвинули лодку с места и толчками стали спускать её по сыпучему песку. Так как песок сам осыпался с кру-

того спуска, лодка послушно скользнула вниз и поползла к воде, поворачиваясь с боку на бок, когда волны били в её корму. А когда бударка начала покачиваться на волнах, Гаврюшка бросил в лодку своё весло и победоносно крикнул:

— Есть! Весло давай в лодку и прыгай!

Он вскочил на нос и, как фокусник, перелетел на середину, схватил весло и, упираясь им в песчаное дно, быстро оттолкнул наше судно от берега.

— Садись рядом со мной и берись за весло! — приказал Гаврюшка, всунув весло в развилку уключины.

Я сел рядом с ним и хотел так же устроить своё весло в развилке, как он, но в уключину оно почему-то не вошло. Гаврюшка засмеялся.

— Эх ты, чучело! Тоже в Робинзоны идёт, а не знает, как веслом распорядиться...

Он мгновенно вложил моё весло в уключину и сразу же показал, как надо держать его и грести. Я виновато молчал, сознавая его превосходство, но совсем не хотел, чтобы он проявлял на мне свою власть. Если я никогда не плавал на лодке и не держал в руках весла, это ещё не значит, что я не могу быть моряком: ведь я сразу же понял, как укреплять весло и как им работать. Правда, сначала я махал веслом вразнобой с Гаврюшкой, и лодка виляла в разные стороны. Он заорал и вытаращил на меня злые глаза.

— Враз надо! Деревня, лапотник!

— Я не лапотник: у нас лаптей не носят. А ты не ори, а лучше показывай!

— Показывай! — передразнил он меня успокаиваясь. — Я — не учитель, а моряк и должен приказывать, а не показывать. Ну, начинай: раз! Не черпай воду веслом: выше поднимай! Раз!

Лодка поплыла, поднимаясь и опускаясь на волнах, а они плескались о борта, и брызги били мне в затылок и шею, как горох. Берег уползал от нас всё дальше и дальше, и барашки волн убегали позади очень быстро и весело, словно играли и смеялись.

Я наблюдал, как действует веслом Гаврюшка, и старался в точности повторять его движения. Заметил я, что он, вцепившись в ручку весла, делал правильный круг, словно вертел своими руками невидимый обод колеса — к себе изо всех сил, а от себя по низу легко и быстро. Сначала у меня это невидимое колесо вертелось толчками и рывками, лопатка весла бороздила воду и сталкивалась с волнами. Я скоро утомился и перестал грести. Лодка от взмахов Гаврюшки круто повернула в сторону и боком взлетела на волну.

Он рассвирепел:

— Какого чёрта! Гроби! Ежели не можешь, давай мне весло: я сам буду грести.

Но я оттолкнул его и с ожесточением закрутил своё колесо. Мне было завидно, что Гаврюшка размеренно и, казалось, свободно орудовал своим веслом. Он посматривал на мои руки с сердитой насмешкой.

— Ровнее! Не торопись! Вместе! — командовал он со строгостью бывалого моряка. Но весло было длинное и тяжёлое, и как он ни старался щеголять своим мастерством, ему тоже было очень трудно. Когда тянул к себе ручку весла, он привскакивал, лицо его искажалось от напряжения. Мне он нравился этим своим упорством, и я чувствовал, что ему по душе моя храбрость и готовность разделить все трудности и невзгоды плавания.

Мы уже были далеко от берега, песок мерцал на солнце, а плот будто плавал вместе со сваями и колыхался в разные стороны. Да и весь

промысел и посёлок сдвинулись с места и качались, как огромная качель. Волны били в нос лодки, подбрасывая её, толкали из стороны в сторону, корма взлетала вверх и падала вниз. Зелёные волны весело убегали назад, играя пеной и кипящими гребешками. Гаврюшка оглядывался на нос и озабоченно вскрикивал:

— Уж почесть полпути проплыли! Не робей! Не горячись, не надсаживайся! Береги силёнки-то, а то заштопорим и не доберёмся. Можно бы и отдохнуть, да боюсь, как бы за нами погони не было. Надо доплыть до баржи, пока рабочие к лодкам не нагрянули.

Я тоже оглядывался на баржу, и мне казалось, что она очень далеко, на самом горизонте. Над нами и около нас носились чайки на своих тяжёлых крыльях.

— Ну, мы уже далеко уплыли, — задыхаясь, заявил Гаврюшка. — Чёрта с два нас поймаешь... Отдыхай! Волны нестрашны. Это не буря, а свежая моряна. Покачаемся, как в зыбке, передохнём — и опять за вёсла.

Я с удовольствием бросил весло и сразу почувствовал, как я устал и как гудели мои руки. Пот заливал глаза и большими каплями смачивал губы. Мне вдруг стало жутко: мы одни среди моря, волны толпами бежали на нас и бултыхали нашу бударку. Ветер налетал порывами и отгонял лодку назад вместе с волнами. Они уже не хлестали в борта, а мягко журчали, плавно покачивая нас. Воздух ослепительно горел солнцем, и море пылало вихрями искр. Баржа, огромная, облезлая, с полуразвалившимся домиком на палубе, туго натягивала толстую ржавую цепь и медленно поводила своей кормой с рулём, похожим на ворота. В проломе с разорванными краями, между бурными рёбрами, чернела глубокая тьма.

Гаврюшка дышал запалённо, лицо его тоже обливалось потом. Он захлёбывался слюною, но улыбался радостно. Рубашки у нас были мокрые и прилипали к телу. Ветер, хоть и тёплый, дул мне в спину и в бока ледяными струями.

Я охотно признал Гаврюшкину доблесть, но утешал себя тем, что научусь так же уверенно плавать на лодке и встречать на ней моряну, как настоящий рыбак. Вспомнились Карп Ильич, Корней, Балберка — природные моряки, вспомнилось, как лоцман предсказывал, что я обязательно буду моряком.

— Побегу с работниками в море, — ошарашил я Гаврюшку. — Они меня возьмут с собой на посуде. С Карпом Ильичём, с Балберкой...

Гаврюшка насмешливо выпятил губы.

— Эка невидаль! У нас и бабы бегают с рыбаками в море. Нет, ты попробуй-ка побежать на бударке под парусом... да чтоб так — для приключения...

— Это зачем? — заспорил я. — Для какой надобности? Там — дело: рыбу ловят. А ты чего будешь добывать? У рыбаков-то приключения самые страшные: у них и посуду буря разбивает, и на льдинах их уносит... А Балберка такой выдумщик, что диву даёшься: он и птицу де-лает, которая летает, у него и плясуны есть, которые сами пляшут... А на чунках носится по тысяче вёрст.

— На чунках и я летаю. Вот придёт зима — сам увидишь. А кто это — Балберка?

Я торжествовал. Гаврюшка хоть и делал вид, что его нельзя удивить, но слова мои произвели на него впечатление: то, что знал я, для него было новостью.

Вдруг он спохватился и заволновался.

— Берись за весло! Гребём! Нас здорово отнесло...

И сразу же побледнел и вскочил на ноги, и чуть не упал. Лодка так закачалась, что волна хлестнула через борт и окатила нас обоих. Я очень испугался и крикнул:

— Садись! Ещё утонешь с тобой, дураком...

— Погоня за нами! — заорал он в отчаянии. — Видишь, люди на берегу... и лодка отчалила. Гребём изо всей силы! Чёрта они нас догонят!

Я тоже хотел встать, но лодку так ударило волной, что я упал на Гаврюшку. Он отшвырнул меня, ткнул кулаком и свирепо скомандовал:

— Бери весло, гребь! Чуть лодку не перевернул, курдюк. Тебе не в море плавать, а на верблюде качаться.

За нами действительно плыла бударка. В ней сидели два человека: один махал вёслами, а другой был на корме. В длинный нос лодки хлестали волны, разбрасывая брызги, и она взлетала и падала. Мы нажали на вёсла, подпрыгивая на сиденье, гребли изо всей силы. Потому ли, что я очень испугался этой погони, или потому, что меня поразила озорная дерзость Гаврюшки — переспорить тех, кто догонял нас, — я с бурной надсадой загребал своим веслом и не замечал, как весло ладно взмахивало и погружалось в воду одновременно с веслом Гаврюшки. Он часто вскрикивал, смеялся, и эти его вскрики и смех подстёгивали меня. Я никогда ещё не испытывал такого злого восторга, как в эти минуты. Мне уже не страшно было людей, которые гнались за нами: они были далеко, и мне казалось, что мы плывём быстрее их. Человек, сидящий на корме, угрожающе махал нам рукой.

— Ага, пардону запросили! — торжествовал Гаврюшка. — Нажимай, Федяха! Не рвись, а качайся. Маятник не устаёт и качель легко качается, только подталкивай...

Он оглядывался на нос и, задыхаясь от изнурения, подбодрял и меня и себя:

— И баржа близко... вон она! Нам бы скорее к пролому успеть, а там мы спрячемся.

Но лодка неумолимо приближалась к нам. Там на вёслах сидел один человек и взмахивал ими сильно, уверенно и неторопливо. А я уже натёр мозоли на своих ладонях, и руки мои без привычки ослабели: весло казалось огромным и очень тяжёлым. Я с отчаянием чувствовал, что теряю последние силы и слёзы судорогой перехватывают горло. Волны хлестали в нос и борт сильнее, и каждый их удар подбрасывал лодку высоко вверх и отшибал назад. Гаврюшка тоже изнемогал и задыхался. Его лицо искажалось плаксивой злобой. Но он всё ещё храбрился и надсадно покрикивал:

— Гони во-всю! Не робей! Докажем им, что без боя не сдаёмся...

Вдруг он перестал грести, и от моих взмахов веслом лодка повернулась боком к волнам. Её так сильно качнуло, что я упал на Гаврюшку, а весло вырвалось у меня из рук и выскочило из уключины. Гаврюшка оттолкнул меня и упавшим голосом сообщил:

— Это папаша на лодке-то. А всё из-за тебя, верблюды: и в казарме выхтел, и со старухой лясы точил.

— Да она не ко мне, а к тебе привязалась, — оградил я его упреки. — Я тебя с собой не тащил, сам навязался.

— Я думал, что с тобой приключение сделаем. А ты срезался: не гребец ты, а снулый рыбец.

— Да ты первый весло бросил, — озлился я. — Ты и срезался. А сейчас совсем струсил, когда отца увидал.

— Это я струсил? — взъярился он, вскакивая с сиденья. — Вот сейчас увидишь, как я струсил.

Волна опять вздыбила и качнула лодку, но он удержался. Скулы и подбородок его обострились, губы посинели, но глаза были горячие.

Моё весло прыгало на волнах позади лодки, но Гаврюшка как будто не видел его. Его весло, как подбитое крылышко, качалось вдоль борта.

Лодка плотового нагнала нас очень быстро. Плотовой на ходу подхватил моё весло и, когда рабочий, молодой парень, с весёлым смехом в глазах, схватился за наш борт, бросил весло к моим ногам. Парень уже улыбался во весь губастый рот и лукаво подмигивал нам. А плотовой, пристально всматриваясь и в Гаврюшку и в меня, с угрюмым равнодушием приказал:

— Ну-ка, покажите руки!

Мы послушно подняли ладони, но плотовой, не глядя на них, так же равнодушно сказал:

— Скачите сюда. На вёсла не годитесь. И кожа тонка, и кишки порвали. Сначала прыгай ты, Гаврило, а потом поможешь переползти этому людёнку.

Гаврюшка упрямо сдвинул брови и неторопливо перелез в лодку отца. И я впервые заметил, что лицо его очень похоже на лицо плотового: оно стало таким же угрюмым и замкнутым, как у отца. В глазах плотового вспыхнул насмешливый огонёк, и лицо его, суровое и жёсткое, заросшее чёрными волосами, помолодело и прояснилось. Он вскинул голову и усмехнулся, и в этой усмешке я уловил что-то похожее на благодушное удивление. Я перемахнул в его лодку, опираясь на руки, как обычно я перекидывался в деревне через низкое прясло.

Каким-то внугренним чутьём я почувствовал, что плотовой относится к нашему приключению снисходительно, что наш смелый поход на лодке его забавляет.

Рабочий накинул чалку на нос нашей лодки и сел за вёсла. А плотовой посадил нас перед собою на доску и переводил свои зелёные насмешливые глаза с одного на другого.

— Ну, так кто ж из вас заводило-то?

Гаврюшка угрюмо, но твёрдо ответил:

— Это я, папаша.

— Знаю, что не свалишь на другого и правды не боишься. А зачем улесть этого людёнка?

Мне очень хотелось, чтобы плотовой и на меня взглянул так же одобрительно, как на Гаврюшку, и я с отчаянной готовностью крикнул обиженным голосом:

— Он не улещал меня: я сам с ним сдружился.

Плотовой даже не взглянул на меня и пропустил мимо ушей мои слова. Он пытливо смотрел только на Гаврюшку и задумчиво теревил бороду. Его опухшие глаза и смеялись, и пытливо ощупывали сынишку. За спиной плотового качалась наша лодка, словно сочувствуя нашей неудаче.

— А морячить-то куда вы собрались, воробьи-герои? — совсем уж добродушно спросил он и с живым любопытством наклонился к нам обоим.

Гаврюшка с прежним угрюмым достоинством ответил:

— На разбитый корабль.. сокровища искать.. Никто ведь не знает, что там находится.

Глаза плотового налились слезой, и он заирялся от хохота.

— Корабль! Сокровища! Ах вы, окаянные!.. Что выдумали! Дурачки вы, меня бы спросили, какие там сокровища. Пустота там и гнилушка — вот и все сокровища. Эх вы, людяты-молодяты! Ну, а если бы

бударку-то у вас перевернуло?.. Вот и ручонки отмотали, до крови натёрли... а этот воробей даже весло в воду уронил. Ведь потонули бы.

Гаврюшка с негодованием запротестовал:

— Это ты, папаша, помешал нам. Если бы вы не бросились в погоню и не напали на нас, мы бы обязательно своё дело сделали. Со шгормом-то мы сладили, и лодку держали по курсу. Баржа-то была уж рядом.

Плотовой сделал серьёзное лицо и крикнул парню досадливо:

— Слышишь, Степан? Ведь, пожалуй, мы с тобой ошибнулись: напрасно спасать их побежали. Думали, ребяташки-то, мол, барахтаются по малости лет и лодку у них уносит в море, а они, оказывается, вон на какие подвиги пошли... А? Степан?

Парень, ухмыляясь, крикнул сочувственно:

— Народ мозговитый, удалой, Матвей Егорыч, ничего не скажешь. С приключениями.

— Чего ж ты меня не вразумил, ротозей?

— Да ведь Матрёна-то сколь страху нагнала! От неё голову поте-ряешь. А я уж в море увидал, как они корабль свой вели. Красота!

Мы сидели, как пленники, оба маленькие, жалкие, усталые, с пораненными ладонями, которые горели, как ошпаренные кипятком. Гаврюшка сидел хмурый и смотрел на волны, а они играли на солнце своими барашками и бежали к берегу быстрее нас. Раза два он толкнул меня локтем в бок, и я понял, что он не примирится с нашей неудачей, что своё путешествие мы всё-таки совершим не нынче, так завтра, что падать духом нечего, что нужно верить в свои силы.

— Да, гребцы-воробцы... — бормотал задумчиво плотовой. — Сокровища... корабль... А выходит — прах и пыль в брюхе гнилой баржи. Хороши мечтанья в отрочестве и в молодости! И получается: жива душа во младой юности, а в годах и старости — одна гнилушка, хлам. Но душа-то, выходит, — бессмертна: горит, тлеет, как головешка, и сердце обжигает. — Он закрутил головой и засмеялся. — И людишки этакие беспокойные появились, неуловимые... хоть и догадываюсь об них...

Он опять засмеялся про себя и, напряжённо думая о чём-то, оставил свои глаза на моём лице, но, кажется, не видел меня. Вдруг он сурово спросил меня:

— А почему ты с плота сбежал и рыбу не считаешь? Я же приказал выдать тебе багор.

Я протестующе и обиженно надулся.

— Меня приказчик за волосы да за ухо схватил, а я его пиннул промеж ног. Он хотел меня багром ударить, а Прасковья заступилась.

Плотовой перевёл глаза на Гаврюшку, кивнул на меня и ткнул пальцем в мою сторону.

— Гляди, с каким ты зверёнком связался. Он и меня, пожалуй, пинать будет.

Гаврюшка неожиданно засмеялся и поощрительно взглянул на меня.

— Курбатову так и надо, папаша: я бы ему тоже дал пинка.

— До тебя он не смеет пальцем дотронуться, а этот щенок — подневольный. Он должен по положению всё сносить и покорствовать.

Гаврюшка совсем осмелел и возмущённо заспорил:

— Чай, он, папаша, не наёмный: это его мать в неволе, а он свободный.

Плотовой исподлобья щупал нас своими пронзительными глазами и тербил толстыми пальцами бороду. Потом вдруг задрал голову и опять затрясся от хохота.

— Пиннул... Это Курбатова-то? Этого пса-то поганого? Ух, уморил, людёнок!

Смеялся и Гаврюшка. Парень тоже скалил зубы и подмигивал.

— Ну, он, этот Курбатов, тебе, герой ненаёмный, житья теперь не даст. Что ты делать-то будешь?

— А я не дамся. У нас, чай, артель. Один Гриша-бондарь чего стоит.

Плотовой потешался надо мною, а мне было тяжело переносить его хохот, словно он безжалостно терзал меня, как беспомощного кутёнка. Но мне было ясно одно: Матвей Егорыч любил Гаврюшку за его удалство и озорные подвиги. Он не только не побил его за опасную нашу проделку, но благодушно с нами разговаривал, словно поощрял нас на новые приключения. Понятным мне был и рассказ Гаврюшки о своей храбрости, когда он в наводнение самолично плавал на лодке в сильный прибой на дворе. Матвей Егорыч любовался им и хвалил его за правдивость. А правду в человеке я уже в деревне оценил, как мужество и бесстрашие, и мне самому всегда хотелось быть сильным правдой, как Руслан, как Калашников, как наш Микитушка или Петруша Стоднев, и быть таким радостным и светлым, как бабушка Наталья, как швец Володимирыч или Гриша-бондарь.

21

Лодка с разбегу врезалась в песчаную мель, но волны кипели и хватались своими широкими лапами за гладкие осыпи песка. Степан спрыгнул в воду и, вцепившись в борт, потащил бударку дальше на сухой берег. Дно зашоркало по песку, закрипело, завизжало, и нос бударки задрался кверху. Мы с Гаврюшкой слезли друг за другом, а за нами легко и молодцевато, несмотря на своё грузное тело, спрыгнул и плотовой.

Не оглядываясь, я побежал к промыслу, но грозный окрик Матвея Егорыча сразу остановил меня.

— Стой, шемая! Куда подрал? Шагай обратно! — Он подтолкнул Гаврюшку в спину и набросился на него: — Как должен с товарищем обращаться, который вместе с тобой делил трудности и неудачи? Вместе самовольничали, вместе и ответ должны держать.

Его красное лицо стугой, как войлок, бородой насушилось и стало таким, как на плоту — жестоко-равнодушным и мрачно-тупым. Оно не обещало ничего хорошего. Но Гаврюшка будто и не заметил перемены в отце: он засмеялся, подбежал ко мне и взял за руку.

— Пойдём сейчас к нам. Не улизнёшь. Тебя и под нарами найдут. Папаша велит тащить тебя в гости.

У меня похолодело в животе, и я с ужасом почувствовал, что попал в ловушку. Всю дорогу до двора я шёл покорно, молча, как в чад, ожидая расправы. Что-то болтал Гаврюшка, что-то плотовой приказывал Степану, но я ничего не понимал. Не смея поднять головы, я всё-таки мельком увидел, как резалки на плоту смотрели на нас с любопытством, а мать вскочила со скамьи и растерянно следила за мною.

На высокое крыльцо я взбирался с натугой. Ноги дрожали, и мне хотелось закричать от отчаяния. Я озирался и трепетал, как пойманный зверёныш, — ловил момент, чтобы рвануться в сторону и пуститься наутёк. Но Гаврюшка держал меня за руку, а позади шёл угрюмый плотовой, и под его ногами трещали ступеньки лестницы.

Меня втокнули в тёмную прихожую, а потом — в просторную, светлую комнату с прозрачными занавесками на окнах, с круглым столом посредине, покрытым блестящей клеёнкой. Жёлтые гнутые стулья стояли и вокруг стола, и вдоль голых стен. К дощатой перегородке прижи-

мался диван, а за ним, в углу, у окна, на тонконогой этажерке кучками лежали книжки.

— Мать! — сердито крикнул Матвей Егорыч. — Дай-ка нам закусь. Гаврило гостя заполучил. Я их обоих в море в бударке захватил.

Он бросил картуз на стул и показался ещё приземистее и грузнее, но лицо его вдруг стало простым, добродушным, домашним. Волосы у него оказались кудрявыми, с сединкой. Около хмельных глаз дрожали мелкие морщинки.

— Это как — на бударке, да ещё в море? — сварливо откликнулась женщина из-за перегородки. — За такие вещи ремнём надо, шелопаю этакого. А ты, отец, с пьяных глаз потещаешься.

— Папаша! — удивлённо засмеялся Гаврюшка. — Смотри, как он испугался. Он думает, что ты его бить будешь.

Матвей Егорыч не обратил внимания на слова Гаврюшки и дружелюбно прохрипел:

— Выходи-ка в горницу, мать, да приголубь храбрых моряков. За сокровищами плыли, только я их в плен взял. А вижу, душонки у них играют. Душу убить нельзя, мать, а ушибить можно.

— С таким отцом, как ты, сын голахом да разбойником будет. И сейчас уж с ватажной чернядью связался.

— Марфа! — вдруг рявкнул плотовой. На лбу у него надулись жилы, а глаза озверели. Он судорожно вытянулся и дико уставился в перегородку.

— Я иду, Матюша, иду... — сразу же заворковала женщина за перегородкой. — Не волнуйся, не бесись...

В комнату вошла полная, румяная женщина в шёлковом клетчатом платье, с кольцами на жирных пальцах. Она плавно прошла мимо стола к двери и улыбнулась мне с той фальшивой лаской, с какой подкрадываются к озорнику, чтобы выпороть его. Я не вынес этой её улыбки и насупился. Притворно-нежным голоском она спросила Гаврюшку:

— Почему ты, Гавря, очутился с ним в лодке, да ещё в моряну? Ведь если бы не отец, он утопил бы тебя. Разве нет у тебя товарищей из хорошей семьи, кроме этого мальчика из ватажной казармы?

Эта женщина презирала не только меня, но и мою мать и всех резалок, которых считала существами низшей породы, недостойными даже приближаться к её крыльцу. И моё появление здесь, в светлой, просторной горнице, возмутило её, как несуразный приход босяка из трущобы. Как я ни привик к таким людям, я всегда чувствовал обиду за своё унижение, и невольно во мне вспыхивал протест и озлобление против них. И теперь мне вспомнились слова Варвары Петровны на верхней палубе парохода: «Знай, что ты выше этих бар и богатеев...» Вспомнилась и Раиса, которая говорила матери: «А чем ты хуже этих благородных?» Вот и сейчас я ощутил, как лицо моё стало вдруг горячим и сердце забилось от оскорбления. Я встал со стула и с судорогами в горле пошёл к двери. На ходу я сказал срывающимся голосом:

— Я к нему не лез, он сам ко мне привязался. Хоть мы и сдружились, да ежели ему нельзя со мной водиться, я и без него обойдусь.

— Какой дерзкий мальчик! — изумилась женщина. — С кем же ты дружбу заводишь, Гавря?

Я хотел юркнуть в дверь, но в этот момент меня обхватил сзади Гаврюшка и крикнул пронзительно:

— Не смей уходить — не пушу!.. А мамаше стыдно... Смотри, папаша, что она наделала...

Я вырывался из его рук, но он изо всех сил тащил меня назад.

Матвей Егорыч смотрел на нас с прежним благодушием и трясся от смеха. Он взял меня за плечо и повёл к столу.

— Эх, от вас, людята, без вина будешь пьяным! Мать! Марфа Игнатьевна! Угощай вольницу: не мы их, а они нас высекли. Храни честь смолоду, Гаврила! Обнимись с ним на верность!

Гаврюшка бросился мне на шею и сжал цепкими руками. Я тоже обнял его, но не удержался и всхлипнул.

— Вот это ещё лучше: дружба слезой сваривается на всю жизнь...

Он был растроган: в его хмельных глазах я увидел слёзы.

— Папаша! — благодарно крикнул Гаврюшка. — Без тебя у нас ничего бы не вышло. Ты очень умный и всё понимаешь.

— Поживи с моё, помучайся, надорви сердце — поневоле от дум затоскуешь...

Мы опять сели к столу, а Матвей Егорыч прошёлся по комнате, остановился перед своим стулом и уставился на нас со строгой насмешкой в глазах.

— А теперь отвечайте: как вы посмели самоуправничать да беззаконничать? Вы захватили чужую лодку — раз, не спросились — два, людей взбулгачили — три. А потом бы вдруг утопли — четыре. И выходит по всем статьям, что вы пошли спроть закона. А слышал, Гаврило, как мать-то по закону этому тебя судит? То-то! И тебе, и мне, и этому людёнку возбраняется жить самовольно: куда тебя прилепили — не дрягайся. Я — на плоту, ты — под подолом матери, а он — на нарах в казарме. У каждого свой загон, как у верблюдов.

— Закон — загон... — засмеялся Гаврюшка, слушая с интересом отца. В глазах его играло лукавство. — Но мы же — не верблюды, папаша, а люди.

— Вот! Законы и пишутся для людей. У верблюдов — загон, а у людей — закон. А закон — против вольников. Он простой: замри и стой, живи не как хочется, а как велят.

Гаврюшка бойко возразил:

— Мамаша всегда нас судит, а сама только и гадает на картах, скоро ли управляющей будет.

Плотовой нахмурился и рванул усы и бороду. Он грозно засверлил глазами Гаврюшку.

— Дурак! Я запрещаю тебе говорить так о матери. Вольничаешь!

Гаврюшка смутился и так покраснел, что посерели рябинки на лице.

— Ты же сам, папаша, требуешь, чтобы я говорил правду и ничего не скрывал.

Плотовой задвигал красными беляками, запыхтел и тяжело сел на свой стул.

— Дерзило! Не всякая правда напролом бьёт. И не всякая правда пользительна. Правда — как рыба-сырец: её надо обработать. Сырой её есть не будешь. Пойми: сегодня ты над матерью смеёшься, а завтра меня насмех поднимешь, на всех старших пловать будешь. За одну правду хвалят, а за другую бьют.

Матвей Егорыч смотрел в стену рассеянным взглядом и, казалось, внезапно забыл о нас. Говорил он не с Гаврюшкой, а сам с собою, словно жаловался на болезнь, которая мучает его давно. Гаврюшка сморщил лоб и не сводил с отца изумлённых глаз, как будто отец ударил его, а он не знает, за что. Матвей Егорыч стукнул мохнатым кулаком по столу, и мне почудилось, что он простонал:

— Надо быть мастером правды, хозяином правды... верблюды!

Гаврюшка завозился на стуле, и в глазах у него показались слёзы обиды.

— Папа! А правда, что ты кулаком бьёшь карсаков и резалок?

Матвей Егорыч вздрогнул и с хмурой угрозой уставился на Гаврюшку. Он помолчал, попытался и затеребил жёсткие волосы бороды и торчащих усов. Густые брови его зашевелились и уползли на лоб, а глаза вдруг заиграли весёлым огоньком.

— Это кто тебе сказал?

— Вот Федяшка говорил. Мы с ним из-за этого подрались.

Матвей Егорыч перевёл на меня глаза, и они придавили меня к стулу. А кулак его лежал на столе и дышал, сжимаясь и разжимаясь.

— Ну? А ещё что ты ему сказал, людёнок? Не бойся, говори! Не гляди на мой кулак: он—не для детей. Ты можешь сдунуть его, как рыбью чешую. Говори!

Но у меня всё замерло внутри, и во рту так стало сухо, что язык плотно прилип к дёснам. Я смотрел на плотового, прикованный к его багровому лицу, и с ужасом чувствовал, что судорожно улыбаюсь. А Гаврюшка тыкал меня в бок и со злорадным нетерпением требовал:

— Ну, говори, ежели правда! — И вдруг засмеялся: — Ага, соврал!

Я никогда не врал — у нас это считалось грехом, — и крик Гаврюшки возмутил меня. Я даже вскочил со стула и с дрожью во всём теле проговорил:

— Я сам видал.

Матвей Егорыч усмехнулся в бороду, но сурово приказал:

— Подойди сюда!

Я невольно пошагал к нему вокруг стола, и мне казалось, что я с трудом отдираю ноги от пола. Я ждал неизбежного: вот подойду к нему, и он схватит меня за волосы или за уши и начнёт шлёпать своей убийственной ладонью. Но я ощутил мягкую его руку, которая заворочила мои волосы.

— Не струсил — это хорошо. Кулаки пускаю в ход, верно. И за руку меня девка схватила, тоже верно. Но судить меня ты не можешь: судья должен знать, почему одни люди так себя ведут, а другие — по-другому: одни лямку тянут, другие на них ездят. А вы с Гаврилой ещё комары. Подрастёте, поломаете свои горбы, попадёте под аркан, поплачете, побеситесь и станете, может, хуже, чем я. Мне этих кулаков досталось вдвойне. Вижу скота бессловесного, который моему кулаку поклоняется, — бью и бить буду. Вцепись зубами в этот мой кулак, и мне — по зубам! Тогда я, может, сам тебе поклонюсь! Я сам всю жизнь к Марии тянулся, а попадал к Марфе. Это я из евангеля: там Христос с Марией душу отводил, а Марфа житейская орала на них и помоями обливала. Иди! Садись на своё место!

Многих слов плотового я не уразумел, но смысл его речи был мне понятен. В Матвее Егорыче я чувствовал что-то общее с дядей Ларивоном. Этот его угрюмый хмель и странный бунт против какого-то скотского загона — всё это я уже слышал когда-то. Но Матвей Егорыч был похож на больного, который не знает своей болезни, или на слепого, который попал в грязь и не может из неё выбраться. В нём я угадывал добрую душу, а эта душа корчится, как рак в куче рыбы, и зарывается ещё глубже.

Марфа Игнатьевна принесла на подносе судака в помидорной подливке и четыре стакана кофе с молоком. Она поставила передо мною тарелку с вилкой и улыбнулась мне с приветливостью сытой, вальяжной хозяйки, которая даже передо мной, приبلудным парнишкой, хочет показать своё превосходство матери «хорошего» семейства.

— Ну, закуси с нами, мальчик, полакомься. Ведь тебе в казарме

такое блюдо и не снилось. И кофе, верно, никогда не пробовал. У тебя кто мать-то? Резалка?

Я заупрямился и промолчал, уткнувшись в тарелку с рыбой, которая сразу одурманила меня своим ароматом. Но я сделал вид, что этот чудесный кусок, словно поданный на скатерти-самобранке, совсем меня не привлекает: меня парализовала и брезгливая снисходительность Марфы Игнатъевны, и деревенская привычка не прикасаться к чужой пище, пока не попотчуют несколько раз.

— Ешь! — подтолкнул меня Гаврюшка и насадил на свою вилку кусок судака. — Чего ты нахохлился?

— Не хочу я... — не поднимая головы пробурчал я.

— Нет, хочешь. Вот и соврал, ага!

Мне было тягостно: мучительно хотелось поестъ судака, облитого пахучей приправой, но подавляла сытая, вальяжная женщина. А Гаврюшка ещё больше заставил меня спрятаться в себя: он обличил меня во лжи, но спорить с ним я не мог. Конечно, я врал, но эта ложь была только деревенским приличием, которое принято было в нашей семье, в мужицком быту. Гость, который садится к столу с первого приглашения, считался неучтивым.

Когда Марфа Игнатъевна поставила передо мною тарелку с рыбой и положила вилку, белые, пухлые пальцы её показались мне очень недоброжелательными. По рукам я как-то бессознательно научился определять характер человека: есть руки добрые, сердечные, которым сразу доверяешь, есть — хитрые, притворные, вкрадчивые, есть — злые, враждебные, от которых хочется отодвинуться, а есть — сытые, брезгливые, неприветливые. У Марфы Игнатъевны были руки и притворные, и брезгливые. Когда же я украдкой взглянул на её лицо, такое же белое, пухлое, с дряблыми отёками на щеках, с улыбочкой, которая не хотела улыбаться, — я увидел, что эта женщина гнушается мною, считает меня поганым, что она терпит меня в своей горнице только потому, что я по дурацкой случайности оказался под покровительством Матвея Егорыча. Если бы я пришёл только с Гаврюшкой, она выгнала бы меня, а Гаврюшку обругала за дружбу со мною. Я почувствовал, что она не «простая», не из «черняди», а, должно быть, из купчих, из среды тех людей, которые к рабочим людям относятся, как к скотине.

Гаврюшка толкал меня локтем и подбодрял:

— Ну, ешь! Чего ты бычишься?

Матвей Егорыч косился на меня из-под волосатых бровей и усмехался.

— Марфа Игнатъевна, — с добродушной строгостью приказал он, — налей-ка мне стакашку! Сухая ложка рот дерёт.

Марфа Игнатъевна приложила к вискам пальцы и сделала скорбное лицо, но глаза её стали острыми, а углы рта опустились.

— Не налью! — тихо, с ненавистью сказала она и опустилась на стул в своём пышном шёлковом платье. — Не налью, Матвей: ты и без моей помощи налил себе до краёв.

Матвей Егорыч будто не слышал ядовитого голоса Марфы Игнатъевны: он ткнул рукой в мою сторону и угрюмо предупредил:

— Знаю: хоть и хочется лопать, а в горло не лезет. Понимаю. Однако и за чужим столом смелость нужна, как и на лодке в морю... — И так же добродушно потребовал: — Встань-ка, Марфа Игнатъевна, и налей рюмашку перед закуской ради прежней любви богатой девицы к кудрявому рыбаку, славному разбойничку в лицедействе. Помнишь, как я играл Степана Тимофеевича Разина? Эх, времечко было! Слеза дрожит и сердце стонет.

Эх ты, Волга, мать моя кормилица!
 Не отдам тебе себя, добра молодца:
 Не волён я в своей волюшке —
 Роковая моя судьба — воля народная.
 А отдам я тебе драгую любовь —
 Драгую красу — царевну персиккую...

Он уронил свою растрёпанную голову на руки и свирепо застонал. Гаврюшка бросил вилку и, поражённый странной скорбью отца, неожиданно засмеялся. Мать поднялась, с отвращением фыркнула и поплыла к двери.

— Глаза бы на тебя, потерянного, не глядели... Гавря! Иди уроки учи! Отец тебя на добро не наставит.

Матвей Егорыч вдруг встал и спокойно, но властно сказал:

— Марфа! Что я говорю? Исполни!

К моему удивлению, Марфа Игнатьевна необычно юрко повернулась и с трусливой улыбкой забормотала:

— Матвей Егорыч, роденький! Садись, не надрывай сердца-то! Господи, как бы опять беда тебя не посетила...

Гаврюшка сидел, застывший и бледный, словно оглушил его какой-то внезапный удар. А Матвей Егорыч стоял, потрясённый, и тяжело дышал. Лицо его исказилось болью, борода дрожала, но он улыбался.

— Да, Гаврило... ржёшь надо мной. Смейся! Смеётся и Мария, а Марфа расфуфырилась. Ни Стеньки, ни персиянки! У вас с люденком — сокровища. Где сокровища? На разбитом корабле... на разбитой барже! А там только — хлам, тлен, гнилушки!..

Он медленно сел, озираясь, жуткий, но кроткий, похожий на безумного. Я встал и опрометью выбежал на двор. Так я и не полакомился янтарно-вкусным куском судака у Гаврюшки.

Вечером, когда резалки сбросили свои штаны, вымылись и надели юбки, Прасковья, похожая на цыганку в своём цветистом платье, вскочила на боров печки и неожиданно выросла перед нашими нрами. Мне показалось, что вся она улыбалась — и круглыми, смелыми глазами, и крупным ртом, и всем сильным своим телом. До сих пор она не интересовалась матерью — должно быть, считала её слабенькой, покорной и смирной работницей, которую легко ушибить одним шутейным словом. А шутки она бросала грубо, с размаху, как озорница, но я чувствовал, что за этим озорством она прячет неутихающую боль. Я не раз видел, как у неё вздрагивали углы рта и глаза на мгновение застывали, озарённые какой-то неожиданной, обжигающей мыслью. Только на эту боль она никому не жалуется и, вероятно, считает унижительным показывать своё горе. И мне приятно было, что мать тоже следит за Прасковеей с завистливым любопытством, и ей очень хочется подружиться с нею. Марийка, девчонка дружелюбная, не обижалась на грубые шутки Прасковей и говорила матери:

— Прасковью я очень даже люблю. Я с ней уже два года работаю и знаю её. Она — озорная и ничего не боится. За товарок готова на рожон лезть.

И вот сейчас, когда Прасковья с широко открытыми глазами, расцветаящая своим платьем, склонилась грудью на край наших нар, мать как будто испугалась: она застыла с кружкой чаю в руке, но глаза её вспыхнули радостным изумлением. У неё была одна слабость: она любила привечать людей и была счастлива, когда товарки обращались

к ней с какой-нибудь даже пустячной доукой — за иголкой, за кусочком говяжьего сала, или просили перевязать руку, изъеденную солью.

Но Прасковья обратилась не к ней, а ко мне:

— Ну и греховник! Ну и бедокур! Сколько дел сегодня надделал — и в моряну на бударке пустился, и плотового спанталыку сбил, и в дом плотового пробрался, и на плоту из-за тебя переполох... Плотовой-то над Курбатовым вдоволь натешился: обесславил его при всём народе, как ты саданул его. Ты зачем это плотовому нажаловался?

— Я не жаловался, — запальчиво ответил я. — Я и плотовому сказал, что он кулаком дерётся.

Мать в ужасе стала на колени и упавшим голосом пролепетала:

— Да ты с ума сошёл! Да как это у тебя язык-то повернулся? Ведь теперь мне из-за тебя житья не будет... пропадать придётся... выгонят! С голоду в песках умрём...

Прасковья засмеялась и потрепала меня за волосы.

— Ну и озорник! Ну и отчубучил! — Она схватила меня за плечи, рванула к себе и чмокнула в обе щеки. — Охальник какой! а? Ну, что же плотовой-то тебе ответил?

Ободрённый поцелуями Прасковьи, я с гордостью похвалился:

— Он сказал мне, что я — смелый, и хорошо, что правду говорю. Мы с Гаврюшкой сначала подрались, а потом сдружились, с ним вместе и на лодке поплыли.

Мать разгладила кошму на нарах и с жалобной лаской пригласила Прасковью сесть, но Прасковья отмахнулась от неё, а потом схватила её за руку.

— Нет, ты гляди, как он храбро за нас дерётся. Ведь кого — плотового не побоялся!

— Это мы вместе с Гаврюшкой ему всё высказали, — поправил я её. — С Гаврюшкой мы здорово сдружились. А Матвей Егорыч сказал, что бьёт тех, которые молчат, как рыбы. Он очень хороший. А тётя Мотя сказала Гаврюшке, что отец-то его был весёлый и за всех заступался. А теперь запоем пьёт.

— Ну, всю подноготную узнал! — опять засмеялась Прасковья. Руку матери она не выпускала, а мать, счастливая, нежно сжала её крупную кисть другой рукой. — А ты, Настя, чего дрожишь? Чудная ты какая! Словно у тебя по волоску выщипывают, а тебе кричать хочется, да боишься. А ты расправь крылышки-то: ведь тебе взлететь охота. Распахнись во-всю. За меня держись. Мне терять нечего, а себя я дорого ценю. Одно у нас плохо: все в разные стороны глядят и в свою шкуру прячутся.

Мать, подозрительно поглядывая на резалок, которые копошились на своих нарах, переговариваясь, наклонилась к Прасковье и торопливо проговорила:

— В чужой-то семье сколько я горя перемыкала, Прасковья милая. Девчушкой ещё меня просватали. И с первого же дня оглушили. Свёкор-то — строгий, самодурный: ни пикни, ни повернись, работищей замутили, а муж кулаками ласкал. И всем угоди, всем услужи. А ведь я — весёлая, радостная: и солнышко люблю, и к людям привязчива, и попеть, и поплясать охоча. И душу бы людям отдала...

— Вижу, — сердито оборвала её Прасковья. — Только эта твоя душа, как ёж, в узелок свернулась. Привыкла страхом дышать.

— А как же быть-то? — с робкой надеждой спросила мать.

— А так. На меня гляди, ничего не бойся. Сдачи давай. Орёт подрядчица — сама на неё ори и держись с ней и с приказчиком так, словно их и нет около тебя. Они только с забитыми да робкими страш-

ны. Видала, как Наташка-то плотового за руку схватила? Вот это — девка! Только и она сама не своя... безумная какая-то...

Наташа лежала неподвижно и смотрела в потолок. Она и сейчас была глуха к словам Прасковей, которая не стеснялась говорить о ней громко. И я догадывался, что Прасковья нарочно говорила о Наташе, чтобы разбередить её. Но Наташу неожиданно пробудил я, а не Прасковья. Я помнил рассказ о ней Харитона и жалел её. А однажды ночью я проснулся от её стонов и невнятного бормотанья. Она задыхалась в ужасе и металась, разрывая рубашку на груди. При мерцающем свете привёрнутой висючей лампы я видел, как лицо Наташи исказилось болью. Я подполз к ней, потряс её за плечо и натянул на неё одеялку. Она посмотрела на меня с изумлением и вдруг прижала мою голову к груди. Сердце её билось гулко и толкалось мне в щёку. И в тот миг я почувствовал, что полюбил её. Слова Прасковей о Наташе показались мне обидными, и я возмущился:

— Ничего она не безумная. Ежели бы с тобой, тётя Прасковья, случилась такая беда, ты тоже с ума бы сошла.

— Батюшки мои! — поразилась Прасковья, всплеснув руками. — Он и Наташкину судьбу знает. Скоро состаришься, паренёк.

Наташа порывисто поднялась на локте и, как в угаре, уставилась на Прасковью.

— Ты меня не задирай, Прасковья, а то обожжёшься. Я безумная для себя, а вот ты не знаешь, что делать со своей тоской. Только форсишь.

А Прасковья необычно мягко и задумчиво ответила:

— Я не для форса поднялась сюда, Наташенька, а с заботой. И на меня ты не сердись. Федяшке-то с Настей сейчас житья не будет: Курбатов поедом их съест, будет играть, как кот с мышками. Подрядчица — волчиха, а ходит перед ним собачкой. Хоть она и ненавидит его, а в угоду ему надумывает всякие подлости. Обо мне говорить нечего: я ему сама морду набью — опытная. А вот тебе, Наташа, тоже туго придётся. На таких, как ты, они мастера охотиться. Им нужно, чтобы все снулой рыбой были. Плотовой не в себе: пьёт без просыпу, и его обводят вокруг пальца. Мы — беззащитные: все резалки только в свой мизинец глядят. Нас хоть много, а каждая — сама по себе. А будь мы друг с дружкой связаны да друг за дружку держались — мы их плясать бы под свою дудку заставили, они и пикнуть бы боялись. Раз такое дело — давайте кучкой держаться: мы трое, да Марийка, да мои товарки Оксана с Галей. Вот уж нас и шесть. А к нам и другие пристанут.

— Чего же мне делать-то, Прасковья? Куда я пойду с парнишкой-то, ежели выкинут меня?

— Не выкинут. Какая им выгода работницу гнать? Они постараются из тебя все соки выжать. Да и парнишку в работу запрягут: раз приказал плотовой ему всучить багор, Василиса и рада этому — даровой работник. Говорю, Настя, со мной плечо в плечо держись — не пропадёшь. Делай то, что я делать буду. И смелее, озорнее будь. Скажи хоть словечко, Наташа.

Наташа угрюмо отозвалась:

— Мне нечего терять: я давно всё потеряла.

Прасковья радостно вспыхнула, засмеялась и протянула к ней руку.

— Наташенька, родненькая, да ты не только ничего не потеряла, а сильнее всех стала. Уж ежели ты что потеряла — так единственно страх. Ведь ты гора сейчас.

— Федяшку с Настей я в обиду не дам, — глухо отозвалась Наташа и натянула на голову одеялку.

Рядом с Прасковеей внезапно вынырнул Гриша-бондарь. Мать будто ждала его и вся засветилась от радости. А Прасковеей насупилась и съехидничала:

— Хороши парни в бондарне, да в любви все коварны.

Гриша стал рядом с нею и с беззаботной весёлостью обнял её, прижимая к себе.

— А резалки, словно чалки: слабы чалки из мочалки... Уж на песню и я отвечаю песней. Ты ведь моя старая товарка—знаешь, какой я гордый людей действием да песней завлекать.

— Да уж досыта знаю,— недоброежело усмехнулась Прасковеей.— Сколько дур от тебя сердце надорвали, сколько слёз пролито! Даже я очумела — назолу приняла, да во-время опаматовалась.

— Аль я тебя нарочно завлекал, товарка? Представляю я в лицах да пою для души, а людям от этого — радость. Вижу, как люди словно в огне горят и за мной куда хошь пойдут — тогда я сам не свой бываю. Чем же я коварный?

Прасковеей отодвинулась от него и с недоброй усмешкой огрызнулась:

— Ты зубы мне не заговаривай, бондарь. Да и рыбок на свою блесну не лови. Я уж хорошо знаю, какой ты кудесник.

Мать с пугливой тревогой глядела на Гришу, но слова Прасковеей больно задела её, и в её глазах я увидел ревнивый огонёк. Должно быть, ей показалось, что Прасковеей нарочно порочит Гришу, чтобы вызвать у ней недоверие к нему. Но Гриша не обиделся и не тушил своей хорошей улыбки. Мне было неприятно слушать Прасковеей: в её голосе я почувствовал мстительную злость. Я не утерпел и пылко вскрикнул:

— Дядя Гриша вовсе не кудесник! Кудесники — колдуны. А какой он колдун? Ты, тётя Прасковеей, его не бесславь.

Гриша захохотал и даже голову закинул от удовольствия. Он схватил меня за руку и потряс её:

— Покорно благодарю, Васильич! Вот какой верный друг у меня, Прасковеей! Мы с ним пуд соли съели.

Мать тоже засветилась от смеха. Она встретилась с глазами Гриши, и в лице её я впервые заметил какую-то странную игру, не виданную раньше никогда. Прасковеей тоже улыбалась, и её красивые пристальные глаза следили за моим лицом.

— Мамаша-то крадучись живёт. А сынишка без оглядки на рожон рвётся.

— Как ты же...— пошутил Гриша, не переставая смеяться.

— Уж какая есть,— сердито обрезала его Прасковеей.

Гриша сразу стал серьёзным и сказал ей строго:

— Такая ты мне и нужна.

— С каких это пор?— съязвила Прасковеей.

— Давно любуюсь на тебя,— так же серьёзно ответил Гриша.— А сейчас такое время пришло, что ты можешь весь свет перевернуть.

— А, батюшки!— притворно поразилась Прасковеей.— Вот уж думать не думала, какая я есть сила — воду месила!

Тётя Мотя проковыляла к больной женщине и потрогала её ноги через одеяло. Она отступила на шаг, прислушиваясь и приглядываясь к ней. Потом с необычайной торопливостью влезла на нары, подняла одеяло и некоторое время всматривалась в лицо женщины. Бережно, словно боясь разбудить больную, она сползла с нар и тяжело потащилась к печи. Опираясь рукою о её стенку, она пробралась к нам и по-

звала Гришу. Он наклонился к ней и сразу же отпрянул с тревогой в глазах.

— Вот что, товарки,— сердито сообщил он.— Малаша-то умерла. Матрёша говорит, что она уж и застыла. Такая судьба уготована и другим в этой яме.

Он спрыгнул с высокого борова на пол и прошёл к нарам умершей. Но соседка её, Улита, уже благочестиво крестилась и, отвернув одеяло, ощупывала костляво-серое лицо, грудь и плечи женщины. Другая соседка — беременная Олёна — с измученным лицом, тоже захлопотала над покойницей. Её муж, солильщик Гордей, молчаливый, с красно-сизым лицом, лежал невозмутимо, будто смерть соседки была обыденным случаем. В казарме уже все были встревожены и испуганы. Люди сразу замолкли, притаились и зашептали. Мать порывисто рванулась с нар и оттолкнула в сторону Прасковею.

— Вот так слабенькая! — смущённо пробормотала Прасковея. — Вот так тихоня! Да она может мужика свалить.

Мне стало жутко, словно казарма наполнилась призраками — той таинственной силой, которую чувствуешь только нутром. Мать подбежала к нарам умершей и остановилась, словно не могла перешагнуть через какую-то преграду. Пристально вглядываясь в неподвижное тело женщины, наполовину открытое, она с усилием, точно ощупью, приблизилась к краю нар и на четвереньках поползла к Улите и Олёне. Тётя Мотя на натянутой верёвке развешивала дерюги и клетчатое одеяло.

Прасковея со сдвинутыми бровями слезла на пол и пошла к своим нарам, к задней стене, мимо сидящих плечом к плечу женщин и девчат. Мужчины разговаривали вполголоса.

Гриша прошёлся по казарме, заложив руки за спину, поглядывая исподлобья на сидящих женщин и мужчин, угнетённых смертью давно болевшей товарки. Хотя все привыкли к её стонам и бреду и, может быть, знали, что она скоро умрёт, эта смерть поразила их, как внезапная беда. Кузнечиха необычно услужливо помогала тёте Моте за занавесками, и голос её стал покорным и кротким. Мать хлопотливо возилась над телом покойницы, а Улита и Олёна сразу подчинились ей: она бойко приказывала что-то, говорила не переставая, и руки её ходили ходуном. Она вся трепетала от нервного возбуждения.

Гриша поворочил свои кудри и остановился под лампой у стола.

— Вот какое дело, други мои... Человек умер! Болел, мучился человек, сгорел и умер. Бросили человека. Полечить бы надо женщину, а тут, на промыслах, и больницы нет, и никакого леченья нет. А ведь с любым из нас может приключиться несчастная статья, ну и сгнинешь, как собака. Да ещё голодом заморят, за ноги с нар стащат. Ну-ка, скажите, кто из вас без штрафов работал?

Прасковея сидела вместе с Оксаной, которая с ужасом глядела в сторону покойницы. На вопрос Гриши Прасковея враждебно ответила низким голосом:

— Без штрафов я в этот сезон работала, да моя пара — Оксана.

— Счастливые,— улыбнулся Гриша.— Угодили подрядчице.

Прасковею взорвали слова Гриши: она вскочила с нар и, с искажённым от гнева лицом рванулась к нему.

— Ты меня, бондарь, не дразни! Сам знаешь, почему штраф ко мне не прилипает. У нас с подрядчицей свои счёты. Могилка-то моего ребёнка горит.

У неё задрожал подбородок, и голос сорвался. А Гриша спокойно подтвердил:

— Знаю. Вот и Малашина могила будет гореть. У тебя — мука, а у других вот — скука. Бей их штрафами, и не охнут: привыкли. Дурают, что так и надо. И гнить будут — не пожалуются, вот как Гордей.

Кузнец пробасил из своего логова:

— Вы, бондаря,— чистоплюи: у вас и работа воздушная, и заработок верный. А я вот на весь промысел один. Ангел чёрта не понимает.

Гриша повернулся к нему и пренебрежительно отшиб рукою его слова.

— Ангелы ли, черти ли — все здесь каторжные жители. Ты с молотком, а мы с топором. У всех у нас одна судьба: и под штрафами, и под страхами, из каждого жилы тянут и кусок хлеба отнимают.

В эту минуту тело покойницы сняли с нар ногами вперёд. Улита с тётей Мотей взяли за ноги, а мать с Олёной подхватили её под плечи и голову.

Из комнаты вышла Василиса, оглядела нары, остановила властные глаза на дерюге, за которой плескалась вода, и перевела их на Гришу. По привычке она упёрлась руками в бёдра.

— Смутьянишь, бондарь... Я тоже напомяну тебе: в прошлом сезоне язык тебе здорово прищемили. Позабыл? Гляди, как бы и башку не потерял. Не мути людей, если не хочешь неприятностей. У меня не побалуешься.

Гриша молча шагнул к ней, пристально вглядываясь в неё.

— Ну-ка, сгинь отсюда! — сдавленным голосом цыкнул он на неё. — Ещё одну женщину загрызла... Слышала? Могилы-то горят и сожгут тебя, дай срок: могилы мстят.

Василиса только ухмыльнулась и смерила Гришу взглядом с головы до ног.

— Не распоряжайся здесь, бондарь! Помни: смутьянам одно место — под замком.

Неожиданно с нар слетела Оксана с багорчиком в руке, как безумная, бросилась к Василисе.

— Ты о моей сестре забыла, которую в петлю загнала?.. Так помни же о ней всегда!

Её подхватил Гриша и вырвал багорчик.

— Не надо этого, Оксана. Не дури!

Василиса юркнула в свою комнату и заперла дверь на задвижку.

Прасковья обняла Оксану и повела её к нарам.

— Нашла время счёты сводить... С ума сошла, девка! Возьми её, Галя, и успокой.

Я стал опять работать на плоту. Рано утром, ещё затемно, я вместе с толпой резалок, рядом с матерью и Марийкой, шёл через плотовой двор на берег. Море уже несколько дней плескалось у самых высоких прибрежных песчаных обрывов, и зелёные волны, погоняя друг друга, росли, дыбились ещё далеко от берега и, загибаясь жирными вершинами, кипели, пенились, обрушивались клокочущими водопадами сами на себя и с гулом ливня обмывали пологие песчаные осыпи. В рассветной синеве до розового горизонта море было всклокочено и несло к берегу, как мохнатое стадо овец. Там, далеко, оно угрюмо чернело, а здесь, у берега, было мутно и грязно от взбаламученного песка и ила. Всюду вихрями кружились чайки и плаксиво пищали, словно обиженные. Они стремительно падали в волны и опять взлетали кверху. Баржа попрежнему медленно и лениво разгуливала на своей ржавой цепи, поворачиваясь кормою с огромным рулём и вправо, и влево. Дул влажный, тёплый ветер, весь в запахах рыбы и водорослей.

Под плотом между чёрными сваями бушевала вода, и рыбацьи посуды, пришвартованные к площадкам плота, раскачивались и болтались, размахивая своими мачтами. Рыбаки в бахилах и кожаных картузах хлопотали на лодках, отталкивались шестами от плота, поднимали паруса. Прыгая на волнах, их посудины легко и быстро уплывали одна за другой наперерез волнам в кипящую морскую даль и скрывались за песчаными холмами. Пепельные облака, клубастые и тяжёлые, неслись из-за горизонта на промыслы и улетали куда-то в пески, за промысловое поселё.

Раза два я встречал Корнея и Балберку, но они почему-то не узнавали меня. А когда я при второй встрече побежал к Балберке, он нехотя и неуклюже протянул мне руку и выпятил губы.

— Не забыл, как мы плыли на барже-то?— спросил он равнодушно.— А мы сейчас редко ночуем в казарме: всё больше бегаем в море. Карп Ильич на Эмбе. А мы отсюда за рыбой бегаем. С Корнеем мы на разной посуде: и у него и у меня народ всё сырой. Поклон-то Карпу Ильичу посылаешь, что ли?

— Мне бы самому с тобой к Карпу Ильичу побежать,— позавидовал я Балберке,— да на плоту вот работаю.

— Ну, что ж,— одобрил он.— Конечно, работать надо. Без работы жить нельзя. Видал, рыбу считаешь. А какое жалованье положено?

— Может, и положат, а сейчас я без жалованья.

Он нахмурился и натянул картуз на лоб.

— Как это без жалованья? Ты требуй. Трудись для чужого дяди, будешь в накладе. На то и наука, сказала карасю щука. А с нами тебе бегать ещё рано.

Он отвернулся от меня и смешался с рыбаками.

На плоту я считал рыбу у скамьи матери с Марийкой и сам записывал карандашиком на бумажке, которую сунул мне приказчик.

— По сотням записывай!— приказал он мне, ехидно прищуривая один глаз.— Четыре тысячи отсчитай. А урок тебе до вечера — двенадцать тысяч. Не таращи глаза. Кончишь здесь, пойдёшь по своему ряду. Что, брат? Нарвался? Душа в пятки ушла? А ты думал, это игрушка?

Мать с испугом взглянула на меня и выпрямилась. Марийка сердито выпатила губы и подмигнула ей, потом повернулась ко мне и погрозила ножом. Глаза матери вспыхнули ненавистью, она побледнела.

— Ты, приказчик, не распоряжайся парнишкой-то!— крикнула она неслышанным для меня голосом — жалобным и злым.— Он тебе, парнишка-то, не подневольный. Он по охотке взялся: сколько ему захочется, столько и сделает.

Приказчик будто не слышал крика матери, только скосил глаза в её сторону.

— Не подумай бросить багор и удрать — штраф на мать наложу. Да помни: за тобой долг остался. За то, что ты пинаешься, должен просить у меня прощенья перед всем плотом. Это не сейчас, я погожу, а после урока. Тогда ты будешь посмирнее.

Марийка не утерпела и ядовито засмеялась:

— Ну, через край нагрозил! Кому мстишь-то, приказчик? Малолетку. А он сильнее тебя — свободный. Работать он бесплатно не обязан.

Приказчик ухмыльнулся и властно осадил её:

— Ты, девка, молчи! Это тебя не касается. А за разговоры и препирательства оштрафую, чтоб другим неповадно было.

Марийка вскочила со скамьи и с кипящими от ненависти глазами крикнула на весь плот:

— Подавитесь вы с подрядчицей этими штрафами! Нечего меня пугать!.. Уйди отсюда!

Приказчик вынул книжечку из кармана и молча отметил в ней что-то, помусолив карандашик. Это так тягостно подействовало на Марийку, что она, как побитая, села на скамью и низко наклонилась над лежащей перед нею рыбой. Наташа, которая сидела с Улитой на соседней скамье, даже головы не повернула, как глухая и слепая. А Улита сокрушённо качала головой и смиренно вздыхала.

Мать поманила меня пальцем, и я впервые увидел ожесточение на её лице.

— Ты, сынок, не надрывайся. Брось багор-то! Иди, куда хочется.

— Да, иди... а приказчик на тебя штраф наложит.

— Ну и наплевать. Не приходил бы сюда, ничего бы и не было. Придешь, какие из-за тебя неприятности?

Приказчик потянул меня за рубашку и буркнул:

— Ну, начинай! Нечего прятаться за материн подол. Приду — проверю, как работаешь.

Я рванулся в сторону и крикнул:

— Не трог меня! Я без тебя знаю своё дело.

Приказчик взглянул на меня, как большой пёс на кутёнка, и мне показалось, что у него насторожились и задрожали от удовольствия уши. В душе у меня бушевала буря. Кажется, я ненавидел приказчика всем телом. Я начал перекидывать багорчиком рыбу из судорожно трепещущей кучи к скамье. Мать поглядывала на меня неостывшими глазами, и я отметил в её лице что-то новое — какую-то радостную удовлетворённость, словно она своим бунтом против приказчика освободилась от той гнетущей прибитости, которая уже давно сковала её волю. А Марийка смотрела на меня с улыбкой и одобрительно кивала головой: молодец, мол, здорово отшиб этого дылду, приказчика! Только один раз я увидел, как Прасковья, поймав мой взгляд, помахала мне ножиком. А я, не отрываясь, перекидывал рыбу из кучи в кучу и понемногу успокаивался. Мне хотелось показать всем, что и я — работник, и имею право на хорошую оценку своего труда. Вот придёт Матвей Егорыч, увидит, что я работаю расторопнее Карманки и любого счётчика, он похвалит меня и скажет подрядчице, чтобы она положила мне жалованье, как равноправному рабочему, а Курбатову прикажет не обижать меня. И я перекидывал багорчиком серебристую рыбу, считая её и покарачь и по-своему, и наслаждался бойким ритмом, словно приплясывал под скороговорку песни. Скоро я забыл обо всём, а обида на приказчика растаяла уже на второй сотне. Но, считая крупную рыбу, я должен был отбрасывать в сторону мелочь — воблу, тарань, шамайку, которая не обрабатывалась. Мне казалось, что перекидывать рыбу легче и вольготнее, чем чистить граблями навоз или сучить чалки: когда я подушкой граблей толкал кучи сора, напирая на черенок животом, по ночам у меня болело брюхо, а когда крутил чалки, у меня застывали ноги и ломило спину от долгого стояния. Здесь же, на плоту, с багорчиком в руках, я чувствовал себя в непрерывном движении. Правда, я низко наклонялся над кучей рыбы, чтобы с размаху насадить её на шип багра и швырнуть к скамье резалок, но зато я двигался и вправо, и влево, мог разгибаться и немножко отдыхать. Я долго не ощущал усталости: плясовой ритм и ровное дыхание радовали моё маленькое тело, и мне хотелось не просто бормотать счёт, а петь его и украшать переливами голоса. И я самозабвенно заливался знакомыми всем запевками и сам импровизировал причудливые песенки. На меня посматри-

вали, улыбаясь, женщины со всех сторон и любовались мною. А мать с Марийкой смеялись. Мне тоже хотелось смеяться. Когда я обрывал своё пение, Марийка бросала на меня ожидающий взгляд и подбодряла:

— А ну-ка ещё, Федя!.. Как у тебя это хорошо выходит!..

У меня вздрагивало сердчишко от счастья, и я на разные голоса и мотивы выпевал скучные и тусклые слова счёта.

Проходила подрядчица и с недоумением поглядывала на меня.

К плоту подплывали парусники с прорезями, и рабочие в длинных блузах из мешковины сетчатыми черпаками выбрасывали на плот рыбу, и она, сверкая перламутром, прыгала, извивалась и билась на полу, хлопая красными жабрами. Подбегали рабочие с тачками, наполняли объёмистые ящики и катили их в разные концы плота.

Мне очень хотелось посмотреть на прорези, где кишела рыба в воде, и на рыбаков, которые казались мне совсем другими людьми — не такими, как наши плотовые рабочие: они вели себя вольно, независимо, а приказчика и подрядчицу даже не замечали. Покрикивая и посмеиваясь, они отшвартовывались от своей прорези, брали на буксир порожнюю и, подняв паруса, убегали обратно в море, качаясь на волнах. Над ними кружились чайки и провожали их в кипящую даль.

Как-то я увидел на борту парусника Корнея и бросился к нему, влоча за собою багорчик. Корней стоял у мачты и сердито покрикивал на приказчика, который стоял на краю плота. Безрыбная прорезь обмывалась волнами перед площадкой, где серебрилась большая куча судорожно извивающейся и трепещущей рыбы, и мешала пристать прорези, которую пригнал Корней. Приказчик гнусаво отругивался. Корней, одетый в чёрную кожу бахил, спокойно и внушительно бил приказчика своими тяжёлыми словами:

— В другой раз я тебя, болвана, смахну в самую прорезь и отхлещу бечёвкой. Ты только охочь с бабами валандаться. Где должен стоять порожняк? Я из-за тебя, лоботряса, лишний час теряю.

Курбатов мычал ухмыляясь:

— Ты, рыбак, здесь не распоряжайся. В чужой монастырь в своих бахилах не лезь.

Корней молча и решительно спрыгнул на прорезь и вскочил на плот. Он оттолкнул плечом Курбатова и по-свойски крикнул рабочим:

— Ребята, ежели рыба на плоту не нужна, я доставлю её на другой промысел — на Эмбу. Приказчик мою прорезь не принимает. Говорите, как быть?

Курбатов, загребая плечом, подошёл к Корнею.

— Отборную рыбу принимаю, а свою шамайку тащи обратно. Старый рыбак должен знать, чего от него на плоту требуют.

Корней набивал свою трубочку и проницательно поглядывал на Курбатова.

— Знаю, знаю, чего ты хочешь. Верно, я с тобой ещё не рассчитался: должник перед тобой. Сейчас только перед честным народом зазорно зубы тебе крошить: как-никак — начальство. Да не хочется и Матвея Егорыча конфузить. Ты меня наказал уже на две посуды: принимал рыбу сортовую, а на поверку вышел брак. Трудовые мои в карман положил. Я это затаил, промолчал до случая. А ты обнаглел: ну-ка, мол, я этого хромого в дураках оставлю — не буду, мол, принимать у него рыбу-то, он и поклонится мне, как другие остолопы, исполу, мол, будет работать, за дань. Аль не правда? Видите, ребята? — улыбаясь глазами, обратился он к рабочим и указал горячей спичкой на приказчика. — Не мне это вам говорить, и не вам слушать. Вы меня очень

даже отлично знаете, что души своей я чёрту не продаю. А он, по дурости, Корнея, старого рыбака, не разглядел. Горе его, что не на таковского напал. Я всякие виды видал, смерти в глаза смотрел и знаю, чем человек хорош и чем он плох. Вот и зову вас в свидетели: пойдёте — поглядите: сорт у меня рыба или сор.

Он махнул рабочим рукой, приглашая их за собой, и хотел сойти по лестничке на прорезь, но Курбатов злобно заорал:

— Не сходить с места, не ваше дело! Убирайтесь к тачкам! А ты, орясина, отчаливай со своей сортовой рыбой и выбрось её в море. Такую дрянью я не принимаю и принимать не буду. Помни и думай!

Резалки со всех сторон смотрели на приказчика и Корнея и пересмеивались. Мать махала мне рукой и требовательно звала к себе пристальным взглядом и бровями. Но я делал вид, что не замечаю её знаков. Мне очень интересно было наблюдать за приказчиком, который явно издевался над Корнеем.

Прасковья после похорон Малаши была молчалива и печально-сурова. Она и теперь не обращала внимания на ссору.

Все с любопытством следили за Корнеем и приказчиком, ожидая, что дело не обойдётся без драки. Но Корней с озорным огоньком в глазах шагнул к Курбатову, схватил его за шиворот и без натуги потащил к краю плота.

— Ты здесь, шкура этакая, для порядка поставлен, а не для подлости. Убирай прорезь! Сам! И рыбу у меня примешь, как первосортную. Ребята знают, какая мне цена. Я их заставлю сортировать.

Он обернулся к рабочим и дружески подмигнул им. Рабочие скалили зубы, а поражённые резалки даже перестали работать. Василиса хлопала себя по раздутым бёдрам и горланила:

— Что это за безобразие! Да как ты смел, шарлатан, скандал здесь устраивать? А вы чего глазеете, чертовки? Работать! Штрафа захотели?

А резалки, вероятно, чувствовали, что весь распорядок на плоту неожиданно-негаданно полетел к чёрту. Они со всех сторон бежали к Корнею и сбивались в тесную толпу. Но кое-кто остался на своих местах, и среди них — Улита с Наташей и Прасковья с Оксаной. Хотя Оксана, опираясь на свой багорчик, с удовольствием следила за Корнеем и приказчиком и смеялась, а Прасковья не отрывала своего лица от работы, я видел, что они любят Корнея и заранее знают, чем кончится этот скандал.

Несколько резалок неохотно пошли к своим скамейкам, оглядываясь с любопытством, но остальные густо толпились у края плота. Меня особенно поразила мать: она, не разгибая спины, целый день сидела верхом на своей скамье и поднималась только тогда, когда нужно было отнести вместе с Марийкой ушат с молóками на жиротопню. И я никогда не слышал, чтобы подрядчица ругала их за плохую работу или за ленивую возню. Работали они бойко, словно соревновались друг с дружкой: рыба трепетала у них на скамье, как живая, и багорчики и ножи играли в руках. Казалось, что руки их постоянно переговаривались, позвякивая ножами и багорчиками, и, подчиняясь их ритму, мать и Марийка подпевали им молоденькими голосами: то вскрикивали, поднимая головы и подзадоривая друг друга взглядами, то тихо и задумчиво пели грустную песенку. А сейчас обе бросили скамейку и оставили на ней свои ножи. Даже рыба осталась лежать на скамье с багорчиками в спинках.

Корней подвёл Курбатова за шиворот к причалу прорези и спокойно приказал:

— Отчаливай и отводи дальше!

Приказчик корчился и отбивался от Корнея: он вертел головой и размахивал руками, но Корней крепко держал его сильной рукой. Рабочие в длинных парусиновых рубахах сбились в кучу и смотрели на расправу Корнея над приказчиком с таким же наслаждением и так же самозабвенно, как на пляску или на кулачных бойцов. Но в глазах их играла мстительная радость: вот, мол, нашёлся смелый человек и прочил этого своевольного негодяя.

Приказчик задыхался от ярости и бессилия. А Корней, не повышая голоса, настаивал:

— Снимай чалку и отводи в сторону! Не задерживай посуду! За мной идёт другая прорезь: не сбивай череды! А будешь упрямствовать — брошу в море. Покупаешься, дурь-то и пройдёт.

Бородатый тачковоз угрюмо подошёл к причалу и хотел снять чалку с просмолённой сваи, но Корней отшиб его одним властным словом:

— Отойди!

Рабочий смущённо усмехнулся и беспомощно развёл руками.

Кто-то насмешливо крикнул из толпы:

— Чего тебе надо, Соснов? Аль жалость обуяла?

Этот голос подхватила весёлая резалка:

— Пожалел баран волка, да не вышло толка.

В этот момент Корней вскинул Курбатова вверх и бросил его в воду. Курбатов раскорякой пролетел позади прорези и исчез в мутных волнах, бегущих к берегу, а над ним взорвался кверху вихрь брызг и пены и разлетелся в стороны.

Женщины истошно закричали, кто-то из рабочих захохотал, кто-то осудительно заругался, и толпа шарахнулась к самому краю плота, чтобы увидеть, как приказчик будет барахтаться.

Он вынырнул, как тюлень, и, задыхаясь, кашляя, с разинутым ртом, со страхом в выпученных глазах, побрёл к берегу, разгребая воду руками. Мутные волны подгоняли его и прыгали через его плечи и голову. Вода стекала с него ручьями. Толпа стояла молча и сдержанно смеялась. Корней с рабочими оттянули прорезь вдоль плота к внешнему углу, а рыбаки со своей прорези бросили чалки на плот. Курбатов вышел на берег, скорченный, жалкий, смешной: штаны плотно прилипали к ногам, из голенищ выплёскивалась вода, пиджак прибит был к телу, и с него тоже лилась вода. Не оглядываясь на плот, Курбатов широко зашагал по песку к воротам промысла. Рыбаки в бахилах скалили зубы, а Корней с суровой деловитостью прошёл через прорезь с кишасей рыбой на свою посуду. Двое рыбаков подтянули её шестью к порожней прорези, пришвартовали к борту и подняли парус.

А на плоту встревоженно кричали резалки. Они стояли у своих скамеек и растерянно махали руками. Мать с Марийкой тоже стояли с испуганными лицами и беспомощно озирались, не понимая, что случилось. Я подбежал к ним и увидел, что ножей и багорчиков на их скамье не было. Они исчезли со скамей и других резалок, которые бросили работу и побежали потешиться скандалом между Корнеем и приказчиком. Женщины орали, как галки: одни злобно и требовательно, другие — плаксиво, жалобно, а иные смеялись и задорно повизгивали. Прасковья вскинула руку с ножом, выпрямилась и со злой насмешкой крикнула:

— Ну, чего вы, девки, тормошитесь? Пляшите, ежели стоите с пустыми руками! Ножи-то да багорчики ваши — у подрядчицы. Уж она штрафами набьёт себе карман. Даром-то не ротозейничают.

Подрядчица стояла в задней, береговой, части плота и, уткнув кулаки в бёдра, смотрела на резалок окаянными глазами. Волны мчались

на берег в кружевах пены. Кудрявые гребешки срывал ветер, а кипящие их взлёты рвались вперёд, kloкотали и катились вниз, но сразу же таяли, расцветая белыми узорами пены. Ветер порывами носился по плоту и рвал платки с голов резалок. Он трепал холщёвый халат подрядчицы в её ногах, и раздутый её живот и груди выпячивались, как огромные пузыри. Василиса тряслась от смеха, как властная самодурка, которая потешается над своей челядью.

— Ну, нагляделись, налюбовались на дурацкое представление? Где ваши ножички и багорчики? Правильно советует Прасковья: вам только и остаётся, что плясать.

— Подавишься, подрядчица! — задорно крикнул кто-то из толпы резалок, и этот голос подстегнул всех женщин: они сбились в кучу, замахали руками и злобно загалдели не поймёшь что. Мне показалось, что они сейчас ринутся на Василису и начнут колотить её или заставят убежать с плота. Но все стояли на месте. А подрядчица, уверенная в своей силе и власти, уже сварливо выговаривала, уткнувшись в грязную записную книжечку и отмечая в ней что-то огрызком карандаша:

— Вы ещё неучёные, неопытные: вы ещё в кнутике нуждаетесь. Не привыкай к голоду смолоду — поблёкнешь да увязнешь в долгах, как в песках.

Даже мне, парнишке, было понятно, что она радуется: вот, мол, выпал неожиданный случай — в барышах осталась. Ножи и багорчики резалки выкупят дорогой ценой. Она охотилась за штрафом, как щука за шамайкой, и рыскала по плоту, хищно поглядывая по сторонам. Нет худа без добра: напоролся Курбатов по-дурацки на рыбаков, понадеялся на свой гонор, а побежали бабёнки поглядеть на расправу с ним — и заплатились за это. Она показала себя умнее приказчика: и строгость свою проявила, и выгоду извлекла.

Резалки толпились перед приказчицей и кричали, не слушая друг дружку. Мать застыла, взволнованная какой-то внезапной мыслью, пристально вглядываясь в подрядчицу потемневшими глазами. Я хорошо чувствовал жизнь её глаз: они темнели и как будто вскипали, когда она переживала душевное потрясение и отдавалась внезапному бурному порыву. В ней просыпалась какая-то непонятная мне сила и порыв к невидимой цели, и она будто вырастала, напрягалась, обычная её робость угасала. Только дрожь волнами проходила по её телу да странная улыбка мерцала на губах. Марийка смотрела на неё с тревожным изумлением.

Резалки ругались, толкались плечами, порывались к Василисе и требовали свои ножи и багорчики. А подрядчица как будто не слышала их, перелистывала книжечку и мусолила карандашик.

Встревоженный матерью, я решил незаметно пробраться к куче ножей и багорчиков позади Василисы. Я прошёл стороной мимо взволнованных женщин к столбу, около которого лежал ворох ножей и багорчиков. Подрядчица не заметила меня, а резалки не обратили внимания. Найти ножи и багорчики матери и Марийки в беспорядочной куче было трудно: надо было эту кучу украдкой разворошить за спиной подрядчицы и не всполошить работниц. Хотя на черенках я вырезал буквы, но в большом ворохе таких черенков с отметками было много. Из-за столба я начал торопливо разбирать ворох, но под руку попадались только чужие ножи и багорчики. Подрядчица стояла перед столбом, прикрывая собою свою добычу. Она, должно быть, нарочно копошилась в своей книжечке, чтобы поманежить резалок — пришить их и сделать покорными и смиренными.

Среди торчащих в разные стороны черенков я увидел багорчик ма-

тери и рванул его к себе. Он зацепил за другие багорчики, и куча с лязгом расплзлась в стороны. Василиса повернулась ко мне и заорала:

— Ты что здесь делаешь, щенок? Воруешь?

Мелькнуло передо мною её разбухшее лицо. На мясистых губах пузырилась слюна. Я не успел спрятаться за столб: она схватила меня за волосы и потащила к себе.

— Как же ты смел подойти сюда и рыться в этой куче? Не воруй! Не тащи чужих вещей!

Она больно ущемила в своих толстых пальцах мои волосы и стала трепать их. Сначала я растерялся, и в глазах у меня завертелись и женщины, и столбы плота, и кучи рыбы на плоту, а море вспыхнуло, брызнуло и погасло. Кто-то из женщин пронзительно вскрикнул, где-то рядом рывкнул мужской голос. Я с рёвом вцепился в пальцы Василисы и вырвал их из моих волос. Багорчиком матери я замахнулся на неё, но кто-то схватил меня за руку и потащил назад.

И тут я увидел, как от толпы оторвалась мать. Она шла с застывшим лицом, с закинутой назад головой — шла решительно, безбоязненно и как-то странно — вытянувшись, не колыхаясь, словно шагала по жёрдочке. Как слепая, она оттолкнула подрядчицу плечом. Вероятно, толчок этот был необычный: массивная Василиса отлетела в сторону и едва удержалась на ногах. Около матери стояла Марийка, бледная, с горячим блеском в глазах, а Наташа с ножом и багорчиком в руках наступала на подрядчицу и оттесняла её в сторону. Тачковозы и карсаки с баграми в руках стояли поодаль и смеялись. Карманка тянул меня за руку, морщился от слёз, от улыбки, покачивая своим сыромятным колпаком.

— Якши, якши!.. Злой какой! Айда казармам. Бедам будет...

Но я вырвал руку, с разбегу поднял свой багор, а материн багорчик сунул ей в руку.

Мать неслышанно чужим голосом — поющим, но призывно-радостным — крикнула:

— Девки-и, товарки-и! Идите сюда! Идите ко мне! Что наше — то свято.

Она разгребла ворох ногами, быстро нагнулась и сразу, без ошибки, взяла свой нож, потом выпрямилась и зазвякала им весело и звонко. Но лицо её было чужое. Она была в припадке нервного потрясения, когда забывала себя и подчинялась какой-то непостижимой внутренней силе. Я боялся, что сейчас она упадёт и потеряет сознание. Я подбежал к ней, поймал за руку и потащил к скамье. А она сказала обычным голосом:

— Ты чего испугался-то? Я ведь это к тебе кинулась, когда подрядчица тебя за волосы схватила. А тут, вижу, и резалки маются...

Но резалки не маялись: они с радостными криками устремились к ней и затормошились над разбросанными ножами и багорчиками, толкаясь, мешая друг другу, и убежали к своим скамьям. Марийка и Наташа возвратились последними. Наташа тяжело и спокойно уселась на свою скамью, а Марийка с ликующим смехом в голубых глазах позвякала ножиком о багорчик. Ей, должно быть, хотелось играть и озорничать.

На плоту опять началась обычная работа, но всюду ещё шумели и смеялись женщины. Прасковья сидела с Оксаной и работала невозмутимо, словно то, что происходило на плоту, её нисколько не тревожило. Мне казалось, что она была чем-то расстроена, а может быть, больна. Но Оксана, гибкая, с тонким, словно выточенным лицом, лукаво поглядывала на неё и поблёскивала зубами. А позади плота за столом сидела подрядчица и, навалившись на него грудью, царапала в своей кни-

жечке всё тем же огрызком карандаша. Так как грудь её расплывалась по всему столу, места для книжечки не оставалось, и она держала её на другом краю растопыренными пальцами. Её губы судорожно сжимались и кривились, и она облизывала их острым языком. Мимо неё пробегали рабочие, подгоняя тачки с рыбой, и когда тачка пронзительно взвизгивала неподмазанными колёсами, она с ненавистью в глазах провожала рабочего.

Я опять стал сортировать своим багром рыбу, отбрасывая воблу в одну сторону, судаков в другую, сазанов—в третью. Я сначала не заметил насторожённого молчания на плоту. Голос подрядчицы грозно гремел в этой тревожной тишине:

— Ну, вот и знайте, раз навсегда: я законтрактовала вас не для того, чтобы вы вольничали. А за то, что вы бросили свои скамьи и работу оборвали, да потеху себе устроили, сдеру с вас шкуру до нетей. Все, кто оставил скамьи, а на них свои ножи и багры, которые я отобрала, поплатятся штрафом на целый урок. Да и паёк не получают. А вот чтобы проучить на добрую память новеньких, я для примера резалку Настасью штрафую вдвое — за гадёныша-парнишку и за то, что она самовольно отобранные инструменты разворошила и взбунтовала других дурёх. Двойной штраф сдеру с Наташкин, с этой коровы, которая дерзко меня толкать посмела, да ещё за руку схватила. А кто я для вас? Я — хозяйка и могу распоряжаться вами, как хочу. Вот Улита да Прасковее с Оксаной и другие резалки своё дело не бросили — работали, как миленькие, и свой, и хозяйский интерес блюли. Ну, и не пострадали. Вот вам мой сказ. А сейчас догоняйте, штрафные, тех, кто убежал вперёд.

Она победоносно оглядела весь плот. Резалки молчали, подавленные неожиданным наказанием, испуганно переглядывались, и руки их как будто сразу отяжелели и утомились. В разных местах сердито забормотали, и это протестующее бормотанье охватило весь плот. Кто-то обзлётно крикнул:

— Подавишься, подрядчица.

Чей-то насмешливый голос возразил:

— Проглотит. Ей — не впервой. Чем ни жирнее, тем жаднее.

Мать с неугасающей улыбкой смотрела на Василису, спокойно, без всякого испуга.

В этот момент я увидел позади подрядчицы высокую фигуру Прасковее, а рядом с ней Оксану и Галю. С весёлым, но бледным лицом, с отчаянной решимостью в глазах Прасковее вскинула багорчик над головой и повелительно крикнула:

— Товарки, бросай работу! Ежели подрядчица ограбила вас на целый дневной урок, на какого же рожна вы трубить будете этот день? Урок-то вы всё равно отработали бы, хоть и поглядели, как Корней долговязого детину в море бросил — и за дело бросил. Вот с Курбатова бы штраф-то надо содрать, чтобы не подличал, не мешал работе, а не с резалок. Все до одного бросим работу и пойдём в казарму. Завтра выйдем по порядку, а ежели чёрт за ребро подрядчицу схватит — опять гулять будем. И ей же свой счёт предъявим. Пускай сам управляющий судит, кто путину срывает.

— Да ты сдурела, чёртова кукла! — заорала Василиса. — Как ты смеешь людей бунтовать? Пошла на своё место!

Она бросилась к Прасковее, но Оксана оттолкнула её с озорной усмешкой:

— Не забывай, подрядчица, монх пощёчин.

Прасковее зазвывкала ножиком о багорчик — знак тревоги, ей ответила Оксана, а мать со странным одушевлением и сосредоточенностью

стала звякать пластинкой ножа о крючок багорчика. Плясовую трещотку отбивала и Марийка. Своим багорчиком я тоже с удовольствием бил в пол, и каждый мой удар бухал, как барабан.

И вдруг на всём плоту загремело, залязгало железо. Только Улита да беременная Олёна с кузнечихой сидели на скамьях и продолжали работать, словно ничего не слышали, да карсаки невозмутимо сортировали и считали рыбу на краю плота. С прорези тоже выбрасывали рыбу на плот полными черпалками. Тачечники остановились и глазели на резалок с недобрým удивлением и ругались. Их работа обрывалась сама собою: она была ни к чему, ежели резалки бросили свои скамьи.

Прасковея и Оксана с Галей пошли впереди, за ними — мать с Марийкой, серьёзно и молча встала Наташа. Длинной толпой потянулись и остальные резалки. Остались на плоту только Улита, кузнечиха и беременная Олёна. Они сидели в одиночку, и каждая старалась спрятать своё лицо от других. Должно быть, им было совестно и зазорно сидеть здесь одним: товарки на них окрысятся, и в казарме им житья не будет. Олёна натянула платок на глаза, а Улита с неизменной молитвенной кротостью продолжала работать споро и легко, как всегда.

Знакомый белобрый парень, тачковоз, лихо, сквозь смех крикнул рабочим на прорези:

— Кончай базар, ребята! Бабы с плота табуном подрали. Пускай рыба-то в прорези плавает, а то уснёт. Закуривай!

Он, посмеиваясь, сел на тачку и вынул кисет.

Василиса стояла посредине плота и озиралась, теребя дрожащими руками кофту. С судорогами в лице она рванулась к оставшимся резалкам. Тачковозы стояли у своих тачек, свёртывали цыгарки, и видно было, что у них даже бороды смеялись. Из сумеречных ворот лабаза смотрели солищники в парусиновых фартуках. На плоту стало пусто и угрожающе тихо. Несколько молодых рабочих пошагали вслед за резалками.

Василиса побежала за женщинами по бугристому песку с руками на отлёте, и мне казалось, что тяжёлые её бёдра мешали ей бежать. Рабочие свистели ей вслед и хохотали.

Разрезая волны и разбрызгивая их в стороны, плыл к промыслу белопарусник с пришвартованной прорезью.

Белоштанная толпа женщин шла через двор молчаливо с ножами и багорчиками в руках, и никто из них не оборачивался на угрожающие крики подрядчицы, которая бежала в сторонке, обливаясь потом.

— Останись, Прасковея! Не поздоровится вам за это... Полицию вызовем... Не сидели в тюрьме — посидите.

Но женщины шли, позвякивая ножами о багорчики, как под музыку. Прасковея шла впереди, высокая, с уверенно закинутой головой, а около неё легко и празднично шагала мать с застывшей улыбкой. Я никогда не видел её в таком потрясении: она, должно быть, переживала минуты ослепительной свободы и впервые чувствовала, что и она — сила, что в этой горячей толпе она сейчас родилась заново, и ей открылся какой-то новый мир счастья. Но в то же время в глазах её вспыхивала неосознанная тревога, как у слепой, идущей по краю обрыва в толпе таких же слепых, как она. Иногда она оглядывалась, прижималась к Прасковее, и эта странная тревога таяла в её глазах.

Оксана шла об руку с Прасковеей и Галей, безмятежно, с обычной спокойной ясностью в глазах, будто ничего не случилось, будто женщины шли с плота в обычный обеденный час. А Наташа шагала груз-

новато, словно нехотя, молчаливая, угрюмая. Но когда она встретила мой взгляд, то неожиданно улыбнулась, и эта улыбка сразу сделала её крупное лицо миловидным и добрым. Марийка всё время была весёлая, оживлённая, оглядывалась на женщин и смеялась.

На надсадные крики подрядчицы Прасковеев не обращала внимания. Только однажды она обернулась к женщинам и сказала с усмешкой:

— Пускай орёт, пока не надорвётся. Не ругайтесь с ней и ни слова не говорите. Передайте другим, чтобы скандала не было.

И женщины охотно, с удовольствием передавали приказание Прасковеев. А Василиса, вся красная, мокрая от пота, тряслась сбоку толпы и, задыхаясь, кричала охрипшим голосом:

— Я знаю, кто смутьянит! Ишь, на штрафы изобиделись! Вот сейчас увидит управляющий, как вы бунтуете, и не пощадит: в момент выбросит с промысла. В последний раз вам говорю: поворачивайте назад!

Она остановилась, вытащила из кармана юбки платок и, вытирая лицо, побежала в контору.

Прасковеев проследила за ней сердитым взглядом и вдруг засмеялась.

— Смотрите, товарки, как мы её испугали: ног под собой не чувствует — на ровном месте спотыкается.

Когда мы проходили мимо бондарни, из чёрной пустоты мастерской вышел Гриша в парусиновом фартуке с нагрудником, с мелкими стружками в кудрях. Он помахал нам рукой и, поднимая с весёлым удивлением брови, широко зашагал к нам.

Прасковеев обернулась к толпе и подняла обе руки.

— Стойте! — по-мужски сильным голосом скомандовала она. — Стойте, не расходитесь, товарки!

Мать и Марийка тоже замахали своими багорчиками и ножами.

В распахе двора бондарни сгрудились мастера в фартуках и с любопытством смотрели на толпу женщин. Впереди стоял Харитон, сложивши руки на груди с засученными до локтей рукавами. Смотрел он хмуро, как будто неодобрительно, но я издала видел в глазах его усмешку. Бондаря позади него смеялись и живо переговаривались между собою. Вероятно, к Харитону обращались с вопросами: он кивал головой и осаживал товарищей назад.

Женщины остановились и загалдели, не понимая, что случилось, потом хлынули вперёд и окружили Прасковееву с Гришей. Я тоже очутился рядом с матерью и Марийкой, стиснутый телами резалок, пропахшими рыбой. Все были в тревоге и нетерпеливо протискивались в середину. Обветренные лица с широко открытыми глазами мелькали передо мною. Одни смеялись, другие злились, иные озабоченно ждали чего-то, но все жадно прислушивались к голосам Прасковеев и Гриши. С разных сторон раздавались истошные крики, но понять было трудно, о чём возмущённо и требовательно кричали женщины. Долетали только отдельные слова: «Штрафы!..» «Штрафы драли!..» «Грабители!..»

Гриша говорил с Прасковеевой спокойно, засунув руки под нагрудник. А она отвечала ему короткими фразами, решительно, убеждённо, но голос её вздрагивал от возбуждения, а твёрдые глаза переливались горячей влагой.

Гриша с весёлой рассудительностью посоветовал:

— Вы, женщины, покамест одни шуруйте! А надо будет, и мы не за горами. В обиду не дадим. А сейчас веди их, Прасковеев, к конторе, к управляющему. Будут вас уговаривать да посулами улещать — не поддавайтесь. Требуйте, чтобы сразу же штрафы отменили и пайки не удерживали.

Прасковья волновалась: у неё дрожали руки, и она трудно вздымала, упрямо сдвигала густые брови. Должно быть, ей и приятно было, и страшно вести за собою всю эту толпу женщин. Она сама взбудоражила их и невольно оказалась их вожачкой. Она переживала в эти минуты большое испытание, выдержать которое может только человек отчаянный, ожесточённый обидами и ненавистью к недругам.

— Пойдёмте, товарки! К конторе идём! Все за мной! Настя, Наташа, Оксана, держитесь ближе ко мне! Галя!..

Мать с Марийкой притиснулись к ней с одной стороны, а Оксана с Галей — с другой. Наташа с сосредоточенным лицом шагала позади них вместе с другими резалками.

Я чувствовал себя таким лёгким и радостно свободным, что всё передо мною горело солнцем и ликовало, как во время катанья на масленице. Мне очень хотелось, чтоб на крыльцо выбежал Гаврюшка: он ошалел бы от удивления, а может быть, подбежал бы ко мне и стал допытываться, зачем пришла толпа и почему я участвую в этом приключении взрослых. Но он, вероятно, был в школе.

Толпа женщин ещё не успела подойти к широкому крыльцу конторы, как из открытой двери вышел тщедушный, сутулый управляющий с больным лицом, с русой бородкой, с острым горбатым носом и недобрыми глазами. За ним тяжело переваливался с ноги на ногу Матвей Егорыч. Он был трезвый и угрюмый, но в умных глазах его я заметил смятение, словно его оглушил какой-то удар и он не может очухаться. Подрядчица с красными пятнами на лице, осовелая, растерянная, бормотала что-то. Её глаза прыгали из стороны в сторону, и она жадно ловила ими женщин, которые шли впереди. Толпа остановилась и как будто сконфузилась и заробела. Мне показалось, что многие резалки стали прятаться за спины товарок. Густой и плотной кучей все застыли перед высокой оградой крыльца. Прасковья тоже как будто смутилась и с тревогой в глазах озиралась по сторонам. Ни матери, ни Марийки я не видел: маленькие ростом, они исчезли за рядом голов в белых платках, а я стоял со своим багром поодаль от толпы.

Управляющий, будто нехотя, с холодным равнодушием оглядел гурьбу женщин и строго, с угрозой, спросил неожиданно гулким голосом:

— Почему вы бросили работу и самовольно ушли с плота? Разве вы не знаете, что в разгар путины нельзя прерывать дневной работы даже на час? Какой смутьян подбил вас на это?

Надорванный голос Прасковьи крикнул:

— Вон она, смутьянка-то — рядом с вами стоит, управляющий!

Со всех сторон закричали женщины, и несколько рук взлетели над головами и протянулись в сторону подрядчицы. Управляющий повернулся к ней, но, должно быть, ему показался смешным ответ Прасковьи, и он улыбнулся.

— Это для меня новость: я и не предполагал до сих пор, что ваша подрядчица способна подбивать своих работниц на бунт. Каким же это образом произошло? Объясните. Говори ты! — он ткнул пальцем вниз, на Прасковью. — Я вижу, ты здесь атаманша.

Прасковья взволнованно посмотрела по сторонам, как будто требуя поддержки у женщин, и, подняв голову, срывающимся голосом проговорила:

— Она и взбунтовала: штрафами взбунтовала. Она только и думает, как бы штраф содрать. А кому же задарма работать на неё охота? Вот и сегодня почесть всех дневного заработка лишила. А на Настю двойной штраф наложила за парнишку.

Подрядчица рванулась вперёд и заорала:

— Не бросайте работы, мерзавки! Вас на плот пригнали не для потехи. Ишь, сорвались с места, чтобы поглазеть, как балбесы дурака валяют. Ну и поплатились. Дай вам волю, вы всё вверх дном перевернёте.

Управляющий с насмешкой в холодных глазах оглядывал резалок и костлявыми пальцами теребил бородку.

— Кто же это вам потеху такую устроил, что вы о работе забыли? Смешливый голос Гали смело прозвенел:

— А рыбак Корней... Приказчик не хотел принимать у него рыбу — подачку хотел содрать, а Корней кувырнул его в море. Как тут не полюбоваться? Ведь Курбатов-то вылез, как мокрый кот.—И засмеялась. Засмеялись впереди ещё несколько женщин. Матвей Егорыч трясся от немого хохота.

Управляющий опять улыбнулся.

— А вы не утерпели и устроили ералаш?

— Да как же не поглядеть? — крикнула Галя. — Очень даже интересно, господин управляющий. Ежели бы вы на плоту были, тоже не утерпели бы.

Тут уже дружно захохотали все женщины. Но Прасковья повернула к ним сердитое лицо и сдвинула брови.

— Ну, так вот... — строго сказал управляющий, опираясь обеими руками о перила. — За зрелище платят. А за то, что вы бросили плот, смутьянов уволью.

— Взыскивайте не с нас, а с Курбатова, — смело перебила его Прасковья, — да вот с подрядчицы. За штрафы мы не будем работать.

— Не твоё дело судить, с кого взыскивать, — закричала во всё горло подрядчица. — Ишь, обнахалилась, храбрая какая стала!

Управляющий строго взглянул на неё через плечо.

Прасковья осадил её:

— Не лай, собака, не страшно. Ты своими штрафами Маланью умоорила. Ты её до могилы довела. — Потом повернулась к управляющему и небоязливо потребовала: — Прикажи, господин управляющий, штраф нынешний отменить, тогда и на плот пойдём. И чтобы она штрафами больше не баловалась. Она, вишь, какой жир штрафами накопила.

Этот её негодующий и требовательный голос словно ударил резалок: они забудоражились, закричали, замахали руками; некоторые, по-смелее, стали рваться вперёд, расталкивая товарок. Матвей Егорыч стоял, заложив руки за спину, и смотрел на взбудораженную толпу с угрюмым любопытством и судорожно двигал клочковатыми бровями, словно не веря, что перед ним те самые женщины, которые сидели на плоту, всегда безгласные, покорные, и не смели поднять на него глаз, когда он проходил мимо. В кожаной куртке, в рыбацких сапогах, в кожаном картузе, надвинутом на лоб, он казался металлическим, тяжёлым. И я ждал, что он снимет свой картуз и, как у себя в комнате, станет вдруг добродушным, простым и улыбнётся всем этим женщинам с лукавым огоньком в глазах. Но он стоял неподвижно, молча, бездушно.

Управляющий ударил костлявой рукой о перила, а другой отмахнул от себя крики женщин. Сухонький, хитрый, он крикнул примирительно:

— Идите, бабы, на плот, а мы тут разберёмся.

Ему, вероятно, надоело возиться с женщинами: он болезненно поморщился, оторвался от перил и, повернувшись к Матвею Егорычу, приказал сердито:

— Разберитесь, пожалуйста, в этой суматохе. Ведите резалок на плот и там с подрядчицей договоритесь.

И, сутулясь, он направился к двери. Но его остановила своим криком Прасковья:

— Это как же, управляющий? Только это от тебя и слышали?

Он усмехнулся, и у него странно перекопилось чахоточное лицо.

— А что же ещё вам надо? Идите на плот, садитесь за работу, а там видно будет.

Прасковья гневно повернулась к толпе:

— Товарки, идём али не идём на плот-то? Они нас обдурить хотят. Ежели мы поддадимся, они ещё больше терзать нас будут.

Женщины присмирили и сдержанно загомонили, растерянно оглядываясь друг на друга. Прасковья будто испугалась этой тишины и, бледная, смотрела на толпу в тревожном ожидании. Но Наташа твёрдо и решительно сказала низким голосом:

— В казарму пойдём, а не на плот. С чем мы на плот-то воротимся? Дурами, что ли, побитыми пойдём?

Её голос погас в криках Марийки, Гали и матери:

— В казарму, девки!.. Раз башки подняли, не подставляй под нож. Управитель да подрядчица только дурачатся... Ишь, судьи какие!

И они зазвякали ножами о багорчики. Толпа зашевелилась, закинули белые платки, и звяканье ножей рассыпалось во все стороны.

Управляющего будто сильным ударом отшибло назад. Он даже поправил шляпу и передёрнул плечами. В глазах его уже не было хитренькой усмешки и брезгливой скуки: в них вспыхивало удивление, гнев, испуг и презрение.

— Оказывается, у вас атаманша опытная, — съязвил он пренебрежительно. — Тут уж не простая толкотня, а обдуманное действие — подпольная работа, подготовленная смута. Вот я сейчас вызову полицию, и она этой вашей атаманше и её подружкам скрутит белые ручки.

Звяканье ножей оборвалось, и толпа застыла, оглушённая властным и угрожающим голосом управляющего. Даже Прасковья растерялась и онемела. Некоторые женщины стали пятиться назад и прятаться за спины товарок.

Подрядчица ухмылялась, щёки её лоснились от удовольствия, она рыхло топталась на месте.

— Ага, достукались! Нанижут вас на чалку, как воблу. Спасибо господину управляющему — подсёк под корешок. Усмирят вас, дурёх, за милую душу. А то, ишь, как на дыбы поднялись да ножами забрякали!..

Матвей Егорыч стоял попрежнему угрюмый, с надвинутым на лоб картузом, и смотрел на толпу, заложив руки за спину. Но подрядчица будто хлестнула его по лицу своим криком: он тяжело повернулся к ней и свирепо вытаращил белки, потом склонился к шляпе управляющего и что-то зашептал ему в шею. Управляющий обозлённо оглядел толпу, дёрнул плечом, строго пробормотал что-то и быстро исчез в распахнутой двери конторы. Матвей Егорыч оттолкнул подрядчицу локтем и снял свой конжанный картуз.

— Вот что я скажу вам, бабы... — Матвей Егорыч поворошил пальцами свои седеющие кудри и затеребил растрёпанную бороду. — На счёт штрафов. Штрафы бывают разные: одни штрафы — на пользу промыслу, для острастки, для порядка, чтобы люди хорошо работали, другие штрафы — от дурьего ума и жадности.

Подрядчица затряслась от негодования и подскочила к Матвею Егорычу, но он осадил её взглядом.

— Я вот штраф-то на тебя наложу, подрядчица: ты и работу сорвала, и улов погубила. Сейчас по твоей милости Курбатов без штанов сидит...

— Я, что ли, с него штаны содрала? — обиделась Василиса. — Он тебе, а не мне подчиняется.

Матвей Егорыч подмигнул женщинам и, встряхивая плечами от смеха, пояснил:

— Он-то мне подчиняется, а штаны ты ему починаешь.

Резалки захохотали, озорно вскрикивая, и уже не было в их лицах тревоги: все развеселились и посвежели. А Прасковья поблёскивала зубами от усмешки и время от времени строго сдвигала брови, поглядывая на товарок: должно быть, она старалась внушить им, чтобы они не попадались на удочку.

К плотовому относились терпимо, как к человеку пьющему, и помнили, что в прошлом он был в среде простых рабочих. Но слушали недоверчиво, как хозяйского распорядителя, и к шуткам его относились, как к хитрой ловке.

— А теперь я вам, девчата, вот что скажу. — Матвей Егорыч протянул вперёд правую руку и зашевелил волосатыми пальцами, а левой бросил на голову картуз. — Сейчас, что ли, сказать аль на плоту? — Он лукаво усмехнулся и зашевелил бровями. — Однако сейчас надо вас подстрелить, чтобы вы меня сами не слопали. С вами сейчас надо быть хорошим охотником. Так вот, поведу я вас сейчас на плот...

Но резалки не дали ему говорить: заволновались, замахали руками и закричали не поймёшь что.

— Ну, я так и знал! — Он затрясся от смеха и поманил женщин к себе рукой. — Штрафы разобьём на графы: в первой графе поставим Курбатова. Во второй графе — подрядчицу...

— Чего, чего? — крикнула Василиса, упирая кулаки в бёдра. — Ишь, как ловко разграфил! Не ты нанимал работниц, не тебе и распорядиться. Они мои — как хочу, так их и проучу. А твоё дело на плоту за порядком глядеть да за рыбой.

— Во второй графе — подрядчицу, — настойчиво повторил Матвей Егорыч, — за то, что работниц разыграла, арестовала ножи да багорчики и за них выкуп наложила. Курбатов рабочих взбулгачил, а подрядчица — резалок. Разыграли, как по нотам. С плота женщин согнали, а рабочие там толкаются без дела — скучно им без баб-то. Так вот какой оборот: подрядчица промысел в убыток ввела и весь порядок нарушила. А мне велено этот порядок восстановить и людей успокоить. Нам сейчас в дни путины играть не годится. Я вам прямо скажу: хозяину невыгодно в горячие дни скандалами заниматься. Рыба не ждёт, а убытка никакой хозяин не потерпит. А я ведь хозяину служу: барыш ему обеспечиваю. То-то вот!

Это были неслыханные слова: они поразили не только резалок, но и подрядчицу. Матвей Егорыч оглушил её, и она стояла, раскинув руки, с открытым ртом, без памяти. А резалки перешёптывались, толкали друг друга плечами и, улыбаясь, не отрывали глаз от Матвея Егорыча. Прасковья хмурила брови и, обернувшись к резалкам, напряжённо думала о чём-то. С каждым словом Матвея Егорыча она становилась всё строже и задумчивее.

Под конец он ошеломил всех неожиданной выходкой. Он протянул руку в мою сторону и поманил меня пальцем.

— Эй ты, путешественник, иди-ка сюда! С багром иди! Не бойся.

Я весь похолодел, подчиняясь его властному голосу. Шёл я, как во сне, не сознавая, что происходит. Видел я только одного его, но

чувствовал, что все женщины смотрят на меня с ожиданием и любопытством. Взбирался я по ступенькам крыльца трудно, словно нёс на себе большую тяжесть. А когда остановился со своим багром перед Матвеем Егорычем и взглянул на него, встретил те же лукавые, пронизывающие глаза и добрые морщинки на висках.

— Ну что, милоч, и тебя оштрафовали? Чем же ты платить-то будешь? Работал ты даром, для своего удовольствия, и не отставал от любого сортировщика. Чем же ты проштрафился перед подрядчицей?

Василиса опаматовалась и, вся красная и потная, забунтовала:

— Ну, довольно дурака валять! Я управляющему жалобу подам.

Матвей Егорыч положил руку на моё плечо и, не обращая внимания на возмущение подрядчицы, повторил свой вопрос:

— Так чем же ты перед подрядчицей проштрафился?

Я сконфуженно, но звонко ответил:

— А я у неё всю кучу ножей и багорчиков расшвырял. Резалки-то боялись подойти. А потом мама с Наташей подошли. Тут все и начали свои ножи да багорчики подбирать.

Матвей Егорыч строго прохрипел:

— За озорство, хоть и полезное, я наказываю тебя: работать на плоту запрещаю. Давай сюда багор! — Он взял у меня багор и опёрся на него, как на падог. — А теперь скажи, правдолюб: пойдут сейчас со мной резалки на плот аль нет?

Я уже осмелел, а задорные лица резалок и испуганное ожидание в глазах матери подстегнули меня к дерзости.

— Не обманешь, так пойдут.

Я не помнил, как сбегал с крыльца и как очутился в руках Прасковей. Она похлопала меня по плечу и сказала с необычайной для меня лаской:

— Молодчина-то какой! Лучше и не скажешь.

Матвей Егорыч сошёл с крыльца и толкнул Прасковью в плечо:

— Ну, веди свою орду, атаманша! Я с тобой вместе пойду.

Прасковья отстранилась от него, вытянулась и помахала багорчиком.

— Товарки, пускай Матвей Егорыч всем скажет, что с этого дня штрафы с нас драть не будут. Тогда и пойдём.

Женщины закричали вразнобой и тоже замахали багорчиками. Матвей Егорыч поднял мой багор, обвёл резалок своими жёсткими глазами и пробурчал:

— Ладно. Утрясём как-нибудь.

— Ну, Матвей Егорыч... — впервые улыбнулась Прасковья, — твои слова мы запомнили. Пошли, товарки! Дайте дорогу!

Прасковья вместе с Матвеем Егорычем пошли сквозь толпу женщин, за ними мать с Марийкой, Наташа с Оксаной и Галей, а за ними повалили и остальные.

Подрядчица осталась на крыльце, мстительным взглядом проводила толпу и бросилась в контору.

На плоту опять пошла обычная трудовая жизнь. Путина была в разгаре, и дорог был каждый день, каждый час: парусники бежали по волнам к промыслам и от промыслов и буксировали прорези. С юга дула свежая моряна, и волны весело неслись к песчаным берегам, играя белыми барашками. Вода плескалась и пела под плотом, вздыхая на песчаных отмелях. За далёкими буграми, которые обрывались в море отвесными мысами, в устье Эмбы и по ерикам тоже разбросаны были

промысла нашего хозяина, и туда вместе с рыбаками часто убегал Матвей Егорыч. События на плоту как будто отрезвили его: в первые дни он с утра до вечера смотрел за порядком, бодро распоряжался, весело подгонял тачковозов и, когда на глаза ему попадался кто-нибудь из них, лениво, с натугой толкающий тачку, он хватал его за шиворот, отталкивал в сторону и сам бегом, молодецкато катил тачку дальше. Рабочий сконфуженно бежал за ним и бормотал:

— А ты не балуйся, Матвей Егоров... Аль я не знаю своего дела?

— Дурак! Разве так, как ты, работают? Так только навоз возят. А работа любит, чтобы все поджилки тряслись, чтобы сердце горело. Дубина! Больше чтоб я тебя такого не видел. Прогоню на двор сор убирать.

И рабочие подтягивались, веселели, носились со своими тачками, покрикивая и торопя друг друга.

Он проходил по рядам резалок, шутил с ними, останавливался перед теми, кто работал быстро, ловко, легко — так, что руки их будто улыбались, — и мычал удовлетворённо:

— Ох, люблю расторопные руки! Красивей нет человека, когда он в работе. А работа песню любит.

Но он мрачнел, закладывал руки за спину, шевелил мохнатыми бровями и пронизывал острыми глазами тех резалок, которые возились над рыбой неряшливо, равнодушно, нехотя.

— И сами вы растрёпы, и дети у вас будут недотёпы. Кому работа в тягость, тот не знает радости и живёт, как колода. И себе не впрок, и людям в назолу.

Он уже не давал волю тумакам, а отходил угрюмый и тяжёлый, крикая в негодовании. Резалки, как огня, боялись этой его тяжёлой угрюмости и осуждающих глаз, бледнели, лихорадочно торопились и стыдливо прятали лица от насмешливых глаз соседок.

Курбатов больше не появлялся на плоту: его отправили на маленький промысел в пески — на ерик. Говорили, что управляющий распёк и подрядчицу, которая слишком зарвалась и не считается с интересами промысла: её горячка со штрафами угрожает сорвать работу на плоту. Весь улов того дня мог бы пропасть даром, и всю массу мёртвой рыбы пришлось бы выбросить на свалку. Штрафы, которые она рвала с работниц, сторицей пришлось бы сорвать с неё самой. Контора требует от неё бесперебойной работы, но для обеспечения такой работы и для того, чтобы больше не повторялась такая канитель, с этого дня все неурядицы с работницами и рабочими должны разрешаться администрацией. Подрядчица будто бы скандалила, что она не обязана подчиняться этому решению, так как её хотят ограбить — лишиться важной доходной статьи, но управляющий выгнал её из конторы. Особенно же долго и горячо толковали в казарме о бурном столкновении управляющего с плотовым.

Рассказывали, что в обеденный перерыв Матвей Егорыч пошёл в контору и не успел переступить порога, как управляющий вскочил с места и накинулся на него:

— Это кто вам позволил дурака валять с бабами у конторы? Вы им обещали с три короба и над подрядчицей перед ними измывались. Что же теперь будет? Бабёе взбунтовалось, явились смутьянки, произвели тарарам, бросили работу... Что это такое? Вместо того чтобы поддержать подрядчицу и в самом начале смуту подавить, вы трусились перед толпой бабёнок и сами втесались в их ораву. Вы понимаете, что вы натворили? Ведь эта история разнесётся по всем промыслам, и начнётся везде кавардак.

Но Матвей Егорыч будто бы не растерялся и осадил управляющего:

— Вы, Константин Захарыч, кричать на меня ещё молоды. Вы желаете, значит, чтобы эта жадоба путину сорвала? Ваше дело — сами отвечайте перед хозяином. Как хотите, а я поставлен порядок соблюдать, чтобы работа шла честь-честью.

Что у них дальше происходило — никто не знал, только в этот день Матвей Егорыч на плоту уже не появлялся. Почему-то я уже давно не встречал Гаврюшки: вероятно, он проходил из школы какой-то своей дорогой и не хотел дружить со мною. Должно быть, ему нагорело от матери, и она запретила ему показываться и на улице, и во дворе. На плот пришёл новый приказчик Веников, молчаливый парень, который ни с кем не якшался, ходил с записной книжечкой и сам справлялся и у карсаков, и у резалок, сколько отсчитано и отсортировано рыбы. От подрядчицы держался поодаль, а когда она развязно обращалась к нему, пожимал плечами и отходил от неё с замкнутым лицом. Порядок у него был хороший: работа шла бесперебойно, и рыбаки не мешкали у плота, резалки работали ровно и спокойно. И я видел, что Василиса возненавидела этого парня: всё время следила за ним злыми глазами, ядовито усмехалась и иногда показывала кукиш за его спиной. Резалки начали судачить, что добром это не кончится: подрядчица от штрафов отказаться ни за что не согласится, а новый приказчик не даёт ей устраивать каверзы.

Путина была горячая, рыбаки бежали чередой друг за другом, и уроки резалок были уже недостаточны для того, чтобы справиться с богатым уловом. Моряна пригнала и красную рыбу, хотя в осеннюю путину в этих местах красная рыба обычно попадает редко. Контора распорядилась работать на плоту при фонарях, а урок увеличила до двух с половиной тысяч рыб на каждую резалку. После ужина все опять должны выходить на плот, а шабашить — по звонку, в одиннадцать часов. Утром звонок дребезжал на нашем соляном дворе в шесть часов, и по этому звонку все выходили из казармы и на плот, и на помол соли, и в лабазы, и в мастерские. Значит, при новом уроке рабочий день должен был продолжаться семнадцать часов. На обед и на ужин вместе с отдыхом давалось два часа. За пятнадцать часов непрерывной работы разделка двух с половиной тысяч штук — очень тяжёлый труд. Пошёл сазан да судак, разделка их требовала сноровки, навыка и быстроты. Чтобы выполнить этот урок, резалка должна была изготовить две—три рыбины в минуту. Разрезать сазана со спины, распластать его так, чтобы он казался атласным, чтобы при одном взгляде на него «слюнка потекла», как говорили резалки, — для этого нужно было знать особые приёмы, научиться владеть своими руками и всегда держать нож острым, как бритва.

Подрядчица пришла поздно вечером и объявила о распоряжении конторы. Все отнеслись к этому равнодушно: в разгар путины со временем не считались, и люди работали, не щадя своих сил и здоровья.

Но в такие горячие дни подрядчицы обычно изощрялись всякими мерами и способами обворовывать работниц и рабочих. Хотя в контрактах и обозначена была оплата дополнительных уроков, но поштучная расценка обработки рыбы оговаривалась разными условиями и обстоятельствами, и эти оговорки всегда развязывали руки и подрядчицам, и конторе, давая возможность распорядиться расчётом с рабочими по своему усмотрению. Контора увеличивала количество квитков в свою лавку, а подрядчица уменьшала оплату труда и душила вычетами за прогулы по болезни и штрафами.

Василиса взбудоражила казарму своей развязностью и самодовольством.

— Поскандалили, девчата, потешились, душеньки почесали... А теперь надо работать высуня язык. Вольничать некогда. Это по строгости своей говорю. А от сердца оповещаю: давайте работать без занозы. Ежели мне выгодно — и вам покой.

Галя крикнула:

— Коли тебе выгодно — нам со святыми упокой.

Прасковья недружелюбно возразила:

— О твоей выгоде, подрядчица, заботиться мы не будем: ты сама охулки на руку не положишь. Конечно, наш покой для тебя выгода. Ну, а мы сами о своей выгоде да спокойе позаботимся. Скажи-ка лучше, какая плата за сверхурочную тысячу?

Василиса вышла на середину казармы, уткнула руки в бёдра и чванливо вздёрнула голову:

— Вы что же, торговаться со мной вздумали? Вот так новости! А контракты кто подписывал?

Прасковья хладнокровно поддела её:

— Контрактов неграмотные не подписывали: за них чужие дяди расписались. А только там сказано: «по существующим расценкам». Какие же эти расценки? Мы и в прошлом годе воевали, и теперь без драки не обойдётся. Давай уж лучше поторгуйся.

— Я со своими срочницами не торгуюсь, а распоряжаюсь ими. Контракт — это железная цепь, а этой цепью вы все ко мне прикованы. Какая же собака на цепи с хозяином торгуется?

— Вот это настоящий разговор! — засмеялась Прасковья. — Собаки на цепи!.. Да ведь и собаки с цепи срываются, а люди цепи-то рвут!

— Нет, девка! У меня с цепи не сорвёшься и цепи не порвёшь. И бежать некуда, разве только к волкам. И цепи надёжные, как тенёта.

Прасковья сидела невозмутимо и не прерывала работы. Она только сдвинула брови и сердито щёлкала напёрстком. А Марийка с горячим переливом в глазах вскрикнула, как от боли:

— Да она, девки, гонит нас, как баранту!

Прасковья вскинула на неё строгие глаза и успокоила её:

— Не фырчи, Марийка! Не твоя череда: не забегай вперёд.

Марийка тяжело дышала, у неё дрожали руки, но она послушно склонилась над шитьём. Оксана загадочно улыбалась, у неё дрожал подбородок. Мать с тревожным вопросом в глазах смотрела на Прасковью и Оксану и ёжилась от голоса подрядчицы, словно от ударов.

В казарме началась возня: и на нижних, и на верхних нарах шевелились ноги, встряхивалось какое-то тряпье, люди поднимались с постели и, ворча, садились на край нар. А подрядчица поворачивала щекастое лицо в разные стороны и властно распоряжалась:

— С завтрава на работу — в свой час. Шабашить — ночью по звонку. А ежели опять заводня какая появится да смута будет, из казармы выброшу, а то и полицию позову. У меня всё сказано.

Кто-то из рабочих заскоморошничал:

— Ведь вот, подумай, какая вещь: судьба-то, выходит, кобыла. Живи, Гаврило, не мыто рыло! Верти, Гаврило, хвост у кобылы. Махнёт кобыла хвостом у рыла — тут тебе и могила...

Казарма задрожала от хохота. Мужики, встряхивая бородами, шлёпали ладошками о колени или отмахивались друг от друга. Женщины повизгивали и толкались плечами.

К моему удивлению, молчаливая Наташа, обхватив столбик рукою, высунулась из тьмы верхних наших нар и сердито крикнула:

— Не сдавайтесь, товарки! За лишнюю тысячу на Волге полтину платят.

Подрядчица огрызнулась посмеиваясь:

— Ну и поезжай на Волгу за полтинами. А у нас — море да пески.

Кто-то сипло засмеялся и закашлялся:

— Где черти играют в носки...

Кузнец из своего угла угрюмо пробасил ему в тон:

— А на кону-то — мы, дураки... А Василиса веселится.

Казарма опять загрела от хохота.

Мне уже давно знакома была удивительная особенность наших людей: в самые отчаянные моменты жизни, когда, кажется, ничего не остаётся, как опустить руки от безнадёжности, человек веселеет от злости и начинает трунить и над собою, и над другими. Всё кажется ему смешным, а своё бездолие — забавным. Может быть, эта странная особенность характера русского человека была своеобразной формой самозащиты, а может быть, в этих жгучих шутках и смехе над собою таилась та жизнерадостная сила, которая делала человека неуязвимым.

В казарме стало как-то вольготнее и светлее, словно хохот освежил спёртый воздух, насыщенный рыбным смрадом. Подрядчица не успела уйти к себе в комнату: её обступили и рабочие, и работницы. Встал и лохматый кузнец. Он смотрел издали и, ухмыляясь, ругался густо, с мрачным удовольствием. Глухо бормотал что-то нелюдимый муж Олёны, солильщик Гордей, оборванный, как нищий. Только Улита стояла на коленях на своей постели и усердно крестилась, молитвенно вглядываясь в угол за печкой. Трудно разобрать, о чём кричали и резалки, и тачковозы, и солильщики. Все словно ошалели и, то хватаясь, то отталкивая друг друга, рвались к подрядчице. А она с наглым блеском в заплавленных глазах поворачивалась в разные стороны и нахально орала, как на базаре. Я схватывал отдельные выкрики, и злые, и задорные, и мстительные, и хлесткие:

— Она нашими полтинниками-то как чешуёй оденется...

— Эх, на тачке бы её, да в жиротопню!

— Мы на своих полтинниках-то тачки возим, а на нас верхом скачут, да пятками рёбра считают.

— То-то и есть! Полтинники не пуговицы: их к штанам не пришьёшь.

— Эй-ка, госпожа наша подрядчица! Мы к управляющему пойдём с челобитьем: пускай рассудит.

— Идите... хоть к самому чёрту: он вас багром в свой чан загонит.

Прасковья сидела, опершись локтем о край стола, и, сердито сдвинув брови, следила за этой суматохой издали. Оксана не угашала своей улыбки и слушала эти взбудораженные крики, как забавную потеху. Но я видел, что она что-то знает и ждёт неизбежной развязки. В её худеньком красивом лице не было тревоги, и в загадочных её переглядках с Прасковеей играли озорные искорки. Мать застыла в трепетном ожидании, и в широко открытых её глазах горели нетерпеливые порывы. Так и казалось, что она вскочит с места и бросится в крикливую толпу.

Я уже давно привык понимать людей, как невольников своего труда, — и в деревне, и здесь, на ватаге, словно они и родились-то для того, чтобы выполнять безрадостную повинность. Я воспринимал эту тяжкую повинность, как врождённую необходимость: люди труда живут для того, чтобы трудиться на хозяина, на богача, а хозяева, как рыбопромышленник Пустобаев или как купец Бляхин, муж Анфисы, ничего не делают, а только распоряжаются. Наш хозяин — в Астраха-

ни. Его никто не видит и не знает, а он имеет много рыбных промыслов и на Волге, и на Каспии, его все боятся и говорят, что он топает ногами на губернатора, и перед ним трепещет полиция и всякое начальство. Он покупает на свои деньги не только дома, пароходы, баржи, промысла, но и людей. Сам он этим не занимается, а поручает купленным им людям или таким собакам, как наша подрядчица. Ежели нанялся на работу, сноси безропотно и обиды и побои, не возражай, когда на тебя наваливают уроки сверх силы, а благодари своих благодетелей — и хозяина, и подрядчицу — за то, что тебе дали работу и не лишают куска хлеба.

Всё это я хорошо знал и чувствовал: вместе с матерью и всеми этими работниками и рабочими я переживал их бесправие и незащитность, их постоянное бездолие. К нам никто не приходил из образованных людей, похожих на учительницу Варвару Петровну, которая приветила меня и мать на пароходе. И только в те моменты, когда издевательства и гнёт терпеть было невозможно, люди будоражились, скандалили, но не знали, как постоять за себя.

Гриша стоял у порога в своём рабочем фартуке и, засунув руки за нагрудник, наблюдал за бестолковой перепалкой между толпой и подрядчицей. Прасковья вспыхнула и выпрямилась, когда увидела Гришу, но радости своей не выдала, сделав вид, что ей нет до него никакого дела.

Солильщик Гордей, всегда угрюмо-замкнутый, вдруг сорвался с нар с диким лицом:

— Подрядчица! Гляди, как ты рвёшь мои полтинники... Друзья-товарищи, будьте свидетелями.

Задыхаясь от злобы, он на ходу стал стягивать свой рыбацкий сапог. Спотыкаясь и наступая другим сапогом на каблук, он вытащил ногу из голенища, сорвал портянку и поднял штанину выше колени. Вся коленка была изрыта большой язвой. Но никто из рабочих и работниц не ужаснулся и не выразил ему сочувствия. Некоторые отвернулись, некоторые поглядели на рану, а некоторые продолжали толковать о полтинниках. Только кузнечиха сварливо закричала на Гордея, протягивая свои завязанные тряпками руки:

— Ишь, чем хвалиться вздумал, солильщик! У тебя, что ли, у одного такая благодать?.. Вот они руки-то — живого места нет...

Я невольно посмотрел на руки матери: они у неё стали дублёными, с коростами и ссадинами на коже. Такие же руки были и у Марийки, а у Прасковьи — в шрамах и багровых пятнах.

Гордей всё ещё поднимал свою коленку перед подрядчицей и кричал: — На! Любуйся! Вот чем ты нам платишь. Соль! Тузлук! Ревматизма!

Подрядчица отмахнулась от него и пошла к своей двери.

Гриша снял картуз, встряхнул кудрями и прошёл лёгким, молодецкатым шагом к столу. Он шепнул что-то Прасковье и хитро подмигнул ей. Мать с радостной надеждой ловила его взгляд, но он как будто не заметил её, а по-дружески подмигнул мне.

Я догадывался, что Прасковья борется с собою, что она в сговоре с Гришей и, сцепив зубы, нетерпеливо ждёт кого-то, поглядывая на дверь.

Гриша оглядел казарму.

— Что это у нас будто пыль поднялась? Как будто плясали, да не по-хоже... Али бы драка была?

— Как это — чего? — не утерпела Марийка. — Чай, всякому трудовая копейка дорога. А подрядчица нашу копейку прикарманивает...

— Тише, тише, Мария! — ласково укротил её Гриша, потряхивая рукою. — Мы сейчас всё выясним, что к чему. Беда наша, что народ вы неграмотный. Чего ни напишут на бумаге, чего вам ни наколдуют скорописцы — всему верите. — Он с грустным сожалением засмеялся. — И выходит, что нас, дураков, как селёдку в путину, — лови, да не надо. Лезем недуром в сети. Что ж, ежели деваться некуда — и в тузлук полезешь.

Он переглянулся с Прасковеей, нахмурился и споткнулся на слове.

Прасковья встала, прислонилась к столу и оглядела нары. Она побледнела и сразу будто осунулась. С надломом в голосе она сказала, сдерживая волнение:

— Вы знаете, товарки милые, мою тоску, муку мою. Вот здесь, в этой яме, сгорел мой ребёнок... единственный... Это место для меня свято и проклято. У нас у всех одна судьба: ежели не будем вместе, не будем друг за дружку стоять — сожрут нас, всех по отдельности замучают.

Галя на всю казарму закричала:

— Не жаловаться, не надрываться надо, а по морде бить! Хлещи, чтобы тебя не захлестали!

Гриша взял за плечо Прасковью и сердито упрекнул её:

— Не так говоришь, Прасковья. Все хорошо знают, что у тебя на сердце.

Прасковья оттолкнула его и, вздохнув всей грудью, улынулась, словно вдруг освободилась от гнетущей тяжести.

— Ты мне, Григорий, не мешай. Я и без тебя знаю, как с товарами калаять. Я им по-бабы больше родня, чем ты.

— Мужики ли, бабы ли — под одно всех грабили, — сердито пошутил Гриша. — У каждого есть свои болячки.

Прасковья печально и гневно говорила, взмахивая рукой:

— Вот сгорела у нас Малаша. Кто виноват? Сами знаете. А вот у Гордея нога гниёт. Кто его вылечит?

Она вышла на середину казармы и совсем спокойно, но жёстко сказала:

— Меня уж ничем не устроишь: я все страхи потеряла. Я на всё могу пойти. Эта жирёха до сих пор в Астрахани красный фонарь содержит. Там у неё компаньонка. То-то она хорошо знает, как с женщинами обращаться.

Подрядчица вышла из своей комнаты и с разъярённой улыбкой направилась к Прасковее.

— Ты, Прасковья, и меня поучи: больно уж прекрасно говоришь. Сначала торговаться захотела, а сейчас исповедуешься и шайку на бунт собираешь. Осмелела, когда бондарь, другой смутьян, заявился.

— Ежели тебе наука впрок не пошла, на себя пеняй, — серьёзно ответила Прасковья. — А при нужде поучим и ещё.

Василиса сложила руки на груди, как властная хозяйка, и с приторным добродушием пошутила:

— Вижу, вижу... весёлый, игровой народ. Люблю разбитных людей. Одно плохо: гармошку бы надо, а вместо неё арапники мерещутся.

Гриша засмеялся и тоже сложил руки на груди. Он изобразил рубаху-парня и двинулся к Василисе, приплясывая на ходу.

— С моим удовольствием, подрядчица, — попляшем. Пускай тебе мерещутся арапники, а мне — гармошка. Кому что по душе. Вашу ручку-с!

Он сунул ей кулак под локоть и потащил к двери. Мне показалась игра Гриши очень потешной, и я рассмеялся, но в казарме было насто-

рождённо-тихо. Василиса опешила, потом рванулась в сторону и замахнулась на него другой рукой.

— Болван! Как ты смеешь! Невежа!

Но руку её неожиданно схватила Оксана, заломила её назад и с размаху ударила Василису по щеке.

— Вот тебе! Это — задаток за сестру...

Гриша бросил Василису и подхватил подмышки Оксану.

— Что это такое? — крикнул он гневно. — Ты обезумела, девка!

Её подхватила Галя и повела к нарам.

Все, кто сидел за столом, вскочили на ноги. Оксана совсем спокойно сказала:

— Она знает, с кем имеет дело. Я казнить её буду за сестру, которую она казнила.

Оксана будто оглушила Василису: подрядчица тёрла щёку и молчала. Вероятно, она испугалась, когда услышала мстительные слова Оксаны. Эта тощенькая, нервная девушка поразила всех своей жгучей ненавистью к Василисе. Все почувствовали, что между ними будет борьба не на жизнь, а на смерть. Василиса сначала застыла на месте, потом пошла к себе тяжёлыми шагами.

Уже у самой своей двери пригрозила задыхаясь:

— Ну и дурёха! Чем мстить вздумала... — И презрительно засмеялась. — Да я тебя вместе со всей шайкой в одну минуту сдуну. А уж горячие арапники похлещут вас досыта.

26

— Ух, с каким почётом встречаешь ты меня, старого воробья, Василиса-краса! Арапниками! Ай-ай-ай!

Низенький, сухонький старичок, с умненькой улыбочкой на сморщенном лице, с татарской бородкой, легко вбежал в казарму и радостно заворковал:

— Ну, Василиса-краса, белые телеса! За какие грехи ты арапниками народ угощать собираешься?

— Не твоё дело, — обрезала подрядчица и, толкнув его плечом, вышла из казармы.

Онисим потерял бородку и кротко возвестил:

— Ай-ай-ай, как злоба-то да алчба людей озверят!..

— И нас не миновал, Онисим, сверчок-старичок, — засмеялся Гриша. — Знаю, на всех промыслах смутьянил: разводил турусы на колёсах, в свой рай манил. А у нас от твоей браги-будораги не захмелеют.

— Нас будоражить нечего, — пошутила Прасковья, — мы и так будоражные.

Онисим ласково пропел дребезжащим фальцетиком:

— Матрёша! Где ты, милка моя? Приветь-ка меня по-бывалошному! Угости чайком калмыцким. А я тебе сахарку да сырку принёс.

Тётя Мотя со слезами на глазах, тяжело передвигая ноги, шла к нему навстречу.

— Расхороший ты мой! И обо мне, убогой, вспомнил. И в воде-то ты не тонешь, и в огне не горюшь, вековешный!

Он легко и юрко подскочил к ней, и они поцеловались троекратно, крест-накрест.

— Прими-ка гостинчик от старого шутейника, крепкого репейника, Матрёша! — И погрозил ей сухоньким пальцем. — А убогость эта — не к лицу тебе наряд: душа-то у тебя — лазоревый цвет.

Прасковья не отрывала от Онисима сияющих глаз и слушала его с радостным любопытством. Он тоже ласково гладил её по спине и ворковал:

— Частенько думал о тебе, Прасковьюшка-молодка.. И всё опаска беспокоила: как бы чего с тобой не случилось. Такие, как ты, молоньей сгорают. Эх, хорошая наша баба русская!

Он сел за стол и затеребил свою жиденькую бородку, с улыбкой оглядывая казарму и прислушиваясь к смутному говору.

Я очень хотел, чтобы он заметил меня, но, должно быть, я был такой маленький среди взрослых людей, столпившихся вокруг стола, что совсем был невидим. Подошёл и огромный кузнец Игнат. Он скромно остановился поодаль от тесной кучки людей, у узкого края стола, рядом со мною, и молча сложил руки на груди.

Тётя Мотя плавно и почтительно поставила перед Онисимом кружку чаю и положила ломоть чёрного хлеба с кусочком сахару на нём. Как-то кстати у неё вышло: она погладила обеими руками плечи Онисима и прогудела с нежностью матери:

— Кушай, Онисимушка! Ты к нам каждый год приходишь, как месяц ясный в тёмную ночьку.

Он с восторженным удивлением оглядел всех, кто стоял перед ним около стола.

— Благодать-то какая, ребятки! Душа-то какая неугомонная у русского нашего человека! Великая душа! Ай-ай, ходишь по стране — и по Волжским просторам, и по Уральским увалам, и по Днепру, — сколь богатства у нас, сколь красоты, сколь труда несёт человек, сколь у него дум, одна другой докучливей да промысловатей — диву даёшься! И не о богатстве, не о стяжательстве думает, а о подвигах ради правды да о земной благодетности. А вот рабством опутан человек, и труд его мертвеет во власти золотого дьявола. И меня заушали, и по этапам гоняли — везде люди правды взыскуют. Возвестишь им един закон, поправный стяжанием и алчностью, закон свободы, по слову апостола Якова, и — чудо великое! — готовы на руках тебя носить. А отчего это? Оттого, родные мои, что наш русский человек — простосерд и незлопамятен. Он — хозяин на земле, хоть и в железах. Не унывает, нет! И во тьме видит свою звезду. Любит свою родину-мать, кровную кормилицу.

Гриша ворошил свои кудри и хмурился. Видно было, что речь Онисима ему не нравится.

— Хозяин-то — в железе да в неволе, да рабством опутан. Какой же он простосердый да незлопамятный? И где это она — родина-кормилица, Онисим? Эта родина — застенки. Как же я могу её любить?

Онисим опять затеребил бородку и с упрёком покачал головой.

— А ты, Григорий, люби её, родину-то, в себе. Железами душу не закуёшь: железы поверху бренчат, и ржа их поедает. Да ведь железы-то волей человеческой не столь куются, Григорий, сколь сбиваются. Тот! Вон кузнец на этом и стоит: он и кандалы по велению дьявола склепает, он же их по закону свободы и собьёт. Вот он какой!

Онисим захихикал и ткнул пальцем в Игната, а Игнат добродушно пробасил:

— Я — такой: тебя бы я с охоткой закандалил, чтоб зря не егзил на старости лет.

Кузнец словно подстегнул Онисима: старик встрепенулся, глаза его молодо вспыхнули, и он победоносно протянул руки к Игнату.

— А я лёгонький да крылатенький, кузнец. Никакие кандалы на мне не держатся.

— То-то ты меж людей — кулик, — угрюмо съязвил Игнат и пошёл в свой куток.

— А ты весь чёрный, Игнатий, как бес в аду, и тяжёлый, как твоё железо. Вольный человек к месту не прикован: он свободой живёт и всякой хурды-мурды отрицается. Человек воле своей — хозяин. Он — велик, а не кулик. Вот я и хожу по свету, как, бывало, апостолы, и возвещаю неустанно: бегите из своих узилищ, не заботьтесь о куске хлеба, об имуществе, сбросьте цепи труда подневольного, предайте проклятию золотого дьявола и за мной следуйте!

Гриша смотрел на Онисима исподлобья и усмехался.

— Это куда же?

— Земля наша кормилица — без конца и края, Григорий, и красота её неописанная. Везде она приветит и одарит человека. Счастье моё, правда моя — во мне.

Онисим, должно быть, привык, чтобы его слушали: он оглядывал нары и приветливо кивал головой каждому, кто подходил к столу.

— Человек един среди людей, и нет для него законов, опричь закона свободы. А законы стяжателей и законы стадные, артельные — узилища и плен. Я един, а всем любезен: вот и меня вы встретили да приветили, как друга родного. А сколь я на своём веку человеческих душ вывел из плена! Сколь их ходит по Руси вольных да беспечальных!

Гриша недобрым голосом подтвердил:

— Верно, много по Руси шатается бродяг да босяков. Только не по твоему закону, а по закону дьявола.

Толпа резалок слушала Онисима, как праведника, но я видел, что никто не понимал его. А Прасковья молчала и думала, вглядываясь в него с тревожным вопросом и болью в лице.

Память детских и отроческих лет — цепкая и крепкая память. Этот вечер до сих пор ярко во всех подробностях живёт в моём воображении. Я встречал много на своём веку всяких проповедников и вольнодумцев, всяких отрицателей и мятежников, и они все казались мне людьми смертельно обиженными, уязвлёнными страхом и отчаянием. Все они — бегуны, вечные странники, беспочвенные мечтатели и бездельники. Труд они ненавидели, как каторгу, как рабство, и бежали от него всю жизнь, предпочитая умирать с голоду и блуждать по бесконечным дорогам страны под дождём и снегом или ютиться в трущобах погибших людей. Одни из них были мстительно озлоблены, другие равнодушно-тупы, иные, как этот Онисим, одержимы были неугасимой страстью соблазнять людей обещаниями безграничной свободы и внушать им презрение к труду, как к беспросветному тяглу и неизбывным страданиям. Все эти ватаги и скопища невольников — такая же тюрьма и насилие над человеком, как и каторжный загон. Надо бросить всё — и семью, и всякий скарб, и заботы о завтрашнем дне — и бежать куда глаза глядят от всех законов и порядков и жить, как душе угодно, — говорил Онисим.

Он отразился в моей памяти, как человек своеобразный и привлекательный. Его шутейность, весёлая мудрость, присловьица и поговорочки покоряли многих, а некоторые, как тётя Мотя, любили его и видели в нём поддержку в своей безрадостной жизни. И мне он нравился, а мать очарованно глядела на него, как когда-то на парохоме. По своему малолетству я не понимал тогда, почему Гриша трюнил над ним с враждебным раздражением, а кузнец грубо оборвал его и отчуждённо ушёл в свой куток. Может быть, Онисим говорил не так, не такими словами, но я хорошо помню все особенности его самобытной речи, его убеждённый дребезжащий голосок и складные,

сочные его слова. Вспоминая о нём, я думаю, что он прожил большую и трудную жизнь, много видел людских страданий и привык прощать каждому и обиды и оскорбления. Несомненно, он превосходно знал людей и по-своему чувствовал их.

Прасковья вдруг изменилась в лице и, задыхаясь, словно ей тяжело было говорить, глухо и отчуждённо сказала:

— Я тебя каждый день в мыслях носила, Онисим. Ты пригрел меня, сердце обнадёжил, когда я от тоски по ребёнку чуть руки на себя не наложила. За это тебе спасибо на всю жизнь. А теперь ты открылся мне: в разные мы стороны глядим, Онисим. Ум у тебя — безбольшый, радостный, к людям непривязчивый, а у меня — злой. Тебя ветер носит, как птицу, а я прикипелась кровью к ватаге и зубами вгрызлась в своих врагов. Наш стап, по-твоему, капкан, а по-нашему — дружья артель. В ней мы — сильные, потому что верные, и друг друга в обиду не дадим. В этом дружьем стане я человеком стала.

Онисим теребил свою бородку и неодобрительно посмеивался.

— Зря, зря я тогда не увёл тебя с собой, Прасковейушка... Теперь бы ты соколицей летала. А сейчас на родной могилке ты горем распятая.

Прасковья смело и горячо возразила:

— Нет, Онисим, могилка-то родная помогла мне силу да волю в себе найти и никакого страха не бояться. А сила да воля моя — в них вот, в моих товарках и товарищах. Счастье у нас с тобой разное. Не мешай нам — не обманывай людей, на журавлей не показывай. Смуту к нам не вноси, а то я стала отчаянная — с кулаками на тебя брошусь.

Она засмеялась, но смех её смутил Онисима.

— Иди, Онисим, откуда пришёл, а с такими речами больше к нам не заглядывай. Ну, а ежели заглянешь когда в другой раз — приветим, ежели с доброй душой на помощь угодишь.

Тётя Мотя с несвойственной ей торопливостью подошла к Онисиму и набросилась на Прасковью:

— Это с какой стати ты его коришь? Он ведь тоже — не без зашиты.

Резалки зашевелились, забеспокоились. Раздался смех, недовольные выкрики.

Прасковья вместе с Гришей отошли от стола к нарам за печным боровом и уселись там, перешёптываясь.

В это время Оксана, раскосмаченная, с дикими глазами подлетела к Онисиму и, закинув руки за спину, наклонилась к его лицу.

— Шутки шути, смейся, колдуй, старче, а я заставлю тебя удавить волчиху-Василису, если сама первая не удавлю её...

Все замерли и встревоженно уставились на Оксану. А она не кричала, не билась, но, бледная, говорила спокойно и беспощадно:

— Ты всё знаешь, всё видишь, дедок, и пришёл к нам апостолом. Ведь так ты сказал? И не можешь не знать, что твоя Василиса-краса в Астрахани дом с красным фонарём содержит. Это для твоей беглой души нипочём? А вот таких девчат, как Марийка, знаешь, как она обманом завлекала? К ней в лапы сестра моя Нюра попала, ещё молоденькая, простенькая. А через неделю она, измордованная, с мёртвой душой, повесилась. Я долго искала её, как иголку в сору. И закспали её неизвестно где, неизвестно кто. Вот она где, моя правда. Моя правда — страшная, смертная! И ты тоже, как эта вражина, пытаешься завлекать нас... Куда? В какие вольные края? Ведь нет же такого места, где не рыскали бы волки и коршуны. А я буду мстить — житья не

дам этой убище, доконаю её.. За сестру, за всех девушек, из которых она сосёт кровь. Ну, что скажешь, апостол? Шутки шутить с нами, и с весёлой душой трусливо удирать за журавлями? А я скажу напоследок: молодец Гриша! И Прасковья хорошо сердце своё раскалила. Да, мы все — злые. А ты только хихикаешь, старче.

Потрясённые бешенством Оксаны, все молча проводили её взглядами до самых нар. А Онисим словно обрадовался этому неожиданному взрыву неизжитого горя и жгучей ненависти Оксаны: он с остренькой улыбочкой поглядел ей вслед и, обличительно постукав пальцем по столу, весь встрепенулся и загорелся:

— Вот она, девушка-то, как насадилась! Видите? Увязли, запутались, зарезались в своём плену, в неволе у золотого дьявола, дух угашаете... Проклятию рабство предаёте, а сами смиряетесь. Злобытуете, в драку лезете, а дьявол-то сильнее вас: у него — и полиция, и арапники, и тьма тем всяких слуг. Не в ватагах, не в скопищах спасенье... а отринуть всё надо, отринуть и бежать из ада... итти вперёд да вперёд мимо людей, сквозь людей, куда зовёт единая власть в человеке — власть души.

Угрюмый, угрожающий бас Игната оборвал его поющий говорок:

— Ну-ка, ты, пророк для сорок, долго будешь здесь балясы разводить да народ дурманить? Убирайся к чёрту, а то встану да за шиворот...

Но в эту минуту к Онисиму смиренно подошла Улита и поклонилась ему так низко, что голова её скрылась под столом.

— Странничек божий! — умильно пропела она, как нищенка. — Радость всех нас, скорбящих! Возьми ты меня с собой, сироту, ради души спасенья!

Резалки изумлённо уставились на Улиту, а Онисим вдруг вскочил, словно его ожгли кнутом, и взмахом руки опрокинул кружку с чаем, который рыжими потоками разлился по столу. Он весь затрясся от негодования:

— Ты чего это, баба, мне, как болвану, поклоняешься? В церковь иди болванам кланяться! На какой бес ты мне сдалась? Я покойниц с собой не ношу, а нищими брезгую.

Резалки оглушительно захохотали и стали разбегаться по казарме, взвизгивая и задыхаясь. Смеялись всюду и на нарах. Голос Гали зло-радно зазвенел издали:

— Вот так красота, старче! Нашла себе старушка дружка. Вам только к лицу и бродить вдвоём да в обнимку, калики перехожие!

Онисим, отмахиваясь, торопливо засеменил к порогу.

— Мир вам и благодать, людие! Прощевайте и не обессудьте!

И выбежал из казармы, как призрак. Казарма стонала от хохота. Тётя Мотя в смятении пошагала к двери, но у порога остановилась и медленно потащила свои больные ноги обратно. Лицо её исказилось от плачущей судороги.

Утром, ещё затемно, резалки торопливо пили чай, закусывая хлебом с солью, и ждали обычного дребезжащего звона колокола.

Мы с матерью ели горячую мучную болтушку с кусочком овечьего сала, брошенного в неё для вкуса. Я, как всегда по утрам, чувствовал себя нехорошо: болела голова, ныло сердце, хотелось плакать. Ядовитая духота казармы расслабляла и изнуряла меня, и я вставал угоревший, в лихорадочном жару.

Вечером все люди — и резалки и рабочие — бунтовали против подрядчицы, а сейчас, утром, они, как каторжники, опять готовились итти на плот и в лабазы. Гордей внимательно рассматривал свою гнойную рану. Сварливо ворчала кузнечиха, а кузнец, хмуро расчёсывая бороду пятернёй, прошагал к выходной двери. Только Марийка, с живым блеском в глазах, обжигаясь чаем, следила за каждым движением Прасковей. Когда задребезжал на плотовом дворе колокол, мать легко слетела с нар на пол и подошла к Марийке. В белых штанах и короткой кофте она казалась совсем маленькой. Такой же маленькой чудилась и Марийка.

Колокол дребезжал долго и уныло, и все неторопливо выходили на двор. Тётя Мотя как обычно возилась у плиты.

Как и прошлые дни, она и теперь забормотала безучастно:

— Бери-ка веник, Федя, подметай пол-то. Сначала стол вымой, кружки сполосни. Надо, милоч, работать: доля наша такая. Ты ещё не свой хлеб ешь. А надо бы тебе и самому зарабатывать по твоим годочкам-то.

— Да я на плоту работал, — с обидой возразил я. — Рыбу считал не хуже Карманки, а мне ни копейки не платили. Чай, даром-то на подрядчицу работать накладно. Мне, тётя Мотя, в школу хочется: я учился бы там всех лучше.

Поражённая, она взмахнула руками и уставилась на меня, как на дурачка, который по неразумию сморозил неслыханную ерунду. Я никогда не видел, чтобы она смеялась или вспыхивала от возмущения: казалось, что она навсегда застыла в своём безучастии к людям. Даже события на плоту и стычки с подрядчицей не волновали её: мало ли бывает всяких споров и раздоров на промысле!.. Я знал только, что у неё было когда-то большое горе — утонул сынишка, что от горя она сильно болела и чуть не умерла. Может быть, этот удар и ушиб её на всю жизнь, и всякие людские заботы и беды уже не тревожили её. И я очень испугался, когда услышал её смех и встретил её изумлённый и сердитый взгляд.

— Это чего ты выдумал-то, сазан? Где это видано, чтобы парнишки из казармы в школу ходили? Чай, мы не баре, не богатеи... нам положено не в науках вальжничать, а работать, жить трудом под тяжёлым крестом. Уморил ты меня, потешник! Кто это надоумил-то тебя, какой чародей?

Говорила она с благодушной снисходительностью к моей глупости, но дряблый её голос и каждое слово душили меня, словно я неожиданно упал в глубокую яму, и на меня обрушился обвал.

— А Гаврюшка-то... чай, он не лучше меня, а учится в школе-то. Я тоже книжки читаю, больше его прочитал.

Она трудно подошла к столу и подняла мою голову за подбородок.

— Свою судьбу не взнуздаешь, Феденька. Гаврюша тебе не ровня. Гаврюша наверху, при господах, а ты внизу, в черняди. Ты хлеб сырой да кислый жуёшь, а он живёт в горнице, и дух у них вольготный, сосной пахнет, на окнах-то кисея, а на подоконниках цветочки. Сама хозяйка, как тыква, круглая, лицом сдобная, на голове шёлковую наколку носит. Купецкая была дочка. У них и в будни-то пироги да твороги, а у нас во все года вобла да вода. У тебя, милоч, одна школа — работа сызмалу лет.

Она гладила меня по голове, щупала жёсткими пальцами плечи и спину и щекотала шершавой ладонью мою шею.

Я вырвался из её ласково-цепких рук, побежал в куток за печью, схватил помойное ведро и большим жестяным ковшиком стал торопливо вычерпывать из котла чайное месиво. Это бурое месиво я вымлёски-

вал ладонью на пол. А пока оно впитывалось в сор, я мыл горячей водой стол. Потом брал камышевую метлу и выметал сор из казармы в сени.

Иногда тётя Мотя наставляла меня, ворча старушечьим баском:

— А ты не горячись, Федюша, не перегоняй себя. Ленишься не ленись, а сердцу воли не давай — надорвёшься. Нам с тобой торопиться некуда, а силы тратить попусту негоже: ты ещё молоденький отросточек, а его сломать легко походя. Жизнь наша, милоч, как тёмная ночь, а мы — как овцы в загоне. Слышал, что ли, как волки-то воют в песках? Жутко, душа обмирает... Вот она какая, наша доля!.. Копи силы-то, обуздывай карахтер-то — много тебе претерпеть придётся. Только бы не ушибла тебя судьба, да не искалечила...

Эти её жалобы и наставления не пугали меня. Я уже много раз слышал такие пророчества, много раз страшали меня всякого рода опасностями, бедами и напастями, которые ждут меня в будущем. В деревне о них говорили дед, и бабушка, и мужики, страшали нас и Степанида и подружки Раисы в Астрахани. И мне это будущее представлялось какой-то неопределённой и жуткой мглой, которая кишит злыми чудовищами. Все говорили постоянно о жестокой судьбе, как о зловещей бабеге, которая гонит людей помелом, как стадо овец, куда-то в неведомую юдоль страданий. Зачем? Почему? Кто обрёл нас на такую долю? Почему мы — «чернядь», и почему мы должны терпеть и покоряться?

Я жалел тётю Мотю, но мне было неприятно и тяжело наедине с нею. Торопливо и бойко выполнял я свою обычную утреннюю работу по уборке казармы и убегал или на плот, или на соляной двор, где женщины крутили мельницы, или на берег, к морю, к весёлым волнам, или в песчаную степь, к пепельным курганам, похожим на огромные сугробы.

Гаврюшку я не встречал нигде и как ни подкарауливал его по утрам, когда он должен уходить в школу, и в полдень, когда ему было время возвращаться домой, никак не мог поймать его, словно он ходил в шапке-невидимке. Без него мне было тоскливо. Он всё время стоял перед моими глазами, сухопаренький, с горячими глазами, и улыбался. Я спрашивал у тётки Моти, куда он скрылся, по каким дорожкам ходит в школу и почему не хочет водиться со мною? Но она равнодушно говорила не о нём, а о его матери:

— Больно уж Марфа-то Игнатьевна чванится! Ей зазорно, что Матвей-то Егорыч под началом служит: ей хочется, чтоб он сам хозяином был. Ведь она хороший дом бросила — купецкая наследница — и за ним убежала. А сейчас кается и пилит, и шпыняет, и житья ему не даёт: едем да едем к древнему отцу, падём в ноги да умолим его, умилим, вымолим благословение — он всё своё состояние нам и откажет. В доме у них нерадостно: смута, чад, лиходешь. Сам-то — неумомный, гордый, чистосердый: не хочет честь свою толстосуму под ноги бросить: «Не продам, говорит, душу свою домовому. Я, говорят, не Адам в раю, а ты, Марфа, — не Ева. Меня златом-серебром не соблазнишь. Я, говорит, лучше сопыюсь али море вылакаю, чем сатане поклонюсь. Я сам, говорит, своему карахтеру хозяин. Я, как Стенька, в море тебя швырну аль в лабазе, как белугу, заморожу, а на колени ни перед каким идолом не стану». Он ведь в былые-то годы, когда разудалым рыбаком был, Стеньку в действе представлял. Слава о нём на всё взморье шла. Из Гурьева прибежали любоваться им. А сейчас весь в вине сгорел — званья от него, доброго молодца, не осталось. Гаврюше-то очень даже горько живётся: мать его взаперти держит, норовит по-своему обломать да к дедушке-богачу отвезти, чтобы в доме

его рос. А он, Гаврюша-то, в отца — нравный, вольный и в папаше души не чаёт.

В этих утренних разговорах тётя Мотя почему-то часто рассказывала о Матвее Егорыче и его семейной жизни. Я догадывался, что в жизни её Матвей Егорыч оставил какой-то неизгладимый след, что молодость её, должно быть, связана с этим обрюзглым запойным человеком. Как-то я спросил её о муже: умер он, или бросил её, и почему она с сынишкой осталась на этой проклятой косе? Она вдруг начала сморкаться и судорожно пробормотала:

— Одношкая я, Федя, холостая. А мальчишечку своего... без мужа прижила... в девичьем грехе... Может, за этот грех его и моряна похитила. Вот я и несу на себе это наказание.

Я хорошо понимал, о чём говорит тётя Мотя. В мои ранние годы «девичий грех» не был для меня тайной. Отношения между мужчиной и женщиной открылись мне ещё в деревне. Об этих отношениях, не таясь, говорили и в семье, и на улице.

Я понимал скорбь тётки Моти, но никак не мог согласиться с нею, что её сынишка, мой ровесник, должен был утонуть за её грех. Чем ребёнок виноват, что родился? Почему он должен отвечать за её вину? Но я знал одно — баба была всегда виновата и должна была терпеть и безмолвно покоряться насилью. Отцы продавали их, как овец, а мужья колотили ни за что ни про что и даже могли забить до смерти, как это сделал Серёга Каляганов.

Но такие женщины, как Раиса и Прасковья, были для меня и для матери новыми — смелыми, гордыми, независимыми и совсем не боялись ни мужчин, ни сплетен, ни пересудов, ни ватажной кабалы. И я тянулся к Прасковье, к Марийке, к Оксане, к Гале всем своим существом.

В эти осенние дни, по-летнему горячие, прозрачные, солнечные, я босиком раза два ходил в пустынные пески. По сыпучей, застывшей ряби, по сизым волнам и гребнистым сугробам шагал я со странным беспокойством в душе. Меня и пугали эти плюсово-жёлтые сугробы и пологие холмы в осыпях, и манили своими загадочными маревами.

За нашим промыслом расстилался широкий и длинный пустырь, заросший жёсткой полынью, лохматым бурьяном и злой колючкой. Пробираться сквозь эти свирепые заросли было очень больно: колючки жалили ноги, а рогатые коробочки дурмана впивались в штаны и щипали тело. Зато приятно было чувствовать мягкую россыпь тёплого песка, когда я выбегал на золотой волнистый простор. Песок шевелился под ногами, хрустел, стекал назад, плескался и обсыпал мои ноги до щиколоток. Плоская спина наноса, исполосованная застывшей волнистой рябью, в перламутровых искорках, казалась твёрдой, как лёд, но при каждом шаге ступни мои утопали в мягкой ямочке. Я останавливался на этом зыбком взлёте матовой волны и наслаждался неиспытанным ощущением: сухой песок шевелился, дышал, всасывал мои ноги и щекотал их, словно играл со мною. Мне было любопытно и жутко наблюдать за его странной судорогой, как будто он оживал подо мною.

Впереди до горизонта расстилалось окоченевшее море, воскового цвета, над ним мерцало зеркально-голубое марево. Огромные шквалы вздымались всюду, словно в тот момент, когда гребень должен был, клокоча, обрушиться вниз, он волшебным образом замер и отвердел навсегда. Под ними, на крутом взлёте волны, чётко вырезывались лиловые тени. Кое-где эти гребни будто таяли, осыпались, и застывшая пена сползала золотой пылью. А отсюда полого поднимались широкие спины других увалов, исполосованные мелкой рябью, в причудливых рисунках, как

кружево, и бархатно выглаженные ветром. Казалось, эти волны когда-то неслись к морю, которое сплещет вправо, играя белыми барашками. И я понял, что это степные ветры-суховеи сдували песок и гнали его позёмкой на побережье. Я боялся подолгу останавливаться на этих горбинах и покатых полях: вдруг под ногами образуется воронка, песок закружится и засосёт меня в бездонную свою утробу... Поэтому я шёл словно по тоненькому льду. Гребни шквалов взлетали всё выше и выше, и они напоминали мне снежные заносы, которые у нас в деревне вырастают до крыш, а на гумнах покрывают половёшки и поднимаются до шатра высоких копён. Эти гребни изгибались крутой подковой и спадали в обе стороны покатыми и гладкими боками с глубокой выемкой посередине. Такие подковы срастались своими склонами и беспорядочной толпой разбегались в разные стороны. Здесь песок был туго спрессован, и я никак не мог побороть соблазна взобраться на самую вершину подковы и идти по острому ребру дуги. Песок плескался здесь под ногами, но не осыпался, и мне очень хотелось посидеть или полежать на нём и зарыться в его ласковую, сыпучую теплоту. Я сидел на это острое ребро с оторопью — как бы не скатиться в глубокую ямину, — но гребень расплывался подо мною, мягкий, как подушка. Я погружался в густую тишину и мёртвую неподвижность, только в ушах звенела призрачно-тоненькая струнка, да глухо постуживало сердце. Воздух был такой прозрачный, что на соседних склонах подков чётко переплетались следы маленьких зверьков и ветвистые отпечатки лапок каких-то птичек. Но ни зверьков, ни птичек нигде не было видно. Вверху воздух был небесно голубой, а внизу переливался маревом и пылал оранжево-жёлтым и лиловым пламенем. Эти сказочные переливы света и эта бездонная тишина привораживали меня, и я сидел долго и неподвижно, забывая обо всём.

Я оглядывался на далёкую голубую полосу моря в белых барашках и вихрях пронзительных искр, но прибоя волн не слышал, только тихий ветерок щекотал мне лицо и играл моими кудрями.

Вдруг на вершину дальнего кургана на широко распластанных крыльях опускалась большая птица. Она заботливо складывала их и отдыхала, гордо подняв голову. Потом чистила своим крючковатым клювом перья, поднимала одно крыло, потом другое, опускала их на песок и замирала в задумчивой неподвижности.

Ватажный посёлок с плотами на берегу пропадал за взмётами песков, только баржа маячила над их горбами, лиловая, странно лёгкая, словно реяла в воздухе. Эта одинокая птица, похожая на коршуна, эти мутно-жёлтые барханы с фиолетовыми оттенками во впадинах, эта бездонная небесная синева, пустая и оледеневшая, — всё это было полно печали, и я чувствовал, как погружаюсь в безмолвный покой и печаль. Я никогда ещё не испытывал такого тревожного одиночества: смутный страх перед этим заколдованным миром угнетал душу. Какие-то неуловимые призраки блуждали в теснинах фиолетовых впадин и в маревых далях, и мне чудилось, что я нахожусь среди огромных могил, в которых погребены сказочные чудовища. Зловещая птица с крючковатым клювом и тяжёлыми крыльями алчно всматривалась в меня, как в добычу. Я вставал и опрометью бежал обратно к промыслу: там была милая человеческая жизнь, хоть и тяжёлая, голодная, полная обид, — там весёлый Гриша, небоязливая Прасковья, Оксана, Марийка, мать, Гаврюшка...

В одну из таких жутких минут я услышал надрывный плач где-то далеко в песчаных трущобах. Сначала мне почудилось, что это скорбно вопила женщина, которая прибежала сюда с промысла и спряталась

здесь, чтобы наедине с собою выплакать своё горе. Голос переливался, стонал и вздыхал сквозь слёзы, потом обрывался криком отчаяния. Я не мог понять, откуда доносился этот рыдающий голос: то он лился откуда-то из далёких увалов, то вскрикивал где-то слева в глубоких яминах, то скорбно дрожал позади меня, за гребнями подков. Я прислушивался, всматривался в гребни и осыпи, но снова всюду молчала пустая тишина. Мне померещилось, что какая-то тень промелькнула между крыльями соседней подковы и исчезла внизу. А налево, на вершине пологого взмёта показалась острая, крылатая голова и опять скрылась. Мне стало страшно: думалось, что в этих пустынных яминах обитают какие-то загадочные существа, и я вспомнил, как по ночам воют волки в этой стороне. Их вой слышен был даже в казарме. Но когда я выбегал на двор, мне чудилось, что волки целой стаей бродят за камышевым забором, в бурьянном пустыре и, надрываясь, режут все вместе на разные голоса — уныло, жалобно, зловеще. Я не мог переносить этот жуткий вой и в ужасе убегал в казарму. И когда над гребнем подковы во второй раз мелькнула ушастая голова, я оледенел от страха: уж не волчья ли башка выглядывает из-за бархана? Уж не караулит ли меня зверь, притаившись за высоким взмётом песка? Я пустился бежать по пологому склону, по кружевной ряби, вниз, чтобы скрыться за крутыми осыпями от этой загадочной башки. Но как я ни старался спрятаться среди песчаных волн, вершина бархана словно вырастала передо мною ещё выше, и острая ушастая голова появлялась и исчезала всё чаще, зорко следя за мною. Охваченный страхом, я бежал изо всех сил и в отчаянии чувствовал, что вязну в песке, и песок осыпается, оплетает и засасывает мои ноги.

Я оглянулся и увидел наверху человека в балахоне верблюжьего цвета и в остром карсачьем колпаке с растопыренными ушами. Человек смотрел на меня сморщенным от смеха коричневым лицом.

— Ай-ай!.. — повизгивал он по-ребячьи. — Какой храбрый малайка! Зачем бегал? Кашаркам испугался? Ай-ай!..

Это был известный всем пастух Кашарка. Он пас промысловое стадо курдючных овец на пустыре и на близких увалах, покрытых колючками и ключьями жёсткой травы, похожей на ползучий камыш. Я остановился, задыхаясь от волнения, и засмеялся — засмеялся от счастья, что нет нигде ни призраков, ни зверей.

— Айда суды! — приветливо и ласково повизгивал он, взмахивая длинным рукавом. — Айда, песням пел.. Ты слушай да барантам любуйся...

Я уже давно знал Кашарку: каждый вечер он пригонял своих овец с тяжёлыми, как мешки, курдюками, усаживался у забора, сложив ноги калачиком, укладывал свой колпак между коленями и начинал петь фистулой бесконечную песню с жалобными переливами, с визгливыми выкриками, и обеими руками ворожил над шапкой. Лицо его, бронзовое, скуластое, с реденькими волосками на щеках и подбородке, скорбно морщилось, но в узеньких щёлочках век глаза смеялись. Овцы бродили по пустырю и щипали пыльную колючку. Так он сидел долго, играя руками, качаясь над опрокинутым колпаком и с плачущей улыбкой выводил сплеленьким фальцетом замысловатые ругады. Я долго стоял около него и слушал эту бесконечную, тоскливую его жалобу, и мне мерещилось, что я плыву над безжизненными волнами песков, как пылинка, падаю в заросли колючек и, плутая в них, уношусь куда-то в мутную даль с тоской и болью в сердце. Потом Кашарка легко вскакивал на ноги, подпрыгивал и смеялся, хитро поблёскивая узкими глазами.

— Якши, Кашарка!.. — радостно хвалил он себя. — Добрам песням

пел.. Хлебам кушат будем.. Карсак не кушат хлебам.. только рыбам кушат...

И он, широко взмахнув над собой колпаком, призывно вскрикивал. Овцы бежали к нему со всех сторон, сбивались в густую овчинную кучу, а он смеялся и что-то весело бормотал им. Гололобий, загорелый, пыльный, он раскидывал руки коромыслом и шёл в ворота, а за ним, поднимая пыль, сплошным кипящим гуртом торопились овцы.

Он нравился мне своей радостной и обещающей улыбкой. Нравилось мне в нём и желание его дружить со мною: он не притворялся, не подлаживался к моему возрасту, не играл со мною, как большой пёс с кутёнком, а чувствовал себя, как ровня. Наши мужики и даже резалки относились к карсакам насмешливо и потешались над ними. А Кашарка и Карманка как будто не замечали этого и держались с ними так же дружелюбно и сердечно, как и со мною. Я подходил к ним доверчиво и знал, что они меня встретят приветливо и никогда не обидят. Я чувствовал, что им приятно приласкать меня, что они тоже меня любят и верят, что я не буду смеяться над ними и не скажу им дурного слова.

И вот когда я увидел Кашарку на бархане, я обрадовался, и эти пустынные ямы и взмёты как-то ожили и уже не казались страшными. Я быстро взобрался на высокий гребень, а Кашарка радостно засмеялся и, схватив меня за руки, пошлёпал ими несколько раз: так карсаки здороваются друг с другом, выражая этим взаимную верность.

Пологий и длинный склон бархана покрыт был клочьями колючей травы, охалками седого бурьяна и изрыт ямками, а здесь, наверху, изборождён мелкой рябью. Овцы разбрелись по этим зелёным и седым клочьям и общипывали остистые листочки. Налево барханы были ещё более пологи и тоже покрыты зелёными пятнами травы. Направо гребни взмётов поднимались всё выше и выше и торчали острыми рёбрами и крутыми подковами. А прямо перед нами взбаламученные песчаные волны толпились беспорядочными шквалами, потом переходили в спокойную зыбь и таяли в широкой долине, заросшей кудрявой щетиной какого-то красного кустарника. И в этой долинке, как застывшие пузыри, торчали кибитки, а между ними и поодаль, в кустарнике, бродили длинноногие горбатые верблюды.

Кашарка сел на корточки, показал длинным рукавом на кибитки, потом взмахнул им направо и налево, плаксиво сморщился и, обхватив руками колени, запел. Пел он долго и лукаво поглядывал на меня, потом показывал рукавом и вдаль, и на промысел, и на кибитки, и на овец. Узенькие глазки наполнялись слезами, и он умоляюще поднимал руки кверху. Он что-то рассказывал мне этой своей надрывной песней, но ему, вероятно, было всё равно, понимаю я его или нет: он просто выливал в своей дикой мелодии то, что переживал в эти минуты. Эта рыдающая песня с неожиданными выкриками и угнетала меня, и тревожила сердце. В ней звучали и боль и отчаяние, и слышалась удаляющаяся вольного человека, который мчится на быстром коне. Я невольно вздрагивал и смеялся, подчиняясь этому призывному крику. И чудилось мне, что переливы, взлёты и замирающие вздохи сливаются с волнистой пустыней, с запутанными гребнями, взмётами, осыпями и фиолетовыми гнёздами подков и с кружевной рябью на плисовых склонах барханов. Я много раз слушал такие песни, и всякий раз мне мерещились эти застывшие волны песков, уходящих в маревые дали.

Кашарка оборвал свою мелодию каким-то птичьим клёкотом, хлопнул рукавами, радостно засмеялся и, очень довольный, спросил, поблёскивая белыми зубами:

— Якши песням? Добрам пел?

Я тоже засмеялся и похвалил его: «якши!» Уродуя русские слова, сбиваясь, путаясь и помогая языку жестами, вскриками, всем телом, он рассказывал торопливо и горячо, словно рад был, что дождался такого гостя, который будет слушать его с открытым сердцем. До сих пор вижу я этого парня, искреннего, бесхитростного, с поэтической душой, и слышу его играющий голос.

Рассказывал он о том, что кругом — пески, что пески эти сейчас спят, но они просыпаются—и барханы начинают расправлять крылья, как птицы. Шайтаны вырываются из сухих насыпей, где они прячутся, вихрями поднимаются до неба, бушуют, бесятся и с гулом и визгом носятся в непроглядных тучах песку. Барханы дымятся, горят и оживают: они начинают волноваться, как море, и бурей рвутся к берегам. Море в ужасе убегает от этого урагана нечистой силы и исчезает за горизонтом. И там, где плескались знакомые морские волны, золотом блестят сухие пески и выжигается песчаная мгла.

И в этих зловещих песках кочуют карсаки. Вот их кибитки, верблюды, а там за барханами, по берегам Эмбы,— тоже кибитки, и бедный народ ловит рыбу тайком, потому что рекой и морем владеют русские купцы. Здесь карсаку негде пасти баранов — нет травы, а те места, где по ерикам растёт пышная трава, тоже захвачены русскими купцами для своих промыслов. Карсаков начальство отгоняет в барханы. А раньше, давно, все зелёные, плодородные пространства принадлежали им, карсакам, и они пасли большие стада овец и табуны лошадей. Старики рассказывают и поют об этой поре, как о вольной жизни: кибитки были уютные, верблюды сытые, люди до отвала ели баранину, и на быстроногих конях молодые батыры устраивали бега, нападали сообща на карсачьих князей и угоняли их скот. Были славные битвы, в которых народные батыры совершали незабываемые подвиги.

А сейчас вон эти бедные кибитки беззащитны, старики чахнут от голода, малайки — тощие, не видят крошки хлеба и кусочка мяса; они хлебают рыбью болтушку, и у них раздутые животы. Они умирают, как мухи. Женщины и девушки — скучные и блёкнут, не расцветая. И у него, Кашарки, такие же хилые дети, но они счастливей других, потому что он, Кашарка, приносит им с промысла кусочек хлеба. И хорошо тем карсакам, которые работают, как Карманка, на плоту: они тоже приносят хлеб в свои кибитки. Но таких счастливых очень немного. Да и платят им за труд хозяева промыслов столько, сколько сами пожелают: денег не дают, а бросают немного хлеба, плохую воблу и кусочки чая.

Но народ живёт верой в настоящего батыра, который защитит от гонений и притеснений. Разъезжает он всюду на быстром коне и говорит людям о будущей счастливой доле — о том, что карсаки опять будут хозяевами своей богатой страны. И он, Кашарка, и его друг, Карманка, и все карсаки ждут каждый год, что этот молодой красавец-батыр, народный герой, прискачет и к ним, в эти пески, и зажжёт их сердца огнём своих орлиных глаз.

Я слушал этот взволнованный лепет Кашарки и сам волновался. Таких сказок я не слышал в казарме. Наши рабочие говорили о своей работе, о заработках, о долгах в хозяйскую лавочку, были равнодушны друг к другу и не ждали ничего хорошего в будущем. Только Гриша-бондарь да рыбак Карп Ильич с Балберкой отличались от других своей жизнью и думами, да Харитон с Анфисой жили, как хотели. А Прасковья с Оксаной и Галей ничего не боялись и сами наводили страх на подрядчику.

Несколько дней я переживал рассказ и песню Кашарки, и меня опять манили безлюдные пески. Мне чудилось, что там, на гребне бархана,

стоит он в своём балахоне и зовёт меня слушать его песни и сказки. И каждый вечер я караулил его на бурьянном пустыре за камышевым забором в тот час, когда он прогонял своё стадо и садился на траву, чтобы затянуть залиvistую песню и поиграть руками над своим колпаком. Но здесь он был уже другой — он дурачился, скоморошничал, хотя приветливо смеялся морщинками и подмигивал мне узенькими глазками.

28

Осенняя путина продолжалась до холодов, и казарма пустовала с утренней темноты до позднего вечера. Только в полдень и непроглядными вечерами по звонку резалки и рабочие приходили в казарму, чтобы похлебать болтушки и выпить горячего калмыцкого чаю. После торопливой перекуски все бросались на нары, как избитые, и лежали неподвижно, забываясь на четверть часа.

С севера подули суховей, и пески задымились ядовито-жёлтой мутью. Колючая пыль знойно обжигала лицо, засаривала глаза, и они слезились и наливались кровью. Кожу на лице и руках саднило, губы трескались и сочились кровью. Эта пыль проникала и в казарму, воздух в ней тоже был мутный, знойный и ядовитый. По ночам казарма стонала и выла от кашля. Песок покрывал одеялки и подушки тонким слоем, и волосы на голове сбивались в тугую войлок. Хлеб старательно завёртывали в полотенце, в тряпки, прятали под одеяла, но песчаная пыль въедалась глубоко в хлебный мякиш. Похлёбка и чай варились вместе с песком, и на дне чашек и кружек оставалась жидкая бурая кашлица. Все переживали это бедствие трудно и казались больными. Я не раз видел, как некоторые резалки на плоту слабели, прерывали работу и в ужасе смотрели перед собой кровавыми глазами, а потом истошно вскрикивали и плакали. Все были, как немые, и лица горестно тупели. Даже Прасковья с Оксаной стали печальны. Но Наташа и в эти дни не менялась: работала с обычным неторопливым упорством, с застывшим страданием в лице. Мать переносила песчаную пытку молча, а Марийка жалобно посматривала на неё и со страдальческой улыбкой облизывала сухим языком кровь на губах. Я чувствовал, что мать тоже страдает, но даже эти неиспытанно-страшные дни были для неё милее, чем подъяремная жизнь в деревне под безжалостной властью отца. И я гордился ею и волновался от нежности к ней, когда её задушевный голос красиво напевал какую-нибудь припевку или полюбившуюся ей песню наших деревенских крашенинников:

Наступит день красы моей —
Увижу божий свет!
Кругом-то — море, небеса...
А родины уж нет!

Марийка словно просыпалась и с изумлением вскрикивала: «Настя! краса моя!» Она подхватывала напев и вторила матери с радостным порывом. Прасковья поднимала голову и подзадоривала:

— Молодчина, Настя! Никогда не вешай носа! Дорожи, Марийка, такой подружкой!

И, звякая ножом о багорчик, лихо подбадривала всех:

— Ну-ка, товарки! Запевай другую — поразливестей!

И сама заводила своим низким голосом:

Ах, ты, море, море синее —
Море синее — Каспийское!..
Унеси ты, море, моё горе —
Утопи в лазоревых волнах...

Подхватывала Оксана высоко и звонко. С её голосом сливались в радостной готовности голоса матери и Марийки. Сначала женщины молчали и отмахивались, вздыхая, потом с натугой подпевали вполголоса.

А море быстро уходило от нашего берега. С песков к мутному горизонту неслись тучи рыжей пыли. Мне было жалко расставаться с морем, и я бежал по мокрой отмели, чтобы догнать его. Баржа опять свалилась на бок. Вода лизала гнилые доски разбухшего её брюха, и в чёрной ребристой дыре болтались на ветру какие-то обломки и лохмотья.

Дня через два море призрачно искрилось где-то очень далеко и казалось ненастоящим, как мираж. И там, где недавно весело играли белые паруса рыбачьих посуд, теперь до самого неба бушевала песчаная пурга.

С прибрежного плота все опять перешли на дворовый плот. Закрытый камышевыми стенками, сумеречный и душный «сухой плот» не продувался ветром, и только в квадратных дырах вихрилась рыжая муть. В эти дыры въезжали одна за другой высокие арбы, опрокидывались назад, задирая оглобли вверх, сбрасывали рыбу на пол и уезжали в другую дыру напротив. Девки, наглухо закутанные платками с узкой щёлкой для глаз, надрывно кричали на лошадей: «н-нё! да нё же, несчастная!» — и хлестали худые их крупы концами вожжей.

С этих дней начались новые перемены в моей жизни. На одной арбе ездила Галя, подруга Оксаны: у неё загноились и распухли руки, и она уже не могла действовать ножом. Перевязанные тряпками пальцы были неподвижны. Приказчик перевёл её на доставку рыбы. Она лихо скакала на своей арбе, и маленькая гнедая лошадка бежала у неё бойко, словно чувствовала строптивый и горячий нрав своей новой погонщицы. Держалась она всегда очень смело и независимо: казалось, что никого и ничего не боится и готова поозоровать каждую минуту. Одно мне в ней было не по душе — это неласковое обращение с женщинами. Отвечала она всем срывка, словно со всеми была в ссоре и всех презирала. И когда резалки обидчиво протестовали, она враждебно отшибала их от себя.

— Какая есть, такая буду. А если не по нраву — отвернитесь.

Оксана и Прасковья только молча улыбались и никогда не упрекали её. Из мужчин она почему-то запросто, по-родственному привязалась к кузнецу, хотя он был самый отпетый ругатель и нелюдимый бириук. Он не пил, не бродил по посёлку и никогда ни с кем не ссорился, но из своей тёмной берлоги бросал, как камни, тяжёлые слова гулякам, которые являлись в казарму без пиджаков и сапог. Присматриваясь к нему и проверяя свои впечатления отношением к нему Гриши и Прасковьи, я чувствовал, что кузнец — хороший человек, что он никогда никого не обидит и сам дорожит строгостью своего поведения. Дружил он только с кузнецами других промыслов, и я видел, как в чёрной и дымной кузнице толкались эти закопчённые бородатые и безбородые парни. Он что-то показывал им и объяснял с несвойственной ему живостью. Я не раз подходил к дверям кузницы, но войти в железную тьму, пахнущую окалиной, боялся. Кузнец не кричал на меня и не прогонял, но его красные белки казались мне страшными, и я с оторопью уходил прочь.

Однажды подрядчица сварливо приказала мне влезть на арбу к Гале и взять у неё вожжи.

— Нечего зря болтаться. Такие, как ты, по людям работают. В деревне-то, должно, и запрягать, и править лошадьё умел. Валяй вместе с Галькой, а то она и арбу по дороге бросит.

Мать испугалась и в смятении крикнула со своей скамьи:

— Не пушу в такую непогодь! Ослепнешь, задохнёшься, песком занесёт...

Но Галя засмеялась и успокоила её:

— Ничего! Он храбрый молодчик. Вдвоём не страшно.

Я был очень доволен, что буду ездить на арбе и, как в деревне, держать вожжи в руках.

А мать даже соскочила со скамьи с гневным блеском в глазах.

— И не моги, сынок! И не думай! Пропадёшь. Подрядчица только на даровщину горазда...

— Ну, ты... пискунья! — набросилась на неё Василиса. — Мальчишка пускай хлеб зарабатывает, а не ползает тараканом.

Мать с неслыханной смелостью крикнула:

— Не твой хлеб ест. Ты заработанный хлеб отняла у него...

Я вскочил на ступицу колеса, вцепился в край ящика и впрыгнул в слизистое дно арбы. Галя звонко крикнула на лошадку, взмахнула вожжами и препела по-мальчишечьи:

Я — девчонка сходная;
Горько — не заплачу я,
С гадким я — холодная,
С милым я — горячая!

Колючий песок кружился по двору вихрями, пронзительно бил в лицо и засыпал глаза. Я уже до этого успел приспособиться к ветру: щурился, оставляя узенькую щёлочку между веками, а когда на ресницах оседала пыль, становилось легче — песок сам защищал глаза. Галя опускала платок ниже глаз и быстро вскидывала голову, чтобы взглянуть на дорогу. А дорога заметалась песчаной позёмкой, покрывалась рябью и сугробиками. И только бегущие навстречу лошади с арбами и белоголовые девчата на арбах были нашими вешками. Арбы катились одна за другой, и мне казалось, что в ящиках лежит не рыба, а песок. Девки визгливо кричали на своих лошадей. За нами тоже бежали лошади с хвостами на отлёте. Они часто скрывались в облаках песчаной мглы и опять появлялись, как призраки. А там, где на днях синело море, бушевали клубистые облака ржавого цвета.

Сначала я мучительно терпел ожоги и, надвинув на нос козырёк картуза, храбро покрикивал на лошадь. Но когда вьюга захлестала нас под барханами, я не выдержал и уткнулся в угол вонючего ящика. Галя засмеялась и шлёпнула меня вожжами по спине.

— Эге, хлопчик! Не надолго же тебя хватило! А ну, дай я завяжу тебе лицо фартуком.

Но я опять вскочил на ноги: насмешка Гали была больше ожогов и ослепляющей пыли. Я не маленький, чтобы окутывали мне голову фартуком. Рабочие не завязывали своих лиц: они только низко надвигали на лоб картузы. Правда, у них были бороды, их забивало песком, и мне было смешно, когда мужики трепали их, как куделю, а песок вылетал из волос, как дым. Не сладко было носить бороды в такие песчаные дни. Карманка тоже морщился от улыбки, когда бородачи выбивали пальцами песок из густой заросли на лице: у него не было бороды, в реденькой шерсти на щеках и подбородке песок не задерживался. И я догадался, что бороды у карсаков потому не растут и узенькие глаза потому щурятся, что они живут в барханах и приспособились к песчаным бурям.

Я храбро подставил лицо навстречу вихрям — и чуть не задохся от сухой пыли, но, прижмурив веки, лихо крикнул на лошадь. Чтобы обезоружить Галю, я обнял её за поясницу и настойчиво потребовал:

— Даёй-ка вожжи-то, Галя! Я ведь дома хорошо с лошадьми обходился: на гумно один ездил, и за водой на реку, и боронил...

Она засмеялась.

— Ишь, ловкий какой! Валяй! Погляжу, какой ты наездник.

Я подхватил вожжи, и мне сразу стало хорошо. Может быть, лошадь, почувяв вожжи в руках такого мужчины, как я, побежала бойко, взмахивая головой. И мне было лестно, когда Галя поощрительно пошлёпала меня по плечу и удивлённо крикнула:

— Ой, люди добрые! Да он же — настоящий чумак!

Девчата, закутанные в платки, и бородатые рабочие гнали своих лошадей и вожжами и кнутом, мелькали мимо нас в мутной выюге и кричали что-то невнятное. Я с гордостью держал вожжи в руках и правил, как самосильный возчик. Когда порывы ветра бросали песок в лицо, я отворачивался, отплёвывался и опять бодро орудовал вожжами, властно покрикивая на лошадь. Сначала Галя следила за мною и, посмеиваясь, командовала:

— Правее держи, хлопчик! На морду встречного коня налетишь.

Она не раз пыталась вцепиться в вожжу, но я локтем отшибал её руку и кричал сердито:

— Не мешай, Галя! И без тебя знаю... Дорогу-то песком замечает — лошади трудно.

Из-под платка смеялись мне лукавые глаза. А лошадь поворачивала ко мне уши и послушно бежала туда, куда я направлял её.

До рыбацкого стана было вёрст пять, но мне показалось, что ехали мы очень долго. Я изнемог от сухого песчаного бурана, на зубах хрустела песчаная каша, глаза плакали и закрывались от режущей пыли. И как я ни щурился, как ни смигивал песок, он засорял глаза. Но я не сдавался: мне обязательно нужно было доказать Гале, что я хоть и без платка, а с честью выдержу эту чёртову дорогу и не хуже её могу управлять лошадьёю.

Мы выехали в широкую долину в зарослях лозняка и седого камыша по берегу реки. Стало сразу легко на душе, когда передо мною прехладно зазеленели ключья колочек и жирные пятна толстой ползучей травы, похожей на пырей. Всюду трепалась на ветру серая полынь. Песчаная пыль здесь уже не била в глаза, а проносилась очень высоко и улетала к морю. Оно блистало совсем рядом и морщилось рябью и овчинными волнами, которые быстро убегали от берега в запылённую даль.

Рыбачьи станы разбросаны были по обеим сторонам ерика: тут тоже на просмолённых сваях сползали в реку плоты, а около них колыхалась рыбацкая посуда. Поодаль от плотов пластались длинные баракы. Таких ериков по побережью было много — и больших, и маленьких.

Перед плотом стояли несколько одноколок, одна за другой, и ждали своей очереди. Мы остановились позади последней. Из-за плота выезжали арбы, нагружённые рыбой. Девки, забинтованные платками, разудало покрикивали и взмахивали вожжами.

Галя похвалила меня за то, что я хорошо правил лошадьёю — не струсил перед песчаной выюгой, — и велела слезть с одноколки. А когда наша арба въедет на плот, мне сразу же нужно вскочить на неё, сесть на доску впереди и с вожжами в руках быть начеку: при выкрике «долой!» рысью выехать с плота на дорогу.

Я охотно спрыгнул с арбы, чтобы размяться и умыться в речке, а главное, чтобы увидеть Балберку и Карпа Ильича с Корнеем. Вода в ерике была бурая, но не мутная и пахла горькой гнильёю камыша и водорослей. Но когда я умывался, она показалась мне очень приятной и

свежей, словно с лица и глаз сняла душную плёнку. От самого берега широкой полосой тянулась густая заросль чилима, и в тёмной глубине рогатые орехи шевелились, как живые. Я вытянул длинную коричневую верёвку в узлах и мохрах и нарвал целую пригоршню этих орехов. Они не лезли в карман, больно кололись, но я мужественно терпел их злые уколы: мне хотелось привезти их на плот и подарить матери с Марийской и Прасковее с Оксаной.

На плоту лежали кучи живой рыбы: сазаны, лещи, судаки и вобла, а бородатые рабочие в высоких сапогах и рогожных фартуках захватывали её сетчатыми черпаками и бросали в деревянные ящики одноколки. Я подбежал к краю плота, к прорезям с кишашей рыбой, но ни Балберки, ни Карпа Ильича, ни Корнея здесь не было. Должно быть, они убежали в море или вверх по реке. И только в тот момент, когда наша лошадь подходила к самому плоту, меня кто-то схватил за руку.

— Рыбак рыбака видит издалека.

Карп Ильич стоял передо мной в бахилах, большой, тяжёлый, как выкованный из железа, и улыбался мне глазами и бородой. Я очень обрадовался и прижался к нему.

— А я, дядя Карп, страсть по тебе соскучился. Однажды встретил Балберку и хотел с ним к тебе поплыть, да Балберка не взял.

— Зато он поклон от тебя привёз. Помнишь обо мне — это хорошо.

— Я всё помню и никогда не забуду.

— Всё помнить не годится: злое — вон из памяти, а доброе храни. Оно, доброе-то, с тобой расти будет. Помнишь, как я тебе рассказывал о нашем гармонисте?

— Ещё как помню-то!..

— Ты что же это, книжник, в возчики нанялся?

Он кивнул кожаным картузом на арбу и подмигнул мне.

— Нет, меня не нанимают: хотят, чтоб я бесплатно работал. А я не хуже карсаков рыбу считаю, и с лошадьё справляться привык.

— Ну, ничего, потерпи — скоро подрастёшь. Оно тебе и в рыбаки ещё рано. А вот, говорят, ты бунтовать гораздый? Тут про тебя у нас Матвей Егоров рассказывал: ты с его парнишкой будто в море побежал за какими-то сокровищами, а потом будто вместе с резалками мятежом занялся. Бунтовать ради баловства — это дурость и озорство, а за своё кровное подрастья не мешает. Сразу видно, что рыбак из тебя будет хороший. Зимой на житьё к вам на промысел приедом, вот тогда чтением займёмся. Зимой здесь рыбу не ловят. Ну, прсщай! Матери поклонись — с душой бабёнка. В обиду её не давай. За Григорья держись: он всем родня.

Он похлопал меня по плечу и пошёл вразвалку к рыболовным посудам, которые стояли у плота и колыхались от ветра. Вдали, за посудами, желтели песчаные бугры и до самого неба клубилась ядовитая пыль.

Весь этот день до темноты Галя хоть и ездила со мною, но уже вожжей в руки не брала, а просто каталась, наглухо закутавшись в платок. А я лихо погонял лошадь на рыбный стан и со стана, несмотря на вязкие перекаты песка на дороге. Лошадь охотно бежала на промысел, где была её конюшня. Уже после второй поездки у меня растрескались губы, потекла кровь, и мне хотелось кричать от боли. Но я мужественно бодрился, чтобы Галя не заметила. Кожа на руках высохла, покоробилась и тоже начала трескаться. Глаза заслезились, веки распухли.

Мать жалобно просила меня больше не ездить на стан. Прасковее подошла ко мне, когда я распутывал супонь, чтобы снять гужи с оглобель и опрокинуть назад арбу.

— Больше не езд, Федяша, хватит на этот день. Пропадёшь — хворать будешь. Беги скорее к жиротопне и намажь себе и губы, и лицо, и руки жиром. — И набросилась на Галю: — Ты что же это парнишку-то испортила, Галька? Рада, что даровой помощник явился? Это ты, девка, брось! Здесь надо знать, как от песков защищаться.

Но Галя не рассердилась на Прасковью, а засмеялась.

— Да разве с ним сладишь? Он и вожжи из рук вырвал, и в угол меня загнал. Настоящий парубок! — И серьёзно пояснила: — Спасибо ему: дал рукам моим отдых. Болят они, мочи моей нет.

Но я возмутился: я — не маленький, чтобы и мама и Прасковья опекали меня. Эка, беда какая, растрескались губы и цыпки на руках! У меня эта чепуха бывала каждое лето в деревне. А веки распухли и глаза покраснели не только у меня, но и у рыбаков, и у резалок. Вон у ней самой, у Прасковьи, песок-то во всех складках и кофты, и платка, да и глаза, как заплаканные. Карманка одобрительно кивал мне своим колпаком и морщился от улыбки. А Прасковья строго осматривала моё лицо и сердито спрашивала:

— Ты для кого это надрываешься? Для подрядчицы? Сколько она тебе за работу отвалила? Твоя работка на пользу не нам, а волкам.

Я был поражён этой её правдой и почувствовал себя, как воришка, которого схватили за шиворот. Но, взглянув на Галю, у которой лукаво смеялись глаза в щёлке между платками, и на её завязанные руки, я сразу почувствовал, что и я прав не менее Прасковьи.

— Чай, я для Гали работаю. Руки-то у неё, видишь, какие? Она носит их, как робёнка.

Прасковья не сдержала улыбки.

— А всё-таки не езд, Федяшка. Да я и не пушу тебя.

Я вынул из кармана несколько орехов рогатого чилима и сунул ей в руку.

— Ой, не забыл и гостинца привезти! Ну, да это не поможет тебе. Остальные орехи я отдал матери и Марийке.

Галя возилась с супонью, но не могла затянуть её: ремень выскальзывал из больших рук, завязанных тряпицами. Подъезжала другая арба, и девка орала требовательно:

— Эй вы, арбешники! Очищайте место! Чего прохлаждаетесь?

Глаза у Гали были страдальческие: должно быть, руки её разболелись ещё мучительнее, и она не в силах была справиться с ремнём.

— Помогай, чумак! — крикнула она растерянно. — Без тебя дело не обходится.

Я бросился к ней, выхватил супонь и по привычке вскинул ногу к колке хомута.

— Полезай на арбу, Галя! — распорядился я с уверенностью взрослого человека, который взял на себя ответственность за доставку рыбы. — А то лучше пошла бы в казарму да руки перевязала. Я один справлюсь за тебя.

Резалки засмеялись, но Прасковья сердито крикнула:

— Отойти от арбы, Федя! И не думай ехать!

Подрядчица кричала издали:

— Отъезжайте скорее! Чего копаются? Долой! Мальчишка!..

Я легко вскочил на арбу и задорно крикнул:

— Но-о, сивая-красивая, гнедая-молодая! Поехали с орехами, прискакали с судаками!..

Мать бежала ко мне с платком в руке, но не успела бросить его в протянутую руку Гали: лошадь рванула арбу и вынесла её во двор. Мельком увидел я, как грозила мне багорчиком Прасковья.

Мы с Галей сделали только один конец: она ездить уже не могла и ушла в казарму, а меня оттащила от арбы мать.

Когда я пришёл домой, тётя Мотя всплеснула руками и молча, с угрюмым лицом, подтолкнула меня к закуте. Она налила в жестяной таз горячей воды и велела скинуть рубаху.

— Всего-то песком забило... Не волосы, а колтун. Глаза надо промыть. С мылом. Ослепнешь. Гляди-ка, беда какая: заплыли глаза-то, кровью налились!.. Тут по неопытности не один человек глаза потерял. Кровью плакали. Ах, дураки какие! Парнишку-то испортили. На стан, что ли, ездил?

— На арбе... Гале помогал: руки у ней совсем отнялись.

— Знаю. Вон на нарах лежит. Не то мне кашеварить тут, не то вас лечить.

Она заботливо вымыла мне голову, несколько раз промыла глаза тёплой водой, но вдруг невыносимая режущая боль ослепила меня. Я не вытерпел и закричал. Кое-как взобрался я на свои нары и уткнулся в подушку. Кожу на лице саднило. Когда ночью пришла мать, я уже не мог открыть глаз, а когда пробовал поднять веки, глаза обжигало, как кипятком. Губы тоже разрывала боль, и я ощущал на языке пресный привкус крови.

— Ну, наработался! — всполошилась она. — И чего ты лезешь, куда не надо? Вот ослепнешь, чего я буду делать-то?..

Когда она завязывала мне глаза, я услышал голос Гриши:

— Эх, Васильич, сплоховал, выходит? Видал, видал, как ты лихо носился на арбе. Понадеялся на свои силёнки, а песок-то тебя и посёк. Здесь, милоч, песок сильнее всех храбрецов: от него нигде защиты нет. Хоть ты и не сдавался, а хвалить тебя за это не буду: обжёгся, срезался, захвастался.

Прасковья строго перебила его:

— Такие парнишки гибнут, как мухи, в этих песках. А его надо было по затылку от арбы-то... Чилимом хотел улестить, хитряга. А сам на арбу, и был таков!

— Молодчина! — возразил Гриша. — Хороший рабочий будет — товарища в беде не оставит.

А Прасковья совсем разгневалась, но в голосе её я чувствовал улыбку:

— Хорошим человеком тоже надо быть умеючи. А хороший рабочий даром свои силы не тратит: он умеет беречь себя. Надо сызмалу учиться и за себя постоять, и друзей не подводить. С этого дня я за ним и оба глядеть буду. Матери с ним, должно, не сладить. Я и вчуже прижму его потуже.

Мать рада была придраться к случаю и побранила меня:

— То-то вырвался на волю... ни отца; ни дедушки нет. Страсть боюсь, как бы вередь себе не нашёл. Вот возьмёт тебя в руки тётя Прасковья — не будешь вольничать.

Гриша весело отразил их угрозы:

— Ну, чего вы напали на парня? Диви бы озорник был. Артельный мужик! Мы с ним друзья-товарищи ещё с тех дней, когда вместе на барже плыли. Помнишь, Васильич, как тюлени-то Харитонову гармонию слушали?

Я не утерпел и засмеялся, засмеялся и Гриша. И мне было приятно, что он и Прасковья поднялись к нашим нарам и, как родные, забеспокоились обо мне. Они работали от утренней тьмы до позднего вечера,

устали, проголодались, им спать надо, каждый час у них на счету, а вот пришли ко мне, чтобы участливо приободрить меня и показать, что они встревожены моей невзгодой и готовы защитить меня от всякого лиха.

29

Казарма глухо гудела, камышевые стены, обмазанные глиной, дрожали от песчаного бурана. Было душно и сухо, все кашляли и дышали с натугой. Это были мучительные дни: люди изнемогали на плоту, страдали от жажды, и лица у резалок искажались отчаянием.

Я пролежал сутки с повязкой на глазах, а когда сорвал её, долго не мог привыкнуть к пыльному свету, словно глаза разъедал дым. Не выходил я и вторые сутки — не пустила тётя Мотя. Но на третий день я уже с удовольствием убирал казарму: мне нужно было двигаться — тело требовало работы.

У Гали распухли руки до локтей, а пальцы покрылись гнойными язвами. Она лежала на нарах и сердито стонала. Тётя Мотя смазывала ей раны какой-то дрянью и сама стонала. Не поднялся со своих нар и Гордей: у него тоже разнесло ногу, и она не лезла в сапог. Лежал он молча, и мне казалось, что он спал беспробудно. Но раза два он садился на край нар и гладил разбухшую, посиневшую ногу. Я не мог видеть его страданий и забирался на свои верхние нары. Пробовал читать там «Руслана и Людмилу», но в глазах начиналась резь.

Кузнецова девочка, Феклуша, таяла с каждым днём; она лежала совсем чахленькая, жёлтая, с лицом старушки. Только глаза её стали большие и скорбно-задумчивые да носик строго обострился. Она никогда не замечала меня, а с отцом и матерью не разговаривала. Когда они приходили с работы, она отворачивалась, словно ей невыносимо было видеть их. И они были равнодушны к ней: я ни разу не замечал, чтобы кто-нибудь из них приласкал её или участливо наклонился над нею и спросил, что у неё болит и не хочет ли она чего-нибудь поесть. Только к тётке Моте она относилась с покорной кротостью и бормотала ей что-то нежным голоском. А тётя Мотя ухаживала за ней с печальной озабоченностью, как за умчающей. Я тоже был уверен, что девочка скоро умрёт, что жить ей не хочется, что всё ей противно, что втаёт она в каком-то другом, не нашем мире.

Но в эти дни песчаной непогоды, когда казарма стонала и вздрагивала от бурных порывов ветра, я вдруг услышал, что она напевает песенку. Песенка часто обрывалась, потому что девочке трудно было дышать — не то от пыли, не то от болезни. А какая у неё была болезнь, я не знал, да и не знал, вероятно, никто. Я даже испугался, когда услышал этот детский голосок. В это время я подметал пол в казарме и сгребал мокрый песок в кучу у порога. В казарме было сумеречно, мутно: окна между нижними и верхними нарами пропускали тусклый жёлтый свет, скучный до лихоты. Я тоже задыхался, тосковал, и мне неудержимо хотелось убежать из казармы. И опять испугал меня голосок Феклуши:

— Иди-ка сюда, Федя! Чего-то я тебе скажу. Я всё жду да жду тебя, а ты хоть бы глазком повёл...

С девочками я в деревне не водился — это не было принято в нашей мальчишечьей среде. В Астрахани я поневоле сдружился с Машенькиной Дуняркой. Мы жили в одной комнатке, вместе сучили чалки, вместе сидели за столом и вместе проводили вечера за рукодельем. Но Дунярка нравилась мне своей независимостью, беспокойным нравом, предприимчивостью и жизнерадостностью. И когда я вспоминал наше

путешествие к волжским пристаням, к кремлю, на рынок и в городской сад, в душе чувствовал к ней уважение: она казалась мне смелее и храбрее любого мальчишки. Я больно переживал разлуку с нею и тосковал по ней даже здесь, на промысле.

А Феклуша казалась мне совсем маленькой и была похожа на калечку. Но когда я вглядывался в её страдальческое личико, она казалась мне взрослой, умудрённой жизнью девушкой.

Тётя Мотя ласково прогудела мне:

— Иди, иди к ней, милок! Ребятё-то сердце дорого стоит.

Феклуша встретила меня без улыбки, но протянула ко мне жёлтенькие ручки и пристально вгляделась в моё лицо.

— Ты не гнушайся мной, Федя. У меня душенька-то, как стёклышко. Я словно летаю над людьми-то—лёгонькая-лёгонькая... Тебе жалко меня, чую. А ты не жалей—жалеть меня не надо. Жалеют несчастных, а я—как ангел, как облачко над землёй.

Она не говорила, а напевно причитала и играла пальчиками, словно плела какой-то невидимый узор.

— Сколько тебе годочков? Мне уж одиннадцать. Только ножки у меня не ходят да кровки мало. Это мне Матрёша сказала: она, Матрёша-то, всё видит, всё знает. А ты вот этакий крепенький, как солёный огурчик. Страсть я люблю огурчики солёные! Да только во сне их вижу. Лежат они передо мною в рассольце и словно бы смеются, а взять их никак нельзя: встрепенутся и юркнут на дно.

И она впервые улыбнулась. Я сидел на краю нар и чувствовал себя сначала желовко, словно связанный, не знал, о чём говорить и как себя вести с нею. Но она будто вдруг расцвела и затрепетала. Всегда неподвижная, молчаливая, угасшая, она вспыхнула, когда я подошёл и сел перед нею на нары. Голосок Феклуши, тоненький, как ниточка, распевал, не замолкая, словно она давно ждала этого часа, когда можно наговориться внаглую. Глаза её поголубели и стали глубокими.

— Я ведь лежу давно, ещё с весны. Тятяша с мамынькой на ватаге уж три года работают. Год от году работают, а никак не отработаются. Мамынька-то вся измаялась—руки изъело, нутрё огнём горит, и всё-то просит бога, чтобы скорее прибрал её. Бывало, обнимет меня и плачет, а сейчас оконечела вся—сердце застыло. И меня уж она не видит. Жалко мне её—не человек она стала. Бросится на нары и как мёртвая лежит, а я ей шепчу: «Мамынька, обними меня: я отдышу тебя». А тятяша—хороший, сердцем радостный. И всё-то сулит мне: «Погоди, говорит, вот в праздник на руках тебя поношу: сядешь мне на палец, как муха, и гляди на весь свет». Сулить-то он сулит, а ни один разочек до меня не дотронулся. Боятся, надо быть: как бы не раздавить меня. А я вот лежу, ко мне ангели прилетают и крылышками своими со мной играют. Весёленькие такие, чистенькие. Подхватят меня на свои шёлковые крылышки—и давай меня по воздуху хоровод водить... А мне стыдно и горько: не с ангелами мне по воздуху хоровод водить, а взять бы да заместо мамыньки поработать: отдохнуть бы ей, оклематься маленько... Молю об этом ангелей-то, а они смеются и крылышками хлопают. Глупенькие—ничего не понимают. А один из них, который побольше, на тебя маленько похожий, и говорит мне—говорит и бровки хмурит: «Чего это ты, Феклушка, чепушишь-то? Мало тебе, что ты в няньках ночей не спала, да на своих хозяев силёнки свои истратила—простудилась в зимнюю службу, грудью заболела, чуть не умерла, ножонки потеряла. Мало, говорит, этого, хочешь дсгореть, как лучинка?»

Тётя Мотя вдруг с ласковым неудовольствием обличила её:

— Да чего ты там выдумываешь, Феклуша? Ведь это я тебе выговаривала... а ты на каких-то ангелей сваливаешь.

Феклуша с негодующей живостью запротестовала и даже на локте поднялась.

— И не перечь, Матрёша: ангеля-то я как сейчас вижу.

— Ну, и гоже, — серьёзно согласилась тётя Мотя. — Чего плохого, ежели меня разок за ангеля приняла?

Феклуша опять легла на своё постельное барахло. Дышала она трудно, должно быть ей нехватало воздуха. Но и я задыхался: в горле першило, и я кашлял сухим взвизгивающим лаем. На зубах хрустел песок, а мои больные глаза слезились, как от дыма. Феклуше тоже хотелось кашлять, но она только хныкала, мучительно глотала что-то и не могла проглотить.

— Страсть мне хочется, Федяша, на вольный воздух выйти... И волны морские люблю: живые они, весёлые и всё-то играют да смеются. А чайки — как кипень белые. Я и тут слышу, как они песенки поют да зовут меня: «иди к нам! лети к нам!..» Уж больно я свет божий люблю! Всё люблю: и казарму, и людей всех, и себя люблю... И чего я такая счастливая, Федяша? Ты думаешь, я умру? Как же это я умру-то, когда ангели бесперечь ко мне прилетают? Когда здоровой-то была, я как кубарь вертелась. А передо мной — только зыбка да робёнок, корыто да посуда, помои да пелёнки. Ножки уж больно мёрзли. Ведь гола-боса была. Беги туда, беги сюда, покорми свинью, почисти хлев... Ну, и прохватило меня. И грудь, как огнём, обожгло, и ножки отяжались... Меня теперь никто не обижает, никто меня не видит, а я всё вижу!..

— Да будет тебе, Феклушка! — не вытерпела тётя Мотя, и я увидел в глазах её слёзы.

Феклуша с сияющими глазами залепетала торопливо:

— Ты, Матрёша, ничего не видишь, а я всё вижу. Ангели-то мне дар дали. Люди о себе ничего не знают, а я всё об них знаю.

Она замолчала и закрыла глаза от утомления. Мне показалось, что она забылась, и я хотел отойти от неё, но она легко, незаметно для меня, взяла мою руку и улыбнулась.

— Я и тебя всего наскрозь вижу, Федяша. Ты вот читать умеешь: у тебя — тоже дар. Передай мне этот свой дар-то: я сразу всё пойму.

Я вскочил с её нар и с радостью крикнул ей:

— Сейчас я тебе «Руслана и Людмилу» прочитаю...

Она даже ахнула от изумления и восторга:

— А, батюшки! Словечки-то какие! Руслан... Людмила... Как песня хорошая!..

И я, волнуясь, звонко прочитал ей весь пролог наизусть:

У лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том...

Она слушала, вся прозрачно-восковая, и мне чудилось, что глаза её стали огромными. Она шептала, повторяя мои слова, и блаженно улыбалась. И когда я произнёс нараспев: «Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных...», Феклуша вскрикнула сквозь слёзы:

— Да ведь я там бывала, Федяшка! И всё знаю.. И всё до званья вижу... Это — про наши волны-то... Как складно говоришь ты! Как прекрасно!

Так каждый день я читал ей и «Руслана», и «Песню про купца Ка-

лашников», и стихи Кольцова. А когда принялся за «Робинзона» и прочёл ей несколько страниц, она слабо отмахнулась:

— Не надо про этого чуждого... И имя у него какое-то несуразное. Страсть не люблю я неудачных да неприкаянных. Ты бы мне песни этого Лексея прочитал.

Что печально глядишь?
 Что на сердце таишь?
 Не тоскуй, не горюй,
 Из очей слёз не лей...
 Мне не надобно их,
 Мне не нужно тоски...

— Я ведь памятливая — всё в уме держу. Плохое как лист с дерева падает, а хорошее — тёплое гнездышко вьёт. Вот учи меня азбучке. Неожиданно дотронулась она тоненьким пальчиком до моих век и заботливо, как взрослая женщина, посоветовала:

— Ты, Федяша, глазки-то свои береги. Ослепнешь — и потухнет божий свет. А какое житьё без божьего света? Без солнышка и травка не растёт.

Я вспомнил о Луконе-слепом и возразил ей:

— А у нас в деревне парень есть слепой. Он лучше меня всё знает и чувствует. Даже какая птичка летит — угадает. Я забыл, говорит, какой свет-то, а всё мне открыто.

— Нет, Федяшка, когда, бывало, мне в жмурках глаза закрывали, я сейчас же платок срывала: с ума сходила, словно казнили меня. Оно ведь и печка греет, а от неё угар бывает. Только от солнышка радуга, летом — зелень, цветочки, небеса, а зимой — снег белый кипень и лёд голубой. А песни-то какие хорошие: «Не белы-то снега выпадали...», а то «Я по травке шла, я венок плела...». Да мало ли таких песен-то!.. Береги, Федя, глазки свои пуще всего. Пески здесь злые: они глаза выедают. Ты лучше к тятяше работать иди — в кузницу: там у него целый день огонёк играет. На меха становись. Я ведь тоже ему помогала на мехах-то.

Так я проводил время с Феклушей до тех пор, пока у меня перестали гноиться и слезиться глаза и сошла опухоль с век. Тётя Мотя заставляла меня промывать их солёной водой.

За эти дни я свыкся с Феклушей и привязался к ней, как к родной. Я тоже, вероятно, пришёлся ей по душе. Она уже не молчала и не лежала пластом на своём тряпье. Её слабенький голосок всё время лепетал радостно или раздумчиво, и мне было приятно слушать её воркованье, словно она размышляла вслух. Она говорила обо всём, что приходило ей в голову, но рассуждала, как зрелая, много испытывавшая на своём маленьком веку женщина. Может быть, эта постоянная неподвижность заставляла её задумываться и создавать сказочную жизнь, а может быть, и тётя Мотя внушала ей недетские мысли — только она не похожа была на девочку её возраста. Она не играла в куклы, и не было у неё никаких безделушек, которыми бы она развлекалась. А когда я спросил её, почему у неё нет каких-нибудь игрушек, она обидчиво ответила, сдвинув бровки:

— Чай, я не маленькая. Не о куколках да игрушках думаю я, Федяша, а о том, как бы оклемаются. Оклемаюсь, окрепну малость, стану на ноги, выйду сама на волю, на наш двор соляной, подойду к девчатам и мельницу покручу. Я всегда себя на соляной мельнице испытывала. Покручу, покручу — выдюжу, ну и спокойна сердцем-то: так и знаю, что у тятяши на мехах весь день продежурю.

Она приглаживала свои волосы цвета соломы, щупала короткую косичку — туго ли заплела её — и мечтала, всматриваясь в доски верхних нар сияющими глазами.

— А оклемаюсь я беспрёменно, Федяшка. Я ведь здоровая, ничего у меня не болит, только грудка, как стёклышко, да ножки, как верёвочки. И сердце стучит, как ручничок о наковальню.

Она взяла мою руку и умоляюще сказала:

— Сделай милость, Федя! Пойди ты к тятяше в кузницу и скажи ему, не бойся: дядя, мол, Игнат, поставь меня на меха, я, мол, за Феклушку тебе порботаю, покамест она оклемается. — Она поискала что-то под одеялкой и с лукавой искоркой в глазах прошептала: — Гляди-ка, чего я делаю-то... Я ведь без работы и дня не проживу. Ты не думай, я рукодельничаю от скуки, чтобы время убить. От скуки работа пустая. А мне страсть охота чего-нибудь делать полезительное. Вот я и рукодельничаю. Придёт мамынька, я ей и отдам — может, и обрадуется. Сама ей на руки надену.

Она вынула длинные варежки из старой мешковины, пропитанные рыбьим жиром. На одном конце они были широкие, на другом — узкие с двумя дырками: одна, побольше, для кисти, другая, сбоку, маленькая, для большого пальца.

— Видишь, какая я ловкая да дошла! Вот наденет мамынька эти рукавички — одни пальцы будут голенькие, а руки-то будут спрятаны, и ни молоки, ни грязь не прссочится: я их жиром протравила — Матрёшу упростила из жиротопни в черепочке принести. Увидят наши резалки эти рукавички у мамыньки, ахнут, диву дадутся и сами себе сошьют. И чего они сами не додумались до этого — ума не приложу.

— Да им и думать-то неколи, — возразил я. — Они от темна до темна на плоту, а придут в казарму — с ног валяются. Вот ты и обшила бы их. Только эти рукавички-то смердят больно.

Она грустно вздохнула, но на моё возражение не обиделась.

— Я уже думала, да силушки нет: и руки дрожат, и в головке всё вертится. Эти рукавички я долго кроила да шила. На полнитки в день меня только хватало.

Она закрыла глаза и утомлённо замолчала.

Меня подхватила рука тётки Моти и отвела от нар Феклушки.

— Иди-ка к себе, грамотей! Совсем замаялась девчонка-то: видишь, лежит, как на исходе души.

Гордей сидел на краю нар. Нога у него разбухла и обуглилась. А Галя крикнула мне болезненным, но требовательным голосом:

— Ко мне иди, чумак! Совсем меня забыл. А я тоскую. Ведь нас с тобой недоля связала одной верёвочкой. Шагай сюда, наездник, и мне читай свои стихиры! Я — ревнивая.

Галя мне нравилась и своим курносым лицом, и лукавыми большими глазами, и постоянным небоязливым задором, но особенно своей тёплой и ласковой внимательностью ко мне. Хотя она и не нежничала и не привечала меня, как малыша, но в её милых глазах и мимолётном улыбающемся взгляде я видел добрые искорки. Она не стонала, не металась от боли в руках, только над переносьем прорезались глубокие морщинки. Завязанные руки она носила, вытянув вперёд, и крепко прижимала к себе локти. Несколько раз на дню она мыла их горячей водой с мылом и не звала на помощь тётю Мотию: она не хотела показать себя слабой и несчастной. Только однажды, когда я подошёл к ней, она сначала испугала меня яростным взглядом, а потом сразу же улыбнулась и приказала:

— Бери ковшик и лей мне на руки! Мы с тобой друзья не по неволе, а по сердцу.

И я ухаживал за нею старательно, счастливый её вниманием. Она намазывала распухшие кисти рук рыбьим жиром, и я завязывал и ту и другую руку чистыми тряпицами.

— Вот как, чумак, работают за двугривенный в день! А сейчас эти двугривенные подрядчица высчитывает и с меня, и с Гордея. Не болей! Болезнь в контракт не входит.

Она пошла к своим нарам, как здоровая — плывущим шагом, с сердитой независимостью. Длинная золотая коса её сползла с головы: поправить её больными руками она не могла. На ходу она с участливой насмешкой предупредила Гордея:

— Не торопись, мужик, ногу терять — пригодится.

Гордей пробормотал что-то невнятное и вдруг злобно прохрипел:

— Матрёна, давай горячих углей!..

Тётя Мотя в ужасе всплеснула голыми руками.

— Да ты чего это, Гордей, с ума сходишь? Аль умирать торопишься? Антонов огонь наживёшь.

— Давай, давай! Угли-то болезнь выжгут.

Я остался перед ним, ошеломлённый его страшными словами. Никогда я не слышал, чтобы люди лечились горячими углями. Знал я, что в деревне лечили простудных больных в бане, в жгучем пару, хлестали их вениками до обморока, а после веников смазывали тело крепкой водкой. От этого снадобья кожа сдиралась лоскутками. Знал, что больных животом поили керосином, а чахлах заставляли пить настой из чёрных тараканов. Но жарить живое мясо — это было для меня чем-то невероятным и потрясающим. Я верил насмешливой поговорке: «что русскому — здорово, то немцу — смерть», зная выносливость нашего человека. И всё же Гордей поразил меня спокойной своей настойчивостью: он был убеждён, что раскалённые угли — целительное средство для его раны. Это было видно по его глазам: они горели у него под надвинутыми бровями пронзительным огоньком и жёсткой волей. Перечить ему в эту минуту было нельзя, и тётя Мотя подчинилась ему с сокрушённой покорностью. Она поднесла ему на заслоне кучку красных камышевых углей, горящих синеньким огоньком, но не вытерпела и отвернулась. А Гордей схватил щепотью половину углей и высыпал их на свою рану да ещё придавил и подул на них, чтобы ярче горели. У него затряслась борода, и лицо исказилось от боли, но он молча уставился выпученными глазами на угли и, захлёбываясь, дул на них.

— Давай ещё!.. — яростно прохрипел он. — Свежих давай!.. Чего ты мне золу суёшь?

Нога Гордея судорожно задрожала, а он держал её обеими руками.

Тётя Мотя с ужасом в лице всхлипнула и с натужной торопливостью зашаркала валенками к плите.

— Ну тебя к лешему, безумный!.. — в отчаянии простонала она. — Мочи нет... Душа закатилась...

— Парнишка! — зарычал он на меня. — Шагай сюда! Привыкай! Не то ещё с человеком бывает. Бери вот тряпицу, завязывай! Не дрожи — не на морозе.

Я не помню, как я схватил тряпку, как закрутил ему коленку.

Феклушка лежала неподвижно и молча: должно быть, спала, а Галья, бледная, с изумлением глядела на Гордея.

— Ну и мужик! Для такого характера и сатана не пугало.

Гордей ничего не ответил, а полез на свои нары и распластался на ружьяди. Нога его судорожно подпрыгивала и толстая пятка ползала по дерюге, сбивая её в комок.

20

Осень пришла с бурями и холодами, с волчьим воем и свинцовыми туманами — дикая, чужая осень. Небо было низкое, лохматое, и тучи взбалмошно неслись куда-то вдоль берега и в пески или из-за песков к далёкой полосе моря. В мутном воздухе вихрями летала сухая рыба чешуя, тускло поблёскивая перламутром. И днём и ночью на зубах хрустел песок. А когда ветры утихали и наступала глухая тишина, с моря необъятной махиной наплывал туман, и в нём исчезали и постройки, и люди, и трудовое движение. Мир растворялся в этой седой пучине, и я был одинок в ней, ощущал только себя.

Я уже недели две работал в кузнице на мехах и успел закоптить и насквозь пропахнуть дымом и железной окалиной. Меня и пугала возня в кузнице, и приводил в ужас своей помрачительной бранью большой кузнец, и тянула к себе дымная тьма с лиловой игрой огня в горне, с ослепительными брызгами искр, которые летели лучистыми звёздами из-под звонких ударов молотка.

Вышло так, как советовала мне Феклушка: я робко подошёл к двери кузницы, но в дымной тьме сначала заметил только кучку красных углей да две тени, которые вцепились в длинную железную полосу и, казалось, вырывали её друг у друга. Добродушный бас кузнеца ругался и деловито приказывал:

— Бей по самой маковке! Не с плеча, а с подъёма. Рукам воли не давай, а держи их в узде, как необъезженных коней. Руки, брат, озорничать любят, ну, а когда их приноровишь к ремеслу, они чёрта в человека перекуют.

Против него за наковальной стоял, тоже в кожаном фартуке, тот самый парень, который был в лодке вместе с Матвеем Егорычем.

Он сразу узнал меня и весело удивился:

— Ого, удалой моряк явился!

А кузнец с неожиданной приветливостью сказал:

— Вот это к добру: грамотей на подмогу пришёл. Феклушка хлопотала за тебя: он меня, говорит, заместит... работник!

Мне было приятно, что эти занятые люди встретили меня так ласково и душевно. Не кузнец, а этот светлолобый парень взбодрил меня: словно я с ним дружил когда-то, а теперь встретился, как с близким человеком. Я вошёл в чёрный сарай с ворохами железа на полу, с кучей разных клещей у чурбака с носатой наковальной и, чтобы доказать, что я пришёл не попусту, а по делу, смело похвалился:

— А я, дядя Игнат, умею на мехах-то стоять: ещё в деревне в кузнице помогал.

— Охотник на приключения... — засмеялся парень. — Только гляди: тут не до игры.

— Я ведь тоже не играть пришёл, а работать, — обиделся я. — Ещё жалованье мне похлопочете, ежели работа моя вам покажется.

Тут уж захохотал и кузнец, а парень завыл от удовольствия и задрал картуз на затылок. Его рот широко открылся и обнажил крупные зубы. Серые глаза его совсем опьянели от весёлого любопытства.

Но кузнец строго приказал мне:

— Валяй! Становись к мехах! Книжник ты известный, а какой мещухов — сейчас погляжу. К людям я такой: для меня ты дорог не тем, на что похож, а тем, на что гоже. А гожему человеку цены нет.

Моя Феклушка никогда пустого слова не скажет, а вот и ей не поверю насчёт тебя, грамотей. Почую в тебе охоту к делу — на плечах понесу перед честным народом. Только ведь меходув-то у меня есть — вот он стоит: он и молотобоец, и меходув.

Парень всё ещё улыбался во весь рот и подмигивал мне. Он снял с плеча огромный молот на длинной ручке и без усилий протянул его ко мне.

— Ну-ка, подружись с этой кувалдой. Поднимешь, положишь на наковальню — вот тогда и я скажу, какой ты парень стойкий да бойкий.

Я видел, что парню охота поозоровать со мною, что ему хочется похохотать над моим мальчишечьим слабосильем. Мне было уже давно известно, что взрослым доставляет большое удовольствие стравить на драку ребятшек. И чаще всего это было не от зла, не от чёрного сердца, а от доброты души, от весёлого нрава, от неумения подойти к подростку. Обычно в эти минуты я настораживался, чувствуя опасность в шутках взрослых, и всегда был готов к самозащите, но вдруг распался гневом и бурно лез на рожон. Тут было и оскорблённое самолюбие, и униженная гордость, и инстинктивное желание дать сдачи обидчику. Так и в этот раз я потерял самообладание и взъярился:

— Ты меня не дразни, я не собачонка. С кувалдой-то и дурак сладит, а ума не даст ему и кума.

Парень залился хохотом, он стонал и смотрел на меня сквозь слёзы. А кузнец утрюмо усмехался в бороду, зелёные глаза его поспешили и стали прозрачными.

— Ловко отковал подкову! — одобрил он, внимательно пронизывая меня глазами. — Это тебе в зачёт, ежели в обиду себя не даёшь. А вот перед молотобойцем-то Степаном ты — ещё огрызок, и лягаться стригунку не подстать. Как же мне с тобой компанью вести?

А Степан всё ещё смеялся и вытирал рукою слёзы.

— Ничего, дядя Игнат!.. Это парень нашенский: с приключениями парнишка.

Хотя я и чувствовал себя жутковато около этих прокопчённых людей, но не хотел показать, что струсил перед ними: я с деловитой серьёзностью прошёл в тёмный угол к мехам, и попробовал, смогу ли поднять тяжёлые крышки, смогу ли давить на них и давать непрерывную струю воздуха в горн, не надорвусь ли в первые минуты работы?

Мне очень хотелось, чтобы кузнец был доволен мной, чтобы Степан удивился моему уменью обращаться с мехами, чтобы ко мне отнеслись они, как к настоящему работнику, и поняли, что я пришёл в кузницу не из праздного любопытства. Водиться мне не с кем было: Гаврюшка исчез бесследно, парнишки моего возраста жили в посёлке, но этот народ был чужой, неизвестный, опасный. Я издали видел, как шайки малолетков бродили по улице, бросались комками земли и преследовали друг друга. Книжек у меня не было, а своего «Руслана» и «Робинзона» я знал наизусть. Мой топорик ненужно лежал под подушкой, и я не знал, что с ним делать. Перед тем как пойти в кузницу, я приспособился точить на точиле около плота ножи для резалок и карсаков. Но это занятие не увлекло меня: скучно было стоять перед точилом, и я мёрз на холодном ветру или в промозглом тумане. Мне нужна была работа постоянная, как долг, как радость, чтобы ощущать, что я здоров, что сердце бьётся у меня бойко и весело. Попросту говоря, мне ненасытно хотелось жить.

Меха оказались лёгкими, и хоть мне приходилось подпрыгивать, чтобы вскинуть крышки вверх, но от этого я чувствовал удовольствие.

А для того, чтобы дать сильную струю воздуха, я повисал то на одной, то на другой руке.

— Так, так! Ладно! — одобрительно бормотал кузнец. — Да он, выходит, умелый меходув.

— С приключениями парень! — согласился Степан. Это присловье у него, должно быть, означало высшую похвалу. — Одно плохо — ростом опоздал: прыгает блошкой перед гармошкой.

Он подхватил старый ящик, который стоял у стены, и положил его передо мною.

— Раз, два — и вырос! Сразу стал на ноги.

С этого дня я начал работать в кузнице. Вечерами затемно вместе с другими и по звонку возвращался в казарму. Там было темно, запылённое, покрытое ржавой пылью, уставший, с ладонями в руках и пояснице. Мать встречала меня с горестным лицом, в глазах которого был страх, и мне казалось, что она готова заплакать. И в первый раз взмахивала руками, словно хотела подхватить меня, унести свой уголок.

— Да кто это тебя в такую кабалу поддёрывает? Ни мне, ни себе никакой спор. Для кого это ты нарываешься? Спокойно от тебя не знаю — всё время сердце ноет. Простудишь и сломишься — и захвораешь.

Но я резонно доказывал ей:

— А ежели ты захвораешь, кто тогда работать будет? Чай, с голоду-то умирать не охота. Дядя Игнат мне жалованье выхлопочет.

Но она ещё больше тревожилась от моих возражений и однажды отважилась упрекнуть кузнеца.

— Не заманивай ты, Игнатий, парнишку-то. Сгубишь его у меня, как свою девчонку...

Кузнец добродушно ухмыльнулся и ответил не ей, а мне:

— А ты, Фёдор, скажи матери-то, какой ветерок занёс тебя ко мне на порог.

Мне было стыдно и перед кузнецом, и перед резалками, которые сидели вокруг стола и ужинали, а особенно перед Прасковеей, что мать, как клушка, заслонила меня от кузнеца, словно цыплёнка. Но ни Прасковее, ни женщины даже не взглянули на нас. Только кузнечиха огрызнулась, звякая чашками и кружками в своём кутке:

— Спрячь его к себе подмышку и не суйся в чужой куры! Бездомный кутёнок сам лезет в первую подворотню. Этакое шатуна давно бы в люди надо отдать, а он у тебя без дела болтается.

Но мать неожиданно вскипела и, с враждебным блеском в глазах, вызывающе вскинула голову.

— Я и без тебя знаю, что делать со своим дитём. Не учи, ежели своего робёнка уморила.

Кузнец смотрел на мать с добродушной ухмылкой: ему, должно быть, казалась потешной её горячность. Он лениво прикрикнул на жену:

— Не твоё дело! Застынь!

Феклушка поднялась на локте и тоненьким голоском, по-бабьи, пропела:

— Это я, тётя Nastя, упростила Федяшку к тятяше на меха пойти. Мне-то сейчас мочи нет, а он здоровенький. «Гюди, говорю, Федяша, в кузницу — встань заместо меня...».

И этот её милый голосок словно поразил всех: в казарме стало вдруг тихо, а женщины с изумлением повернулись к Феклушке. Что-то трепетное и неуловимо хорошее пролетело по казарме и ласково дотронулось до сердца каждого. И мне показалось, что кто-то даже

вздыхнул облегчённо. Мать встала на месте и с дрожащей улыбкой смотрела на девочку.

Я не утерпел и крикнул:

— Я и без Феклушки пошёл бы. Она только поторопила меня. А чтобы я не боялся дяди Игната, хвалила его. У тятяши, говорит, душа всех краше.

Меня оглушил общий хохот. Сначала я не понял, почему люди уставились на меня и трясись от смеха, потом обиделся и надулся. Я хотел показать себя занецу, амосильным работником, человеком, который с радостью берётся за любое дело и всегда готов броситься на помощь не только молодой Феклушке, но и взрослым, как Галя, а меня вдруг ошарашил хохотом. Что же потешного в том, что я хоть и отрок, как меня с детства называла Раиса, но смело стараюсь защищать своё достоинство. А маленьким своим умишком я понимал, что люди привыкли жить по какому-то общепринятому укладу, который принуждает каждого быть покорным, незаметным, применяться друг к другу, но держаться в своём яком, ютиться в своём оглу и не высываться оттуда из опьянения. Как бы не подняли на смех да как бы не ударили по башке. И тем словом, жили впритирку, заподлицо, как говорят плотники. И этот уклад создавался сам собою, ватажным духом, и был нерушим. И только Прасковее с Гришей, да Оксана с Галей — городские люди — тревожили всех своей смелостью и непокорливостью.

Несмотря на то, что работали от темна до темна, все, как и раньше, пели песни на плоту и так же, как и в прошлые дни, с плота уходили густой толпой с пляской, словно срывались с цепи. И на плоту, и в мастерских, и в казарме жил свой ватажный, беспокойный, самоуправный дух, который похож был на вольность. Мне нравилась эта разбитная артельная жизнь; каждый из этой сотни людей был сам по себе — вёл себя по своему нраву: одни — смиренно, безгласно, другие — разудало, озорно, третьи — степенно и расчётливо, с трезвой раздумчивостью. А такие, как мать с Марийкой, — мечтательно ждали каких-то необыкновенных событий и праздничных дней. Они льнули к Прасковее и к Грише-бондарю, всегда весёлому, уверенному в себе человеку, который знал какую-то недоступную всем правду. Мне казалось, что он весь светился свойственной ему душевной красотой. И несмотря на то, что все надрывались на работе и ели отвратительную болтушку и сырой горький хлеб, а в конце месяца многие не получали ни копейки на руки, — никто не унывал и не жаловался. А в те дни, когда было невмоготу и у людей не было гроша за душой, бунтовали, ругались и грозили разнести в щепки контору, вывезти на тачке управляющего, подрядчицу, плотового. Но от этих угроз только мстительно веселели. Может быть, потому, что я был ещё мал годами и бурно рос, здоровый и закалённый первобытной сельской жизнью, я чувствовал в этой артельной тесноте огромную семью, где нет ни лохматого деда, ни домостроя, а люди живут как-то свободно, по своему ватажному, негласному уговору: пусть на нарах в бараках — свалка, а в казарме — толчея, но каждый живёт, как ему хочется, а в галдеже, в тесноте я постоянно ощущал что-то вроде бесшабашной жизнеудовлетворённости. И ни смерть Малашки, ни болезнь Гордея и Гали, с которых подрядчица делала вычеты за невыход на работу, не нарушали этого вольного духа и молодой беззаботности. Смех, шутки, громкие разговоры, песни не утихали даже ночью, после работы.

В эти дни я нечаянно встретил Гаврюшку. Кузнец послал меня на соседний промысел в кузницу, к своему дружку Тарасу — с напильником, который он сделал сам.

До соседней кузницы было недалеко. Она задней дощатой стеной выходила на улицу. Кузнец несколько раз посылал меня туда с запяточками. С этим своим приятелем у нас были какие-то странные отношения: мне казалось, что оба они не видят друг друга, но дружбу порвать не могут. Тарас был щупленький, нервный парень с жиденькими усами и бритым подбородком, сутулый, и казался очень недобрым. Только чёрные глаза всегда лихорадочно блестели. Встречал он меня тоже неприветливо, как подручного своего врага, но обязательно срывал с моей головы картуз, ворошил мои кудри и неласково говорил в нос:

— Ну, опять припрыгал? Надоел ты мне, моя совесть. Только кудри твои и спасают тебя. Рвать их жаль. Ну-с, так что пицет твой верблюд?

И он нетерпеливо прощупывал карандаш строчки на грязной бумажке, и глаза его наливались смешливой злобой, а лицо искажалось самолюбивой обидой.

— Хо, норовит переплюнуть меня... Ах, верблюд, верблюд! Да таких рук, как у меня, сроду нигде не найти. На рашпиле он срезался: закалку не разгадал, и у него получилась лутюшка. А ещё грозитя поразить меня тонкой насечкой... Эту тонкую насечку надо уметь сделать, как на хрустале. Ежели мои руки не добили этого скорописного письма на стали, так с его верблюжьими копытами и думать нечего. Погоди, друг, я тебя руки грызть заставлю!

Он мусолил маленький карандашик и малограмотно царапал им на той же бумажке несколько слов с ядовитой злинкой в лице.

— На, кудряш, верблюжий паж, неси ему этот гостинец! Только не слушай, как он будет лаяться.

Он глядел на меня с насмешливым презрением, но худая рука его, покрытая окалиной, мягко подталкивала меня в спину.

— Ну, валяй, курносый, да скажи своему верблуду, что он тогда со мной сравняется, когда призадумается.

А Игнат прочитывал ответ и хохотал, сдвигая шапку на затылок, потом на лоб.

Но каждое воскресенье они обязательно встречались и уходили куда-то вместе, как душевные друзья.

И вот с маленьким напильником, голубым от закалки, с мельчайшими насечками, я шёл к сопернику моего кузнеца, чтобы поразить его чудом тончайшей работы.

Перекладывая с ладони на ладонь этот трёхгранный шершавый напильник, я только в эти минуты понял, почему Игнат каждый день старательно тюкал молотком у тисков, несколько раз свирепу вырывал из зажимов железку и, ругаясь, бросал на пол.

Гаврюшка бежал по песчаной улице с книжками в ремешках, одетый хорошо — в серое суконное пальто и брючки навывпуск. На коротко стриженную голову аккуратно надет был картузик. Лицо его похудо ещё больше. Он сначала не узнал меня, чумазого, закопчённого, в грязном фартучке, которым я очень гордился: в нём я чувствовал себя настоящим работником.

В порыве радости я забыл о своей важности и бросился к нему навстречу. Вероятно, он испугался, когда увидел, что на него несётся такое страшилище, как я. Он остановился и угрожающе вскинул руку с книжками. Глаза у него стали пронзительными, а лицо поблед-

нело. Он не струсил: должно быть, привык ко всяким неожиданностям по дороге из школы. Но когда я дикующе крикнул: «Гаврюшка! Это — я...», он вспыхнул и покраснел. Я видел, что он тоже хотел рвануться ко мне навстречу, но что-то удержало его. Он только ошарашенно смотрел на моё лицо и фартук.

— Вот так да! Не думал, не гадал... А ты как чёрт из жиротопни на меня налетел. Кто из тебя домело сделал?

И он засмеялся успокаиваясь. Но я не понял — не то ему была приятна встреча со мною, не то весело стало оттого, что всё обошлось благополучно. А я был счастлив, что так внезапно столкнулся с ним: ведь он был мой друг, которого я потерял с первого же дня нашего необыкновенного свидания.

— Где ты пропадал, моряк? — с обидой напал я на него, задыхаясь от волнения. — Я искал тебя, искал... А ты словно сквозь землю провалился. Раз так товарищи водятся?

Но он вместо ответа пять засмеялся, обдумывая что-то.

— А у меня каж, день — приключения. Не успеешь продрать глаза, сейчас же приключения. Даже дома, когда меня мамаша заперти держала, и то было приключений не обходилось. Папаша уехал на Эмбу, а мамаша в школу меня не пускала и велела из дому не выходить. К дедушке, говорит, поедешь — у него жить будешь: он из тебя человека сделает, и наследником его будешь. А с отцом больше не увидишься. Ну, я с ней заскандалил. В жизнь, говорю, папаша не променяю на твоего дедушку. Я не вобла: с багорчиком ко мне не подступишься. Ох, и война была! Она на меня с ремённым поясом, а я, как кубарь, — в разные стороны. Села она на пол и давай реветь. С неделю она так меня терзала. Дело, думаю, швах. Она уже мне чемодан приготовила и в Гурьев кибитку наняла. А ночью я вылез в окно — и шасть бегом на Эмбу, к папаше. Трое суток по промыслам шатался, насилу нашёл. Ну, а теперь мы с ним не разлучаемся. Только нынче он запил, горе моё. Видишь, опять в школу хожу. А сейчас опять приключение — тебя, такого чёрта чумазого, встретил. Хочешь, пойдём пешком на баржу? Одному мне не справиться: вдвоём приключения интереснее.

Я с достоинством возразил:

— Мне сейчас неколи: я в кузнице подручным работаю. На мехах стою. А сейчас вот на другой промысел иду, к кузнецу. Мой-то с ним хоть и дружит, а в драке: кто лучше на подпилке насечку даст. Вот и несу подпилочек-то, чтобы досадить ему. Ежели на баржу пойти, так в воскресенье только.

Он с завистью оглядел меня с головы до ног и грустно протянул:

— С тобой сейчас каши не сварить. Рабочим стал. Значит, и деньги свои зарабатываешь?

Это было у меня больное место: где бы я ни работал, нигде я не получал ни копейки за свои труды. Чтобы не испытывать свою гордость, я промолчал и вцепился в его книжки.

Он с пренебрежением протянул мне учебники в ремешках и брезгливо буркнул:

— Дрянь: задачник, грамматика, хрестоматия... Я сам бы с охотой работал, да папаша советует учиться. Без учёня, говорит, сейчас человеку ходу нет. Без учёня человеку затмение: он слепой. Жизнь, говорит, это сплошные задачи, потруднее, чем твоя арифметика. А в приключениях без географии да без разных наук не обойдёшься, как в море без компаса. Моряк должен знать ещё и звёзды. Он, папаша-то, всегда правду говорит. Только в нашей школе одна противная че-

луха: из двух бассейнов идёт вода... какой бассейн опростается скорее?.. А на какой чёрт мне этот бассейн? Эта вода? Да из бассейна никогда вода не выльется. В Астрахани из бассейнов воду водовозы берут из года в год. Я учителю сказал, а он в угол меня поставил.

— А я бы сейчас же в школу пошёл, — позавидовал я ему. — И учился бы гоже.

— Гоже... Там, брат, учитель-то с линейкой по рукам хлещут. Мне не один раз доставалось. И ребята сволочи: всё сынки управляющих да торгашей. Папаша пьёт, а ребята со мной садиться за одну скамейку не хотят: от тебя, говорят, сильный воняет. Набил я одному морду, а он учителю наобедничал, и меня на час в угол на колени поставили. А за папашу я жизни не пожалею. Лучше его никого на свете нет.

Я даже припрыгнул от внезапной мысли, которая потрясла меня своей простотой и силой.

— Вот что, Гаврюшка, давай с тобой на крепость станемся.

— Какая ещё крепость? — удивился он. — Мы и так давно станулись.

— Нет, нам другое согласие нужно: ты меня рифметике-грамматике учи, а я с тобой на всякие приключения пойду.

— А драться с моими врагами пойдёшь?

— Чай, при согласье-то. — заодно. Я и в деревне на кулачках дрался, с кем хошь поспорю.

— Идёт! По рукам!

Гаврюшка загорелся и будто сразу вырос и похорошел.

— Значит, дружба заодно на всю жизнь?

— До смерти!

Мы крепко сжимали друг другу руки и не хотели разрывать их. Я с горячим сердцем выражал свою верность ему, любя его до слёз. В его взволнованном лице я тоже видел преданную дружбу. И не я, а он воодушевлённо предложил:

— Давай сейчас же кровью нашу дружбу свяжем и будем кровные братья.

— А где взять кровь-то?

— Да проще не надо. — Он выхватил из кармана штанишек перочинный ножик и с треском открыл блестящее лезвие. — Вот. Друг у друга выпустим кровь на ладони и сразу же соединим руки: наша кровь и сольётся.

Я первый доверчиво протянул ему грязную руку и даже поднял рукав.

— Секи! Ножик-то в руке у тебя — сам просится...

Но он смущённо улыбнулся и, боязливо озираясь, жалобно вздохнул.

— Ну, хорошо...

Рука его с ножиком дрожала, а лицо пожелтело и страдальчески сморщилось. Веснушки были похожи на слёзы.

— Струсил ты, что ли? — беспощадно упрекнул я его, но он не возмущился, а тихо, с болью пробормотал:

— Жалко. Рука не поднимается.

— Эх, ты... а ещё драться норовишь с врагами. Секи, тебе говорят! Вот в самую серединку секи!

Подчиняясь моему крику, он с отчаянием приложил кончик ножа к моей ладони и крепко сощурился. Чтобы помочь ему, я другой рукой слегка ударил по его руке. Острая боль пронзила мою руку, но

я мужественно перенёс её и виду не показал, что мне больно. Я выхватил у него ножик и ткнул его ладонь. Он не вскрикнул и не пошевельнулся, и это мне понравилось. На наших ладонях выступила кровь. У него надувалась густая капля, а у меня по грязной ладони кровь стекла струйкой.

— И тебе не больно? — с участием спросил он.

— Чай, я не ребёнок, — достоинством ответил я. — Да хоть бы и больно было — мы терпеть должны: это ведь кровное дело, верность на всю жизнь.

Мы крепко прилепили наши ладони и три раза сдавили их пальцами.

— Клянёмся? — крикнул он с одушевлением.

— Клянёмся! — ответил я с убеждением.

— Обещаемся?

— Обещаемся.

— Оба, как один?

— Оба, как один.

Должно быть, у нас обоих горели глаза. Я никогда ещё не переживал таких глубоких душевных порывов, как в эти минуты. Мы оба вдруг почувствовали, что стали сильными, большими, что мы связаны любовью и преданностью друг другу навсегда. В тот момент я готов был без колебаний пойти с Гаврюшкой куда угодно, даже к его злобещей матери, и грудью выступить перед нею в его защиту. Его враги — сынишки здешних господ и богатеев — совсем не беспокоили меня: они были где-то далеко и казались мне похожими на наших деревенских барчат и на изнеженных парнишек на волжском пароходе. В них много гонора, но они трусы. Сейчас я переживал огромную победу. Я не один, у меня есть верный и испытанный товарищ, с которым мы теперь спаяны кровью и который не боится никаких приключений: ведь он смело убежал ночью из дома и один блуждал в песках, по ерикам, разыскивая отца.

Наши ладони были в крови. Ранка у меня была глубокой, потому кровь струилась из неё густо и капала на песок. Хотя мне было больно, но я сдерживал её с руки небрежно и старался не обращать на неё внимания. Я досадливо схватил горсть песка, чтобы закупорить ранку, и деловито натянул картуз на глаза.

— Ну, мне надо по делам, — вспомнил я о своём поручении. — До вечера-то ещё далеко: мне на мехах стоять да стоять...

— А кто тебя неволит? — недовольно возразил Гаврюшка. — Сам лезешь в эту кабалу.

— Без работы нашему брату нельзя, — убеждённо отразил я его упрёк. — Mamka одна работает, а я не хочу сидеть на её шее.

— Да ведь ты даром работаешь: тебе даже и хлеба не дают.

— Кузнец сулил похлопотать.

— погоди: мы же поклялись друг за друга стоять. Я сегодня же папаше скажу. Добьюсь, чтобы тебе платили.

Мы уговорились встретиться в первое же воскресенье и пойти по поселю на неизбежные приключения. Гаврюшка был уверен, что без драки не обойдётся, и потребовал, чтобы я приготовился. Нам очень трудно было расставаться: мы расходились и опять возвращались друг к другу, но почему-то конфузились и опять расходились.

Как обычно, Тарас встретил меня с недружелюбной насмешкой в лихорадочных глазах. Он ковал раскалённую полосу с ядовитой злостью, словно вымещал кому-то за свою чёрную работу. Я остановился по другую сторону наковальни с напильником в руке, но он

сделал вид, что забыл обо мне. Когда он в горне свою поковку и стал дёргать за двигало меха, я положил напильник на угол к дутью. Работал только один мех движение нижняя, опрокинутая часть, на шой мех. Я быстро отцепил верёвку и стал Горн зашумел, завыл, а я, подпрыгивая, подбрасывать доски мехов. Мне было приятно смешно, что я так смело и незаметно овладел мехами и неожиданно поразил Тараса сильной струёй воздуха в горне. Он отпрыгнул от горна и сердито отшвырнул верёвку в сторону.

— Эй ты, наездник без коня! Аршин с кукишем! Кто тебе позволил самоуправничать? Аль без тебя не справятся с рабстой? — Но грозный его окрик вдруг рассыпался смехом. — Ну и башка! Здорово подсёк! Оно и верно: руки надо себе отрубить за такой срам. Я — мастер, рукоделец, часы могу сковать на наковальне, а меня в норку загнали и петлю из гнилой верёвочки повесили. В люди зазорно показаться. А я в порту работал в Астрахани — на тонком уменье. Сбегу отсюда: нет мне здесь ходу, размахнуться негде, как удавленнику. К верёвочке прицепили, верёвочкой играть заставили... Твой кузнец — верблюд: он ничего не чувствует, а только ругается и хохочет. Башка у него дельная и руки радостные, досужие. А верблюд. У него сердце не болит, душа не тоскует, мозги не кипят. А тут в башку лезет всякая дума... Я бы дерево выковал этими руками, птиц бы разных из горна выпустил, сказки бы своими руками рассказывал. А тут... — Он злобно сорвал верёвку с коромысла и бросил её в огонь. — А тут — гнилая верёвочка!

И вдруг, поражённый впился глазами в напильник.

— Это ты подбросил, чертёнок малосольный? Разве можно валить на наковальню всякое бросово? По затылку тебя ещё не колошматили за такие дела? Это ты у верблюда научился? Ты должен на лбу зарубить, что наковальня должна быть чистой, как зеркало. А ежели бы я сейчас по этой штуке молотком ударил? Ведь она, как стекло рассыпалась бы.

Он схватил напильник, поднёс близко к глазам и затрясся от молчаливого смеха. Внимательно рассматривая насечку напильника, он вертел его в быстрых пальцах, опять близко подносил к глазам, а потом задумчиво и медленно положил его на наковальню. Я не утерпел и съязвил из своего угла:

— А сам-то зачем кладёшь на наковальню?

Он опять схватил напильник и поманил меня пальцем.

— Шагай сюда, трус-воробей!

— Я не трус, — обиделся я и вышел из чёрного угла, заложив руки за нагрудник, как это делали и Гриша, и кузнец. Тарас глядел на меня со смехом в глазах и скалил белые зубы сквозь спутанные усы. Бритый его подбородок с яминкой упрямо выпирал вперёд, и от этого нижняя челюсть казалась большой и тяжёлой, а нос — коротким и приплюснутым.

— Ну, сказывай, пискун, зачем тебя послал ко мне твой верблюд?

— Чай, сам видишь — не слепой, — недружелюбно ответил я насупившись. Меня злила его насмешливая снисходительность, а прозвища, которыми он наделял меня, было больно и обидно слушать. Особенно неотразимо было это презрительное слово «пискун»: голосок у меня тогда был тоненький, звонкий, и совсем не годился для такого самосильного парня, как я. Слово «пискун», которое я услышал впервые от Тараса, и оскорбляло, и обезоруживало меня. Оскорбляло

меня и его пренебрежительное отношение к моему кузнецу. Игнат ни разу не говорил о нём плохо и считал его большим мастером: их неразрывная дружба была на виду у всех, а вот он, Тарас, издевался над Игнатом и называл его верблюдом. И мне было непонятно, как это можно дружить, а он охалить своего друга. Поэтому я распылился и самоотверженно впился за своего кузнеца.

— Дядя Игнат не хуже тебя, а может, и лучше. А ежели бы ты встал в ряды с ним, ты бы на дыбы встал.

Я ждал, что он рванётся ко мне и схватит за ухо, и приготовился отпрыгнуть от него. Но он равнодушно огрызнулся:

— Как, как? Тюлень, говоришь, усатый? Игнат — верблюд, а я, Тарас, — тюлень усатый. Каждый брат получил в аккурат. Это кто же тебя пестовал, визгуц, так со старшими лягаться?

Он вертел в руках бархатный напильник с тончайшими насечками и с завистливым восхищением изучал его со всех сторон — осторожно проводил по его граням ржавым пальцем, подходил к двери и рассматривал на свету, дул на него тихонько, с задумчивой чуткостью, проводил им по ногтю.

— Человек-то живым мясом родится, а делается трудом. И у обезьяны руки есть, да не две, а четыре, — ну, а толку от неё, опричь забавы, никакого. Мозги у неё до дела не доходчивы: пустяшного шильца не сделает. Значит, и разговору у неё нет. Кто же человека-то сделал да возвеличил? Пойми своей курчавой башкеркой: труд да догадливость. Заруби себе на носу, визгуц: труд да дошлый умишко — вот и человек. — Он подумал, почесал подбородок и опять впился глазами в напильник. — Эх, руки-то какие драгоценные! Какую, подлец, работу сделал! Ах верблюд долгоногий! Да ведь перед таким мастерством солнышко заплещет. Насечка-то какая — ведь только в увеличительное стекло разглядывать надо! Да ты понимаешь своим куриным мозгом, парнишка, что за человек твой верблюд? Искусник неисповедимый! У меня в душе сейчас звёзды сияют, а здесь — грязь да зола — назола!.. Больше не работаю. Довольно! Пойдём к твоему верблуду.

— А ежели тебя оштрафуют? — предупредил я его. — У нас подрядчица только и норовит, с кого бы штраф содрать.

Он сверкнул глазами и отмахнулся от меня.

— А шайтан с ним, со штрафом-то! Штраф — паршивая копейка, а я капитал в один миг нажил.

Он бережно положил напильник в карман и вышел из кузницы.

Закинув голову назад, он широко шагал по песчаной улице и бормотал сам с собою. Он забыл обо мне и, как видно, совсем не заметил каравана покорно-кротких верблюдов, которые тянули арбы на высоких колёсах.

Вдруг он остановился, поражённый какой-то мыслью, и затеребил реденькие усы.

— Дурак! Ошалел от простого рукоделья. Эх ты, Тарас-пустопляс! — Он швырнул картуз на затылок, и лицо его вдруг стало задорным. — Иди, кудряш, к своему верблуду и слово в слово передай: дядя, мол, Тарас сказал: долг платежом красен. Напильником его, мол, не поразить, это для верблюда — чудо, а для настоящего мастера и терем с резьбой — не диво.

И он торопливо пошагал обратно, взмахивая руками, и ссутулился ещё больше.

Игнат хохотал, слушая мой рассказ, крутил головой и подвывал:

— Уж он улестит! Уж он доканаёт! Он, горбатый чёрт, сейчас в

своей кузнице погром устроит. Досада ему, гурмом забу-
 шует. Редкий мастер, верно. С душой мас ковки делал в
 Астрахани! Не на заказ, не по указке, а и друзей, чтобы
 залюбовались... А вот здесь багры, подковы разные болты куёт.
 И даже подручного себе не умеет взять. Напилком напилком, а насеч-
 кой-то я его сразил... Любовался, говоришь? Страсть любит чистую
 работу! Тонкость, узор любит. И бесится, как в горячке: а я лучше
 сделаю! Такого бунтаря сроду не сыскать.

— С приключениями парень, — удивился Степан и некстати засме-
 ялся. — Должен при такой okazji запивать. Тоскливый человек.

В кузнице было навалено много железа: должно быть, без меня
 кузнецу поручили делать большую работу. Оба — и Игнат и Степан —
 подозрительно поглядывали на эту свалку ржавых полос, стержней,
 болванок и не решались приняться за дело.

Игнат спохватился и надвинул картуз на глаза.

— Ну-ка, ребята!.. К мехам, Федяшка! Готовь молот, Степан!

Я до изнеможения раздувал меха, Степан бухал молотом, а Игнат
 звенел своим ручником. Раскалённое железо брызгало с наковальни
 красными брызгами, и я, несмотря на усталость, чувствовал себя хо-
 рошо — бодро, взволнованно, весело.

31

Это солнечное, очень прозрачное, осеннее воскресенье навсегда
 осталось в моей памяти. Воздух был тёплый, мягкий, а небо синело
 ласково, глубоко, словно улыбалось задумчиво, и в этой синеве выссоко
 плыли белые нити паутин. Море сияло зеркальной полоской очень
 далеко, на горизонте, а белый песок с застывшей рябью переливался
 искрами. Стаи чаек белыми хлопьями летали вдаль и над песком, и над
 морем.

По улице посёлка гуляли и толпились хороводами девчата и мо-
 лодые женщины в разноцветных платьях и парни в пиджаках и ру-
 башках. И близко и далеко разливались песни, где-то играла гармония.
 Шайками и врасыпную носились между взрослыми мальчишки.

Гриша повёл нас в гости к Харитону с Анфисой. Он почему-то ти-
 хо, с оглядкой, поговорил с Прасковеей, с Наташей и с матерью, а
 потом с лукавой улыбкой поманил меня пальцем и спросил шёпотом:

— Ну как, Васильч, есть у тебя охота погостить у Харитона?

Я так обрадовался, что обнял его за поясницу.

— Только про это — молчок. Беги на улицу и жди нас.

Одет он был в чёрный длинный пиджак, а под жилеткой синела
 рубашка с отложным воротником и гарусной верёвочкой с шариками
 на концах, завязанной махровым узлом. На ногах под узкими брюками
 навыпуск блестели начищенные ваксой штилеты. Таким нарядным
 городским щёголем я его ещё никогда не видел. Поэтому я не мог
 оторвать от него глаз.

— Ты чего это уставился на меня, Васильч? Аль в диковинку?

— Больно уж ты, дядя Гриша, шикарово нарядный. Как барин.

— А мы с тобой богаче бар-то. У нас руки — неразменная монета.

В казарме было сумеречно: на стёклах лежал густой слой песоч-
 ной пыли, похожей на грязный иней. От дыма и чада першило в гор-
 ле. Девки и безмужние бабы ещё с утра ушли на улицу. Кузнец по-
 шёл, должно быть, к Тарасу во всём будничном, низко надвинув
 засаленный картуз на глаза. На своих нарах неподвижно лежали
 только Феклушка да Гордей. От него начало дурно пахнуть, и этот
 тошнотный запах не могли заглушить ни дым, ни рыбное варенье.

Мать с пылом наряжалась кропотливо, с одушевлением, и частенько в осколок зеркала. Наташа тоже наряжалась старательно, равнодушно. Прасковья, стройная, крупная, одетая по-городски в длинной серой юбке с брыжами на подоле в три ряда, в плисовой кофточке с крыльями на плечах, — мастерила из своих толстых золотистых кос какую-то замысловатую корону. Во рту у неё торчали чёрные щипельки.

Мне показалось, что у ворот я ждал их очень долго.

Длинная улица в пыльных клочках колючек расцветала вдали пёстрыми платками, кофтами и чёрными картузами. Дальше на площади, которая скрывалась за домами направо, был толкучий базар, и там по праздникам люди топтались по целым дням. Трактиры битком набивались рабочими, и из открытых дверей вырывались пьяные песни, крики и глухие звуки «заводной машины». Стоны, завывания и уханье барабана и сейчас доносились оттуда, заглушённые далью.

Шли мы по улице медленно, степенно, празднично, как принято было в деревне и в той, рабочей, части Астрахани, где мы жили у Манюшки. Даже походка у всех была другая: Гриша шагал вразвалочку, но по живости нрава перекидывался с женщинами шуточками и улыбочками. Иногда шалил со мною: подхватывал меня рукою подмышку и пробовал вскинуть кверху. И я был доволен, что он только чуть-чуть отрывал меня от земли.

Прасковья выступала, как хозяйка, с насмешливой самоуверенностью, зная себе цену. Она держала левой рукой подол длинной своей юбки, и круглое лицо её казалось мне очень хорошим.

Мне было приятно идти с ними: я любил их и чувствовал, что и они меня любят. Гриша казался мне неугомонно-весёлым и радостно кудрявым, но я всегда чувствовал, что в душе у него таится какая-то, неведомая мне, беспокойная дума. Эту его силу и тайную думу знает только Прасковья: они часто секретничают, куда-то незаметно уходят, а в казарме мимоходом переговариваются глазами и сдержанными улыбками.

Вот в чём было моё счастье: меня окружали хорошие, надёжные люди, которые и за себя умеют постоять, и дружбу завязать, и в артели жить, как в своей семье. Они не кичились, не считали себя лучше и умнее других, не распоряжались, а жили, как все, теряясь в общей массе людей. Но я замечал, что и Гришу, и Прасковью народ уважал и считал их опытными, знающими все распорядки на промысле.

Когда мы проходили мимо хороводов, Гришу окликали, громко здоровались с ним, а он снимал картуз и помахивал им над головой. У него, должно быть, всюду были дружки и приятели. Так мы прошли через площадь, потолкались на базаре, а потом возвратились назад и свернули в узенький проулочек, к берегу, между низенькими и слепенькими мазанками с маленькими палисадничками и пыльными вётрами перед окошечками. В каждом дворике, за камышевым плетнём, на маленьких вешелах вялилась рыба, поблёскивая чешуёй. За калитками лаяли собаки и кудахтали куры. Гриша и Прасковья шли уверенно: значит, они не раз бывали у Харитона с Анфисой. Землянки и мазанки торчали здесь густо, выползая на горбы старых барханов и сползая во впадины. С давних пор в этих конурах жили осевшие ватажники, которые работали попрежнему на промыслах. Бабы держали овец, коз, кур и торговали на базаре бараньим топлёным салом и яйцами, а на дому тайно держали кабачки. Те, кто был поудачливее, хищничали по ерикам.

Гриша рассказывал по дороге:

— Народ здесь разный. Есть скаредный и неаном живут, по-воровски рыбу ловят, рабочих спаивают, отгола, на карсаков шайками нападают и овец режут. А ест ребята, надёжные. Одно только хорошо здесь: все ненавидят полицию, и сыщиков. Да и полиция их боится: не то что арестовать кого-нибудь, а сама оберегает их. Ведь и полицейскому жизнь дорога.

Из проулка мы вышли на прибрежный песок и побрели вдоль носатых бударок, которые длинным рядом тянулись по берегу, упираясь бортами одна в другую.

В круглой котловине, в зарослях колючек и высокой полыни струдились в тесную кучу и мазанки, и землянки без улочек и проулков. По узенькой тропочке среди мусора и свалок камыша мы гуськом пробирались между хижинками и сарайчиками. Всюду на песке играли чумазые детишки, на скамейках у стен сидели бабы и мужики и грызли семечки. С разных сторон доносились пьяные песни, глухие и невнятные: должно быть, в подпольных кабачках гуляли промысловые рабочие.

Гриша провёл нас к мазанке, которая прижималась к крутому склону старинного бархана, заросшего какой-то злой травой и бурым кустарником, похожим на хворост. У соседней землянки сидела желтоволосая женщина с ребёнком на коленях и бородатый рабочий в сапогах с широкими рыбацкими голенищами. Гриша снял картуз и крикнул по-приятельски:

— С благополучием, Артём Петрович!

Рабочий тоже снял картуз и неодобрительно возразил:

— С полицией благополучия не бывает, Григорий. Нынче ночью сыщика поймали... из Астрахани, говорят. Маленько будто покачали его. А он словно бы со страху куда-то в пески убежал. Вот сыщика-то полиция и ищет. Да разве сыщика сыщешь?

И он равнодушно отвернулся.

Из маленькой двери землянки выглянул Харитон, в пиджаке, в брюках навывпуск. Видно было, что он обрадовался нам. Анфиса встретила нас в тесной комнатке, недавно выбеленной и светлой. Окошечки были совсем маленькие. Старая деревянная кровать тоже белела чистым покрывалом и пухлыми подушками. Анфиса бросилась к женщинам и, вскрикивая, обнималась с ними и целовалась. На столе, покрытом блестящей клеёнкой, кипел самовар и лежала вкусная связка кренделей. Волшебная гармония, блистая колокольчиками и серебряными ладами, висела на ремне над кроватью.

Анфиса хватала за плечи и Наташу, и мать, и Прасковью, прижимала к себе, отталкивала и счастливо смеялась.

— Наташенька, какая ты стала милая! Ах, не хмурься, пожалуйста! Ты — сильная, тебя не изломаешь... А ты, Настя... ну, совсем изменилась! Куда робость твоя девалась! Это вас Прасковья-Пятница живой водой напоила. Знаю, всё знаю... Словно вместе с вами живу...

А Гриша вполголоса говорил с Харитоном, и оба они подозрительно поглядывали на окна.

— За деньги всё можно, — засмеялся Харитон. — А где полиция деньги не любит? В нашей Нахаловке всяко фараонам платят — и рублём, и дубьём. У меня дружки в полиции. Сам надзиратель заходит ко мне за мздой, а я играю ему на гармонии. Выпьет полштофа и все секреты свои полицейские выкладывает. Да я раньше всех узнал о сыщиках: двоих прислали. Ну, а у нас сыщиков не любят. Свои сыщики уважают нашу окраину, а тот сдуру, не зная броду, сунулся в воду. Не без того, что и наши полицейские его подвели: они ведь насчёт чу-

жих ревниво прибывает ск... ке, что наш хозяин, именитый промышленник, э-завтра. Пьянствовать будет, разгул устроит.

— А я и не... ты с полицейскими снюхался, — осудительно проворчал Гриша.

— Полезно, друг. А ежели говорю тебе — значит, не таюсь. Пригодится, Гриша. Сам увидишь.

— Не чисто, Харитон.

— Чище не может быть, друг. И крючки кое на что годятся. Ты послушал бы да поучился у наших жителей: они целую науку на этот счёт имеют.

Анфиса тараторила с женщинами. А мне было обидно, что обо мне все забыли, и хотелось до боли, чтобы Анфиса заметила меня и улыбнулась. Я несколько раз перехватывал её взгляд и сам улыбался ей, но она, как слепая, отводила свои лихорадочные глаза — большие, немигающие, голубые, странно тревожные и манящие.

Прасковья по-хозяйски, без стеснения, села за стол, взяла чайник и жестяную коробочку с синими китайцами, заварила чай и поставила чайник на конфорку.

— Ох, давно я не пила китайского чайку. Уж полакомлюсь в семейном доме! — важно сказала она необычно певучим и низким голосом. — Садитесь, товарики! Анфиса, угомонись, родная, не жадничай: не ты одна охотница до радости, дай и другим порадоваться. Вон и Федяшка наш на отшибе скучает. Иди сюда, работничек!

Анфиса ахнула, всплеснула руками и, как белая птица, подлетела ко мне.

— Милый мой мальчик! Не сердись на меня. Я одурела от счастья... Боже мой, да ведь это ты, который с нами на барже плыл! Ведь это же твой сынишка, Настя! Прямо не верится. Ты такая молоденькая, как девочка, а он — смотри, какой большой!

Она ласкала меня своими мягкими, шёлковыми руками, прижимала к себе и мешала итти к столу. Но я неудержимо ухмылялся от счастья.

— Лён, ковыль, стружки! — вскрикивала она, тормошила меня, играла моими волосами. — Мягкие, шёлковые... И уши маленькие — живчик!

Гриша подмигнул мне и с притворной строгостью упрекнул Анфису:

— Ты за кого же принимаешь нашего Васильича? Он — рабочий человек: меходув и грамотей. Ты поберегись с ним: кусается. Во всех наших делах — забияка.

— Вот как! — удивилась Анфиса и с игривым изумлением оглядела меня с головы до ног. — А глаза-то, как у младенца.

Она подтолкнула меня к приставной скамейке, а сама упорхнула к кровати и выхватила откуда-то свёрнутую в квадратик газету.

— Ну-ка, прочитай, грамотей, чего тут напечатано об Астрахани. Вот это самое, — ткнула она пальцем в крупные буквы газетного листа. — Громче читай, чтобы все слышали.

Харитон брезгливо отмахнулся от газеты.

— Дикость одна. Куролесит купчишка, а она хохочет. Живоглоз потешается, а ей лестно. Законный супруг.

— Эй ты, парнишка, соловей-разбойник! — прикрикнула на него Анфиса и погрозила ему пальцем. — Опять за своё? Не забывай, несчастный: ревность-то твоя мне сердце щекочет. Как же не хохотать?

Гриша почему-то встревожился и раздумчиво последил за Анфисой.

— Да, брат... человек в любви не хозяин. Как рыбак в море: утром — благодать, а ночью — пропадать.

— И рыбак борется со штормом, — хмуро и зло осадил его Харитон.

— Читай! — приказала мне Анфиса и... со мною. — Для веселья читай! Я люблю и со зла посмеять

Мать сидела против меня с застывшей улыской и молчала. Наташа глядела на Анфису с враждебным любопытством, словно открыла в ней что-то новое, что больно уязвило её. А Прасковья невозмутимо разливала чай и раздавала стаканы озабоченно, как драгоценность.

Аромат янтарного чая опьянял меня, и я, страдая, ждал минуты, когда Прасковья протянет мне необыкновенное угощение.

— Ну, читай же ты, забяка! — капризно крикнула Анфиса. — Я хочу послушать, как это у ребёнка получается.

Она дышала около моего уха горячо и нетерпеливо.

— «Избыток бурных сил у нашего купечества — своеобразное проявление богатой русской природы...» — начал читать я, спотыкаясь оттого, что с самого начала обрушились на меня странные, незнакомые слова. Эти слова запомнились мне на всю жизнь: они были загадочны, звучали, как заклинание. Вероятно, поэтому они и врезались в память. Так бывало со мною в деревне, когда я читал поучения святых отцов. Я читал, как купец Бляхин во время бесшабашного кутежа разворошил и напугал всю Астрахань: он бушевал в гостинице, выбил все стёкла, перебил посуду, вместе с шайкой пьянчужек поломал мебель, выгонял на улицу постояльцев. Потом согнал с биржи всех извозчиков, вытащил из публичных домов полуголых девок и, разъезжая по городу, врвался в дома и заставлял девок вспаривать перины и выбрасывать их в разбитые окна. Вся полиция поднялась на ноги и даже вице-губернатор пустился вдогонку за ним. Настигли его в женском монастыре, где он со своей оравой вламывался в кельи и срывал рясы с монашек. Он бушевал, как безумный, и орал: «Отдайте мне жену! Где моя жена? Какая же вы полиция, ежели не можете найти мою жену, которую у меня украли нигилисты?..»

Анфиса хохотала, извивалась около меня и вскрикивала задыхаясь:

— Ах, какой же негодяй! Ах, дьявол бешеный! Вот это — характер! Это я... это я такую бурю подняла... Из-за меня всю Астрахань разгромили. Ой, задыхаюсь! Харитоша! Ликуй! Обездолил купчика...

Харитон выхватил у меня газету и изорвал её в клочья. Он впился жгучими глазами в Анфису и спокойно, но хрипло сказал:

— Довольно дурачиться. Стыдно при товарищах шутломить. Они пришли к нам не для твоих представлений. Можешь перелететь к этому пьянице и громиле, если тебе охота: он скоро прибудет, ежели сыщиков сюда погнал.

Анфису как будто подрезало: она замолкла и съёжилась.

Прасковья строго и веско осадил Харитона, вскинув на него осуждающие глаза:

— Ну, ты не очень-то власть свою показывай, мужчина! На её месте я и сама похвасталась бы, как от тоски по мне именитый воротила на весь город бунтовал.

Она ударила кулаком по столу и густо засмеялась.

— Вот здорово! Ворвался к монашкам и ризы преподобные с них содрал...

Гриша усмехался, покачивая головой.

— Я непрочь потешиться над дурачеством купчишки. Это у них, самодуров, в обычае. Только парнишке читать такую газетку — не по возрасту: рано ещё его в такие дела впутывать. А падать духом не надо, Анфиса. Не бойся, никакая сила тебя отсюда не выдерет. Хоть ты и взбалмошная, а люблю тебя за норовистый характер.

Анфиса вскочила со скамьи, подбежала к кровати и выхватила из-

под неё бутылка, а из-за печки принесла, как напёрстки на пальцах, зелёные рк

— Харитоша, откумори и разлей по рюмкам. Угомони своё сердце. Да и гостей приласкай. А я пьяна от радости: словно праздник светлый у меня сегодня...

— Эх, хорошо-то как у вас, Анфиса! — растрогалась Прасковья. — После нашей казармы — как в раю: уютно, приветливо и на душе светло...

— С милым рай и в шалаше, — рассмеялась Анфиса.

Мне тоже было хорошо: эта милая комнатка будто приласкала меня. Она улыбалась, как Анфиса, а воздух был мягкий и пахучий. Мать чувствовала себя радостно: она раскраснелась, глаза её горячо блестели, и она любовалась и комнаткой, и Анфисой. Наташа посветлела и заулыбалась.

— И когда мы будем жить, как люди? — вздохнула Прасковья. — Я всю свою жизнь только и тратила силы на ненавистную работу. А ненавистные люди смотрели на меня, как на рабу, душу мою терзали и даже последнего утешения лишили — погубили ребёнка.

Наташа покосилась на неё недружелюбно.

— Не ты одна в кабале, Прасковья. Мы средь зверей живём, а звери эти и тело, и душу рвут. Со зверями надо зверюгой быть.

Анфиса заволновалась и вся устремилась и к Прасковье, и к Наташе.

— Подруги мои родненькие! Не надо печали... Жизнь и для нас дана. Мы живём, и сердце наше бьётся, и солнце светит, греет и радует. И никто у меня жизни не отнимет, а зверей я отгоняю весёлой душой и дерзостью.

Гриша неодобрительно глядел на Прасковью и удивлённо шевелил бровями.

— На кого жалуешься, товарка? — негодуяще, но мягко напал он на Прасковью. — На волков не жалуются, а бьют их. Тебе не к месту говорить такие речи. Тот, кто дерётся, — не жалуется, а бьёт с плеча. В этом и жизнь наша. Без драки живут только раки: они пятятся. А мы дерёмся за жизнь человеческую. Анфиса хорошо сказала, от души: зверей нужно отгонять весёлой дерзостью.

Прасковья вспыхнула, и в глазах её блеснула злость.

— Не учи меня, бондарь! Я и так учёная. А плакать не собираюсь. Душа-то не только одной злостью живёт, а и думкой о счастье. Без этой думкой человеку одна погибель. Я не за копейку, не за кусок хлеба страдать хочу, Григорий, а за вольную долю, чтобы не распинали нас разные злодеи да супостаты.

Харитон с огоньком в глазах встал, протянул руку к Прасковье и хорошо улыбнулся.

— Дай мне твою руку, Прасковья! Крепко-накрепко пожимаю её и льну сердцем к сердцу. От души сказала и душу мою обняла. Вот оно, счастье-то! Пойми! А завтра оно разольётся, как море. Анфиса, иди сюда!

Анфиса бросилась к нему на шею, и он поцеловал её.

— Молодчина, Анфиска! Такая ты мне и нужна.

Все рассмеялись взволнованно.

Харитон разлил водку по рюмкам и сам передал их женщинам.

Мать с испугом отмахнулась, отказалась и Наташа, но Харитон грозно прикрикнул на них:

— Это что такое? Не позволю! В такой час рвать дружбу? Прасковья, Гриша! Вы кого привели сюда — друзей-товарищей или монашек?

Наташа взяла рюмку и с сердитой улыбкой обличительные вопросы Харитона:

— Не грозись, Харитоша: в другой раз ты не будешь.

— Вот! Это называется — удар с плеча. Но после Анфисы целовать тебя, Наташенька, не буду, а сыграю для тебя на гармонии.

Мать мледа от радости и лепетала:

— Люди-то какие!.. господи! Счастливые-то какие!..

Харитон стоял с рюмкой в руке и оглядывал всех блестящими глазами.

— Ну, друзья... тут о счастье тосковали. А дорогая наша Прасковья думкой об этом счастье жизнь свою, как свечу, зажгла. Мы все горим! А все вместе—уже не свечками, а полымем. О каком же счастье наша думка? О таком счастье, чтобы всем нам, всему рабочему люду было хорошо, чтобы вольной доле своей он хозяином был, чтобы турнул всех богачей и устроил свою жизнь без кабалы, без насильников, без царей, без полиции... А за это драться надо, не щадя живота, скопом. На то мы и называемся рабочим классом. Вот и выпьем за нашу скрепу и за нашу свободу.

— Жди этой вольной доли, — проворчала, усмехаясь, Наташа. — А насильники, как колючки под ногами.

— Колючки люди выжигают, — уверенно сказал Гриша, — а победа бывает в драке. Не забывай, Наташа, как вы дрались на плоту. Ну, вот и выпьем за нашу драку и за счастье! Счастье само не приходит, а добывается.

Гриша и Харитон выпили до дна, а женщины только пригубили.

Харитон вынул из кармана пиджака бумажку, сложенную вчетверо, и оглядел всех насторожёнными глазами. Он поднял руку и сдвинул брови.

— А вот как борются за наше дело — послушайте. У нас верные друзья есть, из Астрахани наезжают. Они нас на путь истинный наставляют и рука с рукой идут с нами. — Он оглянулся на окно и предупредил: — Вы поглядывайте на улицу-то для всячины. Тут псы разные и крысы забегают. А ты, меходув, как насчёт язычка? У нас вон на улице шустрый пёсик есть — нет для него другого удовольствия, как тявкать.

Гриша подмигнул мне и засмеялся.

— Ну, ты, Харитон, нашего Васильича не трогай. Он не из болтунов. На секреты он у нас — могила, а на общее дело — герой. Правильно я говорю, Васильич?

Я был так потрясён недоверием Харитона и так оскорблён сравнением меня с пёсиком, что отпрянул от стола. Должно быть, я сильно покраснел, потому что лицу стало жарко.

— Чай, я не дурак, — вознегодовал я. — Аль я не знаю, как надо держать язык-то за зубами? Вы сейчас сами болтали не знай что, а я и виду не показал.

— То-то, брат Харитон! — с гордостью похвалился Гриша, кивая на меня кудрями. — На него надежда, как на камешную гору. Ты нас с ним не обижай, Харитон.

— Порядок требует, — строго пояснил Харитон. — А обижаться в нашем деле нельзя.

— И заушаты нельзя. Надо человека подбодрить, почуять, чем он хорош. Большое, хорошее блёкнет, сходит на нет от маленького навета.

Мать слушала его самозабвенно и любовалась им.

— Хорошо-то как!.. — лепетала она. — Верно-то как!..

— Ах, не стариком, Гриша! — простонала Анфиса с умоляющим лицом. — Учи, милый! Ты — артист, а не поп.

Бумажка в руках Харитона была грязная и измятая, исписанная печатными фиолетовыми буквами. Держал он её бережно, заслоняя от нас другой рукой, и лицо у него было строгое и озабоченное. Твёрдый и тонкий нос и бритый подбородок стали как будто ещё острее. Все окоченели в истовом молчании. Это была, вероятно, одна из тех прокламаций, которые тогда распространялись подпольщиками из Астрахани передачей из рук в руки верными людьми. Многого я не понял, многое пролетело мимо ушей: она показалась мне скучной. Помню, что в ней говорилось о тяжёлой жизни рабочих на ватагах, что с работниц и рыбаков дерут по три шкуры, что платят за труд копейку, а требуют работы на рубль и заставляют гнуть спину от ночи до ночи. Говорилось также о штрафах, о болезнях, о том, что рабочих не лечат, а дни болезни не оплачиваются.

Всё это я хорошо знал, и слушать это мне было неинтересно. И я удивлялся, почему взрослые люди так жадно ловят каждое слово Харитона, когда они могли бы сами рассказать об этом лучше и ярче. Они не забыли бы о смерти Малаши, о гибели сынишек Прасковей и тёти Моти, о неизлечимой ране на посиневшей ноге Гордея, о язвах на руках кузнечихи и Гали, об этих же штрафах и вычетах, которые сдирает хищная баба, подрядчица Василиса. Но все слушали с непонятным для меня волнением, словно ждали, что сейчас произойдёт что-то необыкновенное. А когда Харитон предупредительно поднял руку и стал читать раздельно и повелительно, напряжённое ожидание их и сдержанные вздохи вдруг взволновали и меня. В бумажке кто-то призывал держаться теснее друг к другу, бороться сообща и дружно против штрафов и вычетов, работать не семнадцать часов, а только десять, требовать непромокаемых перчаток для работы, сапог, штанов и курточек, требовать в приварок мяса, масла, зелени, а сухую воблу не принимать. Надо, чтобы больных лечили и построили больницу в посёлке. Ежели хозяева откажут, то всем вместе, как один человек, стоять на своём твёрдо, не поддаваться на уговоры и угрозы, а тех, кто не подчинится артели, выбросить из казармы, как недругов. Ежели вызовут полицию, сплотиться ещё крепче, ничего не бояться. Сейчас и хозяева, и подрядчики решили ещё сильнее прижать рабочих на промыслах, а зимою хотят многих выгнать на улицу. Этого нельзя допускать: надо готовиться к драке. Когда объявит контора о расчёте — сразу же сговориться, чтобы отразить это нападение на рабочих людей: на работу не выходить и никого на плот, в лабазы, в мастерские не допускать. Везде выставить своих верных людей. Надо не забывать, что с весны ожидается холера. Она всегда начинается на промыслах, где люди живут хуже животных, недоедают, не отдыхают и питаются всякой дрянью, от которой и свиньи отворачиваются.

Харитон опять сложил бумажку, щёлкнул по ней пальцем, спрятал во внутреннем кармане и оглядел всех с пронзительной усмешкой в прищуренных глазах.

— Вот оно как! Написано пером, а по башкам бьёт багром.

Женщины молчали, но в глазах их горело нетерпеливое ожидание. Даже Наташа повернулась к Харитону с недоверчивой, скупой улыбкой. Мать взволнованно поглядывала и на Прасковью и на Гришу, и глаза её, широко открытые, потемнели от беспокойства.

— Тут говорить нечего, — решительно сказал Гриша. — Всё верно. Надо только за дело приняться. С рабочими разговор вести будем мы

с Харитошей, а резалок вы уж, товарки, в ёте. Прасковья вожачка: так ей на роду написано.

Прасковья взглянула на Гришу осудительно и передёрнула плечами.

— Это вы оба жожаки, а мы уж так — по бабьему делу у вас на посылках будем.

Она выпрямилась и отодвинула стакан в сторону.

— Ты спряталась бы куда-нибудь, Анфиса, когда приедут именитые промышленники. Разгул-то они из году в год устраивают: набрасываются на молодятину, как жадные тюлени на селёдку. Это не диво: привыкли к этому. А диво будет, ежели ни одна бабёнка, ни одна девка не пойдёт, хоть их и силой погонят. С этого и драка начнётся. Листок-то надо бы переписать да из рук в руки передавать: он по сердцу людям будет. Кто грамотный, своим дружкам прочитает.

Харитон с размаху положил ладонь на стол, и лицо у него стало строгим и колючим. Он опять оглянулся на окно и тихо, словно по секрету, проговорил:

— О листке никому ни слова: вы ничего не знаете и никакого листка не видали. Говорите всё, что слышали, и сами думайте, что делать. Самовольничать нельзя. Без нашего совету ничего не начинайте. Дел-то невпроворот: тут и купцы нагрянут, надо, чтобы ни одну женщину не загнала Василиса на поганое гульбище. Тут и с подрядчицей опять начнётся драка. Нелёгкое дело с нашим народом стенкой итти: деревенщины много, затурканных много. Ну, да ватажная жизнь здорово их помяла: и штрафы, и вычеты, и хозяйская лавочка, и подрядчица много насобачила. А о нас с Анфисой не заботьтесь: никакие сыщики нас не разыщут. Сюда ни сыщикам, ни полиции ходу нет.

Анфиса сняла со стены гармонию и подала Харитону.

— Порадуй-ка гостей, Харитоша! Споём, потанцуем. А листочек дай-ка мне, а то он прожжёт твой кармашек, да и улететь может, куда не надо...

Харитон засмеялся, вынул бумажку из кармана и сунул в руку Анфисы.

— Вот она какая у меня заботливая да приветливая!

Он заиграл что-то очень красивое, с узорчатыми переливами. Я сразу же забыл и о чае, и о кренделях, и обо всём на свете: меня ослепили эти переливы и чудесные напевы. Не знаю, долго ли продолжалось это моё блаженное забытьё, но очнулся я от прикосновения ласковых рук Анфисы. Она обнимала меня и смеялась.

— Смотрите, смотрите: ведь он плачет, а не чувствует этого... милый мой мальчик!

Моряна разгулялась в эту ночь буйно и грозно: дребезжали окна от ударов, дрожали стены, вопила печная труба и где-то близко выли стаи волков. Мне чудилось, что они окружили нашу казарму и царапались лапами в дверь и в стены. Но люди спали крепко, храпели на всех нарах и невнятно бормотали во сне. Спала и мать. Наташа лежала рядом, и я не слышал даже её дыхания. Но проснулся я от жуткого воя волков и долго не мог успокоиться. Кряхтел и стонал Гордей: должно быть, нога у него болела нестерпимо. Олёна тоже стонала, и стоны её были похожи на рыданье. Наташа села на своей постельке, и в мутном мерцании привёрнутой лампы я видел, как она, опираясь локтями о колени, обхватила растрёпанную голову ладонями и закачалась из стороны в сторону. Мне стало страшно: на нарах вверху и внизу, в грязных ворохах дерюг, одеялок и разного тряпья, лежали люди. Было душно,

болела голова, и смрад, густой и вязкий, судорожно сжимал горло.

Я подполз к Наташе и схватил её за руку.

— Не надо, Наташа, не качайся!

Она повернула ко мне лицо и спокойно, дружелюбно прошептала:

— Не спишь? И я не сплю. А чего бы тебе не спать-то? В твои годы ребятишки крепко спят.

— Я от волков проснулся: слышишь, как воют? Они, должно, на дворе и перед окошками.

— Не волки страшны, Федя, а люди.

— Я знаю.

— Ничего ты не знаешь: ты ещё невыросток. Откуда тебе знать-то?

— Аль я слепой? И в селе у нас, и здесь, на ватаге, — все люди перед глазами. Ты думаешь, я не понимаю? Я всё чую. Я и сам, чай, много помаялся.

Она тихо засмеялась и обняла меня.

— Чудной ты какой-то! Сам с вершок, а слова с горшок.

Около неё мне было приятно: в ней чувствовал я доброе сердце, умную опытность и неподатливую силу. С женщинами в казарме и на плоту она не дружила, сторонилась всех, словно никому из них не доверяла и не уважала никого. Даже с Прасковеей и Гришей держалась с молчаливой настороженностью, а к матери относилась, как к безобидной простушке. Но меня она любила: я видел это по её глазам и по приветливой, хоть и скупой, улыбке. Очень внимательно присматривалась она и к Феклушке. А один раз, в воскресенье, когда кузнечиха ушла с Улитой в церковь, она долго сидела у девочки, и они о чём-то шептались, не отрываясь друг от друга. Потом она уже каждый вечер подходила к ней, не обращая внимания на отца и мать, совала ей что-то в худенькие ручки, медленно склоняясь над её головой. Отходила она от неё растроганная, с гневными глазами.

— Люди и собак холят, — бормотала она, легко вскакивая на свои нары, несмотря на свою массивность, — а тут своего ребёнка за-топтали.

Я видел, что она с любопытством прислушивалась и приглядывалась к людям. Хотя попрежнему она была молчалива, но скупая и удивлённая улыбка вздрагивала на её лице. И ещё одно я почувствовал: она привязалась ко мне и стала говорить со мною, как со взрослым, в такие моменты, когда нас никто не слышал.

Вот и в этот ночной, волчий час Наташа прижимала меня к себе своей тяжёлой рукой, и мне казалось, что ей тоже жутко, как и мне.

— Вольницей нас зовут, — шептала она насмешливо. — А мы — как арестанты. Забросили нас в пески, в дикое место, где и не растёт-то ничего, загнали в бараки, как скот, запрягли в работищу, и живём мы под палкой, в голоде, в болезнях. Вот тебе и вольница! У нашей воли много горькой соли. И все — беззащитные. Даже ты, недоросток, не спишь по ночам, маешься. И Феклушка вон, как старушка. Вам играть бы надо, звенеть бы своими ребячьими годочками, а вы в большие тянетесь.

— А куда же денешься? — заспорил я. — С кем играть-то, да где, да во что? Ты вон девка молодая, а не пляшешь и не поёшь.

— Как же я буду петь да плясать, Федя? Я каменная стала. Не песня, не радость у меня на душе, а нож за пазухой. Была у меня радость: любил меня хороший человек, а мою любовь сгубили...

— Аль я не знаю? — с участием ответил я. — Я ведь всё до званья чую.

Она неожиданно прижала мою голову к своей щеке.
— Парнишка ты милый! С тобой у меня и сердце то как маков цвет распускается. И думаю я: моя-то беда — ядовита да спрятана, а вот люди наши, как одры, чужой воз везут и надрываются. Харитон, Гриша, Прасковья знают, где человеку место. Прасковья-то как повернула... на плоту-то! Не то ещё будет. Они не одни... Их много. И все они за руки держатся.

Сквозь дрёму в последних вспышках сознания слова Наташи превращались в порхающие тени. И эти тени незаметно шли передо мною нарядными девчатами и парнями, которые держались за руки, смеялись и пели под звуки гармонии. Смеётся Гриша и манит меня рукой: «Васильчик!..» Прасковья рядом с ним в хороводе, с высоко поднятой головой. Она смотрит куда-то вдаль радостно и гневно. Шагает, блистая гармонией, Харитон, и лихо бегаёт своими пальцами по ладам. Праздник, веселье, весна... К берегу бегут в солнечных искрах волны и заливают сами себя зелёными гребнями. Жалобно кричат чайки. Они стонут, просят о помощи, и мне больно от их крика и тягостно.

Я проснулся, как отравленный, колыхаясь в дурманном тумане, с тяжёлой тревогой в сердце.

Какая-то женщина стояла на лежанке печи, мутно освещённая привёрнутой лампой. Пахло дымом и гарью. Раскосмаченная голова поднималась из-за нар и опять опускалась. Женщина с лицом Олёны, искажённым болью, с ужасом в глазах, стонала и надрывно вскрикивала:

— Не гляди, Федя! Ляг! не гляди!.. Тебе не надо глядеть...

Сердитый голос матери прикрикнул на меня:

— Ляг сейчас же! И головы не подымай!

Каким-то внутренним чутьём я угадал, что Олёна пришла сюда, на лежанку, родить, а мать помогает ей. По голосу матери видно было, что она хлопочет около Олёны охотно, участливо, с обычной своей горячностью и находчивостью.

Тётя Мотя возилась около плиты и растроганно бормотала сама с собой. Гордей лежал пластом и уже не спускался с нар: нога у него стала чёрная. В казарме говорили, что у него «антонов огонь». Что такое «антонов огонь» — никто мне не мог объяснить, и я представлял себе это так, что нога Гордея мерцает по ночам, как гнилушка, и обугливается.

Все спали, все привыкли и к стонам больных, и к храпу, и к бреду во сне. Я заметил только, что Гриша, накинув на плечи свой длинный пиджак, с фартуком и картузом в руке, вышел из казармы зыбко, на носках, чтобы не оскорблять стыдливости женщин и не мешать такой трудной, мучительной повинности Олёны, как родить младенца. Я тоже лёг и закрыл голову одеялом.

Голосок матери, ласковый, певучий, ворковал озабоченно, с какой-то странной радостью, переплетаясь со стонами и криками Олёны. Участливо бормотала и тётя Мотя. Лилась и плескалась вода, дребезжало железное корыто.

Так продолжалось до утреннего звона колокола, и я, измученный, с непонятным отчаянием в сердце, заплакал, задыхаясь под подушкой. И в тот самый момент, когда дробно зазвенел колокол на дворе, Олёна закричала так страшно, что я невольно вскочил на колени. И сразу же услышал, как заорал ребёнок. Мать тоже вскрикнула и засмеялась.

— Гляди-ка, тётя Мотя, парнишка-то в сорочке родился!..

— В казарме родился, милка,— проворчала тётя Мотя.— Мой тоже в казарме, в этой же... и тут же, на этом месте...

Звонил колокол дробно, настойчиво, кричал во всё горло младенец, плескалась вода, возбуждённо говорила что-то мать и тихо, утомлённо, покорно лепетала Олёна. И вдруг я почувствовал, что на лежанке стало пусто: я думал, что Олёну увели на её нары, а ребёнка, должно быть, положили рядом с нею.

Я спрыгнул на пол и пробежал в куток, за печь, чтобы умыться. Всюду на нарах началась возня, люди зевали, озирались. Кто-то из мужиков хрипло пробормотал:

— Ну вот... новый звонок появился! Уходить надо из бабьей казармы... а у рыбаков задохнёшься от табачища.

Мать оделась быстро и, вся возбуждённая, горячая, с радостно-удовлетворённой улыбкой, ловко и прытко соскальзывала и поднималась на наши верхние нары то с жестяным чайником, то со сковородкой, на которой поджаривались ломти хлеба на бараньем сале. Она испытывала особое удовольствие потчевать этими обжаренными ломтями и Наташу, и Гришу, а сейчас подбежала к Олёне и совала ей это лакомство. Перед нарами Олёны стояли Прасковья, Оксана и Галя. Подходили и другие женщины и смотрели на Олёну с ребёнком. У Прасковьи было необычно умилённое лицо: лучистые морщинки дрожали у глаз и на углах рта. Она развернула и встряхнула перед собой белой рубашкой как раз для моего роста, потом опять торопливо свернула её и, опираясь коленкой на край нар, положила свёрток на живот Олёны.

— Это — на зубок. Рубашонка-то сынка моего... Новенькая ещё была: один только разок и надел.

И сразу же отошла к своим нарам. А Оксана и Галя пристально глядели на Олёну с младенцем, который кряхтел и урчал у её груди, перешёптывались и улыбались. Потом обе торопливо пошли к своим нарам. С обмотанными руками Галя была одета по-домашнему и не собиралась на плот, а Оксана в штанах гибко и легко вскочила на нары и порылась в своих вещичках и под подушкой у Гали. Они посоветовались о чём-то, посмеялись, подталкивая друг друга. Оксана опять подбежала к Олёне и бросила ей какие-то белые тряпки. Олёна протянула к ней руки и заплакала навзрыд.

— Да ты чего это... дурёха? — дрогнувшим голосом крикнула Оксана. — Все до тебя ласковы, все сердцем милые, а ты слёзы льёшь.

— От радости, Оксанушка,— рыдая, лепетала Олёна. — Меня и сродники так не привечали.

Я чувствовал тоже, что люди в казарме — и резалки и рабочие — как-то присмирели, словно боялись нарушить истовую сосредоточенность. Произошло событие, самое простое и обыденное — родился новый человек. Все ждали со дня на день, что Олёна родит, и относились к этому так же равнодушно, как и к болезни Гордея и Гали и к затяжному недугу Феклушки. Будоражились насчёт расценок, толковали о скором приезде хозяйина и гадали, как он здесь покажет себя. Но вот сегодня ночью родила Олёна, и во время её родовых мук все проснулись и безропотно молчали. Казалось, что это событие поразило всех в тот именно момент, когда задрезжал утренний колокол на дворе, а вместе с ним закричал ребёнок. Все стали мягче, добрее, и как будто всем стало вольготнее. А когда завтракали за столом и у себя на нарах, к Олёне подходили то одна, то другая резалка с кружкой в руке, с чашкой болтушки и участливо, с певучими причитанья-

ми, угощали Олёну, и она отвечала им такими же причитаньями, хоть и болезненно, но счастливо.

Днём, в час обеда, оглушило нас другое событие. После звонка резалки обычно шли в казарму с песнями и пляской. Но теперь они брели молча и как-то нехотя. Кузнец в недоумении таращил глаза на белоштанную толпу и басил:

— Это чего, Степан, бабы-то наши — как овцы без пастуха? Словно и в дверь-то боятся итти...

Степан опустил свой тяжёлый молот и, взглядываясь в толпу, без обычной шутовности соображал:

— Двери настезь, а народу нету ходу. Не иначе, в казарме несчастное приключенье. Не Гордей ли помер?

— Кончай работу! — распорядился Игнат. — Запирай кузницу! — И, сняв картуз, заворошил волосы с тревогой в красных глазах. — Уж не девчонка ли моя?..

Степан с добродушным негодованьем отмахнулся от него.

— Зачем девчонка? Уж ежели на то пошло — так это обязательно Гордей. Я знал, что он сгорит: от антонова огня спасенья нет.

Я побежал к толпе, которая встревоженно и боязливо тормозилась перед камышевыми сеньями казармы и растерянно гомонила. Ни матери, ни Прасковей, ни Наташи не было в этой толпе. Только Оксана с Марийкой стояли впереди, спиной к двери, и, сдвинув брови, упрямо загораживали вход. В казарме глухо выкликала женщина — должно быть, Олёна.

В казарму я не пошёл: мне было жутко видеть Гордея, который обугливался у меня на глазах. Я побежал через плотовой двор на берег — поглядеть морской прибор. Свежий ветер дул бурными порывами и вихрями поднимал песок на улице. На плотовом дворе носилась в воздухе сухая чешуя. Грязные тучи плыли низко, тяжело и синей мглой оседали на далёкие песчаные курганы. Необъятный грохот волн блуждал по всему побережью. Волны неслись из туманной дали kloчочуцими белыми гребнями. Баржа опять гуляла на своей ржавой цепи. Чайки стаями носились над волнами, жалобно повизгивали, летели навстречу ветру, но, должно быть, им не под силу было справиться с тяжёлыми своими крыльями, и они тормозились на одном месте, а потом, подхваченные ветром, быстро относились к берегу и опять взлетали вверх.

Море уже затопило весь плот, и волны кипели между столбами и били в закрытые двери лабаза.

Но жиротопня попрежнему дышала на холме, и дым, прибитый ветром к земле, мутной полосой улетал в заросли бурьяна. Старик Ермил с черпаком в руках дежурил у печи среди бочек. Он увидел меня, что-то невнятно крикнул дряблым, глухим голосом и ткнул в сторону моря своим черпаком. И я понял, что он не велит мне подходить к берегу. Потом он изобразил рукою волны и широким взмахом показал на посёлок и на наш промысел: эта моряна взберётся, мол, на берег и затопит плоты и жильё. И по седобородому, закопчённому лицу его видно было, что он улыбается: не то он был доволен, что моряна хлынет на наш плотовой двор и на улицу и зальёт бондарню, и запасы соли, и нашу кузницу, и казармы, не то хотел испугать меня, словно чародей, который вызвал эту бурю.

Но я неудержимо бежал навстречу ветру, к бушующему приборю. Мне чудилось, что волны зовут меня, приветственно машут своими пенистыми взмётами и смеются. Там было раздолье, несусветная че-

харда шквалов, бунт моря, которое всей своей машиной ринулось на берег.

Навстречу мне летели мелкие брызги и туманная сырость. Густо пахло морем — водорослями, рыбой и солодом. Очень далеко, у горизонта, в разных местах призрачно маячили рыбачьи посуды: они исчезали и появлялись, как чёрные бакланы на волнах. Я подбежал к самому краю берега, но в этот момент огромная волна с грохотом ринулась на меня водопадом, окатила песчаную отмель и с разбегу рванулась на песчаные осыпи, к моим ногам. Я не успел отскочить назад, и вода, бушуя, вцепилась в мои сапожки и облила штанишки. Потом так же быстро с шумом и с хохотом, отхлынула обратно. Но навстречу ей загибалась другая огромная волна, сожрала её всю до капли и с рёвом бросилась на песчаную отсыпь, словно хотела накрыть меня и проглотить, как первую волну. Штанишки сразу намокли и холодно прилипли к ногам, а в сапоги налилась вода. Море было живое, оно, лохматое, бежало к берегам, яростно играло, плясало, кувыркалось и рвалось на берег.

Ветер свистел в ушах, щипал лицо и отталкивал меня назад. Но я крепко стоял на песчаном холмике и смотрел на мутные волны, которые вздымались у берега. Моряна гнала воду бурно, словно где-то далеко прорвалась плотина, и вода ринулась на нашу косу.

33

Опираясь на черпак, облитый жиром, сам пропитанный жиром, стоял позади меня старик Ермил. Грязно-седая борода его сбилась в кочья, как пакля, и торчала в разные стороны, опалённая огнём, а глаза слезились и были туманны, без зрачков. Скокканная старенькая шапка на голове похожа была на бабий волосник. Лицо его было синее от копоти и испачкано жиром. На прибой он не обращал внимания, а пристально всматривался в клочущую даль, словно видел там что-то необычное и смутившее его. Он жевал беззубым ртом, встряхивал серой бородой, невнятно бормотал что-то про себя и не замечал ни брызг, ни ударов ветра. Это был крупный старик, такой же, как кузнец Игнат, но уже дряхлый, с больными ногами.

— Забунтовал Иван Буяныч... С ума сводит морского хозяина. Карахтерный мужик! И здесь, на земле, атаманом был — никого не боялся, — и там, с морским хозяином, карахтер свой неукротимый показывает. Когда в море убежал с ребятами, смеялся — страсть посмеяться любил!

Мне было непонятно, кто такой был морской хозяин и кто такой — Иван Буяныч. Ежели это был дружок жиротопа, то каким образом он, живой, очутился в море и почему-то скандалит там с каким-то хозяином.

— Шуми, шуми, Иван Буяныч, бунтуй! — бормотал жиротоп и задышался кашлем от смеха. — А чего добился, неужённый? Только штормов стало больше, а рыбы — меньше: распугал, угнал на зюдь. Попал в полон к Хвалыну, и связали тебя морской травой.

Мне не терпелось узнать, что случилось с этим Иваном Буянычем и как он попал в плен к Хвалыну, хозяину моря? Чтобы проверить, не безумен ли старик-жиротоп, я выпалил:

— А Гордей-то, солильщик, сейчас помер. В казарме лежит.

Он даже не взглянул на меня и не отнял ладони ото лба.

— Гордей-то? Чего же скажешь? И Гордей — не чародей. Значит, отвёл свой урок.

Он, как и другие люди, с которыми я жил, говорил готовыми словами, и у него, должно быть, на всякий случай жизни были в большом запасе складные присловья и поговорки. Удивляться и тревожиться не было ему нужды: он прожил большую и трудную жизнь, как и множество других людей, и привык глядеть на всякие события спокойно, безучастно, как на неизбежность: день сменяется ночью, человек рождается и умирает, подует моряна — пригонит море к берегам... И на каждый случай у него — готовая, накопленная веками мудрость. Мудрость эта несложная, но успокоительная: думать ему не о чем, всё до него обдуманно и решено многими поколениями людей. Но и у него, оказывается, есть своя тайна, которая берedit его душу.

— Ты, рыбачок, стой встречь ветру плечом да виском. Парус убери — посуду уложишь.

— А какой это Хвалын-то? Аль в море тоже есть хозяева? Как же это живой человек Иван Буяныч в глыбы полез?

Старик зачем-то сорвал мой картуз и неустойчиво пошагал на курганчик. Он сел на тупой и каменно-твёрдой вершинке и велел мне сесть рядом с собою. Осмотрев вторично мой картуз и изнутри, и снаружи, он неодобрительно покачал головой и разочарованно сунул его мне в руки, а шапку свою положил под бедро.

— Звали-то его Иван Гурьяныч, это мы его величали Иваном Буянычем. Рыбак был. Лихой. Кровь с молоком. Кривая сажень ростом. Богатырь. Карсаки — самые непобедимые борцы. А он клал их на спину, как кутят. Они, карсаки-то, бегуны отчаянные. А он, как ветер, летел по степи — на коне не догнать. Весельчак был, плясун, какого не сыскать ни в одном стане. Молодой, а везде бывал, весь Каспий знал, и всем друг был и товарищ — от Астрахани до Баки, от Баки до Кара-Бугаса, от Эмбы до Дербента. А рыба словно сама к нему шла: рыбе слово знал, а спроть штормов имел заклятье. Дева-Моряна его хранила и тайности ему открывала. Бывало, захватит буря рыбацьи посуды, побьёт их, и люди тонут, а он бежит к берегу невредимый, с богатым уловом, и издали смеётся да форсит, как в праздник. «Принимай, братцы, севрюжину да осетра благородного! Севрюга — для друга, осетры — для сестры. Исстари так велось у наших дедов-прадедов, вольных рыбаков. Хоть мы, рыбаки, сейчас в неволе, а я храню добрый обычай: осетра да севрюжку — в общий котёл!» Вот какой был Иван Гурьяныч. Страсть любил встречать штормовую моряну. Как затрубит да забунтует она — ночь-полночь срывается с нар и орёт, как удалой атаман: «Сарынь на кичку! Грянула моряна-буяна! Эх, погуляют посуды мои, как лебеди, по волнам, а Хвалын в самоловные снасти мои красную рыбу погонит». Ребята — за ним, как встрёпанные. Поднимают паруса и улетают, как морские орлы, наперерез шторму, и пропадают из глаз. А ежели сухой отгонит море, а посуда лежит на песке, Иван Буяныч места не находит: тоскует, мечется, как рыба на берегу. А потом соберёт свою вольницу, и начинают гулять. К ним тогда никто не подходит... Управители сами ему ведро водки выставляли и обхаживали его, как грозного атамана. Ничего не скажешь: такие ловцы, как он да его молодцы — дороже золота, об них по морю слава идёт.

— Я тоже знаю таких рыбаков — Карпа Ильича да Корнея, — похвалился я. — Их на льдах носило, и посуду шторма разбивали. А они вот живые.

Жиротоп отмахнулся от меня и сморщился от беззубого смеха, выжимая слёзы из распухших век.

— Это Карпушка-то? Карп он карп и есть — сазан. А сазану осетром не быть. У меня Карпушка-то с Корнеем подручными были. Вместе с ними я всё море обмерил. Карпушка-то у Ивана Буяныча и борта не нюхал. Я тоже был лихой моряк — силач, красавец. Промышленники страсть как за мной охотились. А Иван Буяныч меня даже ойднова в свою артель вовлёл. Щегольнул я перед ним по пьяному веселью своей моряцкой бывалостью, а он меня схватил за ноги да башкой в песок и воткнул. Ловцы хохочут, а мне зазорно: честь-то моряку дороже жизни. Рыбаку в зазоре не видать моря. Ну, я, конечно, осятанел — и страх, и почтенье потерял: сковал его ноги руками-то и поставил его рядом с собой, как пешню. Застыли оба и торчим: друг друга за ноги держим. Я — вверх тормашками, башка — в песке, а он — ни с места, и сапоги к песку припаялись. Слышу, моряки от хохота, как верблюды, ревут и уже его в потеху взяли.

Жиротоп задыхался, всхлипывал, кашлял, и слёзы скатывались у него по усам и бороде крупными каплями. Он смеялся, вспоминая прошлое, и как будто даже помолодел. Должно быть, он дорожил памятью об этом событии: никто не смел и пальцем дотронуться до именитого рыбака-атамана, всякий принимал его обиды и шутки, как на граду, и всякий норовил поймать его властный и умный взгляд и первым выполнить его приказ. И я представлял его себе сильным и весёлым мужиком, похожим на Гришу, и тяжёлым, в бахилах, как в железе, похожим на Карпа Ильича или Корнея. Но я хохотал, когда старик рассказывал, как Иван Буяныч схватил его за ноги и воткнул в песок. Вероятно, Ермилу было приятно, что я заливаюсь звонким смехом, потому что он поглядывал на меня с лукавым добродушием: вот, мол, как я его, славного атамана, привоздил!..

— Не всякого он, браток, в свою ватагу брал. Привечал того, кто ему по нраву был.

— А долго вы так торчали-то? — не переставая смеяться, потянулся я к нему и незаметно обхватил его костлявые колени. — Чай, ведь на голове-то, дедушка, стоять не мило.

— Куда там!.. Думал, позвонки сломаю. Ну, видит он, что клешни-то мои не разорвать — взаклад я ноги-то его взял, — диву дался, обомлел весь. Рванул меня вверх — не берёт, хотел сапогом лицо мне раздавить, а я с сапогами-то его скипелся. И, главное дело, ребята со смеху катаются, а ему — ущерб. Другой на его месте отшвырнул бы ноги-то мои да на меня бы и грохнулся, а он сам захохотал и хлопал сапогами моими, как ножницами: «Таких, говорит, мне и надо. В моей ватаге будешь. Хоть ты и Ермил, а меня вразумил... то-то! Дальше моей ватаги не шагнёшь. У нас всё шито-крыто: никакие ветры наши утайки из шайки не выдуют. И выходит — судьба: ты меня спроть шерсти погладил без робости, а я хотел показнить тебя за дерзость и сам в клещах очутился. Ну и спаялись. Казнить человека без разума — себя казнить. Спасибо за науку. Почуешь себя дураком — умнее станешь. То-то!» Обнялись мы с ним и с того дня не разлучались. Зато и натерпелся я от него, неукротимого! Как только штормовая моряна — так и в море. Ребята были на подборт: ни чёрта, ни бога не боялись, сами черти от них, как воробы, разлетались. Неделями по морю носились, а они только бесились больше. Сам-то Иван Буяныч — как гром с грозой у всех на виду и день и ночь бушевал. А глядя на него, и моряки, и я с ними как железом наливались. Эх, и люди были! В эти штормы Иван Буяныч словно на свободе гулял: гроза грозой, а весёлый, лихой да удалой был! Заметит, что кто-то из ребят духом ослаб — коршуном на него: сцапает за бахилу, вски-

нет над палубой и орёт: «В море выброшу, тухлятина!» Знали, что не попусту грозит: не пожалеет, выбросит. Толковали про себя на берегу: бывали такие оказии — струсит человек, обомрёт и летит за борт. А никому и в разум не придёт, чтобы сболтнуть нечаянно: только моряна да ватага знали.

Этот рассказ старика так меня захватил, что я дрожал от волнения. Это было похоже на сказку, даже сильнее сказки: это была сама жизнь, а не досужий вымысел. Сказочные богатыри всегда казались мне призраками, созданными людьми для утешения, чтобы легче было переносить безотрадную и подъяремную жизнь. А такие богатыри, как Руслан или Гуак, мерещились мне, как причудливые образы сна: одежды они в старинные одежды, которых не бывает в жизни, и кони их небывало тонконогие, с шеями, похожими на крендели. Они витают где-то вне жизни, подобные Егориям-победоносцам. А вот Иван Буяныч — наш, живой человек, такой же, как Карп Ильич или Гриша-бондарь. Да и жиротоп рассказывает о нём, как о своём атамане-дружке, с которым он плывал по морю не один год. Этот Иван Буяныч стоял передо мной такой же большой, коренастый силач, как дядя Ларивон, с такой же длинной бородой — такой ласковый и страшный.

Жиротоп глядел сквозь слёзы на гривастые валы и на прибор, словно зорко следил за чем-то вдаль. Но я ничего не видел, кроме всклокоченных волн, которые неслись к нам от горизонта кипящими шквалами, необъятно шумели и, вздымаясь на отмели, обрушивались с грохотом и гулом.

Старик морщился и мигал от брызг и водяной пыли. Обняв колени узластыми руками, он будто забылся и шептал что-то непонятное, усмехался и озадаченно крутил головой.

— Вот уж двадцать пять годов... — пробормотал он вздыхая. — Убежал в море... Морянка была... такая же вот свеженькая, как сейчас. Случилось это с ним, когда был выпимши. Любил под парусом один встречь ветру по шквалам гулять.

Я нетерпеливо ждал, что будет дальше с Иваном Буянычем, но жиротоп опять замолчал и задумался. Мне было досадно, что он замолк на самом интересном месте: куда побежал один Иван Буяныч? что с ним случилось? почему двадцать пять лет о нём ни слуху, ни духу? Тут уж была какая-то тайна, и была переплеталась со сказкой.

— Дедушка! — с жалобной настойчивостью крикнул я, встряхивая его колени. — Дедушка, рассказывай, чай!. Иван-то Буяныч утонул, что ли? Аль, может, разбойник был?

Ермил вздрогнул и опаматовался, словно я ударил его. Но, очевидно, вспомнив, что перед ним парнишка, оттолкнул меня, а потом сразу схватил за плечо и дрябло засмеялся.

— Чего болтаешь-то, сатанёнок? Это Иван-то Буяныч разбойник? Да такого человека искать — не сыщешь. Последнюю рубашку товарищу отдаст. А заболей, всё бросит и сам будет отхаживать. Одна шквалом человека сбросило в море, буря была неисповедимая. Он кинулся в волны и спас его. Ну-ка, в шторму-то попробуй броситься в море — верная смерть. А он и не подумал о себе. Как был в бахилах, так и кинулся в пучину-то. Хоть и бесстрашный народ, через всякие беды прошёл, а вся команда в одночасье онемела. И сейчас в ум не возьму, как это он не утонул и человека вызволил. А ведь посуду-то как щепку бросало и его с товарищем вверх швыряло, шквалами заливало, а то и прочь отбрасывало...

Старик разволновался, вспоминая об этой буре, и задыхался, хватая воздух открытым ртом. Тусклые глаза его застыли в ужасе. Но я по-

нял, что эта тяжёлая одышка и страх в глазах — не от того, что он заново переживал это далёкое событие, а от старческой слабости. Он долго кашлял — хрипло, со свистом, изнурительно и, измученный, прилёг на песок. Отдохнув немного, он поднялся и опять обхватил руками свои колени. А мне как-то не верилось, что этот одряхлевший старик был когда-то лихим моряком, ловким, бывалым и сильным парнем, который боролся со штормами и ватажничал с какими-то удалыми богатырями.

— Молчок, сверчок! Проживи с моё, поборись с бурями да с бедями — и ты такой будешь, как вот та баржа-старица. А старость для нас — напасть да бесславые. Иван Буяныч только одного и боялся — дряхлости. Старость — зазор, мол, да наказание для человека. Судьба — неправедный судья: она всех в один невод гонит и в одном чану солит. А я, мол, поперёшный уродился — наперекор люблю жить: хоть и в наём иду, а в неволе не буду, хоть встречу буре бегаю, а ей не поддамся. Я деву-Моряну люблю, и Хвалыну предан, а спорю с ним с открытой удалью. Говорок уж больно красный был да и мастер разные чудеса разводить.

Хотя старик и кашлял и обрывал свой рассказ, но в хриплом, клочущем его голосе слышалась внутренняя сила и убеждённость. Я даже перестал замечать его дряхлость, захваченный его рассказом. Так молодо старики не вспоминают о прошлом: все они сокрушаются о глупости молодых лет, стонут и стараются показывать свою беспомощность и греховность, словно хвастаются своими старческими недугами. А жиротоп Ермил досадовал на свою одышку и кашель и шутил над своей старостью. Он, должно быть, любил вспоминать свою молодость и гордился ею: сильный был, ловкий, удалой моряк, который не боялся ни бурных непогод, ни гибельных опасностей. А ватажная вольница была надёжной защитницей от всяких напастей, где каждый стоял друг за друга, где каждый ценился по его силе, умелству и верности и где никто не знал ни усталости, ни уныния, а веселились да гуляли, как богатыри. И вот теперь он, должно быть, видел во мне не просто парнишку, а человека, перед которым охота ему заново вспомнить дни молодости. Я видел, что глаза его свежели и весь он как будто становился бодрее, сильнее, коренастее. Он, вероятно, был одинок, покинут и забыт всеми, как не нужная никому человеческая головешка, и рад был всякой живой душе, которая доверчиво подходила к нему. Я почувствовал в нём человека, который сохранил в себе страстную привязанность к морю, любовь к сильным и мужественным людям и, очевидно, не хотел знать молодости без удали и подвигов. Вот волнуется море, бушует, бьётся в берега, а он смотрит на него, не отрываясь, и улыбается. О наших людях он ничего не говорил — ни доброго, ни худого: они будто не интересовали его, а к смерти Гордея отнёсся безучастно. Он жил только образами своей вольной юности и считал и себя и своих бывших друзей людьми особой породы, а люди, с которыми он жил сейчас, казались ему, должно быть, незначительными, бедными духом, не способными ни на какие отважные дела. Я одно уловил в его глазах — любовную зависть к своему другу Ивану Буянычу, который поднял бунт против судьбы-злодейки и бесстрашно ушёл в безвестные дали.

— Поведал он нам такую свою былинку, какую люди зовут небывальщиной, — вспоминал старик. — Шутейными небывальщинами никогда он нас не морочил: слов зря на ветер не бросал и лжу хуже холеры считал. Холера от грязи да мерзости, а лжа от коварства. За лжу готов был убить человека, а хвальбишек на позор пускал. Одна на стану такого вряля нагишом через народ прогнал. А тот от стыда и на

глаза не явился — сгинул. И вот то с Иваном Буяныч было. Заиграла свежая морянка и погнала волны на берега. У Буяныча в такие часы кровь закипала. Пробушается и явится твёрже камня. И вот стал он замечать в такие буиные разы, что кто-то голос подаёт с моря, как верблюжий рёв: то ли человек гибнет, то ли озорует. Да и человеку-то в этой волне быть несуразно. И далеко будто голова маячит — скроется и опять покажется, и рукой кто-то машет. Сердце у него голубем забилося, и обуяла его сила. И не помнил, как снялся с песку и стрелой полетел под парусом. Плыл-плыл — пусто кругом, одни шквалы бушуют, а голос ревёт и ревёт. И вдруг почудилось ему, что посуду завертело в водовороте, как соринку, да так завертело, что и свету не взвидел, только небо вихрем закружилось. Уж на что наш Иван Буяныч неробок был — бесстрашный человек, да не выдержал: схватился за голову и на дно посуды рухнул. И думка в голове: откуда бы в этих местах водоворотам да пропастям быть? Тут на норде-то и тюленям мелко. А кругом штормовая буря, шквалы бушуют. Долго ли, коротко ли так его волчком крутило — очнулся и обневедался: нет ни посуды, нет ни шквалов, ни водоворота, а стоит он на чудной улице, и вся она радугой сияет: это раковины да жемчуга на земле рассыпаны. По обе стороны неводá сверху вниз спускаются в крупных ячейх, а за ячейми — зелёная вода, как хрусталь, переливается, в ячейх — плёнки, как мыльные пузыри, всеми цветами играют. И по одну сторону за неводами зелёная пучина, и по другую зелёная пучина. И в пучине этой морской рыбы стаями гуляют. Тут и осетры, и белуги, и стерлядки, тут и частички — сазаны, лещи, вобла... Чешуёй блещут... И всякая прыткая мелюзга кишит и резвится. Поднял Иван Буяныч голову, видит: наверху зелёная зыбь плывёт, лёгкая, как лазоревое марево. А вдоль по улице по обе стороны трава плетями да космами вверх тянется, а в них рачки да всякие вертуны порхают. Стоит Иван Буяныч и не знает, что делать, и мысли не соберёт: куда попал? что за чудо с ним случилось? во сне вся эта диковина али наяву?.. И одно думает: всё в своей жизни испытал, всякие виды видал, а такого с ним дива ещё не было. Думает, дивуется, оглядывается и видит: за ячейми толпятся косяки всякой рыбы и особенно благородные осетры да севрюги — стоят, как люди, смотрят на него, плавниками помахивают, изгибаются, кланяются, а между ними шныряют серебряные сельди да шемая. И диво: подступили к нему два тюленя, подхватили под руки и приветливо этак повели по улице — в низинку. Дивуется Иван Буяныч: чувствует, что лёгкий весь, словно бестелесный, и шагает плавно, не слышит, как ноги на раковинки наступают. Рыбы за ячейми его провожают, радуются, как гостю дорогому. «Где я? — спрашивает он тюленей-то. — Живой я али мёртвый? и куда вы меня ведёте?» А они молчат и, знай, ведут его под руки. И чудится ему, что он не идёт, а плывёт-плывёт и не колышется. И вот доставили его в сад прельстительный. Сад для глаза невиданный: и деревья кругом на земные непохожие — непроходные да длинные, как канаты, и кудри ихние где-то высоко зелёную дымятся. Из травы морской грибы большущие глядят и цветы вроде пены колышутся. И везде-то всякая длинноногая да длинноусая тварь порхает. Никак Иван Буяныч надивиться не может: впереди будто вода туманится — сплошная пучина, а идёт он — вода расступается, словно тает, и за ячейми стеной хрустальной поднимается. Очутился он перед дивными хоромами — из коралльцев, из пемзы, из грецких губок. А стены-то облицованы рыбьей чешуёй да ракушками, и весь дворец перламутром горит. И встречает Ивана Буяныча старик с длинной седой бородой во всю грудь, с седым руном на голове, — да не вышел, а словно

выплыл. Длинные у него бороды, ног не видеть, с длинными рукавами до земли. И почесав у синему плису искорки пересыпаются. А на голове огромная раковина, вроде как корона сияет. Окружают его слуги — тюлени невиданного роста, осетры, лососи и всякая благородная рыба. Почудилось Ивану Буянычу, что прибой загудел и тюлень замычал, а это он, хозяин морской заговорил, и пузыри у него из бороды посыпались — посыпались и закружились над ним, как живые. «Знаю, говорит, тебя, удалой моряк, буйный рыбак, Иван Буяныч. Я — хозяин морской, Хвалын бессмертный. Давно, говорит, ты мне полюбился за храбрость твою, за смелость, за приверженность к морю моему. И никому, как тебе с твоей ватагой, я посылал богатые уловы, и всё из драгоценной рыбы. И знаю характер твой, Иван Буяныч: норовистый, борцовый, своевольный у тебя нрав. Ты не только спроть штормов моих выходишь с открытой грудью, да ещё у тебя кровь удалая играет. Другие от страха головы теряют: и волной их смывает на добычу моим тварям, и посуду их разбивает. А у тебя и снасти невредимы, и сам шутками дух у товарищей подымаешь, и песни с ними поёшь. Сперва, говорит, разгневался я на тебя, озорника, за дерзость твою: как это ты с моим нравом не считаешься, наперекор мне на рожон идёшь! А потом телохранитель мой, Усан-Тюленьич, открыл мне, что сестра моя дева-Моряна души в тебе не чаёт и хранит тебя от моего гнева. И внушает она тебе безумные мысли — с судьбой своей бороться, с её вековешным врагом, чтобы тобой завладеть и в облачные свои владенья унести. А того не ведает, дура, что спроть судьбы человеческой ей силы и власти не дано. Сила-то да власть — во мне. Говори, что тебе дороже всего на свете, чем жизнь человеческая хороша и какого счастья человек добивается?» Не сробел Иван Буяныч и сердцем распалился. «Я, говорит, ваше степенство, Хвалын бессмертный, тебя даже очень уважаю и к тебе привержен. Также и за благодати твои низко тебе кланяюсь. Только рабом твоим не буду, хоть и пленник твой. Я свободу люблю превыше всего на свете. А жизнь хороша буйной молодостью. А счастье для меня — силой да мощью своей радоваться да распоряжаться по своему хотенью. Тебе хорошо здесь на дне морском властвовать да рыбами помыкать, а погляди, чего у нас на земле делается: одни люди мучаются, свету не видят, а другие из них кровь пьют и жиреют, как твои тюлени. Вот как судьба-злодейка людей без вины пытками терзает и в бездолье старостью казнит. А я, говорит, не хочу ей, судьбе, старой хрычовке, подчиняться, и бунтовать буду бесперечь. Дай мне силу да молодость негленную, я бы и землю всю и море на свой лад переделал: всю эту нашу людскую бестолочь, человежье убойство и кровопийство изничтожил...» Ну, тут и Хвалын бессмертный распалился, и всё вокруг него заволновалось, забеспокоилось: того и гляди, вода хлынет через все ячеи и всё снесёт водоворотами. Муть поднялась, потемнело кругом. И рыбы, и всякая морская живность в разные стороны бросились. А Хвалын бородой трясёт, дрожит весь от гнева, и из глаз зелёные искры брызжут. Заревел он, как верблюд: «Как, говорит, ты смеешь такие дерзкие слова изъяснять! На мою вековешную власть хочешь посягнуть? За такой твой человеческий бунт я всю землю залью и всю людскую тварь утоплю». А Иван Буяныч решил: всё едино погибать — лучше уж погибнуть смело да буйно. В буйстве да удали и смерть не страшна. Смеётся он и говорит неустрашимо: «Зря ты, Хвалын бессмертный, злобишься. Я ведь подумать могу, что ты это в раж вошёл от страха передо мной. Кто ярится да бесится, тот в себя не верит и всего боится. А я вот и глазом не

моргнул от твоего самодурства. Сам же ты заставил мои думы мои заветные тебе высказать...»

Тут тюлень-великан нагнулся к Хвалыну и чего-то ему шепнул. Хвалын сразу повеселел. «Верно, говорит, Иван Буяныч, зря горячку я спорол. Я сам люблю норы свой показать да поиграть в буряну. Вот я хочу испытать силу твою да хитрость в моей вотчине. Поборись перед моим лицом с этим вот моим телохранителем — Усаном-Тюленьичем. Поборешь его — сейчас же на волю отпущу и награжу, а ежели он тебя сомнёт — таким ты у меня останешься на веки вечные». Как прорычал это Хвалын — душа в пятки ушла у Ивана Буяныча: тюлень-то весь хоть шерстью покрытый, а склизкий да жирный — схватить его не за что. Да вспомнил Иван Буяныч, что у тюленей одно притишное место есть. Он всю жизнь на них охотился. А притишное у них место — ноги: тюлени-то ни сидеть, ни стоять не могут. Одно было только чудно: тюлень-великан рядом с Хвалыном стоял, как солдат. А когда тюлень-великан к Ивану Буянычу словно по воздуху поплыл да задними лапами, как рак своим хвостом, захлопал, вспомнил Иван Буяныч, что сам без весу остался. Бороться ему — не с руки. Видит, глаза у тюленя мстительные, зубами щёлкает: ведь у них, у тюленей-то, один враг — человек. И по правде сказать: истребляли у нас тюленей этих без всякой жалости. На земле-то с этим чудищем легко справиться, а здесь — верная смерть. Ну, конечно, Иван Буяныч на такое коварство обиделся: «Ты, говорит, ваше степенство, Хвалын бессмертный, неправедно делаешь, как наши промысловые хозяева». Хвалын опять взъерошился: «Как так неправедно? Ты — силач, и мой Усан-Тюленьич — силач. Оба ловкие, кто-кого?..» — «Неправедно, ваше степенство, Хвалын бессмертный: твой Усан-Тюленьич — в водяной вотчине, а я земной человек. Как же я у тебя здесь без веса-то бороться буду? Гляди-ка!» И Иван Буяныч подпрыгнул и, как пузырь, кверху поднялся и опять плавно опустился. «Нехорошо, говорит, не честно, ваше степенство, самодурство своё показывать. Я хоть и пленник твой, а вроде как бы гость у тебя. Такого коварства и у судьбы-злодейки нет». Этими словами он донельзя поразил Хвалына: тот даже в конфуз вошёл. И, скажи пожалуйста, Иван-то Буяныч не будь плох — шарахнулся к Усану-Тюленьичу, взмахнул руками, хлопнул в ладоши да в морду ему волком заревел. А тюлени страсть какие пугливые! Перевернулся великан вверх тормашками, задрожал весь и стрелой юркнул к Хвалыну. Спрятался за его спиной и других тюленей до смерти испугал. Трясётся там, и слёзы из глаз ручьём льются. Тюлени-то ведь беда как слабы на слезу! А Хвалын оглядывается, переступает с ноги на ногу и бороду свою теребит. «Ну, говорит, Иван Буяныч, правда твоя истинная: сконфузил ты меня. Знал я давно, что сильнее да хитрее человека никого на свете нет. А вот сейчас сам вижу, что человек-то и на дне моря хитростью могучий. Будем жить с тобой в любви да дружбе. Ты — гость мой дорогой. Обещаю тебе вековешную молодость: судьбу-слепуху, ведьму-старуху от тебя отведу. Только ты должен в вотчине моей пожить и на спокойе красоту свою молодую как жар-цвет негасимый сохранить. А сейчас пойдём в мои чертоги — пировать да веселиться». Махнул он рукавом своим парчёвым, и вся его челядь — и рыбы, и тюлени, и вся тварь морская — хороводом закружилась, а Ивана Буяныча осетры к Хвалыну подвели, и рядом с ним в чертоги с почётом понесли. А чертоги-то немыслимой красотой сияют, и несметные в них богатства рассыпаны — и золото-серебро, и камни драгоценные, и раковины-радуги, и жемчуга... А столы от разных яств да напитков ловмя ломаются. И видит Иван Буяныч: выходит из хором красавица неписаная, с распущенными воло-

сами, как до самой земли, в шелка, словно туманом, одетая. А за ней толпа — одна другой краше. И все они не идут, а плывут на лёгких облачках. Посадили Ивана Буяныча рядом с Хвалыном, девица-красавица по другую руку от Хвалына села, а подруги её, как пчёлы, её окружили. И вкрут столов тьма-тьмущая рыбы всякой кишит и тюлени толпятся. В глазах зарябило от золотой да серебряной чешуи, бляшек да мехов дорогих. Долго ли, коротко ли пировали, только Хвалын захмелел, а на Ивана Буяныча морские напитки и не подействовали. Тут музыка штурмом грянула, и Хвалын плясать пошёл. «Хочу, говорит, с гостем своим дорогим, да с сестрицей Моряной нетленной усладиться — русскую плясать. Лучше да забористей русского трепага никакой пляски нет. А девчата пускай музыкой потешаются». Девицы заиграли на гусях и запели весёлые пригудки. А Моряна поплыла, как пава, и ветерок от неё на Ивана Буяныча подул ароматный. Распалилось у него сердце, залюбовался на такую красавицу: пустился своё мастерство показывать, а плясун-то он был отменный. Зес-то он потерял, зато волчком невзвидимо вертелся, а подпрыгивал до самого кумпола. Хвалын такого плясуна сроду не видал — совсем осатанел: «Как это допустимо, рычит, чтобы меня, морского хозяина, который небо шквалами обмывал, посуды да корабли в щепки разбивал, этот рыбак, Иван Буяныч, за можай загоняет? Не потерплю!» И прямо бешеный стал — такие колена стал выделывать, что чертоги затряслись и тварь вся с ума сошла. А Моряна-красавица отгеснила в сторону Ивана Буяныча и ветерком его обдула. «А, говорит, люблю тебя, Иван Буяныч, и душу твою веселю. И ты меня донельзя любишь. Ты, говорит, Хвалыну уступи: пускай он думает, что тебя переплясал. Он тоже тебя давно жалует. Только не терпит, когда ему перечат. Он тебя к себе заманивает, а ты опасайся. Молодость-то он при тебе оставит, да за это навек тебя заполонит. Я-то тебя сейчас вызволю, а ты потом не соблазняйся отдать ему себя за всковешную молодость. Молодость-то хороша в вольности, а в неволе — хуже старости. А ежели, говорит, не выдержишь и соблазнишься — добра не жди: человек здесь истомится без солнца да от бестружья. И захочется тебе размахнуться, забушует твоя силушка и тоска занюет в сердце по земле-кормилице да по друзьям-товарищам. Взволнуется тогда наше море, да я тебе уж ничем помочь не смогу: ведь я тоже солнышком да воздухом живу, просторы голубые обожаю». Мигнула она ему, кивнула своим девушкам, и они его туманцем обволокли и, как пушинку, на самый высокий кумпол, на круговые галдарейки вынесли. А вверху голубое марево волнуется. Обняла его Моряна белыми руками, такими лёгкими, что Иван Буяныч совсем их не почувял. И вдруг, скажи на милость, новое чудо: закружились роем девицы-красавицы, вихрем их хитоны и длинные волосы залетали, и тихонько запели они дивную песню. И тут же из глаз скрылись, а на место их водоворот закрутился, и весь-то он из пузырей сотканный. Завертело Ивана Буяныча, кинуло его куда-то ввысь, а он и память потерял. А когда очнулся — насилу очухался: лежит он в своей посуде, парус на ветру бьётся, и волны на отмели пляшут. Посуда лежит на боку, на песке, и солнышко ликует, а чайки над посудой вихрем кружатся, как эти девушки, Морянины подружки...

Вот какое диво с Иваном Буянычем произошло. Рассказывал он об этом своём приключении, а мы, верь не верь, уши развесили — обо всём забыли.

— А может, это ему во сне привиделось? — робко спросил я, за-

чарованный этой сказкой. Но жиротоп сердито покосил на меня и передразнил:

— Привиделось!.. Во сне!.. Чего ты понимаешь? Сколь дён ты на свете ползаешь? Привиделось! А зачем, скажи, Иван Буяныч так же вот побежал на паруснике, и больше мы его не видели? Долго он тосковал после этого случая, прямо больной стал, руки опустились... Седеть начал — пойми! И вот... так оно, должно, и сбылось. От судьбы своей убежал, другую судьбу нашёл. На свете, браток, всякое чудо бывает. А глядишь, это чудо-то для ума человеческого — вовсе не чудо, а только загадка. Вот оно как, браток! Вникай, учись уму-разуму, трудись, мудрых людей умеешь отличать и не забывай меня, старика, а особенно Ивана Буяныча. Держи в памяти всяк час, что Иван-то Буяныч и в морской вотчине своего добьётся — и молодости вековешной, и слободы ясной... Ну, я пошёл в свою жиротопню...

Он заковылял с черпаком на плече к жиротопне, а я долго сидел на песчаном кургане и смотрел на бегущие ко мне волны и на бурные взлёты прибоя внизу. И мне чудилось, что там, далеко, роятся девицы-красавицы, подружки вечно молодой Моряны, что мерцает где-то на горизонте чудесный белопарусник, и Иван Буяныч радостно несётся к нашему берегу. Такой странной сказки я ещё никогда не слышал, и я впервые поверил в её бытие, потому что старик Ермил, лихой моряк в молодости, дружил с этим сильным и смелым жизнелюбцем Иваном Буянычем, и рассказал о нём простыми обиходными словами. Я верил, что это было именно так, как рассказывал он, и видел, как живых, и Ивана Буяныча, и волосатого, седого Хвалына, и красавицу Моряну, и осетров, и тюленей. И всё-таки это была сказка, полная чудес, каких в жизни не бывает, но о которых мечтают люди. Берит в свои мечты и Феклушка — в ангелов, которые прилетают к ней каждый день. Гриша мечтает о своих действиях и верит, что он каждый год превращается в Стеньку Разина, а Харитон и Прасковья мечтают вместе с Гришей о какой-то борьбе за счастье, за вольную долю. Кашарка тоже поёт песни на курганах о молодом батыре-освободителе. И у всех у них лица светлеют, глаза блестят радостью и верой в свою правду.

Нет, в нашей жизни тоже есть красота, и люди творят эту красоту постоянно. Да, резалки и рабочие надрываются на работе, с них дерут кожу и подрядчица, и контора, они задыхаются в казарме и едят болтушку с сырым хлебом, болеют они и гибнут, — но Харитон играет на гармонии, как волшебник, а Балберка мастерит птицу, которая летает, как ему хочется, и нарядных людишек, которые оживают и веселятся по его желанию. Гриша — весёлый умница и артист, как его называют ватажники: он умеет действием своим поднимать дух у людей и заставляет их верить в свои силы и в близкое счастье.

Так, приблизительно, думал я в эти минуты, а если не думал, то чувствовал, взволнованный волшебным рассказом жиротоба Ермила.

Настали студёные дни. Море почему-то не ушло от нашего берега, и целый день его масляная, блистающая гладь окрашивалась в разные цвета, а при заходе солнца горела золотом и красным пламенем. Это был последний месяц осенней путины, когда люди надрывались на работе до упаду.

Парусники караванами бороздили море, разбегались к промыслам с пришвартованными прорезями. Наш плот был завален рыбой и блистал живым серебром. Бондаря работали на дворе — собирали новые

огромные ч Звенели и грохотали, как барабаны, топоры и молотки. Вдоль старых базов рабочие копали котлованы для этих чанов и ставили столбы для новых лабазов.

Море ослепительно сверкало и плавилось огненным разливом и играло роями искр, таких пронзительных и колючих, что больно было смотреть. Чёрными стайками юрко пролетали над водой чирки и неуклюже, тяжеловесно проносились с места на место жирные бакланы, хлопая крыльями по воде. Далеко, у самого горизонта, белели парусники.

Я проводил на песчаном берегу весь обеденный час, и мне было приятно отдыхать от утомительной работы на мехах и дышать пахучим воздухом моря после удушающего, угарного дыма и железной окалины. Я смотрел в мерцающий горизонт и вспоминал, что там, где-то недостижимо далеко, находится Астрахань, что в Астрахани — отец, который ездит извозчиком на пролётке. Мы послали ему несколько писем, а он прислал нам только одно. Оно было короткое, в нём были только одни поклоны, но кончалось словами: «Я послал батюшке по почте два рубля, а он пишет, чтобы я высылал ему по трёшнице, а то грозитесь вытребовать нас по этапу». И сам грозил матери: «Живи чинно, благородно, а чтобы вольность допускать — и в мыслях чтобы не было — убью». А обо мне — ни слова: меня у него тоже, должно быть, в мыслях не было.

Грустно вспоминалась Раиса, которой я так и не написал письма: марки не было. А Дунярка стояла живой перед глазами и, голенастая, озорно смеялась и жеманно приседала: «Чихирь в уста вашей милости!..»

Однажды я увидел на горизонте дым, который густел, поднимался выше и выше и расплывался мутными облачками. Потом вынырнула лёгкая шкунка, такая же, как у купца Бляхина. Она бежала бойко, и в прозрачном воздухе хорошо было видно, как острый её нос разрезал воду и отшвыривал её в обе стороны. Завыл гудок, и гул разнёсся по всему побережью.

Вместе с двумя рабочими в высоких и широких сапогах прошёл управляющий в пальто и шляпе. Очень худой, он горбился и наклонял голову, словно искал что-то на песке. У плота стояла большая бударка, заново просмолённая, с синими вёслами. Шкуна остановилась далеко, подплыть к берегу она не могла — мелко было для неё. Лодка отчалила от плота, и рабочие торопливо замахали вёслами. Управляющий не сидел, а стоял у кормы и пристально смотрел на шкуну.

Неожиданно ко мне подбежал Гаврюшка и сунул мне в руку книжку — грязную и растрёпанную.

— Держи! Из школы принёс. А ты всё на мехах стоишь? Прокоптился весь, как чёрт: воняет от тебя, как от жиротопа. Брось дурака валать, всё равно тебе ни копейки не заплатят. Папаша сказал, что у кузнеца подручный есть, а тебе болтаться там нечего.

Я показал ему на шкуну и похвалился:

— Это купец Бляхин прибежал. На этой шкуне он нас в море настиг. Эх, и потеха была!..

Гаврюшка, поражённый, впился в моё лицо своими горячими глазами и завистливо ухмыльнулся. Он понюхал лёгонький ветерок с моря и живо подхватил:

— Значит, бой был? Рассказывай, как было... Вот это приключение! А ты ещё молчал...

Мне приятно было видеть его удивление и зависть: у меня, оказы-

вается, больше было приключений, чем у него. Хоть он и был на морском берегу, а в море не был и ничего не видел. Что окончательно взять над ним верх, я сразил его:

— А видал ты, как тюлени гармонию да песни слушают? Со смеху подохнешь.

Но он не удивился, а спокойно отразил мой вызов:

— Это что... Папаша рассказывал, как они пляшут под музыку.

Это уже было очевидное хвастовство: ясно было, что Гаврюшка хотел меня перещеголять. Ему было завидно, что я был свидетелем и участником приключений, о которых он и мечтать не мог.

— Вот и врѣшь. А ещё отец хвалил тебя, что ты правду говоришь. Признавайся: отец не рассказывал тебе, что тюлени под музыку пляшут. Сам выдумал. Мало ли тебе кто небылицу в лицах наболтает... А я сам видал.

Он смущённо замигал и отвернулся, но не хотел сдаваться и огрызнулся:

— Ерунда какая-то с тюленими... Ты не испытал, какие ночью приключения бывают. Я один отважился к папаше на Эмбу пробраться. Помнишь, я тебе рассказывал? А кругом волки воют — того и гляди сворой набросятся. С одной палкой-то в руках драться с ними не всякий горазд. А на бударке в бурю с волнами бороться — шутка?

Мне было жалко его: он хотел показать себя передо мною героем, но говорил обиженно, словно оправдывался.

— Ну, ладно, живёт... — примирительно уступил я ему. — У нас с тобой ещё всякие приключения будут. Вот зимой мы на чунках в море по льду поскачем. Этого я ещё сроду не испытал. — Но не удержался и упрекнул его: — Ты вот сулил учить меня, а прячешься. Приключения, приключения... а в казарму ко мне прийти храбрости нет.

— А зачем ты меня злишь? Хочешь, сегодня вечером к тебе приду?

— Придёшь, как же... Посул всегда надул.

— А я приду. Я только боюсь, что хозяин папашу прогонит. Вот прибежал хозяин-то, а папаша хмельной.

— Ничего не прогонит, — утешил я его. — Хозяин сам сюда на разгул прибежал. Все знают, зачем он сюда на ватаги-то приезжает. И пьёт, и с холостыми бабами гуляет.

Гаврюшка задумчиво поглядел на море, сверкающее, ласковое, на лодку, которая вдали стала очень маленькой, и лицо его судорожно задрожало. Он переживал какое-то большое горе. Должно быть, ему было тяжело возвращаться домой, где мать держала его взаперти, и он прямо из школы прошёл сюда, на берег, чтобы побыть одному на свободе. Он любил меня и рад был встретиться со мною: я видел это по его лицу, которое вспыхнуло, когда он подбежал ко мне. А в эту минуту я почувствовал, что он хочет пожаловаться мне на свою тоску, но ему стыдно было показать слабость. Только сейчас я узнал, что друзей у него не было, что наша клятва в верности друг другу — для него не игра.

Лодка отплыла от шкуны обратно. В ней сидели два человека. Даже издали было видно, что на них хорошие чёрные пальто. Один в шляпе, другой в картузе.

Позади них у кормы стоял сутулый управляющий.

Гаврюшка плаксиво крикнул:

— Ой, папаша идёт!.. Беда будет...

И пустился бежать навстречу Матвею Егорычу, который шёл степенно, широкими, тяжёлыми шагами. Огромные его сапоги с высокими голенищами казались железными. Он надвинул кожаный картуз на самые брови и разглаживал бороду и усы то одной, то другой рукой. По

походке было, что он пьяный, да и лицо у него было, как всегда, суровое и недоточенное. Гаврюшка подлетел к нему, схватил его за руку и начал что-то надрывно говорить ему, но отец не обращал на него внимания. Потом вдруг остановился и задумался.

Дробно зазвонил колокол на земляной крыше выхода — звонил не так, как обычно, а долго и тревожно. Я понял, что он оповещал ватагу о приезде хозяина и гнал всех из казармы встречать своего владыку. Мне хотелось поглядеть, как выйдут на берег гости и чем кончится борьба Гаврюшки с Матвеем Егорычем, но надо было бежать и навстречу резалкам и рабочим, которые соберутся у конторы. Все ждали приезда хозяина, как большого события на ватаге. Те рабочие, которые обивали пороги трактиров, ликовали: хозяин здесь обязательно загуляет и выставит ведро водки. Баб и девок он соберёт в свою большую горницу, заставит их услаждать себя песнями и плясками и будет оделять деньгами. Но Прасковья и Гриша были встревожены и озабочены: они уговаривали девчат и холостых женщин не соблазняться хозяйским гульбищем, потому что ничего, кроме бесчестья, они не получают, а кончится вся эта бестолочь слезами.

На плотовом дворе шевелилась большая толпа — вышли обе казармы. Подрядчица металась в разные стороны и, красная от волнения, надсадно кричала:

— От ворот до крыльца в две стенки протянемся. По ту сторону — мужики, по эту сторону — бабы с девками. Зарубите на носу: раздельно. Девки и холостые в певом ряду, семейные и постарше — позади. А когда будет проходить благодетель, все ему низкий поклон отдайте, а потом сразу же песню величальную запойте! Ну, скорей! Пойдёмте за мной! Чтобы все были на месте, чтобы чинно, благородно... А ежели кто засамовольничает, отобьётся — штрафом зарезу или совсем с промысла прогоню... Ну, пошли, пошли!

Но приказчик стоял поодаль, заложив руки за спину, и как будто не слышал криков подрядчицы. В толпе перекликались и пересмеивались резалки и позвякивали ножами и багорчиками. Прасковья стояла высокая, сердитая, откинув голову назад. Около неё сбились в кучу Оксана с Галей, мать с Марийкой и Наташей. Подошёл к ним Гриша и, посмеиваясь, начал говорить с Прасковьей горячо и весело. Прасковья улыбнулась и посветлела, а женщины дружно захохотали.

— Ну, девки! Ну, ребята! — с озорной злостью крикнула Прасковья. — Пошли, что ли, величать нашего благодетеля! Поблагодарим его за каторгу, за хлеб горький да сырой, да за смерть Малаши и Гордея. В кои-то веки придётся покрасоваться перед ним...

Приказчик махнул рукой и пошёл впереди толпы — один, словно хотел быть подалее от этой канители. Подрядчица с ужасом в лице оглядывалась на толпу, отбегала в сторону и юрко проверяла, не отстал ли кто. Несмотря на свою толщину, она легко и притко егозила перед толпой, пятилась, подпрыгивала и выкатывала глаза.

Приказчик прошёл к воротам, выглянул из-за вереи и торопливо зашагал к конторе.

— Идут! — крикнул он с испуганной улыбкой.

Толпа как-то сама собою разделилась на мужчин и женщин и растянулась от самых ворот до высокого крыльца конторы. Между живыми стенками — чёрной и белостанной — образовался проход шириной сажени в две. Я пробрался к Грише и стал рядом с ним, но он поставил меня перед собою.

— Ты уж, Васильич, стой передо мной защитой. Тут нас с тобой не согнёшь. Одна спина от поклонов горбатится.

Он с огоньком в глазах оглядел толпу и шутиливо к ней обратился:
 — Ребята, не играй в прятки, держись в порядке! Бери не ломай, а ешь глазами начальство. У лести нету чести. А мы с Васильичем, как верблюды, головы вверх задираем.

В разных местах засмеялись и, должно быть, тоже стали заниматься шутками: по обоим длинным рядам перекликались весёлые и злые голоса.

Гриша озабоченно спросил кого-то за своей спиной:

— Как там наши ребята-то?

Голос Харитона тихо ответил:

— Шевелятся. Вот не знаю, как резалки отличаются... Бабы любят кланяться да причитать.

— Ну, на этот счёт и мужики не уступят. Чёртова привычка. На резалок я больше надеюсь.

Кузнец в кожаном фартуке стоял неподалёку от нас и бормотал в бороду, а молотобоец Степан скалил зубы. Лицо у Прасковей было бледное и недоброе. Рядом с ней стояла мать с красными пятнами на щеках, но ни Оксаны, ни Марийки с Наташей около них уже не было.

Вдруг стало тихо, и люди застыли, повернув головы в сторону ворот. Пустобаев в поддёвке шёл вразвалку, с тяжёлой важностью, огромный, с опухшим лицом и заплаканными глазами. Рядом с ним шагал купец Бляхин в длинном пальто, в котелке, с русой стриженной бородкой, с блуждающими пьяными глазами. Он поворачивался то в одну, то в другую сторону и щёлкал пальцами.

— Подрядчица у тебя молодец! — подтолкнув локтем Пустобаева и вглядываясь в резалок, сказал он громко. — Опытная подрядчица: знает, какой товар хозяину показать. Бабёнки ядрёные.

Пустобаев шёл молча, грузно и безучастно, как владыка, который волен казнить и миловать каждого из этой густой толпы.

И тут произошёл неожиданный конфуз: хозяину не отвешивали дружного поклона, только кланялись ему поодиночке, и больше пожилые бабы да кое-кто из мужиков, а все глазели на гостей с тревожным любопытством. Некоторые с запоздалым испугом сгибались, а потом растерянно озирались. Прасковья смотрела в сторону, словно ей противно было видеть этих упитанных богатеев и стыдно стоять здесь в унижении. Мать робко прижималась к ней, и видно было, что ей трудно бороться с собою: её с детских лет приучили кланяться и подставлять голову под удары.

Подрядчица закричала где-то в стороне:

— Кланяться надо, кланяться господину хозяину! Конфузите вы меня, баранта чёртова!

Голос Оксаны озорно успокоил её:

— Хозяин и без тебя знает, что здесь народ вольный, а не баранта. Ты у себя в красном фонаре распоряжайся девками, а здесь — ватага, а не позорный дом...

Обе толпы зашевелились, в разных местах засмеялись, волной прошёл смутный разноголосый говор. Прасковья вспыхнула и посвежела, заулыбалась и мать. Хозяин остановился, откинул обеими руками полы поддёвки и с усмешкой в зорких и властных глазах осматривал людей.

— Эх, какие озорницы эти ватажницы! — с удовольствием засмеялся Бляхин. — Значит, отчаянная пляска будет... и песни забористые. Не здесь ли и моя Анфиса?

Управляющий преданно уставился чахоточным лицом в глаза хозяину и ждал приказаний. Матвей Егорыч, опухший от хмеля, но с трезвыми глазами, стоял, заложив руки за спину. Гаврюшка будто ссохся за

это король, время и пережил какое-то потрясение. Он прижимался к отцу и не дел меня, хотя я стоял близко от него. И я почувствовал, что если бы сейчас хозяин или управляющий вздумали распекать его отца, он защитил бы его собою или кинулся на обидчиков с кулаками. Я улыбался и кивал ему, но он стоял, как слепой.

Хозяин знающе поглядывал на лица резалок и рабочих и расчёсывал толстыми пальцами бороду и усы. Глаза его смеялись, но он притворялся грозным. Задыхаясь от толщины, он сопел, отдувался, побрякивал:

— Ну? Что же? Здорово живёте, ватажники, вольная команда!..

Харитон насмешливо и громко поправил его:

— Ведь это на каторге вольная-то команда, хозяин.

Пустобаев не смутился, искал глазами Харитона и добродушно спросил:

— Аль ты был на каторге-то, что знаешь, где место вольной команде?

Харитон так же насмешливо ответил:

— Ты сам, хозяин, сказал, что здесь — каторга.

Я почувствовал, как пальцы Гриши сжали мои плечи. Он поперхнулся и кашлянул. Хозяин подхватил под руку Бляхина и похвастался:

— Ну? Какой у меня народ-то? За словом в карман не лезет.

— От-чаянный народ! — согласился Бляхин. — Вольница! Смелее рыбаков никого нет. Кто с морем спознался — и чёрт не страшен, не только хозяин. По себе знаю.

Матвей Егорыч смотрел в землю и встряхивал плечами. А управляющий вытянул шею в сторону Харитона и, стараясь сохранить своё достоинство, пригрозил:

— Это кто там смеет дерзости говорить хозяину? Хозяин здоровается с вами, а вы грубите ему. Узнаю, кто себе это позволил — немедленно уволю.

— Это кто-то из бондарей, — заиграла вкрадчивым голоском Василиса, выпрыгнув из толпы женщин и подобострастно приседая перед купцами. Я никогда ещё не видел на её лице такой умильной и нежной улыбки. — Бондаря все у нас смутьяны. Они и резалок будоражат.

Хозяин затрясся всем своим тучным телом, и хохот заклокотал, зашипел и засвистел у него в горле.

— Напоролся, управляющий? — задыхаясь, хрипел он. — Подрядчица тебе свинью подложила. Ежели бондаря все бунтари, значит всех их по шеям? А кто же бочары будет делать? Сам ты, что ли? А я люблю эту вольницу... за лёгкий дух люблю... — Он схватил за рукав Гришу и рванул к себе. — Вот Гришка здесь. Знаю его не один год. Талант! Душу он мою покори́л игрой своей. Нет, управляющий, бондарей я тебе обижать не велю. Гляди, купец, на этого кудрявого красавца, на Гришку моего гляди! Наш! Русский удалец! Такого волшебника ты никогда не видал. Григорий! Неделя тебе сроку: показывай нам своё искусство!

Гриша без всякой робости ответил улыбаясь:

— Милости прошу, Прокопий Иванович. Все бондаря в готовности.

Бляхин всё время всматривался в толпу резалок и жадно искал кого-то глазами — должно быть, Анфису.

Хозяин круто повернулся, отбросил назад полы поддёвки и спрятал под нею свои руки. Он пошагал к крыльцу конторы, а за ним неохотно побрёл и Бляхин. Управляющий обогнал их и, сутулясь, вбежал по ступенькам на крыльцо. Матвей Егорыч вместе с Гаврюшкой неторопливо шёл позади всех, а за ним подрядчица. Хозяин тяжело поднялся на высокое крыльцо, оглядел людей и со всего размаху бросил в толпу горсть серебряных монет.

— Ключите на радостях, детки! Не деритесь — не грызитесь по-собачьи.

Прасковья и Гриша закричали на весь двор:

— Не берите! Не собирайте! Мы — не нищие!

И скрылись в толпе, махая руками.

А кузнец грозил кому-то здоровенным кулаком.

Всюду зазвякали ножи о багорчики — знакомый, настойчивый сполох, и этот железный треск словно отгеснил всех от крыльца. Харитон пошёл спокойно, заложив руки в карманы. А толпа суматошилась, люди смешались в одну плотную массу, кричали, смеялись, ругались. Видно было, как женщины и мужики нагибались, хватали монетки и скрывались в гуще людей. Я подбежал к матери и по растерянному её лицу увидел, что она не утерпела, подняла денежку.

— Покажи, мама! — крикнул я. — Дай руку!

Она послушно раскрыла ладонь, и новый двугривенный больно ослепил меня. Я схватил его и остервенело бросил к крыльцу.

— Да ты чего это... Федя? Чай, это — двугривенный. Сальца бы я купила... али сахарку...

Я дрожал от стыда и негодования, и мне было страшно, как бы не заметили проступка матери Прасковья или Гриша.

— Нищие мы, что ли? — сквозь слёзы засовестил я её, подхватив слова Прасковьи и Гриши. — Пойдём отсюда скорее!

Но мать тоже дрожала, и я чувствовал, что ей было мучительно стыдно.

— Ты уж, сынок, никому не говори... а то я с ума сойду...

— А ты гляди! Чего ты сделала-то? Словно маленькая... украдкой!

Она шла рядом со мною и виновато молчала. Я обернулся назад, остановился и помахал рукой Гаврюшке, чтобы он бежал ко мне, но он отрицательно покачал головой, не отрываясь от отца. Лицо его попрежнему было озабоченное и печальное. Опираясь на перила, хозяин надвинул картуз на лоб и внимательно оглядывал двор. Управляющий сутулился около его плеча и что-то объяснял ему, показывая пальцем в разные стороны. Бляхин, задрав котелок на затылок, внушал что-то подрядчице. Матвей Егорыч с Гаврюшкой стоял поодаль, у самой лестницы, и смотрел на пёструю толпу резалок и рабочих, которые шли на плот. Дробно зазвонил колокол на земляной крыше выхода, заросшей колючками. Этот колокол висел на столбе под перекладиной, и парень в бахидах, похожий на тюленя, сосредоточенно дёргал его язык за верёвочку. Меня всегда тянуло вбежать на эту горбатую земляную насыпь и научиться звонить так же дробно и певуче.

По случаю приезда хозяина работы прекратили ещё засветло: колокол зазвонил на плотовом дворе весело и заливисто. В казарму резалки шли без обычной пляски и песен, но с криками и смехом, позвякивая ножами и багорчиками.

— Ну, отдыхай, ребята! — распорядился Игнат и стал старательно выгребать угли из горна. — Хозяин желает распотешиться.

Мы сняли фартуки, но не вышли из кузницы. Игнат раздумывал что-то, гмыкал и усмеялся. Степан догадливо следил за ним и посмеивался.

— Он и гостя притащил, чтобы дым столбом да на полные паруса... Все промыслы на дыбы поднимет. Страсть купечество любит, чтобы весь люд радовался, когда гульба идёт, да чтоб полиция им везде дологу очищала!

Игнат уг... ещё оборвал его:

— Дела бу... не иначе. Наша вольница — народ с диковинкой: то из него верёвку вей, то неукротимо бушует, как шторма. Ну-ка, валяйте, куда вам надо, а я к Тарасу. У нас одна с ним назола: кто кого докапает.

Степан неожиданно вознегодовал и напустился на Игната:

— Ни в жизнь ему тебя не перешарашить. Не быть решке орлом. Я его и на порог не пушу.

Игнат довольно усмехнулся: преданность молотобойца была ему по душе, но не удивила, а озадачила его.

— Дубина! Надо кланяться, не ломая башки, чтоб душа к душе, как железо, приваривалась. За верность твою исполать, а за то, что ты дубовыми руками душу за шиворот норовишь схватить, первый в ногах у Тараса валяться будешь.

В казарме, как обычно, была суета: одни резалки толпились у длинного умывальника за печкой, другие переодевались, причёсывались, прихорашивались, посматривая в крошечные зеркальца, иные, уткнувшись в подушки, спали. Олёна с младенцем сидела на нарах у самой стены и кормила его, а он корчился и истошно кричал: должно быть, у него болел животик и цвело во рту. Кричал он с первого дня появления на свет. На работу Олёна вышла уже через день после родов, а ребёнка оставляла одного на нарах. Галя с больными руками не могла его нянчить и уходила из казармы на соляной двор. Ухаживала за ним тётя Мотя. Потом он очутился у Феклушки, и она с материнской нежностью копошилась с ним, как с куклой. Ребёнок замолкал у неё на руках, а она радостно смеялась. Всё чаще и чаще она садилась на своих нарах, прислонялась спиной к стене, клала подушку на колени и осгорожно, ласково, но уверенно устраивала удобное гнёздышко для младенца.

В этот неожиданный перерыв в работе, похожий на праздник, женщины принялись за уборку казармы: постельки вынесли на двор, чтобы выбить пыль и песок, нары мыли горячей водой, протирали окна, скребли железными лопатками пол, ошпаривали его кипятком, смывали грязь мётлами, а потом промывали мешковиной. И работа проходила быстро, дружно, легко и весело, с крикливыми шутками и песнями. И как всегда, с увлечением, бойко хлопотала мать и звонко, сердечно напевала пригудки. Вместе с ней, не отрываясь от неё, так же расторопно хлопотала и Марийка. Она так привязалась к матери, что тёрлась около неё и в обеденный перерыв, и вечером после работы — обнимала её и повадилась забираться по ночам на наши нары, чтобы посидеть плечом к плечу с матерью.

Наташа могуче скребла и мыла пол с молчаливым упорством, и казалось, что только она одна выполняла эту грязную работу, а другие женщины мешали ей. Даже Галя не могла усидеть на месте: она вынесла на улицу и свою постельку, и постельки Оксаны и Прасковей. Злая, жгучая, как крапива, в дни своей болезни, она в эти минуты обшей весёлой хлопотни впервые закричала:

— Сорвалась баржа с мели, а собака с цепи! Хватит сидеть сиднем и тютюшкать свою двойню. Вот захочу, и завтра же на плот пойду. Лучше руки отрублю, чем дам себя скрутить какой-то паршивой коросте.

Оксана протирала стёкла и подбодряла её:

— Ой, Галька, радость моя! Люблю тебя такую, когда ты мальвой расцветаешь.

— Оксана, девчина милая! — лихо открикнулась твоего хлеба и чаю с коржиками: хоть всё моё — твоё сырой хлеб стал ещё горчее. Меня кормит и родные. Когда я только рассчитаюсь с вами, подружки мои любящие? — Не хочу горький да Прасковья.

— Я драться буду, Галка, — в негодовании кричала Оксана. — Мы поклялись быть заодно. Не ты ли меня годовала, когда я без памяти лежала на твоих руках?

Прасковья мыла стол, скамьи и нары и молчала всё время. Но когда забунтовала Галя, она с мокрой тряпкой в руке угрожающе подошла к ней. Галя в эту минуту несла к двери пухлую охапку постельного добра и одежды.

— Вот что, Галенька... чтоб я больше таких разговоров не слышала! Ни одной болячки чтоб не было на душе! Значит, не руки у тебя болят, а сердце. Общий кусок хлеба вкусней да сытней, а чай — слаще мёда.

К моему удивлению, эта отчаянная Галя вдруг всхлинула и укрощённо пролепетала:

— Знаю, Прасковья... винюсь... Не буду... Ведь я же без тебя и Оксаны жить не могу...

— Ну, вот и хорошо! — улыбнулась Прасковья и поцеловала её. — Не об этом сейчас надо думать. Надо друг за друга держаться. Вот ворвётся бандура Василиса и прикажет собираться вечером на гульбище к хозяину. Ни слова ей, как будто её и нет. Не забывайте, как мы на плоту работу бросили и на управителей страху нагнали. Выдержим — верх наш будет. Слышите, товарки? Уговор — святое дело.

И она пошла обратно с улыбкой уверенного в своей силе человека.

Когда казарма была вычищена и прибрана, в ней стало просторно, светло и празднично. Как всегда, Улита топила баню. Она пришла оттуда, как из церкви, благостная, просветлённая, помолилась на печку и запела:

— В баньку пожалуйте, бабыньки! Хорошая банька — с паром, со щёлоком... Омойте и тело, и душеньку от всякого тлена.

Кто-то крикнул ей озорно:

— Вот ты, Улита, в баньке-то вымылась — собирайся к хозяину на пир. Только нарядись почепуристей, чтобы плясать пофорсистей.

В разных местах захохотали и начали подшучивать над нею. Но Улита с кротким терпением отмалчивалась.

После бани, распаренные, приятно изнурённые, все помирнели и легли на нары.

Пришёл Гриша без шапки, всклокоченный, красный, с широко открытыми глазами, которые переливались горячей влагой. Он был очень взволнован, словно пережил какое-то потрясение. Быстрыми шагами он прошёл в свой угол и сразу же сел на край нары, не замечая перемены в казарме. Озираясь и вороша свои взлохмаченные кудри, он вздохнул и устался в потолок. Вдруг он вздрогнул, вскочил с места, прошёл в куток и стал умываться. Женщины с любопытством следили за ним и тихо пересмеивались. Прасковья с затаённой усмешкой проводила его глазами: она расчёсывала гребешком свои густые золотые волосы и делала вид, что равнодушна к приходу Гриши.

Тётя Мотя недовольно ворчала:

— В баню бы шёл, Григорий... Пропарился бы хорошенько — душу-то и укротил бы. Действо твоё до добра не доведёт. И летось, и сейчас вот — как безумный... Чего это только с человеком делается?

Гриша вдруг опаматовался и изумлённо крикнул:

— Неужто банька, Матрёша? А мне и невдомёк... Бегу, со всех ног бегу!

С мичат уками и лицом он бросился в свой угол на нижних на-
рах и радс, взвыл:

— Батюшки мои! Красота-то какая! Кто же это мне так постель-то
прибрал да чистоту навёл? Вот спасибо, милые товарки!

— А ты догадайся! — подзадорила его Оксана, но Галя зло пошу-
тила:

— Ребятки без догадки на любовь не падки.

Прасковья низким голосом урезонила их:

— Не замайте его, девчата. Видите, человек не в себе? Он сейчас
любит только свою персянку.

Но Гриша опять забылся: он, как слепой, ошупью открыл сундучок,
выхватил оттуда своё бельишко и, глухой к шуткам женщин, вышел
из казармы, забыв закрыть и сундучок, и дверь. Мать, грустная и за-
думчивая, долго смотрела ему вслед. После бани многие спали, а неко-
торые занялись починкой белья. В казарме стало свежо и прохладно,
но дверь никто не закрывал: вероятно, все отдыхали и наслаждались
тишиной. Закрыла дверь тётя Мотя.

— Дорвались до нар-то, и подняться лень, — ворчала она. — Один,
безумный, куролесит, другие, как пьяные, свалились и простуды не
боятся после банного пара-то...

Пришла из бани Василиса, красная, разваренная, с белой чалмой на
голове и с томным страданием в лице, расслабленно провалилась в
дверь своей комнаты. Она глухо постонала там и затихла: вероятно,
блаженно растянулась на кровати. Оксана перевязывала руки у Гали
и посмеивалась:

— Добралась свирья до лужи — и байдуже!..

Галя уже не глелала свои руки, как прежде: она обвязывала толь-
ко ладони и половину пальцев. Она задорно любовалась ими и угро-
жающе обещала:

— Теперь я и на драку готова. Мои пальчата-хлопчата не унывают:
хоть сейчас можно по щекам бандуры прогуляться...

Василиса звала Улиту разомлевшим голосом, но Улиты в казар-
ме не было: она, как всегда, дежурила в бане, мыла и парила резалок.
Для неё церковь и баня были одинаково сладостны: и из церкви и из
бани она приходила умилённая и счастливая.

— Улита! — с капризной настойчивостью стонала подрядчица. —
Где она, банная мочалка? Я же приказала ей итти за мной!.. Матрёна!
Глухая ты, что ли?

И когда тётя Мотя потащила свои тяжёлые ноги к комнате
подрядчицы, Галя сорвалась с нар и погрозила ей белой повязкой.
Потом подхватила её под руку и, как больную, бережно повела обрат-
но. Оксана смеялась, а Прасковья с серьёзным лицом одобрительно
посмотрела им вслед.

Подрядчица в чалме, закутанная в голубую длинную шаль, выплы-
ла из своей двери и заплывшими глазами оглядела казарму.

— Да вы подошли, что ли? Зову, зову — никто не откликается.
Матрёша! Иди сюда! Ты мне нужна... Причесать меня надо, да одеться
поможешь.

Но Галя стояла перед тётей Мотей и заслоняла её от подрядчицы.

— А вы, девочки и все холостые, нарядитесь получше: вечером
вместе со мной пойдём к хозяину. Он очень даже любит молодёжь —
сам повеселиться гораздый, хоть и пожилой годами. Надо ему сделать
удовольствие — поплясать, песни попеть, да чтобы как можно больше
разудалости... Всех одарит, всех обласкает. А друг его, купец Бляхиц,
прямо сатанеет от веселья. На жену-то свою, беглянку, целую облаву

теперь устроит. Уж вы, девчата, не ко-... же при
встрече-то я готова была сквозь землю пр-... приказал
заплатить вам за этот день полностью, да... урока за
вечер. Вот как раскошались!.. И не в по-... дается, а как
работа. Строгий приказ: вечером по звонку и... йские хоромы, как
на урок, под моим началом да по моему вы-... выкликать буду. Ни-
куда не отлучайтесь!

Но никто ей не ответил: одни спали и притворялись, что спят, другие копошились в каких-то тряпках, и старательно причёсывались и закручивали волосы на затылках. Хотя так и не отошла от плиты: её не пускала Галья. Василиса, по-... почувствовала в этом молчании не покорную готовность подчиниться её приказанию, а скрытую вражду и немой отпор. Как опытная подрядчица, она хорошо знала женщин и умела их подбирать при найме: брала тех, кто не спорил с нею, кто готов был заключить контракт на любых условиях, чтобы не остаться без работы. Такие работницы и рабочие были самые безреспотные и послушные. И хотя они иногда жаловались и ругались насчёт штрафов и харчей, она умела их укрощать: не нравится—можете уходить в пески!.. Но в этом году с людьми случилось что-то несуразное: резалки, как по сговору, бросили работу на плоту в самое горячее время, когда каждая минута дорога, и задрали головы, а на угрозы и ухом не повели. Я уже знал, что между подрядчицей и ватажниками день ото дня копится непримиримая вражда и ненависть. Старые резалки и Гриша держались с ней дерзко и смело, а около них толпились и другие, молодые. И всем было видно, что подрядчица не спускает с них глаз и ищет случая, чтобы расправиться с ними. Но они никак не давались ей в руки: к ним ни в чём нельзя было придраться. Если бы не ввязался в скандал плотовой, эти три смутьянки посидели бы в полиции, их поучили бы там арапниками. Да и управляющий был на её стороне. А этот пьяница её же, Василиса, обохалил перед буйтовщицами. Сегодня, тоже на зло ей, встречали хозяина без поклонов и величания, хотя она и строго-настрого приказала выполнить этот обычай, как и в прежние годы. Хозяин этого как будто и не заметил, но такая встреча, конечно, его покорибила. Он, как и прежде, бросил в толпу горсть серебра — уже никак не меньше пяти рублей, — а мало кто наклонился. И вот те же Прасковья с Оксаной и Гришка с бондарями бросились в толпу и кричали, чтобы никто не смел собирать деньги. «Мы не нищие». И опять она оказалась при пиковом интересе: с Гришкой благодушно разговаривал сам хозяин и хвалил его, как мастера и как артиста, и сконфузил самого управляющего, который пригрозил выгнать смутьянов.

А сейчас Василиса пронзительно вглядывалась и в Прасковью, и в Оксану, и в женщин, но все они спокойно и безмятежно заняты были своим делом. И эта немая отчуждённость испугала и встревожила её. Даже безреспотная и послушная Матрёна не ответила на её приказание и спряталась за охальной Галькой. А Галька ведь тоже из шайки этих смутьянок: она за словом в карман не лезет.

Мне было очень интересно наблюдать с высоты своих нар за этой борьбой подрядчицы с женщинами. Я чувствовал, что Прасковья с Оксаной и Галей не теряли даром времени — всех девчат и холостых прибрали к рукам. Должно быть, они подчинили их себе и уговорам, и силой ватажной артельности. Этот ватажный дух мы с матерью впервые испытали ещё на барже в маленькой артели рыбаков, которыми верховодил Карп Ильич, и здесь — в казарме и на плоту, где были свои правила общежития: товарища не выдавать, товарищу помогать, не

наушн.
сразу же.
артель р...
превратит тебя
му что оно имеет.

День ото дня я с
ная жизнь: как ни изну
было нам, но мать буд
ной раньше вольности.
ности, ни былой с...
и беспокойного к...

что будет с нею, к... мы...
был уверен, что отец не потерпит этого её пробуждения, и заставит её
и окриками, и кулаком рабски подчиниться ему, как в деревне. А что
будет, ежели мы вернёмся в село, в дедушкину семью? Я не разгова-
ривал с нею об этом — боялся расстроить её, да и самому мне было
страшно думать о таком будущем.

Прасковья укладывала свои длинные косы золотым кокошником и
скалывала их шпильками. Вместе с тошенькой Оксаной, которая тоже
была занята своими волосами, они сидели лицом к лицу на прибранной
постели Прасковьи молча и не обращали внимания на Василису. Я по-
нимал, что они нарочно не замечали подрядчицу, делая вид, что слова
её к ним не относятся, что здесь они — дома, и никто ими распоря-
жаться не смеет. Но они разговаривали глазами так открыто, что мне,
парнишке, всё было понятно: они молчали вызывающе, с гордым соз-
нанием своей силы и неуязвимости.

— Матрёша!.. — с притворным дружелюбием заворковала Васили-
са. — Пойди-ка, милая, ко мне. Без тебя мне не справиться — жирная
болезнь душит. Улиты нет, угодницы, ты уж послужи по привычке.

Галя, не оборачиваясь, грубо ответила:

— У Матрёши своё дело. На её горбу сто человек, а твоя жирная
болезнь от даровщинки пухнет.

На нарах вверху и внизу захохотали, но сейчас же смех заглох
в подушках, а Прасковья с Оксаной даже не улыбнулись. Василиса,
должно быть, решила не ссориться с женщинами: она судорожно улы-
балась, хотя внутри у неё бушевала злоба.

— А ты караулить её, что ли, приставлена? Покамест без хлебца да
без копейки сидишь — у неё крошки собираешь?

— Не твой хлеб ем, подрядчица. Мои крошки ты в свой карман
хапаешь. Вот и мои руки обглодала.

— Не надо враждовать, девочки, — опять заворковала Василиса. —
Для такого прекрасного дня нельзя таить зла на сердце. В кои-то веки
хозяин на свой промысел солнышком появился. Хозяин к нам в свою
семью прибыл, как отец. На ласку и любовь и он распахнётся щедро,
девочки.

— Мы тебе не девочки, — враждебно оборвала её Оксана, — а здесь
не красный фонарь. Ты тут девушками не распоряжайся.

— Моё дело маленькое, Оксаночка, — ворковала Василиса. — Это
воля хозяина.

— А над нашей волей и он не хозяин.

Подрядчица вздохнула и скрылась в своей комнате.

Для меня этот день был полон событий. Неожиданно в казарму
вбежал Гаврюшка и взволнованно крикнул:

— Федяшка здесь? Скорей за мной!

Он призывно махнул рукой и скрылся за дверью.

Я схватил свою стёганую курточку и кубаг с нар.
 На нашем соляном дворе, у мужской казарм олла рыба-
 ков в огромных сапогах с широкими голенища? ге-колен. Среди
 них я увидел Карпа Ильича с Корнеем и Балбе . одному, по два
 рыбаки входили в чёрную дыру распахнутой - двери. Я хотел
 побежать к моим друзьям, но Гаврюшка вцепится мне в рукав.

— Пойдём скорее... на берег пойдём! Ведь мы больше с тобой не увидимся...

— Это чего ты говоришь-то? — удивился я. — Опять, что ли, мать тебя в горнице запирает? Она тебя как в жигулёвке держит.

Гаврюшка вдруг ослабел, и лицо у него задёргалось. По щекам текли крупные слёзы. Чтобы скрыть их, он отвернулся и украдкой провёл пальцем по лицу.

— Да нет... — задыхаясь и обрывая слова, сказал он. — Папаша сам... сам отсылает меня с мамашей... к бабушке... Его ведь, папашу-то, хозяин выгнал. Может быть, он не выгнал бы, да папаша с ним зуб за зуб стал цапаться. Я с ним тогда за руку в контору вошёл — всё слышал... А дома мамаша биться начала, в обморок падать. А потом ему в ноги шлёпнулась: пусти да пусти! Папаша сначала не соглашался, а потом махнул рукой: поезжайте, говорит, а потом видно будет. А я здесь, говорит, останусь или в Дербент побегу. Я бросился к нему и кричу: «Папаша, я с тобой останусь: не поеду с мамашей! Не гони меня!» А он смотрит на меня — и сам не свой. Сидит сейчас один и не пьёт. Молчит и думает.

Мы прошли с ним на берег. Над зеркально-спокойным морем вихрями летали чайки. Шкуна стояла далеко на якоре, кормою к нам, а баржа с разорванным боком уже не казалась загадочной и жуткой: заброшенная, ненужная, она разваливалась на моих глазах. Хотя низкое солнышко и пригревало немного, но ветерок с моря обжигал лицо студёной влагой, словно щёки покрывались ледяной паутиной.

Жиротоп Ермил стоял около своей печи, среди бочек, в дыму и клубках пара, с черпаком в руках. Он не обращал на нас внимания и, опираясь на черпак, задумчиво смотрел в море.

Мы пошли вдоль берега, по гладкому песку к отвесным обрывам барханов. Прозрачные волны обмывали песок, ворчали и смеялись, сверкая искрами на солнце, и как будто заигрывали с нами.

— А мы же заклились с тобой... — с упреком напомнил я Гаврюшке о нашей кровной связи друг с другом. — Ежели заклились, никакая сила заклятву не снимет.

Гаврюшка, поражённый, остановился и растерянно посмотрел на меня, прося глазами о помощи. Но вдруг радостно вспыхнул:

— Конечно, никто клятву не снимет — ни мамаша, ни папаша, ни чёрт-дьявол. Мы же кровью связались. На всю жизнь. Ты думаешь, я останусь у этого дедушки? И от Кашея бессмертного убегаю, даром что он колдун был. Я обязательно убегу — или с дороги, или из его дома. Всё равно с мамашей жить не буду. А в плену ни за что не останусь. Я тебе оставляю все мои учебники, и книжки, и тетради, чтобы ты помнил и ждал меня. Вот только не отомстили мы моим врагам. Вся эта суматоха помешала.

Он вздохнул, и у него опять задёргалось лицо.

— Тебе хорошо, Федюк: ты — свободный, сам работаешь... что хочешь, то и делаешь. А я скованный по рукам и ногам. Ну, да я тоже своей воли добыюсь! Сумел же я из запертой комнаты удрать да к папаше на Эмбу с приключениями добратсья.

— Знаю, одобрил я его решение. — Придерёшь сюда — у нас в казачестве. А ежели отец уедет, к нему с рыбаками убежишь. Я скажу, что ты или Балберку уговорю.

— А я с ним говорить буду.

— Ну да... Мы вместе с тобой к ним в артель войдём. Только ведь зимой-то рыбу не ловят: море замерзает.

Гаврюшка разгорячился и стал мечтать смелее и увереннее. Он уже размахивал руками, и глаза его блестели от возбуждения.

— Чудак-рыбак! А на что зимой чунки? Я на чунках-то как ветер летаю. Через Каспий я в день до Дербента доскачу. Папаша говорит, что без борьбы да без драки счастья не добудешь, а человек без борьбы — баран. А я не хочу быть бараном.

Я думал, что Гаврюшка живёт в своих светлых горницах привольно, что он может есть до отвала вкусную рыбу в помидорной подливке, которая однажды одурманила меня своим видом и ароматом, что он как сыр в масле катается, что он, как барчонок, пользуется всеми благами жизни. Но теперь я понял, что ему живётся хуже, чем мне: он как мышь в ловушке. Его держит в неволе мать и хочет запереть навсегда у какого-то деда-богача, словно в тереме у карачуна. Он похож был на муху, которая бьётся в тенётах. Я видел, что он завидует мне и считает меня вольным и самосильным. И мне было приятно сознавать, что только во мне он находит для себя поддержку.

Может быть, потому и пил горькую отец Гаврюшки, что когда-то изменил рыбацкой артели и ушёл от своих товарищей ради купечкой дочери, соблазнившись богатством. Гаврюшку мне было жалко: он любил отца и верил, что только вместе с ним он будет счастлив. Я больно чувствовал, как он страдал и мучительно искал выхода из тупика. Мне было приятно, что он не примирился со своей участью и решил сам постоять за себя.

Мы подошли к высокому обрыву, о который плескались волны и постоянно подмывали его, свернули в узкую долину, густо заросшую кустарниками, польню и колючками, и по крутому склону поднялись на песчаную осыпь. Гаврюшка спрыгнул в расселину между горой и старой насыпью песка и скрылся за отвесным выступом песчаника.

— Иди за мной! — крикнул он издали. — Не отставай, а то здесь заплутаешься.

Расселина шла длинной щелью и становилась всё уже и глубже. Я увидел Гаврюшку наверху, на площадке, среди заросшей бурой, сбитой в клочья травы и голых корявых кустов.

— Вот мы и пришли, — с гордостью заявил он. — Ты и не знал, а я здесь давно уже крепость построил. А в крепости хоромина. Вот когда меня мамаша соберёт к Кашею бессмертному, я сюда и скроюсь, и никакая сила меня не найдёт.

Свою крепость он действительно хитро устроил: расселины и каналы расходились в разные стороны, виляли, обрывались оползнями, карабкались на вершину горы и упирались в глухую стену. Если бы Гаврюшка не указывал мне, по какой канаве идти, я обязательно заблудился бы в этом лабиринте лазаек. И он был очень доволен, что я подошёл к нему только с его помощью. Он стоял на площадке, закрытой со всех сторон кустами и колючками, польню. В обрыве чернела нора, в которую можно было вползти только на четвереньках.

— Валяй за мной! — крикнул он. Гаврюшка и быстро исчез в дыре. — Ну, ползи же, не бойся! — крикнул он из глубины. — Здесь у меня хорошо.

Я с опаской посмотрел на площадку, где лежал спрессованный песок и подумал:

— Но чтобы папаша остался на промысле, — решительно объявил. — Я сам пойду к хозяину и скажу ему: «Вы не имеете права отнять у меня билетом моего папашу, потому что он лучше всех знает своё дело, да и честнее его человека вы не найдёте». Скажу и скажу: «Он вам служил много лет верой и правдой. Он и пил, да дело не сумел. Почему, скажу, вам можно пить, а ему нельзя? Он не от безделья пьёт, а от горя». Я ведь теперь знаю, что сказать хозяину: вместе с папашей в хозяйской горнице до конца стоял и всё слышал. А когда хозяин начал стучать кулаком по столу и орать на папашу, я не побоялся и выскочил вперёд. Хозяин чуть не съел меня глазами. «Это что, говорит, за сверчок под ногами?» А когда другой купец захохотал и захопал в ладоши, хозяин щёлкнул меня по лбу и пробурчал: «Ах ты, псёнок! злой какой!». И вынул из кармана полтинник, а я отскочил и сам ел его глазами. Купец хохочет, глаза лопаются: «Не продажный!» — кричит.

И Гаврюшка рассказал мне, что произошло после многолюдной встречи хозяина.

В просторной комнате оба богатея развалились в креслах, а около стола уже захопотали женщины в белых фартуках: ставили закуски, бутылки, белый хлеб и всякие сладости. А тощенький управляющий стоял перед ними почтительно, как слуга. За ним стоял Матвей Егорыч с Гаврюшкой, а поодаль от них — подрядчица. Гаврюшка видел, как принесли в прихожую несколько ящиков и круглых корзин и решёт, обшитых сверху коленкором.

Хозяин стал расспрашивать управляющего о делах — об улове, о сортовой рыбе и одобрительно мычал, когда управляющий доложил ему, что идёт постройка нового лабаза и новых больших чанов, что резалок и рабочих маловато, и все они заняты сверхурочно до позднего вечера. И тут же рассказал, как резалки однажды взбунтовались против подрядчицы и бросили работу. Он, управляющий, хотел вызвать полицию, но вмешался в этот скандал Матвей Егорыч и с пьяных глаз разыграл с ними комедию: правда, он увёл их обратно на плот, зато сконфузил перед ними подрядчицу, о чём она со слезами жаловалась на него. Управляющий недоволен плотовым: Матвей Егорыч хотя и мастер своего дела, но пьёт и часто не выполняет приказаний управляющего — вот хотя бы в случае с бунтом резалок. Вместо того чтобы послать за полицией и арестовать смутьянок, он с ними начал балагурить, надавал им обещаний и вместе с ними пошёл на плот. Хозяин спросил:

— Ну, так что же резалки-то — опять сели на скамьи?

— Да, конечно, работали.

— Значит, и без полиции обошлось?

— Это так, Прокофий Иванович, но нельзя спускать рабочим их своеволия, нужно было хорошенько проучить их арапниками, чтобы впредь неповадно было.

— Дело, дело, управляющий! Правильно: недопустимо, чтоб у меня на промысле бунты устраивали. А ещё хуже, управляющий, ежели полиция будет рыскать по промыслу, расправы устраивать над рабочими да арестовывать их. Подумал ты, какая слава пойдёт по Каспию да по Волге? У купца первой гильдии Пустобаева на промыслах бунты происходят, полиция распоряжается — порет рабочих арапниками и отправляет их в острог. И выходит, что плотовой мудрее тебя: он о хозяйском интересе позаботился в первую голову, честь моего торгового дома соблюл да и в убыток не ввёл. А ну-ка, подрядчица, говори, почему у тебя резалки взбунтовались?

Подрядчица заулыбалась и застрекотала умильно, но с возмущением:

вот залезем в эту пещеру, а обрыв-то вдруг и обвалится. Сейчас и задавит. Гаврюшка, должно быть, заметил мою нору, высунулся из норы и засмеялся.

— Чего ты трусишь, чудак-рыбак? Это не прощай, а камень. Я тут ломиком пласты отламывал.

Я вполз в дыру и сразу же очутился в тёмной пещере. Когда глаза мои привыкли к полумраку, пещера замерцала зеленоватым светом. Она была вся круглая, будто сложенная из жёлтых и серых пластов. Они сходились сверху куполом. Пол был ровный и гладкий, посредине стоял, как сундук, каменный столик, а дальше, тоже в виде сундучка — скамейка. В пещерке было уютно, тихо и глухо, но всё время шелестели какие-то шорохи.

— Это знаешь что? — лукаво спросил меня Гаврюшка, заметив, что я прислушиваюсь к этому странному шороху, и пояснил: — Это — снаружи, с воздуха. Здесь всё слышно: и волны, и ветер, и как шевелится трава, и как шаги шуршат... Ежели будут подкрадываться враги, я сейчас услышу их, когда они ещё далеко. У меня снаружи камни сложены, а вот и праща.

Он вынул из столика рогатку, натянул резинку, нацелился на сияющую дырку и щёлкнул, выстрелив в неё камешком. Я был так поражён этим сказочным убежищем, что сидел, как немой, и только осматривал стены и потолок, которые чудились мне кристаллами самоцветов.

— Вот когда я скроюсь здесь, ты мне пищу будешь приносить. Потом, когда подумают, что я утонул или волки меня в песках съели, тогда ты откроешь тайну папаше и приведёшь его сюда, и мы с тобой поселимся здесь, как робинзоны.

— Вот так да! — наконец выдохнул я, ошеломлённый необыкновенным сооружением Гаврюшки. — Как же ты это сделал-то? И сам, один?

Гаврюшка смотрел на меня, как герой и победитель. У него блестели глаза и на щеках темнели красные пятна.

— Я приключения люблю. А у меня жизнь такая, что без приключений и дня не проживу. А потом я ведь знал, что меня к деду-кашею повезут. Самые большие приключения ещё впереди. Я давно эту пещеру облюбовал. Она была маленькая — должно быть, волк её вырыл. Ну, а я её и обработал. Вот тут, в этой печурке, в столе — мои книжки, учебники. Будешь приходить ко мне и читать. Я тебя учить буду арифметике и грамматике.

И Гаврюшка открылся передо мною в эти минуты с новой стороны: это был предприимчивый, доблестный, смелый парень, с которым не пропадёшь. Он не падает духом, какая бы опасность ни грозила ему, а всегда готов к самозащите и к борьбе. Вспомнил я первое наше столкновение во время моряны, наше путешествие на лодке, его бегство из запертой комнаты и трёхдневные розыски отца где-то далеко на Эмбе, его отважную борьбу с бурей на лодке и, наконец, его сегодняшний бесстрашный поступок, когда он побежал навстречу отцу, чтобы охранить его от гнева хозяина. А вот эта крепость потребовала от него многодневного труда, и это — не забава, а серьёзное дело, от которого зависит его судьба в будущем. Нужно было всё предусмотреть, всё рассчитать, многое продумать и обеспечить себе надёжное убежище от преследований, от холода, от врагов и зверей. И если он плакал по дороге сюда, то слёзы его не были слабостью и отчаянием, а злым ожесточением против насилия и несправедливости. Так приблизительно думал я, с уважением изучая Гаврюшку. Такого друга я до сих пор ещё не имел в своей жизни.

— А штрафы им не нравятся, Прокофий Иванович, всякие строгости. Они очень хотели бы и контракты порвать.

Бляхин опять захохотал, подошёл к столу и налил стаканчик водки, выпил и опять налил.

— Ну и девки у тебя, Прокофий! Окаянные! Сто сот стоят. Василиса опытная — по Астрахани знаю.

А хозяин зверем посмотрел на него и застучал пальцами по толстой коленке.

— Да. Окаянные. Вот и двугривенные мои, как сор, на земле лежали. Кто-то там, действительно, мутит их. И хозяина не величали, как в прошлые годы. Говори, плотовой, в чём тут загвоздка?

Бляхин опять загорланил:

— Брось, Прокофий! Эти твои загвоздки с буху-бараху не решишь. Всякими загвоздками только в трезвом виде занимаются. А мы с тобой пьяные. Василиса!

Подрядчица подскочила к нему, стала приседать и играть глазами.

— Счастьем считаю послужить вам, Кузьма Назарыч, себя выверну, а всё сделаю для вашего удовольствия.

— На кой чёрт ты мне нужна, вывернутая! Ничего, кроме мерзости, внутри у тебя нет. Ты лучше устрой нам сегодня пир горой и девок пригони.

Подрядчица вся таяла от улыбочек и угодливо тряслась перед ним.

— Сколько прикажете, столько и приведу. Я знаю, кого вербовала.

Подрядчица необычно легко выпорхнула из горницы, а хозяин ткнул пальцем в дверь и приказал Матвею Егорычу:

— Ты, Матвейка, догляди за этой бандурой: как бы она нам гнилой товарец не подсунула да как бы обеими лапами в карман не залезла. Она давно наловчилась бабьим мясом торговать.

Гаврюшка почувствовал, как вздрогнул отец и как невольно сжал его руку. Матвей Егорыч вежливо, но с достоинством ответил:

— Я, Прокофий Иванович, знаю, как доглядать и готовить сортовую рыбу и паюсную икру, а не бабье мясо. С этой человечьей падалью дела не имею. У меня седой волос в голове: и вам я, кажется, уж не Матвейка.

Хозяин вскочил, вытаращил глаза и затопал ногами.

— Матвейка! С кем говоришь?

Но Матвей Егорыч не смутился, только отшагнул от хозяина лодальше.

— Прощу на меня, Прокофий Иванович, не кричать: я вам — не шестёрка. Я плотовой, отменный мастер на всём взморье. Горжусь этим.

Управляющий укоризненно покачал головой, отступил в сторону и с усмешкой сказал:

— Вот вам, Прокофий Иванович, доказательство: не без его влияния и работницы безобразничают. С ним работать очень трудно. А почему он с вами непочтителен? Потому что пьян. На него и жена жалуется.

Хозяин повернул к нему опухшее лицо и затрясся от хохота.

— Да бабы-то всегда на мужьёв жалуются. Образованный, а не знаешь этого. У тебя у самого, красавца, жена-то сбежала и письма мне жалобные пишет.

Хозяин вцепился в локотники кресла и весь устремился к Матвею Егорычу. Глаза его помолодели.

— Хорошо, Матвей Егоров! Хвалю! Самолюбец! Не побоялся за себя постоять перед хозяином. По праву гордишься, плотовой: моя рыба и икра славятся по всей Европе. К царскому столу мои балыки, осетры, икра подаются. А всё-таки, отменный мой плотовой, я вытуюрю тебя с

волчьим иле — за дерзость и неблагодарность. Я тебя человеком сделал, а ты задираешь, своим норовом живёшь, с бабами бунты устраиваешь, управляющего, подрядчицу в грош не ставишь. Да вот и на меня пойдёшь.

Матвей Егорыч спокойно и вежливо возразил:

— Волчий билет для меня, Прокофий Иванович, вроде как мыльный пузырь: не долетит до меня — лопнет. Волком я не буду: меня везде работа ждёт. А человека-то вы с моим тестем давно во мне искалечили. Пью я, верно: от этого и пью. Может быть, вы, Прокофий Иванович, достойнее и благороднее меня в тысячу раз, а вот мальчика моего не стесняйтесь: всякие при нём непотребности выражаете. С тем и прощайте, хозяин. Пойдём, Гаврюха! Концы нам отдали, и от пристани мы отчалили.

В этот момент Гаврюшка и напал на хозяина. Когда они с отцом выходили из комнаты, хозяин так стукнул кулаком по столу, что зазвенела посуда.

— Дурак! Огрызок человечий! Бродягой сделаю! Заставлю шататься по России. Пристанища не будет тебе ни на земле, ни на море... В ногах у меня будешь валяться, а я тебя растопчу.

По дороге Гаврюшка смеялся и плакал.

— Папаша! Я с тобой на край света пойду... Лучше тебя никого нет... Я так тебя люблю, так люблю... Папаша!

И целовал его руку.

— Ничего, Гаврюха, свет не клином сошёлся. Человек везде найдёт себе место: работы человеку много. Я ещё никогда так не радовался, как сейчас... словно камень с себя свалил.

И когда рассказывал об этом Гаврюшка, он как будто стал сильнее и выше. Глаза его горели, и он весь сиял от гордости за отца.

Я жил среди взрослых людей, делил вместе с ними и горе, и веселье, думал их думами, возмущался и бунтовал вместе с ними. Я хотел работать, чтобы помогать матери и добывать свой хлеб, а меня подрядчица пыталась заставить работать даром. Я гордился, когда приказчик дал мне рыбину за мою работу на арбе и когда кузнец однажды повёл меня в хозяйскую лавочку и сунул мне в фунтике немного муки и осколок сахара. Этот подарок мне был особенно дорог: ведь Игнат сам нуждался, и у него на руках была больная Феклушка.

Я уже хорошо знал, кто был наш враг, кто выматывал силы у резалок и вынуждал их быть послушными и безгласными рабынями. Даже меня, парнишку, обижали и издевались надо мною, и мстительная злоба впервые отравила моё сердце. Она росла вместе с жалостью к матери, к Наташе, к Марийке, к Феклушке, к Гале... Я остро ненавидел и подрядчицу, и управляющего и мучил себя вопросами: почему эта отвратительная баба распоряжается целой толпой женщин, обворовывает и обманывает их? почему управляющий за справедливое возмущение резалок хотел пригнать полицию, чтобы избить их арапниками? почему эти жадные и подлые люди властвуют и держат всех под гнётом, как арестантов? Я не мог ответить на эти вопросы: они были непосильны для моего ума, но я чувствовал правду и догадывался о жестоком смысле людских отношений.

Я чувствовал, что в нашей жизни копится что-то тревожное, и видел, что все ожидают неизбежной борьбы. Женщины собирались кучками, беспокойно перешёптывались, опасно поглядывали на дверь в комнату подрядчицы, и лица у них были озабоченные и задумчиво-злые.

Мать с Марийкой всё время подбегали к Прасковее и Оксане и молча, преданно ловили каждое их слово. Они волновались, им было жутковато, но каждая из них по-своему выражала своё беспокойство: мать часто хваталась за сердце от смутного ожидания, а Марийка с жарком в доверчивых глазах ликовала, словно готовилась к какому-то бурному гразднику, который она ждёт давно. Наташа тоже сидела на нарах Прасковее и невозмутимо занималась вышиванием. Галя опять повеселела, в синих умных глазах её откровенно играла вызывающая решимость. Те женщины, которые терялись в общей массе и были для меня ничем неприметны и странно безлики, сейчас казались мне новыми, словно чисто вымылись и посвежели. Они, как близкие подруги, подходили к Прасковее и вполголоса разговаривали с нею и с Оксаной. Все горячились, спорили о чём-то, а потом смеялись и отходили возбуждённые.

Гриша пропадал в бондарне, где готовил с товарищами своё действо и какую-то необыкновенную обрядку. Об этом я узнал из разговоров женщин. Галя со свойственной ей несдержанностью и озорством как-то посмеялась злорадно:

— Купец-то чёртом запрыгает, когда Анфиса перед ним персиянкой объявится. Уж полюбуюсь, как он волком налетит на неё...

— А зубы поломают,— уверенно закончила Прасковее.— Там ему устроят представление. Бондаря — народ удалой, на шутку гораздый.

Улита сидела на краю нар и с молитвенной скорбью что-то шептала, приложив ладонь к груди. Однажды она подошла к женщинам и сказала нараспев:

— Прасковееюшка, девушки милые, не надо бы зло-то копить. Чую я, не дело вы замыслили... Хозяину, благодетелю, надо честь воздать. Мы, бывалоче, хозяев-то чинно, благородно величали, ублажали их. А вы бы с охоткой откликнулись на угощение-то. Сторицей хозяин вас одарит, а владычица только порадуется.

Все с враждебным удивлением уставились на неё, а Прасковее с брезгливой строптивостью посоветовала:

— Отойти-ка, Улита, божья сирота! С нами не связывайся. О своей душе думай, а в чужие не лезь. Ты грехов боишься, а мы их любим.

Улита сокрушённо вздохнула и возвратилась на своё место.

Вечером после ужина резалки стали группами выходить из казармы. Подрядчицы не было: она ещё засветло помчалась в хозяйские горницы, чтобы всё приготовить к вечеринке. Когда, запыхавшись, разряженная, она ввалилась в казарму, все нары были пусты, только кое-где сидели семейные да пожилые женщины вроде Улиты, кузнечихи, тётки Моти и Олёны с младенцем. Я читал «Родное слово» Ушинского. Эта книжка поразила меня своей свежей простотой, задушевностью и радостью жизни, и я не мог оторваться от неё. Опять я услышал пенье жаворонков, звон кос среди золотых ржей, взволнованных солнечным ветром, стрекотанье кузнечиков, увидел пылающие подсолнечники, далёкие перелески, голубое бархатное небо, зелёный лужок, над которым носились быстролётные касатки. И такой милой и родной показалась мне деревня, такой новой и желанной, что я волновался до слёз. Задыхаясь от счастья, я дрожащим голосом повторял стихи Тютчева, как причитанье:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом...

Подрядчица, пораженная, застыла посреди казармы и с бешенством в глазах гала оглядывать нары.

— А резалки где? — хрипло спросила она. — Куда их чёрт унёс? Они все должны быть в казарме в этот час.

Но ей никто не ответил. Это ещё больше взбесило её.

— Матрёша, иди гони их всех в казарму, чтобы сейчас же все были на месте! Я знаю, кто здесь смутянит. Я так с ними расправлюсь, что запомнят на всю жизнь. Ну? Иди гони их! Чего топчешься, как овца?

Тётя Мотя необычно сердито ответила ей из-за печки:

— Где это я их найду? Они у меня не спрашивались. Я не погоняла твоих резалок. У меня своих делов по горло.

— Не злوبيсь, матушка! — с кротким смирением утешила подрядчицу Улита. — Придут они. Опречь казармы никуда не денутся.

Внезапно Василиса набросилась на меня:

— Где твоя мать? Иди ищи её! Сейчас же приведи!

Я отодвинулся от неё и враждебно пробурчал:

— Иди сама и ищи... Куда это я пойду?

Она остервенело бросилась ко мне, но я быстро схватил книжку и выскочил из-за стола. Феклушка поднялась на локте и неслышанно громко крикнула:

— Как это тебе, подрядчица, не стыдно? Не моги парнишку трогать!

А тётя Мотя, тяжело передвигая ноги, встала между мной и Василисой и с укором покачала головой:

— Я молчала, подрядчица... Всё переносила и терпела... а ежели дело до кулаков доходит, молчать да терпеть не буду. Гляди, как бы до беды не дошло. Иди, милок, к себе на нары, иди от греха!

Василиса опаматовалась и, размахивая руками, грузно поплыла к своей двери.

— Ах вы, сволочи!.. Уж теперь я вас доконаю. Навербовала гадюк на свою шею. Как же я покажусь хозяину-то? Какой ответ держать буду? Уж я придумаю вам наказаньице... Уж отплачу...

Семейные сидели как прибитые и молчали.

Казарма пустовала до позднего вечера — до того часа, когда обычно звонил колокол к окончанию работы.

Подрядчица убежала из казармы, опять бурно влетала и хваталась за голову. И мне было непонятно, как она, такая разбухшая, может легко бегать между казармой и хозяйской хороминой.

Женщины пришли все вместе весёлой, говорливой толпой. Мать с Марийкой вбежали первые, потом Оксана с Галей, а после всех молча вошли Прасковеева с Наташей и Гриша. Сначала мне почудилось, что он пьяный: он почему-то прищёлкивал пальцами при каждом шаге, а глаза его смеялись. Он быстро, как озорной парень, подошёл к тёте Моте, облапил её и поцеловал в обе щеки.

— Матрёша, труженица наша, кормилица! Всех-то нас ты любишь, всем-то ты нам служишь, а сердце у тебя только жарче разгорается...

Тётя Мотя как будто ждала этой Гришиной ласки: она не растерялась, а спокойно вытерла пальцами губы и сама поцеловала Гришу.

— Ты вот с Прасковеевой угнал бабёнок-то в свою бондарню да ломался там перед ними со своими бондарями, а мы с Федяшкой — терпи, от подрядчицы отбивайся...

— А я их всех запер там, — засмеялся Гриша и опять щёлкнул пальцами. — Зато они под Харитонову гармошку поплясали. Подрядчица два раза толкалась к нам в бондарню, да я её отшивал: вход, мол,

посторонним строго воспрещается, а таким, мол, сводням, как ты, в алтарь двери закрыты.

Весёлые поцелуи Гриши так всем понравились; что в разных местах резалки поощрительно зашлёпали в ладоши и завистливо закричали:

— Гриша! Мальчишка! Чем же это Мотя тебя покорила? Аль мы перед ней красотой не вышли? Хоть бы по разочку нас поцеловал...

— Я вам нынче душу свою подарил, девчата,— отшутился Гриша, повернувшись к нарам на каблуках и постукивая пальцами по груди.— Аль вам мало этого? А на действе весь перед вами изольюсь.

Мать стояла на коленях около меня на нарах и вся светилась, не сводя глаз с Гриши. Она улыбалась странно, словно была не в себе. С этой немой, неугасающей улыбкой она и раздевалась, как во сне, и, не замечая меня, улеглась на постель.

Прасковья с необычайной теплотой в голосе приказала:

— Все сейчас же раздевайтесь, товарки, и — в постели! А ворвётся подрядчица — молчите, спите крепко. Я с ней одна справлюсь.

Наташа прошла к Феклушке, наклонилась и пошептала с ней немного. Кузнечиха бормотала что-то, словно клянчила, чтобы Наташа и её приласкала.

Когда все улеглись Гри на своих нарах, Прасковья тихонько, но внушительно предупредила:

— Помните, товарки, и на носу зарубите: никому ни гу-гу про Харитона, как он читал вам листок про нашу жизнь и чего говорили там. А что мы делать будем, никто чтобы и не догадывался. Не дай бог, ежели подрядчица али ещё какая-нибудь шкура пронюхает, тогда нам и костей не собрать. Зарок дайте, чтобы ни одного слова с языка не сорвалось. Мы тем и живы, что друг за дружку держимся.

Галя с угрозой пообещала:

— А ежели кто сболтнёт да узнаю об этом — удушю и вздохнуть не дам.

Кто-то насмешливо огрызнулся:

— Уж всем известно, какая ты, Галечка, душегубка.

Кое-где засмеялись, довольные шуткой подруги, а Марийка утешительно откликнулась:

— Не буянь, Галька! Никто себе не враг. Волки давятся костью, а мы — злостью.

Гриша сидел на нарах, обняв столбик, словно отдыхал от душевной горячки. Потом торопливо прошёл за печку, в куток тётки Моти, и жадно выпил целую кружку воды. Он опять сел на прежнее место, обхватив рукою столбик, и беззаботно пошутил:

— Вот какой я чудодей, товарки! Прибежали вы в бондарню, как в овчарню, а там краше хором. И вольница разудалая своим бытём живёт и на всю Волгу, на весь Каспий слава идёт о силе молодецкой. И всех хозяев, всех подрядчиц — всех волостелей, бояр и купцов в Волге утопили вместе с персиянкой. Ну, персиянка-то — полонянка. На кой чёрт она Стеньке нужна, ежели любовь без языка? Такая любовь без души, без радости. Она — воровское дело. В Волгу её! Так-то, товарки! Всем нам нужно жить дружно. Харитон правду читал. Сейчас подрядчица-то обмерла, а хозяин с гостем, должно быть, всю посуду перебил. А может, вдрызг оба перепились. — Гриша встал и потянулся. — Сейчас Василиса-краса, белые телеса, как её Опшсим прозвал, влетит сюда и будет вас, как сваха, сватать... купцам на утешение. Будьте готовы: она сторицей отомстит.

Он вскочил на нары и скрылся в своём углу.

Я не удержал и крикнул со своей вышки:

— Она, подрядчица-то, пригрозила со всех двойной штраф содрать. А аводней, говорит, в пески выгоню.

— О! Не спит Васильич-то, — удивился Гриша. — Выходит, ты один воевал с подрядчицей, за всех отдувался.

Я ещё не успокоился от обиды и запротестовал:

— Она прогоняла и тётю Мотю, и меня за резалками, а мы не пошли. Я сказал: сама ищи да гони, ежели тебе надо. А она на меня, как собака, бросилась. А тут и тётя Мотя — на неё...

— Молодцы вояки! — захохотал Гриша, засмеялись и резалки. — Такую бочару опрокинули!

— Да будет тебе, Федяшка, болты-то болтать! — проворчала из своей закуты тётя Мотя, но её чувствовал, что она добросердечно улыбалась.

Мать словно проснулась: она с изумлением оглядывала меня и тоже смеялась. Галя в восторге крикнула:

— Я знала, чумак, что ты в грязь лицом не ударишь.

Прасковья хоть и не смеялась, но её низкий голос весело и вызывающе успокоил всех:

— Она уж, Василиса-то, учёная. Она хорошо знает, что на свой кулак встретит не один кулак. А уж если парнишка да Матрёша рукава засучили, драка будет несусветная. Сейчас она меж двух огней — хозяин и мы. Держитесь, товарки! Она коварная, а мы все её повадки знаем.

Подрядчица пришла, вся измятая, рыхлая, с зловещей яростью в глазах. Она остановилась около своей двери и сложила толстые руки на груди.

— Как было приказано?.. сам хозяин распорядился, чтобы вечером к нему в горницу собраться... по моему выбору. На то и работы оборвали... без вычетов... и сам обещал наградить. А вы что же наделали? Ослушались хозяина-то... Самого хозяина перед гостем в конфуз ввели. И меня перед ними оплевали.

Галя не утерпела и огрызнулась:

— На тебя, такую тумбу, плевков нехватит.

— Он грозный сейчас, — продолжала Василиса. — Такой грозный, что и сказать нельзя. А я распиналась за вас. Хоть ночь-полночь, а приведу, мол... Сдурели, мол, от радости, что хозяин отдых дал. Сряжайте сейчас же, ни минуты не медлите! Я сейчас вызывать буду.

Оксана хладнокровно перебила её:

— Никто не пойдёт. Не трудись вызывать. Вербуй девок в весёлом доме. Там есть ещё такие, которые не удавились.

— Как это никто не пойдёт? — оторопела Василиса. — Раз хозяин приказал, отказываться нельзя.

Гриша с насмешливым простодушием спросил:

— Это тоже за работу считается, подрядчица, — улаждать песнями да плясками хозяина?

Голос Гриши словно обжёг Василису: она с искажённым лицом рванулась в его сторону.

— Это не твоё дело рассуждать. Хозяин волен своими работницами распоряжаться, как ему угодно.

Прасковья хладнокровно, не повышая голоса, возразила:

— Работницы ни тебе, ни хозяину своего тела и души не продавали. Насильничать над нами никто не волен. Ведь в контракте не сказано, чтобы мы хозяину пятки чесали.

Подрядчица уже не владела собою: она задышала ась в разные стороны со сжатыми кулаками и кричала, как и лутаясь в словах:

— Теперь я знаю, знаю, кто мутит... Жабры отлаивают... Гришка-бондарь... Прасковейка...

— Меня вспомни, ежели сестру забыла,— спокойно подсказала ей Оксана.

А Галя насмешливо предупредила:

— Ой, раздулась же! Вот-вот лопнет.

Звонкий голосок Марийки засмеялся:

— Веселись, Василыса-краса, жирные телеса, ещё на полчаса!

Подрядчица захлебнулась и стала пятиться назад, озираясь по сторонам.

— Вы ещё меня... узнаете... Завоете со страху...

— Да и так до тошноты знаем,— брезгливо ответила Оксана и нарочно громко зевнула.

Подрядчица вышла из казармы, как пьяная.

Утром, как всегда, вышли на работу затемно. Подрядчица не ночевала в своей комнате: должно быть, обслуживала хозяйна с гостем. Разнарядку давал смиренный, неразговорчивый приказчик Веников. Относились к нему все дружелюбно и с первого же дня оценили его молчаливую деловитость, распорядительность и безобидность. Никогда не слышали от него ни окриков, ни угроз, ни ехидства, как бывало при Курбатове. На плоту он всегда был на виду, но казалось, что ему здесь скучно, что лень ему проверять работу резалок, сортировщиков и солильщиков, что занят он только своими мыслями. Но как-то само собою выходило, что рабочие и резалки понимали его без слов и привыкли разговаривать с ним одними взглядами. И все хорошо знали, что подрядчицу он терпеть не может и делал вид, что не замечает её. Но когда она срывалась с цепи, начинала придирается к резалкам и крикливо хозяйничать, он останавливался, с насмешливым удивлением всматривался в неё и нехотя говорил:

— В чём дело? По штрафикам, что ли, соскучились?

Подрядчица фыркала, обжигала его ненавистью в глазах и бесилась:

— Над резалками я хозяйка, а не ты, сазан снулый.

Но он с убийственным спокойствием обрезал её:

— До штрафов не дойдёт: не по закону. За распорядком я слежу. Твоё дело резалок и рабочих на плот приводить.

В день, когда Гриша с бондарями должны были играть своё действие, я заболел: у меня был жар, сердце билось часто и гулко, и я не мог поднять головы. Матери я не пожаловался на недомоганье, чтобы не тревожить её. Я слез с нар, чтобы умыться, и увидел за окном белый, сияющий свет. В казарме тоже было необычно светло и прозрачно. На улице до боли в глазах блистал снег, пушистый и мягкий. Видно было, как тихо падали густые хлопья. Тётя Мотя пытливо оглядела меня и недовольно спросила:

— Ты чего это разомлел-то весь?

Но я не ответил ей: лень было отвечать, да и вопрос её показался мне неприятным и ненужным. Феклушка необычно живо и радостно пропищала:

— Ты, Федяшенька, не болей. Видишь, погода-то какая на улице? Так бы и лстала там вместе со снежинками!

Но и её голос был неприятен и бередил досаду в сердце. Я умылся, взял кружку разваренного калмыцкого чаю и опять поднялся на свои

нары. Очень горячий и противный. Я отставил кружку в сторону и под одеялку. В голове, как далёкий колокол, гудел дряблый звон. Этот звон кружился передо мною, касаясь моих рук странным, склизким жгутом, который разбухал, вырастал больше меня и испарялся. Потом опять возникал, опять кружился, разбухая, и опять таял. Толпились передо мною одни головы. Они наплывали на меня, роились, прыгали и смеялись. Наплывал огромной глыбой Матвей Егорыч и мычал: «Людёнок!..». Где-то рядом, невидимый, торопливо бормотал Гаврюшка. И вдруг я падал, замирая, с крутой осыпи бархана под заунывный лепет Кашарки... Стонала умирающая баржа на цепи...

Так я пролежал до самого обеда. А когда услышал плясовую песню на улице, мне стало обидно до слёз.

«И чего поют? чего бесятся? большие, а дурее маленьких...» — горько думал я, и мне было до боли жалко себя.

Толпа говорливо, со смехом ввалилась в казарму и рассыпалась по своим местам. Пронзительно разрезая людскую суматоху, орал Олёнин младенец.

Мать вскочила на нары и испуганно вскрикнула:

— А, батюшки! Да что же это ты? Аль свалился? Беда-то какая! Чего же мне делать-то с тобой? Добегался, доработался себе на голову...

А я, желая показать, что совсем не болен, а просто чуть-чуть угорел от спёртого воздуха в казарме, отмахнулся от неё и улыбнулся.

— Да чего ты, мамка, заахала? Аль впервой у меня голова-то заболела? От этой нашей духоты и верблюду угорит...

Она приложила ладонь к моему лбу и со страхом в глазах отшатнулась к стене, а потом лихорадочно стала ощупывать меня холодными руками.

— Весь-то в жару... уж не горячка ли у тебя?

— Да ничего нет, — нетерпеливо крикнул я. — Ты сама-то вон вся продрогла. Вот пройдёт голова — на Гришино представление побегу.

Она в тревожном раздумье опять пощупала мой лоб и как будто успокоилась немного.

— Холодно нынче, куда ты побежишь? Без меня не выходи: я тебя потеплее одену, вместе пойдём.

Говор, смех, звяканье посуды, топот, суета, обычные в этот час, казались мне оглушительными.

«Чего они все орут? — мучительно негодовал я. — Зачем так стучат и топают ногами? Мне же больно, тошно от этого, а им и горя мало...»

Как-то незаметно я уснул и проспал, должно быть, долго, потому что в пустой казарме уже горела лампа и дымный полусумрак сгустился в дальних углах, а вокруг закопчённого пузыря мутно синел чад. Кричал ребёнок на нарах Олёны. Тётя Мотя растапливала плиту. Значит, скоро зазвонит колокол. Хотя жар у меня не прошёл, но я чувствовал приятную лёгкость в теле. Проснулся я от какого-то смутного беспокойства, словно кто-то встряхнул меня и прошептал украдкой, едва слышно, без слов, но настойчиво. В ушах шумел далёкий прибор.

Почему-то вспомнился Гаврюшка. Что он сейчас делает? Должно быть, мечется сейчас, как в капкане. Может быть, плачет около отца и спрашивает не отправлять его к деду-кашею, может быть, отбивается от матери и готовится удрать в свою пещеру... Я был уверен, что он проберётся к хозяину и обличит его в несправедливости. Он — храбрый парень и не струсит перед таким самодуром, каким он сам его видел.

Не его ли душа прилегала, чтобы позвать меня на похороны? Да сейчас, должно быть, думает обо мне и рвётся встретиться со мной, кроме меня, у него нет друга. И я решил, что это во мне шепчет безумие, его кровь, которая смешалась с моей кровью, когда мы клялись в свободной верности.

Бессознательно я оделся, натянул сапоги и даже вытащил из-под изголовья свою деревенскую шубёнку. А когда надевал шапку, удивился: зачем я оделся? куда собрался итти?

А итти нужно было — сейчас же бежать, иначе будет поздно. Но куда я должен был пойти — никак не мог вспомнить. Я спрыгнул на пол и, застёгивая шубу на ходу, наткнулся на тётю Мотю. Она ощупала моё лицо и шею и всполошилась.

— Ты куда это помчался-то? Ведь горишь весь. Не выходи на улицу — совсем простудишься.

— Надо мне, тётя Мотя.

Феклушка даже не взглянула на меня, занятая младенцем. Она стала совсем другая — посвежела, на щеках вспыхнули красные пятнышки, лицо дышало любовной озабоченностью.

Тётя Мотя сама проводила меня до двери и сочувственно напутствовала:

— Ну, выйди, подыши немножко. Душно в казарме-то. Я и сама словно в чаду. А открыть дверь нельзя — ребёночка с Феклушкой застудишь. Только сейчас же воротись, а то мать-то меня со свету сживёт. Скоро колокол зазвонит.

И тут сразу же я вспомнил, что сегодня будут показывать действо, что я решил побегать в бондарню раньше всех и устроиться впереди. Я боялся, что мать меня не возьмёт, потому что жар у меня не прошёл, да и тётя Мотя с Прасковеей заставят мать уложить меня в постель: они исподтишка следят за мною строже матери.

Я вышел на наш двор и задохнулся от свежего, ядрёного воздуха. Ночь была живая: голубел снег на земле, и воздух пушисто опускался призрачным ливнем. Было тихо и странно глухо. Фонари на соляных мельницах мерцали, как искры, и хруст соли на жерновах шестел едва слышно, как зерно в решете. Там, где была кузница, размытым пятном дрожало красное сияние, но ручник Игната не звенел по наковальне: должно быть, кузнец готовился уходить в казарму. Было приятно дышать свежим воздухом, вкусным, терпким, душистым, как молодой шипучий квас.

Я пошёл к открытым воротам, чтобы пробежать на плотовой двор, в бондарню. Гриша не выгонит меня и сам выберет мне место на штабеле новых бочар где-нибудь на высоком ярусе. Но тут же передо мной выросла мутная большая тень и тяжело прошла мимо, похрустывая широкими сапогами по снегу. Я узнал Матвея Егорыча. Шёл он задумчиво, опустив голову в кожаном картузе и заложив руки за спину. Мне очень хотелось спросить у него о Гаврюшке, но я почувствовал, что он сейчас угрюмый и может отшвырнуть меня. Может быть, он и Гаврюшку отшвырнул от себя, а теперь бродит по промыслу, отвергнутый хозяином, чужой всем ватажникам. Вероятно, ему всучили волчий билет, и он ищет себе безлюдное место, чтобы завить там надрывно и жутко. Что такое «волчий билет»? Почему он так страшен для людей? И я представлял его себе не бумагой, не обычным паспортом с орлом наверху, а вроде ядовитой печати на лбу, какую наваривал в деревне становой на дверях и окнах моленной. Должно быть, это такой же знак проклятия, который был выжжен богом, как тавро, на лице Каина, и он сейчас, изгнанный с земли, бродит на луне с вековой ношей на

плече — с... и убитого им Авеля. Но Каин — злодей: брата убил, а Матвей Егорыч правдой перед хозяином защищался и себя в обиду не дал. Гаяр был с гордостью рассказывал об этом, и мне Матвей Егорыч чудился та залез же бесстрашным и сильным своей правдой, как наш деревенский Эджитушка.

Вместо того чтобы бежать в бондарню, я пошёл вслед за Матвеем Егорычем. Он свернул к сеним нашей казармы. Перед дверью он нерешительно остановился, осмотрелся и неуклюже вошёл в сени. Дверь в казарму с визгом отворилась, вспыхнул туманный свет и погас. Я постоял немного, не смея войти сейчас же за Матвеем Егорычем, чтобы он не подумал, что я догоняю его. Сверху вместе с хлопьями снега волнами плыл далёкий шум моря, шорохи соляных мельниц и невнятная песня женщин, красивая и грустная. И вдруг где-то далеко в песках жалобно завывали волки. Мне стало страшно, и я опрометью бросился в казарму.

Матвей Егорыч, трезвый, сидел на скамье с краю стола. Чёрный картуз, как железный, лежал, опираясь на козырёк, рядом с ним на конце скамьи. Тётя Мотя, очень взволнованная, пожелтевшая, с болью в слёзных глазах, стояла напротив, дрожащими руками поправляла платок и прятала под него поседевшие волосы. Оба они насторожённо взглянули на меня и сейчас же успокоились.

— Иди, Федя, на свои нары, разденься и ляг! — тихо приказала мне тётя Мотя. — И никому ничего не болтай.

А Матвей Егорыч вполголоса говорил, сплетая и расплетая пальцы.

— Он меня, конечно, хочет приковать к себе: ему невыгодно расставаться со мной. Думал волчьим билетом меня утратить. А я кандалы порвал. А какую я жизнь вёл, Матрёша? Каторжную жизнь. Убежал бы на край света... Пью, и тоску залить не могу...

Тётя Мотя со стоном упрекнула его:

— Не во-время казнишься, Матвей. Молодость свою не воротишь и грехов не замолишь, только себя губишь...

— А я к рыбакам в артель пойду. До упаду ворочать буду... в бурю, в штормы... Раздолье! Молодость-то не в годах, а в силе.

Тётя Мотя всхлинула и опять простионала. Скорбно всматриваясь в Матвея Егорыча, она вдруг выпрямилась, и я впервые увидел, как лицо её, измятое, истомлённое, равнодушно-покорное, постаревшее раньше времени, ожесточилось от гнева.

— Умел грешить, Матвей, умей и наказание нести. Ты и сейчас только о себе думаешь. Не спасёшься, Матвей. Кого убил — не воскресишь, и сам не подымешься. Не тоска тебя терзает, а обида да норы. И не сила в тебе бунтует, Матвей, а судьба неудачная. Где она, сила-то твоя, ежели парнишку своего на погибель отдаёшь? Так у тебя и смолodu было: топчешь людей, а они души в тебе не чаяли. Не было и не будет тебе счастья, Матвей. Душа-то у тебя хорошая, да гордыня неуёмная.

Матвей Егорыч слушал её виновато, крепко обхватив голову руками.

— А чего же мне, по-твоему, делать-то сейчас?

— Совесть свою спроси, Матвей! — упавшим голосом ответила тётя Мотя и всхрипнула от слёз. Она через силу подошла к нему и погладила его по волосам. — Душа-то твоя живая, Матвей. Не убьёшь её. Гордыню свою укроти, а душу вином не заливай. Не зальёшь! О народе подумай. Некуда тебе идти. Ты своему делу владыкой будь. Людей поддержи — не давай их в обиду. Страдает народ-то, болеет, умирает без пути. Озлобился народ. Добром это не кончится. Парнишку своего к серд-

цу прижми, а врагу в жертву не отдавай. Послушай его и себя найдёшь.

В эти минуты тётя Мотя казалась мне такой изумительно мудрой и крепкой своей пережитыми испытаниями и в то же время такой мудрой и крепкой своей всепрощающей добротой, что Матвей Егорыч рядом с ней представился мне слабым и разбитым человеком. Зачем он пришёл к ней? Почему именно перед ней он раскрывал свою душу? Она, оказывается, всё знает, каждого чует, даже о Гаврюшке знает не хуже меня. Не помня себя, я сорвался с места и крикнул:

— Гаврюшка всё равно отсюда не уедет! А то с дороги убежит. Он с Матвеем Егорычем не расстанется. Он и хозяину всю правду скажет.

Мой крик как будто испугал Матвея Егорыча: он встал, надел картуз и вышел из-за стола. С суровой усмешкой он пытливо оглядел меня и проворчал:

— Так, так... Людённыши тоже бунтуют...

Тётя Мотя набросилась на меня:

— Ты чего же это, непрошенный, в чужие дела суёшься?

— Ничего не чужие, — горячо запротестовал я. — Мы с Гаврюшкой кровью поклялись друг за друга стоять.

Матвей Егорыч с притворным негодованием, но со смехом в глазах пожаловался тёте Моте:

— Я знаю этого людёнка. Правдолюбы с Гаврилой. И всегда под ногами путаются. — И угрожающе шагнул ко мне. — Он, Гаврило-то, ежели хочешь знать, все карты мне смешал. Пробрался к хозяину и брякнул ему: «Не смеешь, говорит, папашу моего прогонять. Он всех лучше!» А хозяин ему: «Как! даже лучше меня?» — «И лучше тебя», — говорит. Уж не ты ли его подзудил на такую дерзость? Да-с... Особый народ растёт, не то что мы с тобой, Матрёша... — Он вздохнул и покорно, как виноватый, пробормотал: — Пойду... За доброе слово спасибо, Матрёша. Может, дети наши оправдают нас. А сами себя не оправдаем.

Он широкими шагами вышел из казармы. Тётя Мотя захлебнулась слезами и закрылась фартуком.

(Окончание следует)



ФАТМИР ГЯТА

★

ПЕСНЯ О ПАРТИЗАНЕ БЕНКО

С албанского

1

Солнце скатилось
За гору Лениё.
Заснули вершины
В последних лучах.

Большие кувшины
Неся на плечах,
Подруги спускаются
Горной тропой
За студёной водой.

Собрались парни
Возле родника,
Где тропа узка.
Спрашивают парни
Молодого Бенко,
Своего дружка:
Какая красавица
Ему больше нравится.

Отвечает Бенко:
— У неё застёжка
На платке.

Отвечает Бенко:
— У неё браслеты
На руке.
На звезду похожа,
Что купается
В роднике.

А вода журчит,
А вода бежит —
Вода для питья,
Вода для мытья,
Вода для губ,
Вода для очей —
Зеркальная струя
Из трёх ключей.

Нет дороги девушкам
На родник.
Стали наши девушки
Вдалеке.
Слушают-угадывают,
Кто из них
На звезду похож,
Купающуюся
В роднике.
И вдруг, как голуби,
Вспорхнули.
Локтями голыми
Сверкнули.

Догоняет Бенко
Девушку Минуши.
— Ты меня, Минуши,
Погоди, послушай!
Не спеши. Дай кувшин,
Я нести помогу.
Я люблю тебя. Жить
Без тебя не могу.

А вода бежит,
А вода журчит...
А вода, как сердце —
Никогда не молчит.

— Я люблю тебя, Бенко, —
Отвечает она.
— Я всегда тебе, Бенко,
Буду верна.

Слышны во дворе
Звуки дайре¹,
Ноги сами ходят
В такт игре.
Хоть нет у нас мёда
На свадебном столе,

¹ Д а й р е — род бубна.

Хоть нету свободы
В албанской стороне,
Хоть счастье не ходит
У нас на дворе —
Всё равно потанцуем
Под звуки дайре.
Ноги сами пляшут
В такт игре!

II

Умирают сады.
Опадают плоды.
Соловьи не поют,
И цветы не цветут.
Опускается мрак...

Но на дальних горах
Распускается гордый цветок

яргаван;
Яргаван — как звезда на груди
партизан.
И винтовки гремят неуютной порой
За Иван-горой и за Гур-горой.

— Ты мне дай, Минуши,
Мой патронташ.
— Ты пришей мне, Минуши,
На шапку звезду.
— Ты винтовку, Минуши,
Старинную смажь.
— Я сегодня, родная,
К партизанам уйду.

— Неужели ты, Бенко,
Не жалеешь меня?
— Неужели ты, Бенко,
Оставишь меня?
Видно, сычу придётся
Расти без отца.
Видно, плакать придётся
Мне без конца!

Отвечает Бенко:

— Потому, что тебя я люблю,
дорогая моя,
Я уйду в партизаны.
— Потому, что мне дороги сын
и семья,
Я уйду в партизаны.
— Потому, что в неволе родные
края,
Я уйду в партизаны.

И когда ты услышишь и порой
Винтовочный гром за Иван-горой,
Ты дверь отпри и окна открой,
Соседей зови, чтоб пир был горой,
Чтоб счастьем и песнями наполнился
дом.
Знай: это мы с победой идём!

Умирают сады.
Опадают плоды.
Ночь тоскует в ветрах.
Солнце спит за горюю Ление.
Спит селенье в горах.

Только слышен тяжёлый
Дальний рокот реки
Да винтовочный отзвук с Девёлы.

А в горах — огоньки
Над деревней заснувшей.
И не спится Минуши.
Хочешь, песню Минуши послушай:

«Если холодно в горах,
Я хочу быть огоньком,
Если нет воды в горах,
Я хочу быть родником.
Если пуля в сердце метит,
Я подставляю грудь свою.
Враг за кровь твою ответит,
Я за друга постою.
Сыном нашим поклянусь,
Пулей мягкой обернусь, —
Жадной пчёлкой, острой пулей
В сердце недруга вопьюсь».

Умирают сады.
Опадают плоды.
Опустели поля.
Стонет наша земля!

Но в горах, за дальним скатом,
За горой-Иван
Метко бьёт из автомата
Оккупантов партизан.

Испугался стрельбы
Годовалый сынок,
Хочет двери закрыть,
Запереть на замок,
Чтоб не слышать, как пушка
В ущелье палит.

Но М две чей
Затвор те велит:
— Не п зйся, мой сынок,
Не пугайс голубок!
Скоро Бенко, твой отец,
Возвратится к нам домой.
Дверь пошире отвори.
Люди двинутся — смотри —
Из Опара и Скрапара,
Пешкопи и Загорй.
Всюду Бенко побывал,
Всюду Бенко воевал.
Он прошёл сквозь непогоду,
Сквозь огонь и сквозь свинец.
Скоро, скоро из похода
Он вернётся, наконец!

И вышел Бенко.
И стоял на горе над селом.
И слышал Бенко,
Как ветер шумит крылом.
И смеялся Бенко,
И стрелял из ружья.
И сражались с ним рядом
Дорогие друзья
За великую партию,
За родные края.

Он сражался, чтоб жить,
И он жил, чтоб бороться...

А вода бежит,
А вода журчит,
А ручей смеётся...

Только мёртвый Бенко
На камне лежит,
Будто пьёт из ручья
И никак не напьётся.

Да, погиб наш Бенко,
Чтоб отчизна жила,
Чтобы буйная зелень
На склонах цвела,
Чтоб звучала дайре,
Чтоб плясали в селе,
Чтобы счастье гуляло
На каждом дворе,
Чтобы труд был в почётс,
Чтоб песня лилась.
Чтоб свободы и мира
Земля дождалась.

В этот день был суров
 партизанский отряд.
Он стоял перед мёртвым героем.
И двенадцать раскатистых залпов
 подряд
Прогремели над строем.
Воин партии — Бенко в горах
 воевал,
Он фашистскою пулей был убит
 наповал.
Слава Бенко!

И сказала Минуши: — Бенко вечно
 живёт!
И ответили горцы — суровый народ:
— Слава Бенко!

А ночью опять над деревней
 заснувшей
Неслась колыбельная песня
 Минуши.
Ты песню Минуши послушай:

«Солнце скрылось за горой,
Спи, мой мальчик дорогой.
Твой отец был горд и смел,
Он сражался, как герой.
Будешь ты, как твой отец,
Смелый воин и борец.
Твой отец погиб в бою
За Албанию свою.
Баю-баюшки-баю...»

Ночь прошла.
Тает мгла.
Слышно песню из села:

«Спи, мой маленький герой,
Солнце встало над горой...»

III

Зацветают сады
Соловьиной порой.
Вьётся ласточка в небе
Над Иван-горой.
И весну из-за моря
Приносят ветра.
Ей давно уж пора,
Ей давно уж пора!

А взглянуть с Иван-горы на
 запад —
Видно море голубое из-за леса.
И плывут по морю пароходы

К пристаням албанского Дурреса.
Красный флаг на мачте парохода,
В трюме много дорогого груза —
Здесь подарки для албанского
народа

От людей Советского Союза.
Ветерок с востока задевает волны,
Он летит быстрее острокрылой
птицы.
Не удержат ветер, дующий с
востока,

Ни заставы вражды,
Ни штыки, ни стража,
Ни границы
Над Иван-горюю пролетает тенью,
Над зелёным полем, над речною
синью

И весну приносит в каждое
селенье
Ветер из России, ветер из России.

Бежит ручей
Из трёх ключей
Яснее солнечных лучей.

В селе не спят,
В селе поют,
Проснувшись на заре,
Про новый труд,
Про славный труд.

Тропой строители идут
Туда, к Иван-горе.

А там вгрызается туннель
В скалистый склон горы.
В столицу поезда пойдут,
Везя от нас дары.

И там, где Бенко-партизан
Шёл впереди отряда,
Прокладывает новый путь
Рабочая бригада.

Стирает трудовой народ
Следы войны миновавшей
Бригаду за собой ведёт
Бригадир Минуши.

Кончается день трудовой.
Песня летит над водой.
Девушки пляшут под звуки дайре.
Хорошо отдохнуть на вечерней
заре!

Послушай, как вода журчит,
Послушай, как листва шумит
Над стороною заснувшей.
Послушай,
Как поёт Минуши:

«Пою о времени нашем,
О дальних дорогах пою.
Пою о нашей свободе,
Добытой в честном бою.

Пою о мире и дружбе,
О нашей родной земле...

Немеркнувшей тёплой звездой
Сияет окно в Кремле.

Я вижу окно ночное.
Оттуда в полночный час
Огонь негасимый светит
И Сталин глядит на нас.

Он видит моря и страны,
Он верит в наш славный труд.
Открытые им дороги
В социализм ведут!»

Ветерок весенний пролетает тенью
Над счастливым краем, под
небесной синью.
И весну приносит в каждое
селенье

Ветер из России,
Ветер из России!

1949.

Авторизованный перевод Д. Самойлова.



ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

Ю. МИЛЕНУШКИН

★

НОВОЕ В НАУКЕ О ЖИЗНИ

В 1938 году на приёме в Кремле работников высшей школы товарищ Сталин поднял тост за науку и за деятелей науки, той науки, «...которая не отгораживается от народа.. а готова служить народу...»¹. С тех пор советская наука новыми важными открытиями, многочисленными успехами во всех областях ещё более прочно утвердила за собой право называться передовой наукой, вносящей большой вклад в великое дело строительства коммунизма в нашей стране.

Одной из отличительных черт нашей науки является её неразрывная связь с разнообразной практической деятельностью советских людей. Союз труда и науки, о чём вдохновенно мечтал в своё время великий учёный-революционер Климент Аркадьевич Тимирязев, претворён у нас в жизнь.

Большой идейный рост всей советской науки, который отличает её в послевоенные годы, отразился и на достижениях науки о жизни — биологии. Для неё характерны крупные сдвиги в разработке ряда коренных проблем. Глубокая их значимость, подлинно новаторский дух, которым проникнуты труды наших передовых учёных, привлекли к этим проблемам пристальное внимание советской общественности.

По-новому подходят теперь наши учёные к пониманию явлений развития органической природы, наследственности и изменчивости. Мичуринское учение стало знаменем нашей биологической науки. В новом свете предстал перед нами вопрос о связи, сходстве и различии между живым и неживым.

Коренному пересмотру подвергаются многие прежние представления о взаимоотношениях между организмом человека или животного и окружающим его миром мельчайших существ — микробов и вирусов.

За всю многолетнюю и богатую историю отечественной биологической и медицинской науки никогда не было периода, столь насыщенного научными дискуссиями большого принципиального значения. После исторической сессии Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, в июле—августе 1948 года, состоялась крупная дискуссия, посвящённая развитию павловского учения, дискуссия о вирусной патологии, обсуждение книги доктора биологических наук Г. М. Бошняна «О природе вирусов и микробов», обсуждение работы профессора О. Б. Лепешинской «Происхождение клеток из живого вещества и роль живого вещества в организме».

Но дело не только в том, что сейчас в советской науке много дискуссий, что они носят остро принципиальный характер. Замечателен тот огромный интерес, который вызывают эти дискуссии в самых широких кругах советской интеллигенции. Такой невиданный отклик, казалось бы, специальных научных споров — явление характерное, полное глубокого социального смысла. Это яркое свидетельство роста культуры нашего народа и доказательство подлинной народности передовой советской науки. «В дискуссиях о биологической науке, которые развернулись в нашей стране, принципиально новым было то, что впервые в истории эти дискуссии велись в стране социализма и потому приобрели всенародное значение, — говорил академик Т. Д. Лысенко в 1949 году на юбилейной сессии, посвящённой 20-летию со дня основания Всесоюзной

¹ «За передовую науку». Издательство Академии наук СССР, 1939, стр. 7.

Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. — У нас ведь в области науки заинтересованы не только работники науки, но и миллионные массы трудящихся, для которых вовсе не безразлично, какое направление в биологической науке развивается — материалистическое, прогрессивное или идеалистическое, «реакционное»¹.

В этих дискуссиях ярко отразились характерные особенности советской науки — науки Сталинской эпохи: государственный и народный её характер; её новаторское направление; всё более глубокое критическое отношение учёных к идеологическим основам науки. «Для наших учёных, — говорит академик С. И. Вавилов, — диалектический материализм становится необходимым фундаментом теоретической мысли. Смело применяя острое оружие критики и самокритики, наши учёные обнаружили многие ошибки в своей работе и наметили пути правильного дальнейшего развития науки на основе великого учения Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина»².

* *
*

Традиции в науке—великая сила. Но одни традиции ведут нас вперёд, другие же тормозят движение науки. Для советского учёного, воспитанного партией Ленина—Сталина в духе критического отношения к прошлому и настоящему, нет непогрешимых научных истин. Он руководствуется верным компасом — бессмертным учением Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина и умеет отыскивать пути разрешения труднейших вопросов науки и практики, не останавливаясь перед коренной ломкой «научных истин», если они вступают в противоречие с практикой жизни и мировоззрением диалектического материализма.

К числу таких «научных истин», десятилетиями внедряемых в сознание учёных, «истин», казалось бы, незыблемых и освящённых временем, но в действительности тормозящих развитие науки и практики, принадлежит учение Вирхова—Ферворна о клетке, как элементарной единице жизни, и о сведении всех жизненных явлений к сумме процессов, происходящих в клетках.

Полная несостоятельность учения Вирхова—Ферворна была и ранее ясна многим передовым учёным. Известный советский биолог, профессор А. В. Немиллов ещё в начале 1941 года писал: «Фактов, говорящих против понимания клеточной теории в духе Вирхова—Ферворна, накопилось так много, что можно только удивляться, как она может ещё находить себе последователей и защитников». Но хотя, как указывает А. В. Немиллов, эта, «навязанная природе схема под напором накапливавшихся наблюдений распознала по всем швам и обнаруживала свою несостоятельность», она до последнего времени ещё имела хождение в советской науке и влияние её сказывалось на ряде наших учебников и научных трудов.

На состоявшейся в апреле 1950 года специальной сессии Академии медицинских наук СССР реакционное учение Вирхова было подвергнуто жестокой критике. В докладах академика А. Д. Сперанского и других было со всей очевидностью показано, что вирховская теория в корне противоречит научным фактам и основанной на них передовой концепции о целостности и неделимости организма. Эта концепция, основы которой созданы нашими великими учёными Сеченовым и Павловым, является ведущей в советской медицинской науке; она оплодотворяет практику и соответствует принципам марксистско-ленинского учения о живом организме и его взаимосвязи с внешней средой, утверждая ведущую роль нервной системы в нормальной и патологической жизни человеческого организма.

Учение о роли нервной системы — не догма, а система представлений, развивающихся в тесной связи с практикой, с данными современной науки. Оно намечает широкие перспективы для прогресса общей патологии и лечебной медицины.

¹ Т. Д. Лысенко. Итоги работы Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина и задачи сельскохозяйственной науки. Сельхозгиз, 1949, стр. 5.

² С. И. Вавилов. Наука Сталинской эпохи. Издательство Академии наук СССР, 1950, стр. 4.

С точки зрения советских биологов и медиков, жизнедеятельность организма ни в каком смысле не складывается из функций его частей — органов, тканей, клеток. В организме они существуют и функционируют только как части целого и, следовательно, прежде всего подчиняются регулирующим влияниям всего организма. Жизненные процессы — нормальные и патологические, разыгрывающиеся на отдельных территориях, участках тела (местные процессы), являются отражением более общих и глубоких явлений, характер которых определяется особенностями организма, как целого. В организме человека первостепенную роль играет нервная система, выполняющая важнейшую функцию связи между отдельными органами, между организмом и окружающей средой, воспринимающая и перерабатывающая раздражения, исходящие из внешней среды.

Великий физиолог И. П. Павлов, совершивший революционный переворот в естествознании, всегда подчёркивал, что основой его учения является представление о неразрывном единстве внешнего и внутреннего во всех проявлениях жизнедеятельности организма и о ведущей роли нервной системы, точнее, её высшего отдела — головного мозга. Он писал, что «...высший отдел держит в своём ведении все явления, происходящие в теле».

Многочисленные исследования советских физиологов и врачей, развивающих учение Павлова (К. М. Быков, И. П. Разенков, А. Д. Сперанский и другие), неопровержимо показали, что кора головного мозга оказывает непрерывное и глубокое воздействие на все решительно процессы, происходящие в человеческом организме: пищеварительные, секреторные, двигательные, болевые и т. д. Исключительно интересны, например, работы академика К. М. Быкова и профессора Б. И. Лаврентьева, впервые показавшие, что во всех внутренних органах имеются нервные аппараты (интерорецепторы), осуществляющие непрерывную связь этих органов с корой головного мозга. Эти интерорецепторы посылают в центральную нервную систему, как говорит К. М. Быков, импульсы, сигнализирующие о состоянии внутренних органов, об изменениях, возникающих по ходу их деятельности.

Работами академика А. Д. Сперанского и его сотрудников показано, что нервная система играет огромную роль в развитии не только нормальных, но и самых различных болезненных процессов. В человеческом теле нет органа, который не был бы снабжён нервными окончаниями. Они воспринимают раздражения, возникающие в результате действия каких-либо болезнетворных агентов, в том числе и патогенных микробов. Эти раздражения воспринимаются всей нервной системой, и она реагирует на них определённым образом, в свою очередь оказывая то или иное влияние на уже начавшийся болезненный процесс. А. Д. Сперанскому принадлежит огромная заслуга в творческой разработке идеи «нервизма» в применении к патологии. Однако на этом пути Сперанским были допущены серьёзные ошибки, о которых много говорили на Павловской сессии. Он сам признал, что большим недостатком в его работах была недооценка значения коры головного мозга, что привело его к известному отрыву от физиологии и тем самым от главной линии исследований, намеченных И. П. Павловым. Как известно, Павлов подчёркивал, что патологические явления должны изучаться теми же основными методами, что и физиологические, ибо в обоих случаях в организме действуют одни и те же закономерности, и область патологии находится в ведении физиолога, владеющего строгим научным методом изучения жизненных процессов.

Прошедшая в конце июня 1950 года объединённая сессия Академии наук и Академии медицинских наук, посвящённая проблеме учения И. П. Павлова, показала, в какой ожесточённой борьбе со старыми догмами, с влиянием порочных западноевропейских и американских теорий развивалось и развивается великое павловское учение. Вместе с тем сессия, проходившая под знаком критики и самокритики, вскрыла многочисленные недостатки в разработке павловского учения и определила пути дальнейшей работы советских учёных в области физиологии и медицины.

Труды сессии явились хорошей иллюстрацией к словам товарища Сталина в его гениальной работе «Относительно марксизма в языкознании»: «Общепризнанно, что

никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики»¹.

В обращении к товарищу Сталину участники сессии писали: «Следуя Вашему великому примеру и Вашим указаниям, мы отдаём себе полный отчёт в том, что учение И. П. Павлова не застывшая догма, а научная основа для творческого развития физиологии, медицины и психологии, рационального питания, физической культуры и курортного дела, направленного на укрепление здоровья советского человека».

Упорная и напряжённая борьба с реакционными течениями, которая ведётся сейчас в советской науке, находит яркое отражение в многочисленных научных дискуссиях, развёртывающихся прежде всего вокруг новаторских работ наших учёных.

Проявлениями этой идейной борьбы, ведущейся нашей наукой, является и критика советскими учёными реакционной вириховской догмы, и пересмотр основных положений классической микробиологии, предпринятый Г. М. Бошняком, и выступления О. Б. Лепешинской, выдвинувшей новую концепцию происхождения и развития клеток и неклеточных форм жизни.

Здесь мы сделаем попытку рассказать о некоторых из этих работ и охарактеризовать их значение.

СУЩЕСТВО ИЛИ ВЕЩЕСТВО?

С тех пор, как русский учёный Д. И. Ивановский обогатил науку великим открытием, установив в 1892 году существование мира мельчайших микроорганизмов — фильтрующихся вирусов, — начался новый важный период в истории микробиологии.

Изучая мозаичную болезнь табака — заболевание, приносящее большой ущерб отечественному табаководству, Ивановский тщетно искал возбудителя этой болезни под микроскопом. Путём тщательных кропотливых опытов он установил, что сок больного растения сохраняет свои заразные свойства, даже будучи профильтрованным через бактериологический фильтр. Такие фильтры широко применяются в микробиологии для освобождения изучаемой жидкости от микробов. Изготавливаются они из фарфора или из инфузорной земли. Через мельчайшие микроскопические поры таких фильтров не проникают даже самые мелкие бактерии — они задерживаются в фильтре. Вот почему жидкость, пропущенная через фильтр, считалась всеми бактериологами стерильной, то есть обезвреженной полностью. Русский учёный не мог при тогдашнем состоянии исследовательской техники увидеть возбудителей мозаичной болезни. Но живая природа их была для него бесспорна.

Д. И. Ивановский положил начало новой отрасли микробиологической науки — вирусологии. Он первый доказал, что богатство и разнообразие микроскопических форм жизни далеко не исчерпывается теми организмами, которые можно видеть в обыкновенный, так называемый оптический микроскоп, дающий увеличение около 2 000 раз. Помимо известных науке бактерий, бацилл и грибов — возбудителей сибирской язвы, туберкулёза, сифилиса, газовой гангрены, парши и ряда других заразных болезней, существует множество микробов гораздо меньших размеров. Границы наших представлений о жизни широко раздвинулись!

Спустя много лет изобретение ультрамикроскопа и электронного микроскопа сделало фильтрующиеся вирусы доступными человеческому глазу. Размеры их поразительно малы. Они колеблются для разных вирусов в пределах 10—300 миллимикрон (миллимикрон — тысячная часть микрона; микрон — тысячная часть миллиметра). Напомним при этом, что обычные микробы, то есть бактерии, имеют величину, измеряемую несколькими микронами, то есть они в тысячи раз «крупнее» вирусов.

Со времени великого открытия Ивановского вирусология сложилась в обширную отрасль биологической и медицинской науки, пользующуюся особыми, своеобразными методами исследования. Сейчас известно уже более 200 заболеваний человека, животных и растений, вызываемых вирусами. Среди них такие болезни, как оспа, бешенство, различные виды энцефалитов, трахома, свинка, корь, ящур, чума собак.

¹ «Правда» от 20 июня 1950 года.

Джонс — еи следующий факт: первыми крупнейшими достижениями в борьбе с заразными болезнями мы обязаны как раз изучению вирусных заболеваний — оспы и бешенства. Мы имеем здесь в виду прививки против оспы, введённые в 1796 году Дженнером, и прививки против бешенства, предложенные Пастером в 1885 году. Оба эти крупнейшие открытия сохранили своё значение до сегодняшнего дня, а ведь сделаны они были в те времена, когда не только не были известны вирусы, но и микробная теория заразных болезней ещё не была доказана!

Но если Пастер мог найти верное средство борьбы с бешенством, не видя его возбудителя, не зная как следует его свойств, не подозревая о существовании фильтрующихся вирусов, если Дженнер научил врачей предупреждать заболевания оспой путём прививок и при этом сам не имел представления о значении микроорганизмов, то в настоящее время для успешной борьбы с инфекционными заболеваниями уже совершенно необходимо глубокое понимание свойств их возбудителей. Однако что мы знаем о природе фильтрующихся вирусов?

Откроем современные учебники и руководства по микробиологии. Мы прочитаем, что по вопросу о природе фильтрующихся вирусов существуют четыре точки зрения: 1. Вирус — существо, 2. Вирус — вещество, 3. Вирус — вещество со свойствами существа, 4. Вирус — существо со свойствами вещества. Надо ли говорить, что все эти «определения» не могут не смутить мыслящего исследователя?

Каждая из этих теорий имеет свои основания, и все они основаны на единой причине. Причина эта — удивительное своеобразие фильтрующихся вирусов и... непонимание учёными их истинной природы.

В самом деле, вирусы несомненно способны размножаться, а размножение — это неотъемлемое свойство жизни, и только жизни. Но вместе с тем вирусы имеют столь ничтожные размеры, что многие исследователи сильно сомневаются в их живой природе. Может ли существовать организм величиной менее 100 миллимикрон? Ведь это уже размеры молекул, а как представить себе молекулу со свойствами живого организма?

Из этих сомнений и родились разноречивые точки зрения, приведённые нами выше.

Мнения исследователей разделились и по другому важному вопросу: способны ли вирусы размножаться вне живого организма? Как известно, микробы можно культивировать, выращивать вне восприимчивого организма. Для этого достаточно только подобрать подходящую питательную среду. Для одних бактерий это кровь, для других — ткань определённого органа, для третьих — специально составленные искусственные среды. Но вот для фильтрующихся вирусов никак не удавалось найти такую среду воспитания. Вирусы, по общему мнению, способны жить, расти, размножаться только на живых тканях. Например, вирус, считающийся возбудителем гриппа, культивируется исключительно на живых тканях куриного яйца. Получается, что вирус как бы неотделим от живого белка, в котором он паразитирует в природе в естественных условиях. Отсюда и возникло предположение, что болезнетворные вирусы есть не что иное, как особые паразитические белки, способные размножаться только в живых и притом в определённых тканях.

Шли годы, исследователи открывали всё новые и новые фильтрующиеся вирусы, изучали их биологические и физико-химические свойства. Накапливались факты, и чем больше их становилось, тем более осложнялся вопрос о природе фильтрующихся вирусов. Вопрос — вещество или существо? — всё настоятельнее требовал своего разрешения.

Зарубежные учёные, особенно американские и английские, увлеклись деталями, касающимися физико-химических и биологических свойств вирусов, и... потонули в них окончательно. Из множества научных работ, посвящённых изучению природы вирусов, казалось, нельзя было сделать никакого определённого вывода. Вместе с тем вирусология всё более и более обособлялась от микробиологии и общей биологии. Это неизбежно лишало исследователей — как вирусологов, так и микробиологов — необходимой широты кругозора, без которой невозможно решение больших научных проблем.

И всё-таки решение проблемы было дано. Его дала советская наука, вооружён-

ная марксистско-ленинским мировоззрением: не боящаяся поднять руку и не боящаяся подвергнуть суровой ревизии даже, казалось бы, самые бесспорные теории, если они становятся тормозом для движения науки.

В начале 1950 года советский учёный, доктор биологических наук Г. М. Бошнян опубликовал свою книгу «О природе вирусов и микробов». В этой небольшой работе современные сведения о свойствах вирусов впервые были синтезированы и представлены в виде смелой и стройной концепции, отличающейся глубиной и оригинальностью.

Г. М. Бошнян в течение многих лет изучал своеобразное вирусное заболевание лошадей — инфекционную анемию. Болезнь эта характеризуется прежде всего нарастающими изменениями в крови и приводит в конце концов к гибели заболевшего животного. Глубокое изучение инфекционной анемии привело Г. М. Бошняна к важным обобщениям, касающимся природы вирусов вообще.

История этих работ Г. М. Бошняна лишний раз показывает, что если исследователь вооружён правильной методологией и стоит на верном пути, то разработка, казалось бы, даже частного и узкого вопроса закономерно приводит его к обобщениям подчас очень крупного значения. История науки знает множество примеров такого рода. Достаточно напомнить здесь о работах И. П. Павлова, начавшего с изучения деятельности слюнных желёз и пришедшего от этой, как он шутиливо говорил, «плёвой желёзки» к созданию учения, оказавшего революционное влияние на всю медицину и биологию.

На вопрос—существо или вещество? — Г. М. Бошнян не колеблясь даёт определённый ответ: все вирусы являются живыми организмами. Неверно, что вирусы нельзя культивировать вне живых тканей. В лаборатории Г. М. Бошняна (Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии в Москве) разработаны в последние годы специальные методы, дающие возможность наблюдать развитие, размножение вирусов на искусственных питательных средах подобно тому, как это осуществляется по отношению к видимым микробам.

Ещё более значительно другое положение концепции Г. М. Бошняна. Он пришёл к заключению, что вирусы ни в коем случае не могут рассматриваться, как обособленная группа существ. Напротив, они представляют собой определённую стадию развития микроорганизмов. Из фильтрующихся вирусов можно получить видимые под микроскопом формы бактерий, а эти последние могут при известных условиях переходить в вирусную форму. «Получение на искусственных питательных средах чистых культур бактерий из фильтрующихся вирусов связано с определёнными трудностями, — пишет Г. М. Бошнян. — Эти трудности объясняются следующим. Фильтрующиеся вирусы связаны с белками крови, белками органов и тканей животных и поэтому находятся в недейтельном состоянии. Именно в силу указанных причин культивирование вирусов на искусственных питательных средах при посевах прямым путём из крови и органов не удавалось. Поэтому пришлось создать предварительные условия для культивирования вирусов».

Превращение вирусов в микробы и микробов в вирусы отнюдь не такой простой процесс. Г. М. Бошнян указывает, что «превращение вирусов в микроорганизмы проходит через несколько стадий, пока они становятся видимыми микробами». Таких стадий развития микроорганизма четыре: кристаллическая форма, вирусная форма, зернистая форма, микробная форма. Все они представлены в книге Г. М. Бошняна в виде многочисленных микрофотографий.

Подобные превращения получены Г. М. Бошняном с возбудителями инфекционной анемии, чумы кур, чумы свиней, ящура, энцефаломиелита лошадей, бешенства и других заболеваний заведомо вирусного происхождения.

Значит, принципиальная грань между вирусами и микробами стёрта. И вирусы, и микробы — это различные формы существования микроорганизмов. Данные Бошняна свидетельствуют о единстве и взаимосвязи всего мира микроскопических организмов. Таков важный вывод общеприродоведческого и философского характера. Теория стадийного развития Т. Д. Лысенко получает здесь ещё одно подтверждение. Этот вывод находится в полном соответствии с материалистической диалектикой, которая «рас-

смаг, природу же как случайное скопление предметов, явлений, оторванных друг от друга, сливающихся друг от друга и не зависящих друг от друга, — а как связанное, единое, где предметы, явления органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обуславливают друг друга»¹.

Не нужно думать, что на разных стадиях своего развития свойства микроорганизмов не изменяются. Отнюдь нет! Г. М. Бошняк считает, что и болезнетворные свойства, и способность вызывать иммунитет различны у микробов, находящихся на разных стадиях развития. Открываются широкие перспективы использования этих данных в практике. Можно допустить, например, что на стадии вируса микроорганизм является возбудителем опасной болезни, а на стадии видимого микроба он не может вызвать заболевание, но способен иммунизировать, то есть сообщать невосприимчивость к данной болезни.

О «ВИДИМЫХ» И «НЕВИДИМЫХ» МИКРОБАХ

В свете оригинальной концепции Г. М. Бошняка по-новому ставится и вопрос о так называемых фильтрующихся формах микробов.

На заре научной микробиологии, во времена Пастера и Мечникова, то есть в конце прошлого века, почти никто не думал о существовании микроорганизмов более мелких, нежели обычные, и проходящих через бактериальные фильтры. Считалось, что микробная культура, пропущенная через фильтр, совершенно свободна от бактерий, грибов и других микробов и их спор.

Правда, и Пастер и Гамалея, много сделавшие для изучения бешенства и введения прививок против него, не сомневались, что хотя возбудитель этой болезни и остаётся неуловимым, но принадлежит к числу живых микроорганизмов. Однако увидеть его в то время было невозможно: ультрамикроскоп и электронный микроскоп ещё не были изобретены.

Когда Ивановский открыл мир фильтрующихся вирусов, то никто ещё не пытался перекинуть мост между двумя, казалось бы, резко разграниченными категориями микроорганизмов — видимыми и невидимыми микробами.

1910 год принёс научному миру новость, значение которой было оценено лишь много позднее. Оказалось, что возбудитель туберкулёза существует не только в той обычной, видимой под оптическим микроскопом форме, в какой привыкли его наблюдать во всех лабораториях мира, но и в форме, проходящей через лучшие бактериологические фильтры. Коротко говоря, были открыты фильтрующиеся формы туберкулёзной палочки. Этот любопытный факт, впервые установленный Фонтесом, привлек внимание исследователей разных стран.

Очень скоро выяснилось, что многие микробы способны существовать в фильтрующейся форме. К числу таких микробов относятся, например, возбудители брюшного тифа, возвратного тифа, стрептококки, дизентерийная бактерия и ряд других.

Перед исследователями встал ряд серьёзных вопросов, на которые трудно было дать отчётливый ответ. Прежде всего, что такое фильтрующаяся форма микроба — особая ли стадия развития возбудителя или ненормальная форма его, возникающая под влиянием каких-то особых условий? И каковы эти условия: наследственные, внутренние свойства микроорганизма или результат влияния на него внешней среды? Если это стадия развития, то каков биологический смысл её существования? Ведь в природе нет случайностей. Все ли микробы способны образовывать фильтрующиеся формы или это только особенность некоторых видов бактерий?

И, наконец, очень важный вопрос: имеется ли какая-нибудь родственная связь между фильтрующимися вирусами и фильтрующимися формами микробов?

Множество самых различных теорий, гипотез было высказано с целью дать ответ на все эти насущные вопросы, но единой, стройной и цельной концепции долго никто не мог предложить. Правда, по отношению к отдельным видам микробов были высказаны определённые взгляды, опирающиеся на серьёзный экспериментальный материал.

¹ «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 101.

Так, например, профессор В. А. Крестовникова в течение ряда лет авторичку зрения, согласно которой возбудитель сыпного тифа, так называемая рустоявчк провачека, является мельчайшей формой, происходящей от бактерии, известной по названию «протей икс» и постоянно встречающейся при сыпном тифе. По мнению В. А. Крестовниковой, «риккетсии являются паразитической стадией протей, приспособившейся в ходе эволюции к жизни в организме человека и вши».

Эта теория подтверждает давно уже высказанный нашим крупнейшим микробиологом Н. Ф. Гамалея взгляд, согласно которому риккетсии сыпного тифа произошли от протей в далёком историческом прошлом. Подобных же взглядов придерживался известный французский бактериолог Ш. Николь.

Очень сходна с изложенной и гипотеза, предложенная профессором Л. И. Фалькович в последние годы. Она относится к возбудителю гриппа. По мнению Л. И. Фалькович, фильтрующийся вирус, признаваемый сейчас большинством учёных возбудителем гриппа, происходит от «видимого» микроба — палочки Афанасьева—Пфейфера. Этот микроб постоянно обнаруживается у больных гриппом. До открытия гриппозного вируса он считался возбудителем этой болезни.

Многочисленные опыты и наблюдения показывают, что вирус гриппа и палочка Афанасьева—Пфейфера связаны тесным родством. Не решён только вопрос: являются ли этот вирус и бактерия различными стадиями развития возбудителя гриппа или же вирус представляет собой особый вид микроба, отделившийся от палочки Афанасьева—Пфейфера в течение более или менее длительного эволюционного процесса?

Чрезвычайно интересны также данные, полученные советскими учёными при изучении скарлатины.

Известно, что ещё в начале этого века выдающийся русский бактериолог Г. Н. Габричевский (1860—1907), а вслед за ним И. Г. Савченко (1862—1932) и другие выдвинули и обосновали теорию, согласно которой возбудителем скарлатины является особый вид стрептококка (микроб, имеющий вид цепочки из шариков, от латинского слова «стрептос» — цепочка). Габричевский создал и специальную стрептококковую противоскарлатинозную сыворотку, успешно применявшуюся в течение ряда лет. Но стрептококковая теория скарлатины в своём «чистом» виде оказалась не в состоянии ответить на все вопросы, возникающие перед врачом в лаборатории и у постели больного. Взамен была предложена теория, по которой возбудитель скарлатины — не стрептококк, а некий фильтрующийся вирус.

Однако и вирусная теория скарлатины не смогла полностью удовлетворить пылкую мысль советских учёных.

Работы Л. И. Фалькович и её сотрудников проливают новый свет на эту проблему, столь важную для нашего здравоохранения и медицинской науки. Они дают основание высказать мысль, что в возникновении и течении скарлатины играют роль и стрептококк, и вирус, причём этот последний представляет собой стадию развития стрептококка, и эта-то стадия и является причиной, определяющей особенности скарлатинозного заболевания.

Можно было бы привести ещё ряд примеров, показывающих, что перед нашей медицинской микробиологией уже не первый год стоит вопрос о глубокой родственной связи между бактериями, их фильтрующимися формами и вирусами. И даже из немногих приведённых нами примеров можно видеть, как значителен этот вопрос для практики социалистического здравоохранения.

Надо вспомнить, что почётный академик Н. Ф. Гамалея ещё несколько лет назад писал, что бактерии вообще способны закономерно образовывать фильтрующиеся формы, и указывал на огромное значение этой проблемы. Взгляд, высказанный крупнейшим нашим микробиологом, получает с каждым годом всё большее подтверждение в работах исследователей разных стран и в первую очередь советских медиков.

Совершенно отчётливо такая же точка зрения выражена в работах известного советского микробиолога профессора М. Д. Утенкова. В результате многолетних и глубоких исследований, обобщённых в сжатом виде в его монографии «Микрогенери-

А. Д. Утенков ещё в 1928 году пришёл к категорическому выводу, что существование микроорганизмов в авизуальных (невидимых) и фильтрабельных стадиях (расах) должна считаться более чем вероятным фактом». Приведённые Г. М. Бошьяном в его монографии «О природе вирусов и микробов», целиком согласуются с точкой зрения Н. Ф. Гамалея и М. Д. Утенкова и развивают её в новом и оригинальном направлении. Г. М. Бошьян даёт стройную систему взглядов, согласно которой каждый вид микроба имеет стадии развития, в числе которых есть и стадия фильтрующейся формы.

«Фильтрующиеся вирусы и авизуальные формы бактерий, — пишет Г. М. Бошьян, — это лишь различные формы существования микробов, различные стадии развития микроорганизмов. Фильтрующиеся формы в культурах появляются только в определённой стадии развития данной бактериальной культуры. Но можно искусственно ускорить это развитие и получить фильтрующуюся форму из культуры в любой стадии её развития. А это имеет большое теоретическое и практическое значение. Фильтрующаяся форма бактерий — наиболее устойчивая форма существования микроорганизмов и особенно в их борьбе за сохранение вида. Она наиболее устойчива потому, что её жизненные функции (в частности, обмен веществ) сведены к минимуму. Без этих фильтрующихся форм микробов невозможна была ни вакцинация, ни серотерапия инфекционных болезней, а тем более аллергическая диагностика сапа, туберкулёза, инфекционной анемии лошадей и т. д.»

Очень интересны и новы представления, которые развивает Г. М. Бошьян по вопросу о сущности иммунитета (невосприимчивости к заразным болезням). Он связывает наличие иммунитета с существованием в организме человека или животного именно фильтрующихся форм бактерий. По его мнению, которое пока трудно окончательно подтвердить, невосприимчивость держится до тех пор, пока в организме сохраняются живые возбудители в своей фильтрующейся форме. «Одновременно с исчезновением этих форм, — пишет Г. М. Бошьян, — из организма исчезает и иммунитет. Поэтому ценны только такие вакцины, которые обеспечивают образование и длительное сохранение фильтрующихся форм бактерий в организме».

Не менее интересно, но и не менее пока ещё спорно утверждение Г. М. Бошьяна, что «эффективность лечебных сывороток объясняется наличием в них фильтрующихся форм бактерий. Точно так же токсины (яды бактерий. — Ю. М.) и антибиотики могут представлять практическую ценность лишь тогда, когда содержат фильтрующиеся формы бактерий, из которых они приготовлены».

Г. М. Бошьян смело распространяет свою оригинальную концепцию и на антибиотические вещества, многие из которых, как например, пенициллин, приобрели в последние годы широкую известность в качестве мощных лечебных препаратов. Эта часть его взглядов пока не имеет подтверждения в существующей литературе, если не говорить о работах М. Д. Утенкова, также считающего бактериальные токсины «живыми препаратами».

Бактериофаги, которые до сих пор рассматривались одними исследователями как паразиты микробов («микробы микробов»), другими как своеобразные ферменты, тоже являются, по мнению Г. М. Бошьяна, мельчайшими формами микроорганизмов. «Классическим примером существования фильтрующихся форм у бактерий может служить бактериофагия», — пишет Г. М. Бошьян, ссылаясь при этом на Н. Ф. Гамалея, утверждавшего, что бактериофаг — это невидимая форма бактерий.

Нет сомнения, что какие бы изменения ни претерпела в ходе развития науки концепция Г. М. Бошьяна, его огромной заслугой остаётся то, что ему впервые удалось объяснить биологический смысл существования фильтрующихся форм микробов и вскрыть глубокую неразрывную связь между «видимыми» и «невидимыми» микробами.

Огромный, отличающийся исключительным разнообразием мир микроскопических существ — и полезных микробов, и возбудителей различных болезней человека, животных и растений — предстаёт перед нами теперь как единое целое, где все части закономерно и эволюционно связаны друг с другом. Открываются большие возможности для

направленного воздействия на мир микроорганизмов, получения и использования лечебной и профилактической практике различных форм, стадий развития бов. Методы мичуринской биологии могут и должны найти в этой области обширное применение.

Концепция Г. М. Бошьяна оставляет нерешёнными ещё очень многие вопросы биологии и медицины — да иначе и не может быть! — но она даёт принципиальную и фактическую основу для рационального понимания явлений, происходящих в мире существ, незримо окружающих нас, существ, населяющих всю нашу Землю — и глубины океана, и почву, и воздух.

ПРИ ЧЕМ ТУТ КРИСТАЛЛЫ?

Ещё основоположник научной вирусологии Д. И. Ивановский установил важный и, на первый взгляд, странный факт. Он наблюдал, что открытый им вирус табачной мозаики образует при определённых условиях кристаллы. Однако этот факт остался как-то незамеченным.

— При чём тут кристаллы? — говорили учёные.

Когда американец Стенли, занявшийся изучением открытия Ивановского, наглядно показал, что вирус табачной мозаики образует кристаллы, то появились сомнения в живой природе вируса. Если, говорили учёные, возбудитель образует кристаллы, значит это не живой микроб. Жизнь не может существовать в кристаллической форме, ибо, как известно, кристаллы нельзя считать живыми. Эта «истина» внедряется в головы учащихся со страниц всех учебников и считается непреложной.

Неоднократно находили кристаллы и у других вирусов и у микробов, но все такие факты не привлекали должного внимания. Так, например, когда в 1924 г. советская исследовательница А. Я. Жолкевич, работая в лаборатории академика Г. А. Надсона, сообщила в печати, что при культивировании открытого ею микроба — бактерии кристаллино-виолетум — закономерно получают кристаллические образования (отсюда и название бактерии!), то это интересное наблюдение осталось незамеченным.

Такая же судьба постигла и наблюдения других учёных, описывавших возникновение кристаллов в культурах микробов. Факты, не укладывавшиеся в общепринятые представления, отстранялись, и о них попросту не думали. Смутно говорили только, что некоторые растительные вирусы образуют кристаллы, и делали из этого тот вывод, что такие вирусы представляют собой не существа, а вещества белковой природы.

Однако новаторская мысль советских учёных не могла помириться с таким положением вещей. Факты требовали объяснения — и это объяснение пришло.

В книге Г. М. Бошьяна мы находим большой материал, подтверждающий, что и вирусы и микробы могут быть получены в кристаллическом состоянии. Г. М. Бошьян указывает, что в его лаборатории получены кристаллические формы целого ряда возбудителей: анемии лошадей, чумы кур и свиней, бруцеллёза, паратифозных бактерий, рожи свиней, туберкулёза, дизентерии и других микробов и вирусов — более чем сорока видов.

Г. М. Бошьян с глубоким убеждением доказывает, что «кристаллизация вирусов и микробов есть одно из важнейших свойств живых одноклеточных организмов, направленное на сохранение вида и полностью зависящее от окружающей среды».

Но если из кристаллов можно получить последовательно все стадии развития микробных тел, как это утверждает Г. М. Бошьян, если кристаллическая форма — одна из форм существования живых существ, то где же пределы жизни? Как должно измениться теперь наше представление о специфичности жизни, и не должны ли повлиять все эти новые факты на наши представления о происхождении жизни, о возникновении живых существ?

Концепция Г. М. Бошьяна, родившаяся в результате смелого новаторского синтеза накопленных наукой фактов, открывает огромные перспективы в переоценке казалось

бы вившился взглядов по ряду кардинальных проблем биологии и, в частности, по о самозарождении жизни. ма эта с незапамятных времён служила ареной острой борьбы между идеализмом и материализмом. История её насчитывает несколько веков, и она полна глубокого научного и философского интереса.

ПАСТЕРОВСКИЕ КОЛБЫ И БОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЕНИЕ

Вплоть до шестидесятых годов XIX века было общепринятым представление о том, что живые организмы способны возникать из неживого материала, то есть путём самопроизвольного зарождения.

В средние века допускали возможность самопроизвольного зарождения и для таких сложных животных, как насекомые, черви, мыши. Но Реди в 1668 году доказал, что черви в гниющем мясе появляются только в том случае, если к нему имеют доступ мухи, а стоит закрыть это мясо кисей — и черви в нём не появятся. Однако после открытия Левенгуком в конце XVII века мира микроскопических организмов — мельчайших и вездесущих существ — проблема самопроизвольного зарождения организмов встала по-новому. Стал общепринятым взгляд, что эти микроскопические существа возникают непосредственно из неживого материала, например из различных органических настоев. Недаром инфузории называли в то время «наливочными животными» («инфузум» — по-латыни «настой»).

Над разрешением вопроса о происхождении простейших организмов трудились многие выдающиеся умы, в том числе русский учёный-материалист М. М. Тереховский (1740—1796), автор известной диссертации «О наливочном хаосе Линнея» (1775). В этой работе было глубоко для того времени изучено вопрос о возникновении и развитии в различных органических жидкостях простейших организмов — инфузорий. Бактерий Тереховский не мог наблюдать. Он пришёл к выводу, что анималькули, как тогда называли мельчайшие организмы, ни при каких условиях самопроизвольно не возникают.

В 1864 году великий французский учёный Луи Пастер опубликовал заключительную серию своих исследований, проведённых им для разрешения вопроса о самопроизвольном зарождении жизни. Может ли материя организоваться сама по себе? — спрашивал Пастер. Могут ли появиться на свет живые существа, которым не предшествовали бы живые существа того же вида?

Пастер ответил на эти вопросы категорическим «нет!».

Опыты, доказывавшие справедливость такого утверждения, были просты и убедительны. Он брал настой из органического вещества и помещал его в сосуд (колбу) с длинным изогнутым горлышком наподобие латинской буквы S. Затем жидкость доводилась до кипения, и сосуд оставался открытым. Он стоял дни, месяцы и годы, а жидкость в нём не изменялась. Стоило, однако, встряхнуть сосуд так, чтобы жидкость пришла в соприкосновение с изогнутыми стенками горлышка, на которых осела носящаяся в воздухе пыль и с ней микроскопические зародыши, как на другой же день в ней кишела микроскопическая жизнь. Указывая на колбу с чистым органическим настоем, стоявшую уже в течение четырёх лет, Пастер спрашивал: почему эта жидкость, полная питательных элементов, необходимых для развития низших существ, остаётся безжизненной? «Это потому, — отвечал он, — что я удалил из неё и удаляю до сих пор единственное, что не может создать человек; я удаляю из неё зародыши, носящиеся в воздухе, я удаляю из неё жизнь, так как жизнь — это зародыш, и зародыш — это жизнь! Никогда теория самопроизвольного зарождения не поднимется после того смертельного удара, который нанёс ей этот простой опыт».

Прежде чем перейти к оценке этих опытов Пастера в свете современных данных, очень интересно остановиться на одном, всегда как-то остававшемся в тени вопросе: почему основоположник научной микробиологии так решительно, с такой страстностью восставал против теории самопроизвольного зарождения микроорганизмов?

Ответ на него даёт в сущности говоря сам Пастер. После того, как, опровергнув Пуше, Пастер доказал ошибочность опытов Бастиана (якобы показавшего, что в про-

кипячённой и изолированной от воздуха моче появляются бактерии» писал к нему с письмом:

«Знаете ли Вы, почему я придаю такое громадное значение моему мнению над Вами? Потому что Вы — один из главных представителей медицинской теории, которая, по моему мнению, губительна для прогресса искусства вылечивать, а именно — теории о спонтанности всех заболеваний. Вы принадлежите к той школе, которая охотно написала бы над входной дверью своего храма слова одного из членов Парижской Академии медицины: «Болезнь возникает внутри нас, из-за нас и только при нашем участии». Следовательно, все патологические процессы спонтанны. Это заблуждение, повторяю, губительно для прогресса в области медицины. Как медик, так и хирург, признавшие эти теории, заходят в тупик и уже не могут рассчитывать на дальнейшие достижения в профилактике и лечении этих заболеваний».

Таким образом, воюя против теории самопроизвольного зарождения, Пастер вёл борьбу за единственно прогрессивное в то время направление в медицине. Только твёрдо став на путь признания внешней среды, как источника, и причины болезней человека, животных и растений, медицина могла стать действительной наукой. И мы видим, что теория заносимых извне микроскопических зародышей сыграла огромную положительную роль в самых многообразных областях науки и практики: в хирургии (предупреждение заражения ран), в борьбе с заразными заболеваниями, в пищевой промышленности (болезни вина, пива, консервное дело и многое другое). Эта теория вооружила врачей средствами лечения многих болезней. Они сохраняют целиком своё значение и в настоящее время.

Нет сомнений, что вся так хорошо оправдавшая себя противозидемическая практика построена на борьбе с занесением заразы извне, на предохранении человека и коллектива от заражения.

Однако действительно ли Пастер навсегда решил вопрос о самопроизвольном зарождении каких-либо форм жизни из неживого вещества? Глубокий ум Энгельса ещё много лет назад предвидел трудность этой проблемы. И Энгельс, повидимому, ясно понимал, что вопрос о возможности возникновения каких-то элементарных форм жизни ещё будет стоять перед наукой. Он писал:

«Организмы, о первичном зарождении которых из органических жидкостей идёт речь в этих исследованиях, представляют собою хотя и сравнительно низкие, но уже существенным образом дифференцированные организмы, каковы бактерии, дрожжевые грибки и т. д., обнаруживающие процесс жизни, состоящий из различных фаз, отчасти же (каковы инфузории) снабжённые довольно развитыми органами. Все они, по меньшей мере, одноклеточные. Но с тех пор как нам стали известны бесструктурные монеры, становится нелепостью пытаться объяснить возникновение хотя бы одной единственной клетки прямо из мёртвой материи, а не из бесструктурного живого белка, и воображать, что можно принудить природу при помощи небольшого количества вонючей воды сделать в 24 часа то, на что ей потребовались тысячелетия». (Разрядка моя. — Ю. М.).

И далее Энгельс высказывает замечательную по глубине мысль: «Опыты Пастера в этом отношении и бесполезны: тем, кто верит в возможность самозарождения, он никогда не докажет одними этими опытами невозможность его. Но они важны, ибо проливают много света на эти организмы, их жизнь, их зародыши и т. д.»¹ (Разрядка моя. — Ю. М.).

Необходимо попытаться расшифровать, истолковать это замечательное место из бессмертного произведения Энгельса. Энгельс отчётливо говорит, что он не допускает возникновения каких-либо сложных организмов из мёртвой материи. Вместе с тем он отнюдь не считает закрытой дорогу к решению вопроса о самозарождении бесструктурных живых тел из бесструктурного живого белка. Совершенно ясно, что мёртвая материя и живой белок (хотя бы совершенно бесструктурный) далеко не одно и то же. И это блестяще доказано в

¹ Фридрих Энгельс. Диалектика природы. Госполитиздат, 1948, стр. 241, 242.

наше «Проблемы» работами профессора О. Б. Лепешинской, изложенными в её книге «Проблемы происхождения деток из живого вещества и роль живого вещества в организме». Эта книга поучительна. Она показывает, что новаторские произведения вызывают к себе различное отношение: передовые учёные встречают их с большим вниманием, отсталые и реакционно настроенные подвергают ожесточённым нападкам, а если можно, то и осмеянию.

Книга О. Б. Лепешинской была издана впервые ещё в 1945 году и с дополнениями вышла в июне 1950 года. Казалось бы, что работа, обобщающая многолетний труд автора, содержащая новые и оригинальные идеи, касающиеся ряда коренных проблем биологии, должна была быть с самого начала принята с большим интересом и подвергнута широкому обсуждению. Однако не произошло ни того, ни другого. Вспомним, что это было до исторической сессии Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, освежающее дыхание которой так благотворно повлияло на нашу биологическую науку, выявило в ней передовое и отсталое, заставило каждого учёного чётко определить свою позицию в борьбе между новым и старым, положило конец попыткам протаскивать антимарксистские установки в советскую науку.

Книга О. Б. Лепешинской подверглась «критике молчанием», а спустя почти три года после её опубликования, 7 июня 1948 года газета «Медицинский работник» даже выступила с пространной статьёй, где группа из 13 учёных (профессор Н. Г. Хлопин, профессор Д. Н. Насонов и другие) пытались дискредитировать труды О. Б. Лепешинской, объявив её плодотворные идеи «ненаучными».

Что же содержалось в этой статье, носившей примечательное название «Об одной ненаучной концепции»? Большая часть её содержит указания на недостатки в стиле, в терминологии, а меньшая наполнена огульными обвинениями автора в незнании литературы, в непонимании биологических законов, в методологических ошибках и т. п. Полная необоснованность этой действительно ненаучной «критики» хорошо показана О. Б. Лепешинской в специальной главе («Дискуссия») второго издания её книги (1950).

Положения, содержащиеся в книге О. Б. Лепешинской, впервые подверглись глубокому и всестороннему обсуждению на специальной сессии Академии наук СССР в конце мая 1950 года.

Теперь стало ясно, что О. Б. Лепешинская, преодолевая ожесточённую критику и недружелюбие реакционных или просто консервативных учёных, в результате упорного двадцатилетнего труда неопровержимо показала, что клетки способны образовываться из бесструктурной живой материи. Тем самым был окончательно опровергнут реакционный догмат Вирхова—Ферворна, согласно которому «нет жизни без клетки» и «всякая клетка происходит только от клетки».

Работами О. Б. Лепешинской впервые в истории науки поставлен на твёрдую экспериментальную и философскую почву важнейший вопрос о бесклеточных и неклеточных формах жизни.

Тем самым получает толчок к развитию совершенно новый раздел эволюционной теории, касающийся истории развития простейших форм жизни, то есть клеток и различных неклеточных образований, возникающих в процессе индивидуального и видового развития организмов. Как известно, эти вопросы оставались совершенно неразработанными, так как и сам Дарвин, и последующие эволюционисты-биологи занимались преимущественно или даже исключительно проблемой изменчивости только более или менее высокоорганизованных существ и происхождения различных многоклеточных организмов.

Между тем, как справедливо замечает О. Б. Лепешинская, «клетка имеет свою историю развития. Несомненно, у неё должно быть доклеточное состояние, которое необходимо изучать...»

«Живое вещество, — доказывает О. Б. Лепешинская, — способно в своём развитии через переходные формы клеток, через предклеточные стадии в конечном счёте дать вполне оформленную клетку». В науке впервые начата подробная разработка

важного вопроса о новообразовании клеток, о тех стадиях, которые при разнообразных клеточных структурах в процессе развития животного организма. Помимо очевидного теоретического, общебиологического интереса это имеет и серьёзное практическое значение. Достаточно сослаться, например, на злокачественные опухоли. Ведь процесс развития раковой ткани прежде всего характеризуется быстрым и неукротимым новообразованием клеток. И причина этого роста, и механизм его пока ещё изучены слишком мало: установки механистического клеточного учения Вирхова—Ферворна, до сих пор ещё не изжитые в нашей науке, несомненно тормозили всё время развитие онкологии (учения о злокачественных опухолях).

О. Б. Лепешинская со своими сотрудниками изучала развитие яйцеклетки птиц и рыб и показала, что из бесклеточных, бесструктурных скоплений желточных зёрен постепенно формируются структуры, характерные для клетки и её ядра. Удалось наблюдать и новообразование хромосом — ядерных структур, которым вейсманисты приписывали роль неизменных, переходящих из клетки в клетку носителей мифического «наследственного вещества». Процессы образования клеток были засняты на киноплёнку под микроскопом.

Интересны также работы лаборатории О. Б. Лепешинской, показавшие, что клетки способны возникать из вещества тела гидры (мельчайшего пресноводного животного), совершенно лишённого путём растирания оформленных клеток.

Способность образовывать клетки из бесструктурного живого вещества сохраняют и взрослые, сложно устроенные организмы. Такие процессы формирования клеток и клеточных тканей наблюдаются, например, при заживлении ран. В этих случаях клетки образуются из бесструктурного вещества, заполняющего рану при кровоизлиянии.

При обсуждении в Академии наук работ О. Б. Лепешинской её идеи и направление исследований получили полное одобрение. Академик Т. Д. Лысенко в своём выступлении отметил, что закономерности, открытые О. Б. Лепешинской, имеют большое значение для прогресса мичуринской биологии.

Нельзя не отметить также, что новейшие работы советских биологов, и в том числе О. Б. Лепешинской, не оставляют камня на камне от лживой концепции вейсманистов-морганистов о вечности хромосом, как носителей наследственности. Теперь уже надо считать доказанным, что хромосомы не предсуществуют в клетке, а вновь возникают в ней в процессе развития клетки под влиянием меняющихся условий жизни организма и факторов внешней среды. «Хромосомные мудрецы», которых так безжалостно высмеивал И. В. Мичурин и которые подверглись уничтожающему разгрому на сессии Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, потеряли свои последние позиции!

Надо ли говорить, как близки идеи О. Б. Лепешинской к концепции Г. М. Бошьяна?

Работами Г. М. Бошьяна раздвинуты пределы мира микроскопических организмов, вскрыта глубокая эволюционная связь между разобщёнными ранее в нашем представлении существами, намечены реальные пути поисков переходных форм между бактериями, вирусами и живой органической материей.

Труды О. Б. Лепешинской расширили наши представления о формах существования жизни, перекинули мост между клеточными образованиями и бесструктурным живым веществом.

И те и другие работы не только оплодотворяют нашу биологию и медицину, но и впервые намечают пути для искусственного создания жизни. А тем самым мы приближаемся к реализации предсказания Ф. Энгельса о том, что «Если когда-нибудь удастся составить химическим путём белковые тела, то они, несомненно, обнаружат явления жизни и будут совершать обмен веществ...»¹.

Вряд ли кому-нибудь по силам охарактеризовать сейчас все возможные последствия этих открытий, этих новых работ. Результаты их должны быть поистине огромны. Лучшие умы науки прошлого смутно мечтали о положительном разреше-

¹ Фридрих Энгельс. Диалектика природы. Госполитиздат, 1948, стр. 246.

нии, а также возможности искусственного создания жизни. И тот же Пастер хорошо отдавал себе отчёт о значении этого вопроса. «Вст уже двадцать лет, как я ишу и не нахожу ж. н. которой не предшествовала бы жизнь, подобная ей. Последствия такого открытия были бы неисчислимы. Для естественных наук вообще, а для медицины и философии в частности, это открытие послужило бы таким импульсом, всех последствий которого нельзя даже предвидеть» (Разрядка моя. — Ю. М.).

Огромное значение имеют исследования Г. М. Бошьяна для материалистического понимания явлений жизни. Они дают новые и глубокие доказательства правильности диалектико-материалистического мировоззрения, которое рассматривает «явления природы, как вечно движущиеся и изменяющиеся, а развитие природы — как результат развития противоречий в природе, как результат взаимодействия противоположных сил в природе»¹.

Мы уже подчёркивали, что вокруг вопроса о происхождении жизни, о самозарождении живых существ в течение столетий кипела ожесточённая идейная борьба между идеализмом и материализмом. Идеалистически мыслящие биологи неизменно противились признанию возможности самопроизвольного возникновения жизни, выдвигая то теорию вечности жизни, то теорию сотворения живых существ, то теорию переноса зародышей жизни на землю с других планет. Все эти «теории» были биты одна за другой. Когда Пастер со всей силой своего авторитета заявил, что нет жизни без жизни, этот вывод пришёл очень по душе представителям религии, так как косвенно свидетельствовал в пользу божественного акта творения жизни.

Опровергая тезис Пастера, советские учёные не оставляют места для идеалистического толкования проблемы происхождения жизни.

. НЕОЖИДАННОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ НАУКИ?

Когда была опубликована книга Г. М. Бошьяна и вокруг неё разгорелись дискуссии, некоторые учёные пытались оценивать эту новаторскую работу, как совершенно не укладывающуюся в представления современной науки и чуть ли даже не подрывающие её основы. Так ли это в действительности?

На самом деле оказывается, что книга Г. М. Бошьяна — явление отнюдь не случайное. Более того, концепция Бошьяна — закономерный этап в развитии биологической и медицинской науки.

Взгляды Г. М. Бошьяна, оригинальная постановка им коренных вопросов о природе вирусов и микробов, о сущности иммунитета кажутся беспрецедентными и даже «свалившимися с неба» только тем, кто не знает истории научной мысли, не читает старой литературы, кто незнаком с идеями и работами многих наших учёных, в том числе и учёных недавнего прошлого.

Здесь уместно будет напомнить о некоторых событиях в области микробиологии, происшедших в последнее десятилетие.

В самом начале 1941 года вышла в свет уже упомянутая нами выше монография московского микробиолога М. Д. Утенкова «Микрогенерирование», представляющая собой обобщение шестнадцатилетних исследований автора в области изменчивости микроорганизмов. Это была первая в литературе работа, где (задолго до исторической сессии Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина) с полной определённостью ставился вопрос о необходимости коренной перестройки микробиологии на основе мичуринского учения, вопрос, сейчас ставший особенно острым в связи с появлением книги Г. М. Бошьяна.

«В микробиологии не в меньшей степени, чем в биологии, идёт ожесточённая борьба за дарвинизм, — писал М. Д. Утенков. — Микробиология, каждодневно подтверждающая фактами достоверность теории развития, всё же ещё идейно продолжает оставаться в тенётах антидарвинизма. Она может стать передовой наукой, опираясь на учение Дарвина, далее развитое Тимирязевым, Бербанком, Мичуриным, Лысенко

¹ «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 101.

и другими советскими дарвинистами. Поэтому в данном труде вполне оправданно находят отражение и конкретно прорабатываются общебиологические соображения Тимирязева, Мичурина и Лысенко». «Микробиология, — писал он далее, — уже сейчас в состоянии не только описывать процесс развития микробов, но и до некоторой степени творить их эволюцию. Такой попыткой создания метода сознательного управления развитием микробов является микрогенерирование».

В чём заключается принцип микрогенерирования, предложенный в основных чертах Утенковым ещё в 1928 году на Всесоюзном съезде микробиологов?

Микрогенерирование — это своеобразный метод, представляющий собой творческий синтез существующих способов культивирования микробов. При микрогенерировании (при помощи особого аппарата, предложенного М. Д. Утенковым — «микрогенератора») можно выращивать микроорганизмы, воспитывать их в различных, изменяющихся по воле экспериментатора условиях — в стоячей питательной среде, в непрерывно текущей, прерывисто текущей среде. Таким образом, экспериментатор, изменяя среду обитания микробов, условия их жизни, получает возможность управлять процессами развития микроорганизмов. «Принцип микрогенерирования, — пишет М. Д. Утенков, — заключается в получении произвольно направленных генераций микроба с конечной целью сознательного преобразования его природы».

Пользуясь методом микрогенерирования и руководясь принципами мичуринского учения, М. Д. Утенков получил много интересных данных, касающихся особенностей развития и изменчивости микробов. Целый ряд этих данных был полностью подтверждён в работах Г. М. Бошняна.

М. Д. Утенков подверг жестокой критике вейсмановские взгляды в микробиологии и пришёл к убеждению о существовании у микробов закономерных стадий развития. И, что представляется нам самым важным, М. Д. Утенков убедительно продемонстрировал огромное значение для микроба условий его существования, показав, что среда обитания и признаки микроорганизма есть эволюционно-обусловленное единство. К такому же выводу заставляют нас прийти и работы Г. М. Бошняна.

Таким образом, исследования обоих этих передовых советских учёных идут в одном русле, дополняя и развивая друг друга. Нетрудно вместе с тем видеть, что взгляды Г. М. Бошняна и М. Д. Утенкова хорошо согласуются с основными положениями мичуринской биологической науки и вооружают нас методами переделки природы в направлении, диктуемом интересами народного хозяйства и здравоохранения.

Стоит отметить, что новаторская работа М. Д. Утенкова была встречена молча, и его интересная (хотя и сложно написанная) книга получила только одну рецензию, эта рецензия была напечатана в редактируемом Т. Д. Лысенко журнале «Яровизация» (№ 3, 1941) и давала книге М. Д. Утенкова высокую оценку.

Невольно возникает сопоставление судьбы работы Утенкова с судьбой книги Лепешинской. Оба эти произведения, отражающие новые установки передовой науки, были встречены с большим сочувствием широкими кругами советских специалистов, столь чутких к живому слову, к свежим, зовущим вперёд мыслям, к критике устаревших положений. Но определёнными группами учёных, занимавших нередко руководящее положение в научной жизни, они были приняты враждебно. Однако новое и растущее всегда побеждает старое, отживающее!

Интерес к работам М. Д. Утенкова по-настоящему пробудился только после появления монографии Г. М. Бошняна, в результате всех дискуссий, всколыхнувших самые различные участки советской биологии и медицины.

В свете современных событий большой интерес представляют и некоторые, казалось бы, забытые вехи в истории нашей науки. Нельзя не вспомнить, например, что около пятидесяти лет назад известный русский врач-гигиенист профессор И. П. Скворцов (1847—1921) опубликовал книгу «Основы гигиологии и гигиены» (1900) и выступил на X съезде естествоиспытателей и врачей в Киеве с докладом на тему «Карниорексия и теория микробиоза». В этих работах И. П. Скворцов развивал весьма оригинальные взгляды относительно происхождения и развития микроорганизмов. В частности, он выдвинул учение о так называемых энтобах, то есть своеобразных мельчай-

ших митохондриальных формах. Эти энтобы, по мнению И. П. Скворцова, могут в определенных условиях играть роль возбудителей болезней у других организмов. Любопытны и мысли И. П. Скворцова относительно происхождения микроскопических существ из клеточных ядер.

К сожалению, все эти интересные мысли И. П. Скворцова носили слишком гипотетический характер и были лишены необходимых экспериментальных доказательств. Впрочем, в те годы их и трудно было бы получить из-за несовершенства методов исследования.

Можно было бы привести ещё ряд примеров из истории биологии и медицины, показывающих, что отдельные факты и мысли, представленные в столь определённой форме в книге Г. М. Бошняна, не являются неожиданностью для нашей биологии и медицины. Это, разумеется, отнюдь не снижает новизны и значения концепции Г. М. Бошняна, а только свидетельствует о том, что появление её обусловлено предшествующим развитием науки.

Нет сомнений, что работы Г. М. Бошняна и О. Б. Лепешинской — закономерный этап в развитии советской биологии и медицины. Появление этих работ лишний раз свидетельствует о том, что наша биологическая и медицинская наука с большевистской смелостью решает большие научно-философские вопросы, которые деградировавшая буржуазная наука не в состоянии даже правильно поставить. В этом отражается могущество и жизнеспособность нового общественного строя, развивающегося под всепобеждающим знаменем Ленина—Сталина.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. НИКОЛАЕВ

★

ИХ ГОЛОС ЗВУЧИТ В НАШИ ДНИ

В августе 1950 года исполняется сто лет со дня смерти Бальзака и сто лет со дня рождения Мопассана.

Казалось бы, страна, где родились, выросли и творили известные всем народам писатели, творчество которых заслуженно вошло в золотой фонд мировой литературы, должна была широко праздновать эти большие юбилейные даты.

И, однако, это не так.

Французский критик Андре Вюрмсер, выступая недавно в Московском Доме литераторов, с горечью говорил о той жалкой комедии, в которую превратились во Франции официальные празднества по поводу юбилея Бальзака. Только прогрессивные писатели Франции защищают память великого реалиста. А в буржуазных газетах и журналах статьи, посвящённые Бальзаку, появляются редко и, как правило, шельмуют его.

Не меньшим нападкам подвергается Мопассан. Буржуазная печать твердит о его «легкомыслии» и «непристойности»; достойные презрения продажные «критики» пытаются чудовищным образом представить плодом «безумия» писателя его сатирические обобщения, основанные на глубоком и точном знании французской действительности.

Злобные, но бессильные посягательства на авторитет Мопассана — разоблачителя и судьи буржуазной Франции — объясняются именно тем, что всем духом своего творчества Мопассан глубоко враждебен Франции лавалей, Франции Бидо и Рейно, Франции продажной «американской партии».

Лучшее в творчестве Мопассана — острая критика буржуазного общества, любовь к родине, благородная мечта о естественных и чистых человеческих отношениях — принадлежит французскому народу.

В связи с этим нельзя не вспомнить ту великолепную отповедь, которую дал в подпольной прессе ещё в 1942 году прогрессивный писатель Клод Морган одному из клеветников, пытавшемуся, в угоду фашистским захватчикам, кощунствовать над жизнью и творчеством Мопассана. «Чистая слава Мопассана, — сказал Морган, — не может быть задета наёмной литературой, ибо слава эта живёт в наших сердцах. Она составляет часть наших богатств, которые мы сумеем защитить и спасти».

Эти гордые и страстные слова в защиту Мопассана — лучшее свидетельство того, что передовые люди нынешней Франции высоко ценят культурное наследие своего народа и борются за него. И сколько бы ни старались слуги реакции порочить славу выдающихся писателей Франции, им не удастся осквернить светлые имена художников, имена, которые с уважением приносят миллионы людей во всём мире.

Не трудно разгадать причины, заставляющие реакционеров яростно нападать на Бальзака и Мопассана, стремиться принизить их: они хотят обмануть свой народ, представив этих замечательных художников, разоблачителей буржуазии, недостойными внимания.

Всячески черня Бальзака и Мопассана, они пытаются нанести удар по реализму, по тому живительному методу и направлению в литературе, которые страшны буржуазии: реализм обличает буржуазию, срывает с неё покровы лжи и лицемерия. Не случайно старый реакционер, католический писатель Франсуа Мориак заявил, что, перечитывая недавно Бальзака, он пришёл в ужас. Чудовищным показался ему изображённый Бальзаком мир.

Правдивые произведения Бальзака пугают не только одного Мориака. Трудно про-

явить сиюкой ствие нынешним французским прислужником американского империализма, когда, раскрывая книги великого реалиста, они видят в них подлинную правду о своём уродливом обществе, основанном на глубочайшей социальной несправедливости.

Ещё задолго до Мориака буржуазная критика стремилась создать ложное представление о Бальзаке. Много нелепостей распространялось о писателе, начиная ещё с того времени, когда он создавал свои первые реалистические произведения. Но особенно часто Бальзаку ставилось в вину то обстоятельство, что он якобы охвачен желанием очернить буржуазное общество, представив его в образе чудовищ. Уместно вспомнить здесь суждение одного из этих «критиков», не без основания утверждавшего, что «Бальзак навлёк на господствующие классы презрение и ненависть низших классов своими пессимистическими картинами, в которых он представил пороки и неполадки, имеющиеся в высших классах». Проговорившись об истинных причинах, по которым Бальзак неугоден и страшен для апологетов буржуазного общества, критик этот пытается нанести удар по Бальзаку, заявляя, что писатель выдаёт в своих произведениях исключительное и тем самым нетипичное за нормальное, обычное для капиталистического общества.

Но в том-то и дело, что Бальзак, в отличие от натуралистов, производил отбор явлений окружавшей его действительности, воспроизводя характерные типы общества, заставляя их действовать в типических обстоятельствах. И это типическое, воспроизводимое гением Бальзака, предстаёт перед читателем таким, каким оно есть на самом деле — уродливым, неразумным и недостойным человека миром.

Необыкновенно наблюдательный, Бальзак изучил буржуазное общество со скрупулёзностью и страстью подлинного учёного. Он превосходно знал социальную и экономическую жизнь Франции, не без основания называя себя доктором социальных наук.

На протяжении двадцати лет (1830—1850) создавался многотомный изумительный труд Бальзака — его «Человеческая комедия». Подобно Данте, увековечившему в «Божественной комедии» жизнь средних веков, Бальзак в «Человеческой комедии»

дал яркую картину порождённого первой французской революцией буржуазного общества.

У колыбели буржуазной революции стаяли образы демократических героев античности; бюсты великих римлян и фригийские колпаки были стыдливой попыткой прикрыть ограниченные цели этой революции. Между тем уже в первые десятилетия XIX века, когда формировалось сознание Бальзака, передовые люди начали осознавать подлинные результаты французской революции и характер капиталистического общества, которое было порождено ею. В событиях 1789—1793 гг. Бальзак видит не только героическую сторону и историческую значимость революции, но и начало безудержного хищнического обогащения буржуазии, одолевшей дворянство. В капиталистическом обществе деньги господствуют над законами, политикой, нравами. И это обстоятельство Бальзак с гениальной прозорливостью рисует в своей «Человеческой комедии» как самое типичное явление буржуазного мира.

«Шагреновая кожа» — один из первых романов Бальзака, принёсший ему известность, — свидетельствует о превосходном понимании писателем особенностей капиталистического общества. Герой этого романа банкир Тайфер говорит в застольном тосте:

«— Господа, выпьем за могущество золота. Став шестикратно миллионером, господин де-Валентен достигает власти. Он — король, он всё может, он выше всего, как все богачи. Для него отныне: французские равны перед законом — ложь, возглавляющая хартию. Не он будет подчиняться законам, а законы — ему. Ни эшафота, ни палачей нет для миллионеров!»

Банкир Тайфер, карьера которого началась с убийства, — лишь один из тех новых хищников, богачей, накопителей, которым буржуазная революция открыла возможности для самого бессовестного грабежа и авантюризма. Характерен банкир Нюсенжен — типичное порождение Июльской монархии. Огромны его прибыли. Ради обогащения он идёт на искусственные банкротства; разоряя других, он увеличивает количество своих миллионов. Нюсенжен знает, что «деньги обладают могуществом лишь тогда, когда их несоразмерно много... У него было пять миллионов. Он пожелал

иметь десять. Он знал, что из десяти миллионов ему удастся сделать тридцать, а из пяти только пятнадцать.

«Человеческая комедия» превосходно иллюстрирует слова «Коммунистического манифеста» о буржуазии, которая «...не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана»¹. В романах Бальзака — сотни людей, рвущихся к обогащению, к золоту. Нравственные уроды, опустошённые циники, алчные и неумолимые, они встают со страниц произведений великого реалиста. Они не похожи на людей: Бальзак их сравнивает с тиграми и удавами.

Парижский ростовщик Гобсек, бесцветный, в потёртом пиджаке, с глазами куницы, дрожащими руками перебирающий бриллианты; скряга миллионер Гранде, которого безумная жажда золота не оставляет даже в последние минуты его жизни. («Положи золото передо мной, — говорит он дочери. — ...Это согревает меня»); безмерно честолобивый студент Растиньяк, бешено добывающий себе богатство; виконтесса Босеан, расценивающая жизнь и людей столь же цинично, как и каторжник Вотрэн, — все эти люди — не случайное явление, они типичны для общества, в котором человек человеку — волк.

Деньги вытравливают в людях всё светлое и чистое, уничтожают искренность, честность — несут ложь и цинизм, лицемерие и вражду, калечат и уродуют жизнь. Личное достоинство человека превращается в меновую стоимость.

«— Я предпочёл бы бросить дочь в Луару, чем выдать её за кузена», — кричит разъярённый миллионер Гранде, зная, что кузен беден, семья его разорена.

«— Ты будешь самой знатной дамой Лиможа», — убеждает свою дочь торговец Совья, выдавая её замуж за человека, один вид которого заставил её потерять сознание.

Несколько позднее того, как писал эти строки Бальзак, Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте» дали замечательное лаконичное обобщение фактам, подобным тем, о которых говорит Бальзак в «Человеческой комедии»: «Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно-сентиментальный покров и свела их к чисто денежным отношениям».¹

Личная трагедия людей — результат общественной трагедии. Жизнь Евгении Гранде, женщины, которая «была создана быть нежнейшей супругой и не знала мужа, которая была бы образцом матери и не наслаждалась счастьем иметь детей», — всего лишь один из воссоздаваемых Бальзаком многочисленных фактов, когда человеческие чувства и призвание отдаются в жертву золоту.

В создании исключительно резко очерченной галереи типов буржуазного общества, людей, изуродованных условиями капиталистического строя, — немеркнущая заслуга Бальзака.

С непререкаемой убедительностью Бальзак показал враждебность буржуазного общества подлинной науке, искусству, литературе. В «Утраченных иллюзиях», одном из лучших своих романов, Бальзак раскрывает те растленные нравы, с которыми вступает в конфликт совесть честного писателя и журналиста. Люсьен Шардон, схваченный здоровым стремлением честно работать, чтобы добиться славы, приходит к горькому выводу, что честность и искренность не принесут ему ни славы, ни богатства.

Герои Бальзака вынуждены prostituировать свой талант. Журналист превращается в акробата, ради денег готового вывернуться наизнанку. Он слуга тех, кто держит в своих руках печать. Совесть, честность, правдивость — все эти качества должны быть уничтожены в человеке, стремящемся преуспеть в продажной капиталистической прессе.

Каторжник Вотрэн поражает своим цинизмом, но в его словах о буржуазном мире содержится глубокая правда: «Ваше общество, — говорит он Люсьену Шардону, — уже поклоняется не истинному богу, а золотому тельцу. Таков символ веры вашей хартии, которая признаёт в политике только институт собственности».

В своей критике буржуазного общества писатель был беспощаден. Но он видел и тех людей, которые шли наперекор буржуазному обществу. Республиканец Мишель Кретьен из романа «Утраченные иллюзии» — человек высокой моральной чи-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест коммунистической партии. Госполитиздат, 1948, стр. 49.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест коммунистической партии. Госполитиздат, 1948, стр. 50.

стоты и честности. Он борется вместе с республиканцами, с лучшими людьми тогдашней Франции, и погибает в баррикадном бою у монастыря Сен-Мэри. С большим теплом нарисован Бальзаком в романе «Крестьяне» старик-крестьянин Низерон, бывший якобинец. Даже Растиньяк и Люсьен Шардон в начале своего жизненного пути вызывают симпатию читателей своими добрыми стремлениями, своей честностью и силой характера. Но, вращаясь в буржуазном обществе, они быстро теряют эти положительные качества. Капиталистическое общество с его звериными законами формирует людей по своему образу и подобию. Оно поганит, уродует человека, уничтожая в нём все его хорошие задатки. О Давиде Сешаре, одном из героев романа «Утраченные иллюзии», Бальзак писал: «Если замечались в этом лице подобные молнии вспышки гения, то рядом с вулканом виден был также и пепел; здесь надежда угасала от глубокого чувства ничтожества перед лицом общества».

Июльская монархия, в период которой Бальзак создал все свои основные произведения, являлась, по выражению Маркса, «...ничем иным, как акционерной компанией для эксплуатации французского национального богатства; дивиденды её распределялись между министрами, палатами, 240 000 избирателей и их присными. Луи-Филипп был директором этой компании... на верхах буржуазного общества проявлялись необузданные, на каждом шагу сталкивающиеся с самими буржуазными законами, нездоровые и распутные вожделения, в которых нажитое спекуляцией богатство естественно ищет себе уловления, где наслаждение становится распутством, где сливаются вместе золото, грязь и кровь».¹

Маркс говорит о возмущении, которое охватывало широкие слои народа, выступавшего против авантюризма и развращённости верхов буржуазного общества. Несомненно, творческая сила Бальзака во многом питалась этим справедливым и бурным возмущением народа. Уже в «Шагреневой коже» Бальзак великолепно разоблачает суть Июльской монархии, показывая, как

правительство, «то есть, — говорит Бальзак, — банкирская и адвокатская аристократия, составляющая теперь отечество так же, как священники некогда составляли монархию, почувствовало необходимость дурачить добрый французский народ новыми словами и старыми идеями»...

Испытывая отвращение к Июльской монархии, Бальзак приходил, однако, к ложным выводам, полагая что сильная власть монарха и религии могут исправить нравы общества и уничтожить вакханалию вожделений, столь замечательно воспроизведённую им в его романах. Но высказывая эти теоретические положения, Бальзак своими произведениями утверждал идеи прямо противоположные. Материалистические взгляды на общество и человека в творчестве великого художника-реалиста берут верх над его реакционными, догматическими воззрениями. Разоблачая гнилостность буржуазного строя, Бальзак верит, однако, в неиссякаемые возможности человеческой природы, он выступает за прогресс общества, за развитие его промышленности, сельского хозяйства, торговли.

Лучше других писателей Франции Бальзак сумел увидеть и изобразить наиболее важные социальные процессы своего времени и их историческую неизбежность: вытеснение дворянства денежным выскочкой — буржуа. Симпатизируя аристократам, Бальзак тем не менее порицает их, видит их полную непригодность к новым условиям и формам жизни. Маркиз Д'Эгриньон (роман «Кабинет древностей») похож на какое-то ископаемое; это музейная древность, которая бессильна противостоять наглому и циничному натиску разбогатевшего поставщика республиканской армии. Показывая, казалось бы, эпизод частной борьбы, развернувшейся в провинции между представителями знати и буржуазии, Бальзак даёт яркое и верное представление о социальной борьбе между дворянством и буржуазией, которая шла в те годы во Франции. С истинной правдивостью художника-реалиста он проследживает все детали этой социальной и экономической борьбы, документально доказывая всю тщетность попыток сопротивления уходящего класса.

Реалистический дар Бальзака приводил в восхищение Маркса и Энгельса, они подчёркивали исключительное познавательное

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Государственное издательство, М.—Л. 1930, т. VIII, стр. 6.

значение его произведений. Энгельс писал, что он узнал из книг Бальзака о французском обществе 1816—1848 гг. «даже в смысле экономических деталей больше... чем из книг всех профессиональных историков, экономистов, статистиков этого периода, взятых вместе».¹

Известно, что лучшие русские писатели с большим уважением и любовью относились к Бальзаку. Чернышевский ещё в 50-х годах выступал против клеветников, защищая Бальзака от грязных нападок продажной критики: «Люди, имеющие свой расчёт в том, чтобы чернить характеры людей, таланты которых не могут помрачить в глазах публики, кричали о Бальзаке как о легкомысленном и холодном эгоисте; читатели пасквилей, не знающие личности, против которой направлена была злоба, и не отгадавшие низких причин, направлявших её, часто верили этим пустым выдумкам».

В 1911 году, отвечая на запрос «Общества друзей Бальзака», А. М. Горький говорил о своей большой любви и уважении к выдающемуся французскому писателю: «Человеческая комедия» была прочитана мною уже лет в двадцать; эта книга нанесла сильнейший удар моему неоформленному романтизму, я почувствовал в ней гений Бальзака и полюбил его горячей любовью, как, вероятно, любят учителя и друга».

Бальзак смело прокладывал пути новому реалистическому направлению в искусстве. Он постоянно требовал от художника правдивого, точного и всестороннего изображения действительности. Определяя сущность реализма, писатель находил сильные и убедительные слова, которые и в настоящее время не потеряли своего значения в борьбе с натурализмом, в борьбе с декадентским искусством.

Бальзак предостерегал от упрощённого изображения людей и событий. Работая над «Человеческой комедией», создавая гигантскую панораму буржуазного общества, Бальзак считал необходимым «изучить основы или одну общую основу этих социальных явлений, схватить скрытый смысл огромного скопища типов, страстей и событий...»

¹ «К. Маркс — Ф. Энгельс об искусстве». Государственное издательство «Искусство», М.—Л. 1938, стр. 164.

Это требование являлось закономерным требованием художника-реалиста, поставившего целью дать правдивое изображение жизни. Часто Бальзак говорил о необходимости для писателя не скользить по поверхности, а схватывать смысл вещей и событий. Его художник Френхофер из «Неведомого шедевра» за несколько десятилетий до появления модного в империалистическом искусстве импрессионизма говорил о лживости течения, пропагандирующего впечатление как основу искусства и литературы: «Впечатления! Впечатления! Да ведь они случайности в жизни, а не сама жизнь!.. Ни художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатление от причины, которые нераздельны одно в другом».

Продолжая линию критического реализма, Мопассан, как и Бальзак, выступает обличителем буржуазии.

В тот период, когда творил Мопассан, вырождение буржуазии было ещё более кричащим, чем во времена Бальзака. С убийственной силой раскрывает Мопассан не только мерзость касты привилегированных, состоятельных людей, но и гнилость всего буржуазного общества, вступившего в последнюю — империалистическую — фазу своего развития.

В отличие от Бальзака или своего современника Золя, Мопассан не стремился к созданию монументальной эпопеи о буржуазном обществе. Воспринимая мир как многообразие фактов и явлений, вечно возникающих и проходящих перед его глазами, он запечатлевал их, заключая каждую подробность, каждый поступок, каждое явление в рамку отдельной законченной картины. Он оживил и довёл до совершенства замечательную французскую новеллу.

Первоклассный стилист, превосходный мастер чистой французской речи, он трогал читателей волнующим содержанием своих новелл, изумительных по своей лаконичности и прекрасной художественной простоте.

Его чудесный талант не ограничен одной тональностью: юмор отличает его лукавый рассказ «Свинья Морэн», тёплым лиризмом согрета чудесная поэтическая новелла «Лунный свет», печаль и горькое чувство безнадёжной любви мы ощущаем в «Мисс Гарриэт». Но в этих, казалось бы таких различных, непохожих друг на друга, про-

изведениях Мопассан предстаёт перед нами чутким наблюдателем жизни, обладающим даром необыкновенно живого и правдивого воспроизведения действительности.

Изображая повседневные явления жизни в их видимой раздроблённости, бессвязности и обособленности, Мопассан не отходит, тем не менее, от лучших традиций мастеров французского реализма — он схватывает в явлениях их реальную ткань и сущность. И правда жизни, воспроизводимая Мопассаном, клеймит буржуазное общество с той же силой, как и правда лучших балзаковских произведений.

В одной из своих новелл Мопассан рассказывает, что однажды ночью на кладбище он увидел, как мёртвые вставали из своих могил, стирали лживые хвалебные надписи на надгробных памятниках и на их место вписывали ужасные истины.

Эта новелла символична для всего творчества писателя.

Уже первое выдающееся произведение Мопассана — его новелла «Пышка» полна разительного разоблачения. С каким презрением смотрят высокомерные «честные» руанские буржуа на «Пышку» — городскую проститутку, случайно оказавшуюся в «высокопоставленной» компании. Для них она — отброс общества, достойная презрения продажная женщина. Но вот на глазах читателя линяет «безупречная» мораль господ, превосходство их оказывается мнимым: «честные» оказываются бесчестными и аморальными, а «нечестная» — лучше и чище всей этой компании «честных».

С изумительной иронией Мопассан осмеял «добропорядочных» буржуа, раскрыв за их видимой респектабельностью и порядочностью, за их улыбками и лицемерием — наглость, ханжество, жестокость и полное равнодушие к человеку. Своими краткими, но выразительными характеристиками Мопассан окончательно добивает этих «честных» мерзавцев. Вот, например, госпожа Карре-Ламадон, она с особенной брезгливостью смотрит на «Пышку», но кто она сама? «Госпожа Карре-Ламадон, — пишет Мопассан, — будучи гораздо моложе своего мужа, служила утешением для назначенных в руанский гарнизон офицеров из хороших семей». Характеристика лаконичная и ясная.

Мопассан заставляет читателей проникнуться чувством брезгливости и негодова-

ния к мерзавцам из привилегированных классов.

Мопассановские новеллы раскрывают перед читателем личные отношения людей капиталистического общества. Любовь, брак, семья — на этом сосредоточено внимание писателя.

Всего сто лет отделяло Мопассана от того времени, когда лучшие представители тогда ещё молодого буржуазного класса воспевали добродетели крепкой семьи, честность и искренность любовных и брачных отношений, противопоставляя их развращённым нравам дворянства. Но буржуазия необыкновенно быстро растеряла и утратила свои относительные добродетели. Мопассан даёт картину полной деградации буржуазной семьи.

Вместо любви — вождделение, чувственность, извращённость; вместо дружбы — обман и предательство; вместо здоровых семейных отношений — адюльтер, отцеубийство и детоубийство.

Люди хотят настоящей любви, красивой и волнующей.

Мечты героини романа «Жизнь», Жанны де Во, просты и естественны. Она думала, что с любимым человеком «они пойдут рука об руку, прикажись один к другому, слыша биение сердца друг друга, осящая теплоту плеч, и любовь их будет сливаться с тихой негой ясной летней ночи, и они будут настолько близки между собой, что легко, одной лишь силой чувства проникнут в сокровенные мысли друг друга».

Но естественное чувство людей неминуемо терпит поражение в обществе, изображаемом Мопассаном. Брак, в котором решающее значение имеет денежная сторона, где нет равенства между мужчиной и женщиной, приводит к аморализму в семейных отношениях, к адюльтеру. Неслучайно эта тема постоянно возникает в новеллах Мопассана. Рассказы писателя о супружеской неверности правдиво отражают семейные взаимоотношения буржуа.

Рисуя эти, казалось бы, частные отношения людей, Мопассан рисовал тем самым одну из наиболее важных сторон жизни буржуазного общества, ибо «...отдельная семья, — как замечает Энгельс, — даёт нам в миниатюре картину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется общество, разделённое на классы сс времени наступления цивилизации, неспо-

собное разрешить и преодолеть эти противоречия и антагонизмы»¹.

Отношение к детям в буржуазном обществе также свидетельствует о деградации семьи. Новелла «Мать уродов» — одна из характерных новелл Мопассана. В ней рассказывается о том, как мать сознательно уродует своих детей, чтобы выгодно сбывать их цирковым антрепренёрам. Этот, казалось бы, патологический случай является на деле лишь одним из крайних выражений общего взгляда на детей, как на объект эксплуатации, характерного для буржуазной семьи. Рассказы о незаконнорождённых детях, которых бросают родители, рассказы о детях, которые презирают и даже убивают родителей, — всё это реальные факты распада семьи и родственных отношений при капитализме. Любят и считают близкими только тех, кто богат.

Рассказ «Дядя Жюль» превосходный тому пример.

Дядя Жюль — матрос, которого не признали близкие родственники. За деда до того семейство Девраншей прославляло дядю Жюля, хвастало им в разговорах с соседями. Было известно, что дядя Жюль, уехав в Америку, страшно разбогател. Но во время воскресной прогулки на пароходе, узнав в старом, грязном матросе, вскрывающем устрицы, своего родственника, Девранши в ужасе бегут от него — ведь он, оказывается, беден и убог, этот дядя Жюль; он может скомпрометировать и, что ещё хуже, может попросить о помощи. Незабываема сцена, когда Девранш быстро собирает свою семью и бежит с ней с палубы в глухую каюту. Только бы не увидел дядя Жюль, только бы не признал!..

Наиболее выдающимся разоблачительным произведением Мопассана является его роман «Милый друг». Это — роман, направленный против существеннейших сторон империалистического общества, против всей французской третьей республики, потонувшей во взяточничестве и авантюризме. «Милый друг» необыкновенно живо звучит и в наши дни: жульническим махинациям нынешних французских финансистов, политическим авантюрам министров и депутатов мог бы позавидовать циничный разбойник — герой мопассановского романа Жорж Дюруа.

¹ Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Госполитиздат, 1949, стр. 68.

Примечательна его карьера. Наглый, грубый унтер-офицер, грабивший арабов, попав в Париж, с головокружительной быстротой добивается успеха: богатства и политического влияния. Он добивается до парламента, сваливает министров, наживает миллионное состояние.

Любовница Жоржа Дюруа, Кло, говорит ему: «Ты всех обманываешь, всех эксплуатируешь, всюду срываешь цветы наслаждения и солидные куши и после этого хочешь, чтоб я обращалась с тобой, как с порядочным человеком!» Этому авантюристу принадлежит не только настоящее, но и будущее. Венчая преуспевшего Жоржа Дюруа, епископ благословляет его знаменательным напутствием: «Вы принадлежите к избранным мира сего, к числу самых уважаемых и богатых людей... на вас лежит почётная обязанность, вы должны подать благой пример...»

Человек, жизнь которого — цепь предательств и преступлений, ради денег готовый идти на любую мерзость, провозглашается столпом буржуазного мира.

Лишь для подобных проходимцев уготованы благополучие и блестящие перспективы. Несомненно, Жорж Дюруа будет депутатом и министром, он рвётся к самым вершинам буржуазного общества. Не брезгающий никакими средствами, он — свой в продажном, протитурованном мире коррупции и преступлений.

С нескрываемой неприязнью относится писатель к правительству, министрам, депутатам, откровенно занятым лишь своим личным обогащением. Мопассан — один из первых французских писателей, выступивших против империализма во Франции, против колониальных авантур и грабежа. На примере одной из парижских газет Мопассан великолепно показывает продажность печати, министров, депутатов. Издатель этой газеты — депутат и финансист Вальтер. Репортёр Сен-Потен даёт выразительную характеристику этому издателю и его газете: «Его газета, официозная, католическая, либеральная, республиканская, орлеанистская — пирог с начинкой или мелочная лавочка, он основал её только для поддержки его биржевых операций и всевозможных предприятий. В этом отношении он молодец — зарабатывает миллионы на всяких акционерных обществах, у которых нет ни гроша капитала...»

Вдохновителями и истинными сотрудниками этой газеты являлась группа депутатов, заинтересованных во всех спекуляциях, начинаемых или поддерживаемых её издателем. В палате их называли «шайкой Вальтера» и завидовали огромным деньгам, которые они загребали вместе с ним и при его поддержке.

«У нас дел по горло,— говорит Вальтер,— ...наша газета становится официозной (наш друг Ларош Матье — министр иностранных дел). Я составляю передовую статью, простую декларацию наших принципов — указываю министрам их путь».

Так, на примере грязной деятельности одной из типичных продажных газет Парижа Мопассан показывает, как финансовые дельцы во Франции достигают полного и безраздельного господства, делая продажных министров и депутатов своими марионетками.

Характерное явление коррупции, правдиво показанное Мопассаном, присуще в ещё большей мере сегодняшней буржуазной Франции, где орудуют и процветают десятки проходимцев.

Говард Фаст, возмущённый тем, что французское правительство лишает Луи Арагона — одного из лучших писателей Франции — гражданских прав, писал в письме к нему о трогательном единении нынешнего французского министра Шумана с американским банкиром Уинтропом Олдричем.

Фаст делал вывод: «Всё славное и прекрасное, что заключено в слове «Франция», сводится на нет этими низкими подхалимами, этими лакеями, которые продали честь своей страны выродкам и маньякам атомной бомбы с Уолл-стрита».

Нынешние наследники Дюруа заняты гораздо более крупными аферами, они торгуют судьбами своей страны, да ещё пытаются посягать на жизнь и независимость других народов. Начиная с постыдной мюнхенской сделки и кончая наглыми провокациями деголлевских молодчиков, лихорадочной деятельностью Поля Рейно и ему подобных политических «коммивояжёров», многочисленные наглые и продажные дюруа наших дней ведут Францию к гибели. Предатели по призванию и по профессии, озабоченные лишь своей карьерой и своим обогащением, они — могильщики своей страны. И сколь бы ни была грязной и про-

дажной изображённая Мопассаном газета, ей также не угнаться за омерзительной, возмущающей своим цинизмом современной парижской газетой «Фигаро», печатающей воспоминания гитлеровского молодчика Скорцени о выполнении им «секретных миссий» Гитлера.

Вскрывая типичные явления разложения и продажности буржуазии, Мопассан решительно высказывался против правящих классов. Исключительный интерес представляет одно из его писем, адресованных Флоберу.

«Я требую уничтожения правящих классов,— писал Мопассан,— этого сброда красивых тупоумных господ, которые копаются в юбках старой, набожной и глупой шлюхи, именуемой лучшим обществом... Да, я нахожу теперь, что сентябристы были милосердны, что Марат — это ягнёнок, Дантон — невинный кролик, а Робеспьер — голубок. Если старые правящие классы остаются ныне так же неразумны, как и тогда, — нужно уничтожить ныне правящие классы, как и тогда, и утопить красивых господ-крегинов вместе с их красивыми распутными дамами. О радикалы, хотя у вас часто вместо мозга — плохое вино, освободите нас от спасителей и военных, у которых в голове только ритуфель да святая вода!»

Это резкое высказывание Мопассана вполне соответствует характеру разоблачения правящей верхушки Франции в «Милым друге». Множество уничтожающих характеристик светского общества содержат и другие произведения и письма Мопассана. Можно указать на его сборник «На воде», на роман «Монт-Ориоль», на «Наше сердце» и многие новеллы писателя.

Лев Николаевич Толстой в своём предисловии к одному из русских изданий Мопассана характеризует разоблачительную силу романа «Милый друг»: «...*Bel-ami*, — пишет Толстой, — как и «*Une vie*», имеет в основе своей серьёзную мысль и чувство. В «*Une vie*» основная мысль — это недоумение пред жестокой бессмысленностью страдальческой жизни прекрасной женщины, загубленной грубою чувственностью мужчины; здесь не только недоумение, но негодование автора пред благоденствием и успехом грубого чувственного животного, эту самую чувственностью делающего карьеру и достигающего высокого положе-

ния в свете, негодование и пред развращённостью всей той среды, в которой его герой достигает успеха. Там автор спрашивает как будто: за что, зачем загублено прекрасное существо? Отчего это случилось? Здесь он как будто отвечает на это: погубило и погибает всё чистое и доброе в нашем обществе, потому что общество это развратно, безумно и ужасно».

Неслучайно мопассановские новеллы всегда окрашены скрытой душевной горечью и болью. Жизнь для героев Мопассана теряет своё очарование. Сам талант автора — горький, обличительный талант. Лукавство и ирония, смех и озорство его рассказов не могут скрыть душевной тревоги писателя. Часто в его произведениях варьируется одна и та же мысль: в жизни не много радостей и много разочарований; люди ищут мечуг — и находят фальшивые драгоценности; красота в жизни — иллюзия, она неминуемо уничтожается при первом соприкосновении с действительностью. В этом трагедия Жанны, и её слова: «Значит, всё на свете только ложь, горе, муки, скорбь и смерть. Всё обманывает, всё лжёт, всё заставляет страдать и плакать» — находят отзвуки во многих других рассказах писателя.

Мопассан задыхался в узком, окружавшем его мире корыстных буржуа, забитых, пошловатых чиновников. Он бежал к природе, к здоровым запахам земли и леса. С трогательной любовью писатель воспроизводил пейзаж родной ему Нормандии.

Когда Мопассан обращался к простым людям деревни, он и в них видел изуродованные капитализмом души, суровую расчётливость, алчность и жестокость. Небольшие рассказы писателя о крестьянах правдиво воспроизводят «идиотизм деревенской жизни», неприглядность, невежество и невероятную узорность человека, влачащего поистине звериную жизнь в закутке мелкого частного хозяйства. Но Мопассан замечал и другие стороны в натуре простого человека — крестьянина. Он видел в нём то, чего не мог найти в светской и чиновничье-буржуазной среде: здоровые человеческие чувства, моральное превосходство простых людей из народа над представителями буржуазии.

Буржуазные фальсификаторы, силиясь оторвать Мопассана от народа, пытаются

иной раз изобразить его в виде представителя аристократической реакции. В действительности же творчество этого замечательного писателя неотъемлемо от его демократизма.

«История девушки с фермы», «Плетельщица», «Два приятеля», «Папаша Милон», «Папа Симона» — всё это рассказы о простых людях. В них Мопассан говорит о настоящей большой любви, говорит о патриотизме, о настоящих человеческих чувствах. Двое приятелей, простых парижан, гибнут, но не выдают немцам пароль. Им даже не приходит в голову мысль о попытке спастись, ибо спасение можно купить лишь ценою предательства Родины. Образы простых людей: крестьянина Милона или старой женщины из рассказа «Матушка Соваж» — людей, охваченных святым гневом против врага, оккупировавшего Францию, — незабываемы.

Когда Золя отмечал одну из характерных особенностей, присущих Мопассану: «читая его, смеялись или плакали, но всегда размышляли», — он тем самым свидетельствовал об успехе писателя, сознательно стремившегося к тому, чтобы его произведения не служили простым средством развлечения. В предисловии к роману «Пьер и Жан» Мопассан справедливо утверждает, что цель писателя совсем не в том, чтобы рассказать нам какую-либо историю, развлечь или растрогать нас, — писатель должен заставить нас размышлять, понять глубокий и сокровенный смысл событий.

К сожалению, превосходно рисуя действительность, изобличая уродства капиталистического мира, Мопассан не в силах был до конца разобраться в этой действительности, понять её «глубокий и сокровенный смысл».

Внимательно наблюдая жизнь, он видел в ней анархию, присущую капиталистическому миру, торжество инстинктов и вожделений, то есть всё то, о чём так хорошо писали ещё в первой половине XIX века французские реалисты. Но он не видел сил, которые бы могли изменить этот мир. Французский пролетариат и его борьба, не смотря на то, что 80-е годы во Франции, современником которых был Мопассан, характерны оживлением рабочего движения, — оказались незамеченными писателем.

Так много говорящий об одиночестве, Мопассан был сам глубоко одиноким человеком. И чем больше он приглядывался к буржуазному миру, тем менее утешительные выводы он делал. Мир вообще начинал казаться ему непознаваемым и страшным, лишённым справедливости и целесообразности. Отсюда—особая линия в творчестве писателя, его «Орля», «Он» и другие новеллы, в которых иррациональное и алогичное решительно вытесняют реализм. Именно в этом — корень идеалистических рассуждений писателя в предисловии к роману «Пьер и Жан», где он говорит, что верить в реальность — есть ребячество, что «каждый из нас носит свою собственную реальность в своей мысли и в органах чувств!»

Чуткий наблюдатель жизни, одарённый огромным художественным талантом, Мопассан всё же не сумел подняться до понимания законов развития буржуазного общества, не сумел разглядеть те новые силы, тот передовой класс, которому принадлежит будущее и во Франции и во всём мире.

Но именно этот передовой класс—французские трудящиеся — и защищает сейчас Мопассана от грязных нападок людей, которым не дорога их национальная культура.

Мопассан «..воодушевил патриотизм крестьян, сопротивляющихся захватчику. Нацисты никогда ему не простят ни его отца Миллона, который прячется за стога сена, чтобы стрелять в уланов, ни ту старую крестьянку, которая сжигает свой собственный дом вместе с солдатами, которые убили её сына, ни «Пышку», ни многие другие рассказы, где вспыхивает ненависть против захватчика. Они не простят ему того, что он воспекает франтиреров и партизан своего времени, что он тем самым являет пример современным писателям Франции», — писала подпольная газета «Леттр Франсез» в годы гитлеровской оккупации Франции.

Творчество Мопассана продолжает служить французскому народу и сейчас — в борьбе за мир, против преступных поджи-

гателей войны. В ноябре 1949 года «Леттр Франсез» опубликовала в качестве передовицы неизданную статью Мопассана «Война». С глубоким возмущением Мопассан говорит в ней о преступности захватнических разрушительных войн. Он клеймит позором профессиональных убийц, вроде фон Мольтке, заявлявшего, подобно нынешним организаторам империалистического заговора против дела мира, что война является «божественным учреждением», которое не даёт человечеству «впасть в самый отвратительный материализм».

«Мы видели войну,—пишет Мопассан.— Мы видели, как люди, ставшие зверьми, обезумев, убивали ради удовольствия, из страха, из наглости, из хвастовства... Мы видели, как на дорогах расстреливали невинных людей... Так вот что называется не впадать в самый отвратительный материализм..»

Ворваться в страну, зарезать человека, защищающего свой дом... сжечь жилища несчастных людей, у которых нет больше ничего, переломать часть утвари и украсть остальное, напиться найденным в погребах вином, насилловать схваченных на улице женщин, истратить на миллионы франков пороха и оставить за собой нищету и холеру. Вот что называется не впадать в самый отвратительный материализм».

Мопассан призывает народы выступить против поджигателей войны. «Ну что ж! Раз правительства присваивают себе право предавать смерти свои народы, нет ничего удивительного, если и народы иной раз воспользуются правом предать смерти свои правительства. Они защищаются. Они правы... Почему бы не судить правительства после объявления каждой войны? Если бы народы это поняли, если бы они сами свершили суд над правящими убийцами, если бы они отказались идти на бессмысленную бойню, если бы они обратили своё оружие против тех, кто им дал его для убийства, то с этого дня война была бы мертва».

Гневные слова Мопассана против войны не требуют комментариев. Как живой, звучит в наши дни могучий голос великого

французского писателя, поддерживая тех, кто говорит своё решительное «Нет!» нынешним поджигателям войны.

—

Перечитывая Бальзака и Мопассана, господа мориаки приходят в ужас. Но почему-то эти пугливые господа не проявляют ни беспокойства, ни страха, когда видят, как сажают в тюрьмы передовых людей Франции, когда наблюдают, как распродают сп-

том и в розницу их родину банкирам с Уолл-стрита. Они не приходят в ужас от того, что коллаборационисты, пособники гитлеровских захватчиков, издеваются над честными людьми, французскими патриотами, и вновь продолжают своё чёрное дело предательства и разложения.

Нынешние реакционеры Франции боятся своей национальной классической литературы: она разоблачает их, она служит делу народа.



Н. РЕФОРМАТСКАЯ

★

НОВЫЕ КНИГИ О МАЯКОВСКОМ

Слова Маяковского, обращённые к потомкам и ставшие формулой его поэтического бессмертия, — «как живой с живыми говоря» исполняются с каждым новым днём нашей жизни новым конкретным содержанием. Мы помним, как звучали патристические строки стихов Маяковского, его боевые лозунги-рифмы в дни Великой Отечественной войны, слышим, как звучат сейчас его обличительные стихи и очерки об Америке, его слова-«бичи» против поджигателей войны.

Как свидетельство непрерывающейся жизни поэта, «народа водителя и одновременно народного слуги», встретила в этом году наша страна 20-летие со дня смерти Маяковского. Отмеченное всеми газетами и журналами Советского Союза — от «Правды» до заводских, воинских, вузовских многотиражек, это событие ещё раз показало, как близок и нужен нам Маяковский, как велика и многостороння у нас потребность в слове поэта, который «...был и остаётся лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи» (И. В. Сталин).

Историческое место Маяковского в литературе, его роль и значение в развитии советской поэзии, значение его для современности — таковы темы, объединяющие

ряд новых, весьма различных по своему типу книг о Маяковском.

В книгу Н. Маслина «Владимир Маяковский» вошли статьи, опубликованные в 1947—1949 гг. в периодической печати и ряде сборников. Собранные воедино, они составили главы книги, близкой по своему построению к монографиям о творческом пути поэта, но отнюдь не претендующей на полное и последовательное раскрытие этого пути.

Книга состоит из следующих глав: «Маяковский и литературное движение начала XX века», «Поэт и народ» (основные мотивы поэзии Маяковского послеоктябрьского периода), «Поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», «Лирика», «Певец и защитник социалистического отечества», «Маяковский и наша современность».

Задача последней главы — показать, что Маяковский остаётся нашим «боевым современником, которому принадлежит первое место в борьбе за большое искусство коммунизма», — является; по существу темой всей книги.

Автор останавливается в своей работе на тех ведущих чертах творчества Маяковского, которые определяют его путь как основоположника поэзии социалистического реализма и имеют наибольшее значение для развития всей советской поэзии.

Первая глава книги посвящена анализу идейных и творческих позиций Маяковского, характеризующих его путь к Октябрю.

Автор решает этот вопрос на широком историко-литературном фоне. Определив место поэта в литературном движении начала XX века, Н. Маслин подходит к рас-

Н. Маслин. Владимир Маяковский. Редактор Г. Черемин. Государственное издательство художественной литературы. М. 1949.

С. Трегуб. Живой с живыми. Редактор Е. Рамм. «Советский писатель». М. 1949.

А. Колосков. Жизнь Маяковского. Редактор С. Трегуб. «Московский рабочий». М. 1950.

Е. Наумов. Семинарий по Маяковскому. Ответственный редактор А. Деметьев. Издательство Ленинградского Государственного ордена Ленина университета имени А. А. Жданова. Л. 1950.

смотрению новаторства дореволюционных произведений Маяковского.

Анализируя атмосферу литературно-политической жизни тех лет, борьбу лагеря революции, возглавляемого в литературе Горьким, против лагеря реакции, представленного в литературе символистами и множеством других декадентских школ и школок, автор показывает, что «идейная основа поэзии Маяковского прямо противоположна идейной основе символистской и всей декадентской поэзии». Место Маяковского, выступившего со страстным протестом против эксплуататорского строя во имя торжества новых общественных отношений, свободного человека, было в лагере Горького. Развитие этого исходного положения, на основе анализа художественных произведений и теоретических высказываний Маяковского, даёт автору возможность раскрыть активную борьбу Маяковского за новое демократическое искусство, которую он повёл с самого начала своей литературной деятельности. Проследившая путь идейного и творческого формирования поэта, осложнённый на первых шагах влияниями футуризма, мешавшими поэту плодотворно разрабатывать большую социальную тему, Н. Маслин проводит решительное разграничение между революционным новаторством Маяковского, сильнейшими демократическими тенденциями его поэзии и безидейной, формалистической поэзией футуризма. Приходится, однако, пожалеть, что правильные общие выводы исследователя не подкреплены достаточно глубоким анализом самих произведений.

Сторонники взгляда на футуризм, как на фундамент поэзии Маяковского, придавали особое значение его самым ранним формально-экспериментаторским стихам. Может быть именно для того, чтобы опровергнуть эту ложную точку зрения и показать, что уже в этих стихах заложены основные для всей будущей поэзии Маяковского мотивы борьбы с капиталистическим миром, так подробно останавливается на них и Н. Маслин. Но, к сожалению, все другие, наиболее значительные произведения поэта не подвергаются такому же обстоятельному исследованию. Правильная формулировка: «своеобразным синтезом творчества раннего Маяковского» является трагедия «Владимир Маяковский» — оз-

таётся не раскрытой. За исключением поэмы «Облако в штанах» другие поэмы — «Война и мир», «Человек», по существу, только упоминаются в статье.

Противопоставляя декадентскому неприятию мира, культу нищезанского «сверхчеловека» страстную ненависть Маяковского к капиталистическому строю и веру в грядущую революцию, в торжество нового свободного человека, автор специально останавливается на некоторых элементах поэтики Маяковского. в своё время истолкованных, как доказательство родства Маяковского с различными декадентскими школами.

Одним из таких вопросов является вопрос о «вещных» образах Маяковского и принципиальном отличии их от вещных образов акмеистов.

В то время как за призывами акмеистов к борьбе за вещьность, предметность слова стоял уход от противоречий действительности и «непосредственное упоение бытием», «вещные» образы ранней поэзии Маяковского были средством выражения трагедии человеческого существования в условиях капиталистической «цивилизации».

Н. Маслин развивает ту историческую характеристику декадентских течений XX века, которую дал А. А. Жданов в докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Статья Н. Маслина является тем более своевременной, что в критике, посвящённой творчеству Маяковского, была сделана попытка на основе неправильного понимания некоторых положений доклада товарища Жданова дать искажённое представление об истоках творчества раннего Маяковского, объявить о зависимости его поэзии от искусства буржуазного декаданса. Такой попыткой явилась опубликованная на страницах апрельского номера журнала «Звезда» за 1948 год статья В. Бакинського «Образная система Маяковского».

А. А. Жданов говорил: «Из истории русской литературы мы знаем, что не раз и не два реакционные литературные течения, к которым относились и символисты, и акмеисты, пытались объявлять походы против великих революционно-демократических традиций русской литературы, против её передовых представителей; пытались лишить литературу её высокого, идейного и общественного значения, низ-

вести её в болото безидейности и пошлости. Все эти «модные» течения канули в Лету и были сброшены в прошлое вместе с теми классами, идеологию которых они отражали. Все эти символисты, акмеисты, «жёлтые кофты», «бубновые вальсы», «ничегоки», — что от них осталось в нашей родной русской, советской литературе? Ровным счётом ничего, хотя их походы против великих представителей русской революционно-демократической литературы — Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Герцена, Салтыкова-Щедрина — задумывались с большим шумом и претенциозностью и с таким же эффектом проваливались¹.

Весь контекст высказывания товарища Жданова не вызывает никакого сомнения в том, кого имел в виду товарищ Жданов под кличкой «жёлтые кофты» и кого он исключал из неё. Но В. Бакинский настойчиво хочет подвесить под эту характеристику Маяковского. Он использует весь арсенал методов и этикеток рапповской критики, чтобы доказать внутреннее единство Маяковского дореволюционной поры с искусством футуристического декаданса.

Не поэта-революционера, глшатая «грядущих правд», не пафос гуманиста, не страстность отрицания капиталистической действительности и веру в раскрепощение человека увидел критик в творчестве молодого Маяковского, а образ «индивидуалиста-«сверхчеловека», поэта, в стихах которого нашли своё отражение «трагическая фантастика безумия, боли, сумятицы...» и который готов был так же, как и футуристы, «схватиться за оружие, созданное упадочным искусством», встать на «ложный путь внешнего «эпатажа», индивидуализма, мессианизма и т. п.»

В «вещных» образах Маяковского В. Бакинский видит декадентский элемент «фетишизации вещи», что, как утверждает автор статьи, «было отчасти свойственно и сознанию самого Маяковского». Искажая смысл поэмы Маяковского, автор возвращает читателя к давно уже сделанному буржуазной критикой «открытию», будто подзаголовок «Вещь» в поэме «Человек», «означает не жанр, как это принято считать, а определение человека. Человек — вещь».

¹ «Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Госполитиздат, 1943, стр. 15.

Нет возможности и надобности приводить примеры ревизии творчества Маяковского, производимой критиком. О них можно судить по обобщающему выводу, сделанному В. Бакинским относительно обральной системы поэзии Маяковского периода 1912—1917 гг.: «В его поэзии революционный пафос сменялся мессианством, позой «сверхчеловека», пролетарский гуманизм — расплывчатым сочувствием «обездоленным», колоссальный темперамент дробился в футуристическом фразёрстве; голос поэта терялся в джунглях метафоризма, отвлечённой фантастики, развитие реализма тормозилось влиянием упадочных форм искусства».

Статья Бакинського, являющаяся в корне порочной попыткой приспособить к поэзии дореволюционного Маяковского оценку футуризма, данную А. А. Ждановым, прошла в критике незамеченной. Сам факт её опубликования должен вызвать у исследователей стремление к более пристальному и обстоятельному изучению творчества Маяковского в предоктябрьский период, без чего нельзя понять особенностей развития его в советскую эпоху.

Такой обстоятельности и конкретности анализа материала, к сожалению, не хватает работе Н. Маслина, выгодно отличающейся от других работ своим историзмом.

Недоумение вызывают противоречия в ряде формулировок первой и второй глав книги.

В первой главе сказано, что, несмотря на наличие элементов футуристического формализма в начальном периоде литературной деятельности Маяковского, в статьях его, «написанных в этот период, в его выступлениях, а главным образом в самом творчестве заключается и многое такое, что свидетельствует лишь о чисто внешней связи молодого поэта с футуризмом».

Подчёркивается автором, что Маяковский не разделял «экспериментаторских крайностей» Хлебникова, теорию «самовитого» слова.

В главе «Поэт и народ» автор говорит, однако, что «Маяковский испытал в своём творчестве серьёзные буржуазные и мелкобуржуазные влияния» и что формализм, с его теорией «самовитого» слова, был глубоко чужд поэзии Маяковского якобы уже только в «зрелые годы».

Есть в статье и отдельные частные ошибки: непонятно, например, почему автор приписывает поэме «Человек» «отвлечённо-утопические мотивы» и не видит их в поэме «Война и мир».

Специальные главы книги «Поэт и народ», «Певец и защитник социалистического отечества» посвящены анализу основных особенностей творчества Маяковского, основоположника поэзии социалистического реализма. Эти особенности: народность поэзии Маяковского, её органическая связь с борьбой трудящихся за построение социалистического общества, большевистская партийность, отношение к поэзии, как к орудию пропаганды идей Ленина—Сталина, советский патриотизм — раскрываются также и в других главах книги.

Историзм, положенный в основу работы Н. Маслина, дал возможность автору в главе «Поэт и народ» показать идейные источники подлинно революционного новаторства Маяковского, его литературные позиции в первом десятилетии после Октября, его борьбу за утверждение принципов действенного, активно участвующего в социалистической перестройке страны искусства, определить роль и общее значение Маяковского в развитии современной ему советской литературы. Содержание этой правильной по замыслу главы значительно выиграло бы, если бы автор не подменял подчас конкретно исторический анализ произведений советской литературы описательным обзором. Этот недостаток в ещё большей степени свойствен главе «Лирика». Бесспорные положения о новом социалистическом отношении к миру, о единстве личного и общественного, составляющие суть лирики Маяковского, не подкрепляются анализом самих произведений поэта.

К числу несомненных удач автора книги относится глава о поэмах «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», раскрывающая идейные и художественные особенности этих произведений, их место в творчестве Маяковского.

Публицистической заострённостью отличается глава, посвящённая теме советского патриотизма в творчестве Маяковского. Она охватывает обширный материал — многочисленные произведения поэта, в которых он воспевает «весну человечества» —

социалистическую родину. Большое место в этой главе уделено обличительным статьям и очеркам Маяковского об Америке.

В последней, итоговой главе книги «Маяковский и наша современность» ставится вопрос о традициях Маяковского в нашей литературной современности. «В творчестве Маяковского, — пишет автор, — впервые в истории поэзии — политическая и эстетическая позиция художника составили взаимообусловленное единство: политика явилась не только идейным содержанием, но и стала творческим принципом, определяющим художественное изображение явлений действительности. Это — главная особенность, характеризующая новый тип реалистической поэзии, созданной Маяковским». Конкретное осуществление этого творческого принципа было раскрыто в предыдущих главах книги.

В кратком обзоре, посвящённом развитию советской литературы от начала 30-х годов до наших дней, Н. Маслин характеризует значение творчества Маяковского для идейного и художественного роста передовой советской литературы.

В заключение следует сказать об одном недостатке, характерном для всей этой в целом полезной книги: автор почти совсем не уделяет в ней внимания вопросам художественной формы произведений Маяковского. Из 165 страниц книги характеристике стиля поэта-новатора отведено всего 3 страницы в последней главе. Истину ради надо сказать, что отдельные замечания о поэтике Маяковского есть в анализе поэм «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!» и «Стихов о советском паспорте». Но в целом анализ формы остаётся за пределами работы Маслина. В связи с этим недостатком книги нельзя не вспомнить абсолютно правильные слова самого Н. Маслина, сказанные им в статье «Об одной бесплодной литературной дискуссии»:

«Отрыв поэтики Маяковского от идейного содержания его творчества является недопустимой попыткой принизить значение Маяковского вообще, ибо новаторство Маяковского проявилось, конечно, не только в новом содержании его творчества. Маяковский совершил дело колоссальной важности: он заложил основы советской поэзии — самой передовой поэзии мира, поэзии народа, строящего коммунизм; он обогатил русский поэтический

язык, положив в его основу язык советского народа — «народа-языкотворца» и, наконец, он реформировал русское стихосложение». («Культура и жизнь» от 20 ноября 1949 года).

Не надо пояснять, что слова «принизить значение Маяковского» ни единым звуком не относятся к Н. Маслину. Но заинтересованность в дальнейшей плодотворной работе исследователя требует всесторонне подчеркнуть этот недостаток книги.

Традиции Маяковского в современной советской литературе — тема, лишь поставленная в заключительной главе книги Н. Маслина, — является основной темой книги С. Трегуба «Живой с живыми». Эта книга — едва ли не одна из самых страстных и спорных из всех, вышедших за последнее время. За полемическим темпераментом автора стоит ревностная, активная любовь к Маяковскому. В книге собраны статьи автора о Маяковском и о советских поэтах — итог десятилетней работы критика.

В первых главах книги: «Великий поэт великой эпохи», «Поэтический памятник Ленину» — автор определяет значение творчества Маяковского. Всё последующее в книге — это Маяковский в действии, это — статьи, в которых в разное время и по разному поводу автор обращался к Маяковскому, «как к живому, чтобы судить о живых».

Начинается эта часть книги статьёй «На линии огня», написанной в 1941 году, и завершается статьёй 1949 года «Школа Маяковского».

«Важно было показать, — пишет автор, — как передовое, коммунистическое в советской поэзии («маяковское») противостоит в ней рутинному безидейному («антимаяковскому») и как первое побеждает второе». Как мерил Маяковский «по коммуне стихов сорта», так мерит С. Трегуб по Маяковскому, по вершине советской поэзии стихи современных поэтов. Маяковский — позиция критика, критерий оценки. Испытание Маяковским — метод его работы. Плодотворность этой работы зависит от правильности применения метода.

Проверяя и подкрепляя свои суждения авторитетом Маяковского, С. Трегуб борется против того, что засоряет путь развития передовой советской поэзии.

Автор разоблачает в творчестве ряда современных поэтов различные проявления эстетства, упадочничества, идеализации прошлого, безидейности, лирику мелких чувств — всё, что уводит их от идейно-воспитательных задач советского искусства. Он вскрывает в статьях ряда критиков рецидивы реакционных буржуазных теорий аполитичности искусства, антипатриотические попытки некоторых критиков увести Маяковского с поля литературных боёв.

Полемика вокруг этих вопросов, борьба с различными формами прямого или косвенного «неприятия» Маяковского составляют содержание критических статей: «Возвышающий пример», «Новые стихи Маргариты Алигер», «Смысл двух ошибок», «Куда течёт «Радуга-река»?», «Писателю Константину Симонову». Обличительная критика этих статей, за некоторыми исключениями, аргументирована, принципиальна.

Много справедливых ударов по недостаткам и ошибкам поэтов и главным образом критиков наносит автор и в своей статье «На линии огня». Под обстрел попадают произведения, лишённые чувства и понимания современной действительности, «мотыльковая поэзия», различные проявления безответственного отношения к правам и обязанностям советского поэта и критика.

Статья эта, написанная в 1941 году, частично сокращённая, частично дополненная новыми примерами, не потеряла актуальности и сейчас. Явления, критикуемые автором, в том или ином виде существуют и в настоящее время, хотя и не связаны с названными в статье именами. Тем не менее вряд ли было нужно и полезно в таком виде включать статью в книгу. И дело вовсе не в том, как замечает автор, что в ней есть «шипы» по отношению к некоторым выросшим за годы войны поэтам, в частности к С. Щипачёву, М. Алигер, А. Яшину. Статья эта противоречит поставленной автором задаче: показать, как «маяковское» побеждает «антимаяковское».

Разве не обязан критик, возвращая читателя к ошибкам и недостаткам поэтов, имеющих десятилетнюю давность, дополнить критические «шипы» критическими коррективами, свидетельствующими о раз-

витии творчества этих поэтов, об их достижениях.

«Интересы советской литературы, — пишет автор, — требуют воинствующего Маяковского». Но нельзя, как делает автор, обращаясь к поэзии предвоенных лет, ограничивать борьбу за продолжение традиций Маяковского разоблачением только того, что является отступлением от них. Метод проверки Маяковским служит здесь критике только средством очищения поэзии от её «накладных расходов». Читатель видит, как помогает Маяковский критику в его разоблачительной работе, но не видит, как помогает Маяковский поэтам своим опытом, как он участвует в развитии передовой советской поэзии.

Этот пробел С. Трегуб пытается восполнить в последней главе — «Школа Маяковского», где он обращается к вопросу о традициях Маяковского в творчестве современных советских поэтов. Анализ поэтического материала предваряется теоретическим введением, в котором автор излагает своё понимание «школы Маяковского» и сущность его революционного новаторства.

С. Трегуб ставит вопрос о традициях, о «школе Маяковского», как вопрос о широком освоении и развитии советской поэзией всего, что делало творчество Маяковского «образцом большевистской идейности и художественного мастерства». «Школа Маяковского, — пишет автор, — это борьба за новый тип поэта, за поэта новой советской формации: активного деятеля, большевистского политика, строителя жизни». «Уроки» школы одни воспринимают сознательно, другие — не замечая этого, но «всё лучшее, передовое, имеющееся в нашей поэзии, родственно по духу своему Маяковскому, близко его традициям». Эти положения бесспорны, но мало связаны с конкретной частью статьи, анализирующей влияние Маяковского на творчество советских поэтов.

В своих стихах и поэмах, выступлениях на литературных диспутах, в статье «Как делать стихи?» и в других теоретических высказываниях Маяковский раскрывает идейный смысл своего поэтического новаторства, его цели и способы осуществления. Весь этот богатый материал С. Трегуб использовал в своём введении к книге, но некоторые практические выводы,

которые он из него сделал, кажутся неубедительными.

Историческая заслуга Маяковского в том, что он внёс в поэзию новое революционное содержание и нашёл для него новую революционную форму, новую систему изобразительных средств. Но Маяковский никогда не утверждал, что это единственно возможная форма, и, борясь за качество поэзии, раскрывая способы её «обработки», не считал себя единственным обладателем секретов поэтического мастерства.

Можно ли, — ставит автор вопрос, — не наследуя поэтику Маяковского, создавать талантливые советские патриотические произведения? Он отвечает утвердительно по форме, уклончиво по содержанию: «Безусловно можно... но «способы обработки» Маяковского лучшие из всех возможных». Эта оговорка, по существу, опровергает утверждение: «лучшее» фактически становится единственным, не допускающим никаких традиций, кроме Маяковского, и делающим поэтику Маяковского неким универсальным методом. Не случайно, что когда автор приступает к конкретному анализу произведений современной поэзии, из поля зрения его выпадает всё, что развивается вне прямых и явных традиций поэтики Маяковского. В число его продолжателей попадают только его бывшие соратники Н. Асеев и С. Кирсанов и очень небольшой круг молодых поэтов — М. Луконин, Г. Горностаев и другие. В анализе творчества этих поэтов наблюдается некоторая пристрастность автора, иногдавольное или невольное ослабление критического чутья.

С. Трегуб убедительно защищает Кирсанова в статье «Против предрассудённости» от критических нападок на его поэму «Александр Матросов», верно говорит о слабых и сильных сторонах поэта, но в то же время многие недостатки и неудачи в его произведениях остаются критиком незамеченными. Незамечены и сглажены многие художественные изъяны поэмы Лукониной «Рабочий день» и Горностаева «Кремлёвские звёзды». Трегуб правильно делает, поддерживая в молодых поэтах стремление творчески продолжать традиции Маяковского, но нужна и строгая критика их неудач. В несвойственном кри-

тику юбилейном тоне он пишет также и об Н. Асееве.

Говоря об учёбе у Маяковского поэтов национальных республик, автор бегло перечисляет их имена, некоторые произведения и, собственно, даёт лишь заявку на эту большую тему. Маяковский — высшая поэтическая школа для всех национальных поэтов, их боевое поэтическое знамя; он помог армянским, грузинским, таджикским, узбекским поэтам раскрепостить их поэзию от обветшалых канонов феодально-буржуазной эстетики (замечательный в этом отношении материал собран в журнале «Дружба народов» № 2 за 1950 год — высказывания поэтов 14 братских республик о значении Маяковского для развития поэзии народов СССР).

Две открывающие книгу С. Трегуба статьи о Маяковском написаны совершенно различными методами. Статья «Поэтический памятник Ленину» — образец вдумчивой, серьёзной и обстоятельной исследовательской работы. Автор рассматривает тему Ленин не только как тему поэмы и специального цикла стихов; Ленин — безграничная поэтическая тема всего творчества Маяковского, источник его сил, его пафос. К анализу поэмы о Ленине привлечена Сталинская характеристика Ленина и ленинизма, работы самого Ленина, на основании которых создана исторически конкретная и в то же время полная ощущения сегодняшнего дня поэма. В советской критике существует немало хороших исследовательских статей о поэме «Владимир Ильич Ленин». С. Трегуб дополняет их своей новой ценной работой.

Обязанность критика — быть одновременно и исследователем — предаётся забвению в главе «Великий поэт великой эпохи». Мы имеем в виду страницы о дореволюционном творчестве Маяковского. Автор ведёт наступательный бой против критиков, с упоением коллекционирующих ошибки поэта и всячески пытающихся поместить дореволюционного Маяковского в лагерь декадентов. Такая критика ещё, к сожалению, существует. Наличие её обязывает автора быть во всеоружии. Однако вряд ли удовлетворит современного читателя тот метод, которым пользуется автор. Вместо конкретного исследования материала С. Трегуб прибегает к чисто словесным противопоставлениям: «футуристиче-

ский сладкопевец Северянин» и «громоввержец» Маяковский, к подбору только тех цитат из статей Маяковского, которые бьют по футуризму. Внешне это эффектно, но неубедительно. Автор декларирует, а не раскрывает принципиальное различие между Маяковским и футуристическими декадентами, от имени которых поэт выступал. С. Трегуб ставит перед именем поэта слово футурист в кавычках и этим сознательно извращает себя от необходимости замечать какие-либо противоречия в литературной биографии Маяковского тех лет. Об участии Маяковского в футуристическом сборнике «Пощёчина общественному вкусу», в котором начал Маяковский свой путь поэта, автор пишет: «Это была пропашка поэтической почвы, куда предстояло бросить семена зреющего революционного сознания». В этом нейтральном лаконизме автора сама «литературная компания» футуристов оказывается, помимо воли автора, «приглаженной» под Маяковского.

Автор оправдывает своё игнорирование заблуждений молодого Маяковского тем, что они были «ничтожны в сравнении с той гениальной зоркостью, которую он проявил». Это верно. Но надо было объяснить причины заблуждений поэта, показать, с какой настойчивостью преодолевались они, а не оправдывать их посредством умолчания. И есть разница между теми, на кого справедливо ополчается С. Трегуб, кто цепляется за каждое заблуждение поэта, для того чтобы попытаться доказать его неполноценность, и теми, кто отмечает его противоречия, чтобы показать процесс роста поэта-революционера. Сказав, что уже в первых произведениях Маяковский открыл новые материки поэзии, автор к этой теме больше не возвращается, процесс идейного и творческого развития Маяковского от самых ранних его произведений до первых лет Октября в статье не показан. Боясь разменять на мелочи главное, умалчивая обо всём, от него отступающем, подгоняя иногда цитируемое произведение под «нужную» дату («Приказ № 2 армии искусств»), вольно толкуя его содержание («С товарищеским приветом, Маяковский!»), автор, вопреки своим намерениям очистить Маяковского от всего случайного,

привходящего, наводит на поэта ненужный хрестоматийный глянец.

Книга С. Трегуба оставляет двойственное впечатление. Одни страницы читаются с большим вниманием и интересом, другие поражают своей пристрастностью. Но спокойным она не оставит никого.

Из года в год все споры, которые ведутся в связи с критической литературой и исследованиями о Маяковском, как правило, кончаются сетованиями на то, что у нас нет научной монографии о Маяковском. Однако уже проделана немалая работа по накоплению фактов его личной и литературной биографии. В Катаняном составлена «Литературная хроника», ставшая настольным справочником для каждого исследователя творчества поэта, есть много работ, посвящённых отдельным вопросам, связанным с поэзией Маяковского, и очерков общего характера.

Всё это сделало возможным появление книги А. Колоскова «Жизнь Маяковского». Читательская потребность в такого рода популярной биографии поэта велика. Написана книга просто, ясно, то что называется доходчивым языком. В поле зрения автора попали в основном все или почти все важнейшие факты жизни и литературной биографии поэта, всё основное, что определяет содержание и значение его двадцатилетнего труда. Широко использованы газетные хроникальные заметки и отзывы, характеризующие живую связь Маяковского с теми, для кого и о ком он писал.

Крупнейшим этапным произведениям Маяковского посвящены отдельные главы, раскрывающие их идейное значение. Из них наиболее удачные: «Поэма о Ленине», «Октябрьская поэма», «Мистерия-буфф», главы, посвящённые поэмам «Война и мир» и «Человек», связи Маяковского с Горьким.

Автор подробно останавливается на поэме «Про это», о которой во многих общепопулярных работах, ввиду её сложности, обычно говорится очень бегло. Содержание поэмы шире, сложнее и многограннее того толкования, которое даёт ей автор книги, но главная идея её — любовь, освобождённая от всего, что в нас «ушедшим рабьим вбито», одухотворяющая человека любовью, основанная на свободном развитии подлинно человеческих отноше-

ний, — доведена автором до читателя, и в этом его заслуга.

Убедительно «комментирует» идею поэмы сам Маяковский в приведённой автором цитате из письма-дневника поэта:

«...Исчерпывает ли для меня любовь всё? Всё, но только иначе. Любовь это жизнь, это главное. От неё разворачиваются и стихи, и дела, и всё пр. Любовь это сердце всего. Если оно прекратит работу, всё остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться во всём... Но если нет «деятельности», я мёртв...»

...Любовь не установишь никаким «должен», никаким «нельзя» — только свободным соревнованием со всем миром».

В числе наиболее удачных глав книги — главы: «РОСТА», «Агитреклама», «В «Комсомольской правде», «Путешествие через океан», «По родной стране».

Однако, несмотря на ряд несомненных достоинств книги, она вызывает не только частные возражения. Существенным её недостатком является упрощённость, к которой прибегает автор, анализируя творческий путь поэта. Элементы этой упрощённости есть и в работе С. Трегуба, а в редактируемой им же книге А. Колоскова они сказываются в ещё большей степени.

А. Колосков пишет: «Прервав в 1910 году партийную работу, Маяковский никогда не порывал с партией идейно. Это помогло ему преодолеть противоречия и опасности литературной среды, в которой он находился, и выйти на путь большевистского поэта». Антинисторический подход автора к этой теме лишает возможности читателя оценить эти «опасности литературной среды» и значение победы над ними Маяковского. Не давая читателю никакого исторического представления о литературной борьбе тех лет, автор наделяет литературную среду Маяковского, футуризм и его отдельных представителей такими нейтральными характеристиками, что, собственно говоря, становится непонятно, в чём были «опасности». По Колоскову — Хлебников, Бурлюк, Каменский — это люди, которые «объявили себя борцами за искусство будущего». И всё... Вопрос — что толкнуло к ним и временно связало с ними Маяковского — у автора не возникает. Из страницы в страницу автор ссылается на воспоминания В. Каменского, с

восторгом писавшего о футуристах как о «провозвестниках нового искусства», и не разъясняет, что же отделяло Маяковского от футуристов.

«А передовая молодёжь, — пишет автор, — активно посещавшая выступления «футуристов», ловила каждое их слово, понимала каждый намёк. Вот почему, наряду с улюлюканием буржуазной публики, Маяковский и его товарищи слышали, обычно с дальних мест, с галёрки, где размещалось студенчество, голоса сочувствия и одобрения».

Если С. Трегуб ставил в кавычки слово «футурист», говоря об одном Маяковском, то А. Колосков употребляет кавычки и в тех случаях, когда он говорит о подлинные представители футуризма. Во имя «возвеличения» Маяковского, футуризм превращается у А. Колоскова чуть ли не в прогрессивное явление. В каких условиях формировалось идейно-художественное сознание Маяковского, что реально представляла из себя опасность футуризма и как преодолевалась она Маяковским — на всё это нет даже намёка в книге.

Раскрывая идейное содержание важнейших произведений Маяковского, автор не делает никаких сопоставлений последующего с предыдущим, никаких выводов, которые бы характеризовали творческий рост поэта. Колосков пересказывает, например, своими словами содержание трагедии «Владимир Маяковский» — первого опыта работы Маяковского над большой социальной темой, но ни слова не говорит о том, какое значение имеет это произведение для дальнейшего творческого развития поэта, как преодолевается им ограниченность гуманистического протеста этой поэмы, крайняя сложность её субъективных, импрессионистических образов. Такой же метод — метод критического пересказа — применяет автор, говоря и о других поэмах.

По А. Колоскову, Маяковский приходит в искусство из революционного подполья целиком сложившимся, последовательным большевиком. Никаких сложностей на пути поэта будто и не существовало. Приведу один пример, относящийся к поэме «Война и мир». Автор пишет: «Поэт твёрдо встал на путь, который указывала партия большевиков, избоблявшая захватнические

цели царской России в войне и звавшая к гражданской войне против своего империалистического правительства».

Прочность революционных позиций позволила Маяковскому написать единственную в поэзии тех лет антивоенную поэму. Но в этой поэме на пути художественного раскрытия большевистской идеи превращения империалистической войны в гражданскую стоит ещё утопическая картина будущего социалистического мира, в который человечество переходит без участия революционной силы и рабочего класса. Через год, в дни февральской революции, поэт напишет стихотворение «К ответу!», где это противоречие будет полностью снято.

Таких примеров ненужного упрощения в книге Колоскова множество.

Если в литературно-полемиических своих высказываниях Маяковский повторял иногда формалистические декларации футуристов о «слове как самоцели», то в поэтической практике это было ему всегда чуждо. «Нам слово нужно для жизни. Мы не признаём бесполезного искусства», — чётко сформулировал он своё отношение к слову в одной из статей 1914 года. Слово для него было оружием революционной борьбы. Это убедительно показал А. Колосков, разбирая статью «О разных Маяковских».

«Подумайте, — писал в этой статье Маяковский, — если не устаёт непонимаемый и непринятый вытаскивать и вытаскивать строчки, — то не потому ли только, что знает: ножами будут они в ваших руках, когда крикнут:

— Идите, голодненькие, потненькие, покорненькие...»

В поисках этих нужных слов-«ножей» создавалась новая поэтическая система Маяковского, развитие которой шло от усложнённости ранних его произведений к сложной простоте лучших стихов и поэм советского времени. Немногие замечания автора книги по этому поводу направлены по ложному пути: он пытается объяснить футуристическую усложнённость ранних образов поэзии Маяковского (и в частности, трагедии «Владимир Маяковский») якобы необходимостью «замаскировать свои мысли и чувства», обмануть цензуру.

«Теперь, — пишет автор о первых годах Октября, — Маяковскому не нужна была

«жёлтая кофта», которую он бросил ещё до революции. И хотя он называл себя футуристом, но сейчас его поэтическая деятельность приобрела открыто революционное направление». «Жёлтая кофта», футуристическая оболочка ранних произведений Маяковского, становится, таким образом, средством революционной маскировки поэта.

Упрощённость биографии дореволюционного Маяковского и некоторых этапов послеоктябрьского периода его творчества сильно снижают ценность нужной по замыслу, полезной и интересной в ряде глав книги А. Колоскова.

Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова выпустил книгу Е. Наумова «Семинарий по Маяковскому».

Назначение книги — «предоставить в распоряжение изучающих творчество В. Маяковского весь необходимый справочный материал и помочь им разобраться как в творчестве писателя, так и в научно-критическом его изучении».

В книге пять разделов: «История изучения творчества В. Маяковского», «Основные даты жизни и творчества Маяковского», «Темы для самостоятельных работ (с основной библиографией)», «Основные издания сочинений В. Маяковского», «Библиографические материалы о Маяковском».

Выпуская этот био-библиографический справочник, автор впервые взял на себя труд — дать обзор всей литературы о Маяковском, начиная от первых откликов на произведения молодого поэта до последних критических работ о нём.

О Маяковском написано очень много. Разобраться в этом обширном материале, систематизировать его, дать ему критическую оценку, восстановить конкретную историю изучения Маяковского и подвести итоги — большое, нужное и ответственное дело. Необходимость в такой работе назрела давно. И как первый опыт в этой области, и по существу дела работа Е. Наумова заслуживает всяческого одобрения.

Отдельные замечания, которые она вызывает, а их немало, носят частный характер. В целом она даёт правильное представление об отношении к Маяковскому буржуазной критики предреволюционных

лет, о прижизненной критике Маяковского в советские годы и о некоторых этапах изучения творчества поэта в истекшее двадцатилетие со дня его смерти.

Автор совершенно справедливо говорит, что не только до Великой Октябрьской социалистической революции, но и в советские годы, при жизни Маяковского, творчество его не подвергалось серьёзному изучению.

В предреволюционные годы имя Маяковского почти не сходило со страниц буржуазной печати. Но за единичными исключениями это были резко враждебные, издевательские отзывы о молодом поэте; буржуазная критика не выделяла Маяковского из среды футуристов и замалчивала революционный характер его творчества. Горький был единственным, кто поднял голос за Маяковского против этого потока ругани, кто увидел в Маяковском будущего большого поэта.

Прижизненная критика Маяковского в советские годы являлась отражением ожесточённой литературной борьбы вокруг имени поэта, с первых же дней Октября вступившего на путь «революцией мобилизованного и призванного». Несмотря на неоднократные положительные отзывы о Маяковском партийной, советской печати, на популярность, завоеванную поэтом в широких читательских кругах, творчество его не получило в эти годы сколько-нибудь удовлетворительного, правильного освещения.

Отзыв Ленина о стихах «Прозаседавшиеся» имел огромное значение не только для самого поэта, но и для расчистки атмосферы вражды и неприязни к нему, созданной в первые годы революции представителями различных буржуазных литературных группировок и Пролеткульта. Однако в последующие годы, отмеченные всё новыми и новыми достижениями поэта, атаки на него со стороны различных реакционных и враждебных советской действительности группировок не прекратились, а усилились. Рапповская критика, под началом окопавшихся в её руководстве врагов народа, упорно пыталась замолчать или опочить творчество поэта, нейтрализовать его значение, оторвать от народных масс, утверждая, что он непонятен им, объявляла его только «попутчиком» революции.

Отзыв товарища Сталина о Маяковском,

опубликована в «Правде» 5 декабря 1935 года, — решительный переворот в отношении Маяковского. Высокая оценка творчества Сталиным Маяковского положила начало новому, всестороннему, углублённому изучению жизни и деятельности поэта и вооружила исследователей тем историческим масштабом — масштабом великой советской эпохи, в котором должно вестись изучение Маяковского.

Границами последующих этапов изучения Маяковского явились: 1936—1940 гг. (из них особенно продуктивны были в связи с десятилетием со дня смерти Маяковского 1939 и 1940 гг.), годы войны и послевоенные годы. Главными направляющими указаниями в этой исследовательской работе явились теперь исторические постановления партии по идеологическим вопросам.

Характеристика достижений и недостатков в изучении Маяковского за последние пятнадцать лет составляет содержание основной части обзора Е. Наумова.

Автор книги ясно показал роль большевистской партии и её вождей в борьбе за Маяковского, как поэта, творчество которого явилось лучшим выражением партийного, подлинно народного искусства.

Жаль, что среди документов партийной печати о Маяковском приведён только один из отзывов участников обсуждения пьес «Клоп» и «Баня». Они могли бы заставить вновь обратить внимание на эти пьесы, несправедливо забытые нашими театрами.

Правильно поступил автор, что подробно и обстоятельно осветил отзыв Ленина о стихотворении «Прозаседавшиеся».

Предназначенный для определённого круга читателей — студентов-вузовцев, преподавателей советской литературы и т. д. обзор критики Маяковского не может претендовать на исчерпывающую полноту. Но, тем не менее, автора нельзя не упрекнуть в некоторой скудости в освещении ряда тем. В частности, обзор критических материалов последних четырёх лет жизни поэта не передаёт остроты литературной борьбы вокруг Маяковского в те годы. Нет разоблачающей характеристики документов, свидетельствующих о систематической травле поэта со стороны рапповских «деятелей» — «уткликов» на смерть поэта,

начиная с предисловия (обращение секретариата Рапп) к первому изданию поэмы «Во весь голос», выпущенному в 1930 году.

Из обзора выпали специальные статьи о поэме «Про это», между тем это произведение породило, пожалуй, наибольшее количество разноречивых и, в большинстве случаев, ложных толкований. Недостаточно представлены довольно обширная мемуарная литература о Маяковском, работы о поэтике и языке, о сатире Маяковского. В частности, выпала интересная статья С. Карова «Маяковский-сатирик», написанная на материале забытых текстов Маяковского. Не освещена литература о лирике Маяковского и не определено место этой темы в истории изучения творчества поэта.

Допущены в обзоре и библиографические небрежности. Дважды называется несуществующая статья И. Оксенова «Маяковский и революционная поэзия 1905 года», написанная на самом деле Н. Плиско.

Чрезвычайно ценно наличие в рекомендательной литературе указаний на те или иные главы книги «История ВКП(б). Краткий курс», необходимые для правильного исторического освещения различных проблем творчества Маяковского.

Что касается рекомендуемых автором статей о Маяковском, то здесь, наряду с ценными материалами, встречаются зачастую устаревшие, незначительные, слабые. Среди них теоретически беспомощная статья А. Соколова о слове рифм Маяковского. Статья Е. Данилова и Е. Усневич «Во весь голос» рекомендуется, как две разных статьи. Приводятся в качестве бесспорно документального материала сомнительные воспоминания о Маяковском Е. Вашкова и т. д.

Подводя итог исследовательской работе о Маяковском, проделанной советскими литературоведами за последние пятнадцать лет, и намечая основные задачи современного этапа изучения его жизни и творчества, автор правильно говорит о необходимости соблюдения исследователями творчества поэта того исторического масштаба, на который указывает товарищ Сталин в своём высказывании о Маяковском.

Это принципиальное замечание имеет прямое отношение и к вышедшим новым книгам, о которых говорилось выше.

Правильно поставленный С. Трегубом вопрос о традициях Маяковского в современной советской поэзии, но рассмотренный им на ограниченном конкретном материале, привёл и к ограниченному, суженному представлению о месте Маяковского в советской поэзии. Антиисторический подход к вопросу о футуризме в книгах С. Трегуба и А. Колоскова явился результатом сглаживания как самих декадентских основ этого течения, так и пути преодоления Маяковским влияния футуризма, испытанного поэтом в раннюю пору его литературной деятельности.

Е. Наумов справедливо выдвигает в качестве одной из очередных проблем в изучении творчества Маяковского вопрос о формировании раннего Маяковского, говорит о необходимости до конца развенчать легенду о «положительной» роли футуризма в творчестве Маяковского. В ряде работ, появившихся в конце тридцатых годов, был произведён решительный пересмотр этого вопроса, направленный против лефовско-формалистической критики, пытающейся представить Маяковского обязанным своими достижениями футуризму. Пересмотр этой темы на современном этапе изучения Маяковского должен преследовать цель уяснения процесса эволюции Маяковского на его пути к Октябрю и значения Великой Октябрьской социалистической революции в идейном и художественном формировании Маяковского. От правильного освещения раннего периода творчества Маяковского, вопроса — был ли Маяковский до Октября революционным поэтом — зависит правильное понимание всей линии развития поэзии Маяковского.

Положение: Маяковский был революционером поэтом революционным — спорно. Но так же правильно положение, что «понятие «революционный» не есть нечто неподвижное, раз навсегда данное. Оно существует во времени и в обстановке», как пишет сам С. Трегуб. («Литературная газета», № 48, 1950). Ошибка книги С. Трегуба и в ещё большей мере книги А. Колоскова заключается в том, что, боясь заслонить главное второстепенным, привходящим, авторы подошли к решению этого вопроса не от конкретного рассмотрения самой творческой биографии Маяковского, а от готовой схемы его идейного развития и сделали понятие «революционный» по отношению к творческому пути поэта — неподвижным.

Среди очередных тем и задач в изучении Маяковского, выдвигаемых Е. Наумовым, почти не нашлось места вопросу изучения поэтики произведений Маяковского, его стиля и языка. Невнимание к этим важным проблемам — недостаток не только всех рассмотренных новых книг о Маяковском (исключение — несколько страниц о поэтике Маяковского в книге С. Трегуба), но и почти всех общих статей о Маяковском.

Справедливы жалобы со стороны писателей, поэтов и всех изучающих творчество Маяковского на то, что вопросы художественной формы его поэзии пока не разработаны должным образом. Задача эта остаётся одной из очередных и важнейших на современном этапе изучения творчества Маяковского.



КТО ЖЕ ИЛИ ОБЗОРИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Александр Чаковский. За мир!—Т. Маргвелашвили, Антология грузинской поэзии. — Вл. Николаев, Два памфлета Ярослава Галана. — Н. Грибачёв, Слово о друзьях.—Л. Михайлова, Для детей и о детях.—Т. Мотылёва, «Фауст» в переводе Б. Пастернака.—В. Александров, Некрасовские тома «Литературного наследства». — И. Липина, Пути венгерской интеллигенции.—Н. Москвин, Невполющённый замысел. — Я. Фрид, «Розы возвращения».

ИСТОРИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

А. Александрова, Сын народа.—А. Иглицкий, Полезная брошюра о Корее.—Б. Леонтьев, Американский империализм и Ватикан.—Д. Мельников, Поворотный пункт в истории Европы.—В. Азаров, Борец за демократическую Германию.—Доктор юридических наук М. Шифман, Дорога чести — дорога коммунистов.—Л. Любимов, Соревнование в невежестве и во лжи.

ЭКОНОМИКА

Доктор экономических наук А. Погребинский, Книга о народном хозяйстве Украины.

ХИМИЯ

Член-корреспондент Академии наук СССР А. Капустинский, Капитальный труд по истории отечественной промышленности.

ГЕОГРАФИЯ

Доктор географических наук Н. Думитрашко, Ценная работа об Алтае.—Кандидат географических наук Е. Лукашова, Впечатления советского натуралиста.—А. Хавин, Заявка на большую тему.

Литература и искусство

За мир!

Трудно представить себе книгу, в которую даже небольшой период истории уложился бы целиком, во всей своей неповторимой конкретности.

Но есть книги, в которых бьётся пульс истории, есть страницы, овеянные духом времени.

Читая сборник статей И. Эренбурга, мы отчётливо представляем себе эти вехи, эти «узлы» истории.

1945 год. Только что закончилась война. Ещё перепалана снарядами земля. Из руин одиноко торчат печные трубы. Дожди и подпочвенные воды ещё не залили блиндажи и траншеи — вчерашние дома тысяч и тысяч солдат..

Но победа уже вошла в советский дом. Победа пришла в дома Европы.

Первая статья сборника И. Эренбурга называется «Проверено железом». Она была написана в уже далёкие теперь дни.

Илья Эренбург. «За мир!» Редактор П. Чагин. «Советский писатель», М. 1950.

«Сурова наша радость, — пишет публицист, — нет в ней детского веселья. Мы не гоним за порог воспоминаний, не спешим забыть погибших. Пусть скорее восстанут испепелённые города, зазеленеют истерзанные деревья».

Нашей суровой радости посвящена эта статья. Но в ней глухо звучит и предостережение.

Предостережение? Разве смолкли уже слова медоточивой лести в адрес героического и многострадального русского солдата, раздававшиеся с американо-английских трибун? Разве Трумэн уже замахнулся атомной бомбой? Разве в Сталинграде не хранится только что преподнесённый английский меч? Разве уже сошёл с ума Форестолл, разве уже подписан Атлантический пакт? Разве уже забыты Ялта и Потсдам?

Нет, всё это ещё не произошло в те дни. Но... «В тумане раннего рассвета, когда уже нет войны и ещё нет мира, некоторые

перестают различать абрис вещей; они готовы принять соратника за противника, а эсэсовца за гуманиста.

...Нет в нас злопамятства. Мы помним заветы солидарности и человечности. Пусть в скверах Берлина играют немецкие дети. Но мы помним о фленсбургских крысах, о рурских промышленниках... о костяке гитлеровского государства и гитлеровской армии. Если не бьют лежачих, то ползучих бьют, ибо ползучие жалят. Нельзя оставить на земле людей и людоедов, народы и фашизм».

Тогда, на заре мира, трудно ещё было допустить чудовищную мысль, что в дальнейшем речь пойдёт не о наказании «ползучих» людоедов, а о создании для них места под солнцем в англо-американской Бизонии...

«Я думаю о судьбе мира, — пишет Эренбург, — ему едва исполнился месяц. Кто знает, как он нам дорог, этот долгожданный младенец! Мы не хотим, чтобы его заспали нерадивые няньки».

Теперь мы знаем — не просто нерадивые няньки, а преступники из Белого дома и Пентагона пытаются влиять на судьбы мира.

И вот империалистические авантюристы всех пород и оттенков повывлезали из своих кротовых нор, где сидели, пока шла война. Враги всех народов, в том числе и своего собственного, испуганные надвигающимся кризисом, опьянённые мыслью о мировом господстве, они начинают действовать.

Статья И. Эренбурга «Закон природы» приподнимает железный занавес, которым американские поджигатели войны пытаются прикрыть свои тёмные дела от народов. И мы видим истинное лицо различных черчиллей, кроуфордов, эрлов и ренкиных.

Точные, меткие слова находит И. Эренбург для характеристики этих империалистических оборотней и их гнусных дел.

«Кто разговаривает о мире с пистолетом на столе? Кто устраивает военные базы в пяти частях света?... Кто лицемерно критикует выборы в демократических государствах, а у себя дома лишает права голоса миллионы так называемых «цветных» граждан? Кто клянётся Джефферсоном, чтобы выручить Цалдариса, ссылается на «Хартию вольностей», чтобы помочь Салазару, и прославляет гений Сервантеса, чтобы поддержать Франко? Кто собрал у себя

всех вешателей, всех пережжчиков, всех карателей...»

Они много говорят о «перемещении лиц», эти новые «стоносоцы». Лучше ли сказать о перемещаемом фашизме? С каждым днём, с каждым часом ширится лагерь активных сторонников мира. Неизбежность победы этого лагеря И. Эренбург сравнивает с железным законом природы: весна сменяет зиму. В этом сравнении не только поэзия. В нём то, что не нуждается ни в громкой фразе, ни в красивом оперенье, — правда.

Правдивое, острое слово публициста неоченимо. Оно открывает глаза народам, оно показывает им врагов и друзей. Одна из статей-памфлетов И. Эренбурга так и называется: «О врагах и друзьях». В ней идёт разговор о культуре, о тех «культуртрегерах» американского происхождения, по мнению которых культура — тот же холодильник, его можно купить в магазине и поставить в выложенной кафелем кухне. В ней идёт далее речь об истинных носителях культуры.

«Если в Америке ещё имеются люди, способные поверить, что атомные ростовщики действительно защищают культуру, то в Европе таких олухов нет. В Европе есть люди, готовые ради кошелька ещё раз предать и свою родину и культуру, — позавчерашние мюнхенцы, вчерашние коллаборанты. В Европе есть также люди, которым дороги родина и культура, их не соблазнить долларами, не запугать бомбами. Годы испытания не прошли даром...»

К вопросам культуры Эренбург возвращается в своей книге неоднократно.

Он ещё и ещё раз подтверждает, что «высокий интеллектуализм» и «свобода» творчества таких литераторов, как Жид или Сартр, как Эзра Паунд или Жорж Дюамель, как Жюль Ромен или Андре Моруа, есть не что иное, как свобода от совести, как свобода предательства собственного народа, свобода холуйствования перед заокеанскими хозяевами. И вместе с тем, с большой любовью, с высоким гражданским чувством говорит Эренбург о тех истинных представителях культуры, которые служат делу мира и независимости своих народов — будь то американцы, французы или англичане!

Почти все статьи сборника написаны непосредственно на международные темы. И вот, если читать их подряд, с первой до

последней, от той, что тирована «июнь, 1945 г.», до заключи ой — «февраль, 1951 г.», — станет вы как в соответствии междунаро обстановкой всё более и более нап. есь они не только гремят и гневом, аотив поджигателей войны, но и верой в силу народов, которые не допустят новой войны...

В 1945 или 1946 году англо-американские империалисты ещё боялись говорить о своих военных вождениях открыто, опасаясь гнева собственного народа — недавнего свидетеля великого и бескорыстного мужества своего русского союзника.

Но идут не годы — месяцы, и страх перед кризисом, страх перед будущим берёт своё, и империалистические мракобесы на весь мир кричат о необходимости войны с СССР, а Трумэн не стесняется громогласно объявить, что готов сбросить атомную бомбу тогда, когда сочтёт это нужным.

И в заголовке одной из своих статей Эренбург справедливо констатирует: «Они потеряли рассудок».

«Издавна говорят, что человек в ярости безумен: подобно медведю, он сам прёт на рогатину, — пишет Эренбург. — Поведение американских бизнесменов нельзя называть иначе, как безумием. Причин для ярости у них немало. Они потеряли Китай. Правда, они утешают себя тем, что приобрели Тито. Однако все здравомыслящие люди понимают, что четыреста миллионов человек весят несколько больше, чем один перебежчик».

В 1947 году Эренбург предостерегал... В последующие годы он возвысил свой голос до обличения — голос советского публициста, чьё непобедимое оружие — правда и вера в коммунистический идеал. Сколько метких ударов получили от него поджигатели войны всех рангов!

Президент и сенаторы, американские наблюдатели — гласные и негласные, дикари из Вашингтона, грозящие народам двенадцатью видами «секретного» оружия, и дикари из Атланты, сжигающие негров на кострах, их «интеллектуальные» подхалимы и лизоблюды с французского «Парнаса», те, что живут и действуют «применительно к подлости», и прочие враги народа — всем им воздано «по заслугам» советским писателем-публицистом.

В своей книге И. Эренбург метко разит врагов мира. Но писатель видит и показывает и защитников мира, простых людей,

непобедимых в своём единстве, в общем для всех стремлении отстоять от ужасов войны будущее народов всего земного шара.

Достаточно вспомнить статью «Большие чувства». В ней писатель говорит о Сталине, в нём имени заключена гордость и надежда не только советского народа, но и всех трудящихся мира. Эта статья исполнена большого поэтического волнения.

«Бывало в чужой стране, не зная ни её языка, ни обычаев, я вдруг видел знакомое лицо и сразу всё становилось близким, понятным, — пишет И. Эренбург. — Я приехал как-то в заполярный шведский городок Кируну, где добывают руду. Всё меня удивляло: олени лапландцев, вперемежку с автомобилями, гундра и неоновые лампы, девушки, проделывающие книксхен, шахтёры в котелках. Я подумал: до чего всё это непонятно! Меня повели в дом, и на стене я увидел фотографию: Сталин шагал в своей шинели. Я улыбнулся, и улыбнулся суровый хозяин дома, секретарь союза горняков, он ласково сказал: «Сталин».

Писатель вспоминает о том, как с именем Сталина на устах шли в бой с франкистами защитники революционного Мадрида, как повторяли это имя крестьяне у мирных очагов освобождённой Албании. «Человек в знакомой всем шинели пришёл и туда».

Илья Эренбург — один из популярнейших писателей-публицистов нашей страны. Его боевую работу во время войны трудно переоценить. Всё это известно и общепризнанно. И... может быть поэтому о публицистической деятельности И. Эренбурга так мало написано. В наши дни, когда правдивое слово советского публициста раздаётся на весь мир, когда так остро стоит задача выращивания новых кадров советских публицистов, — критика оказала бы большую услугу не только И. Эренбургу, детально проанализировав принципы построения его статей-фельетонов, их язык и т. д.

Хочется обратить внимание на один недостаток, присущий талантливому, страстному и правдивому Эренбургу. Эмоциональная сторона вопроса иногда подменяет у него социальную, он прекрасно бичует следствия и мало говорит о причинах. Я предвижу возражение: Эренбург публицист-писатель, а не публицист просто. Но пусть писательский, художнический дар Эренбурга поможет ему так же ярко и

эмоционально вскрывать социальные корни описываемых им явлений, анализировать социальную почву, на которой произрастают эрлы и ренкины, их классовую природу. Надо уничтожать не только крапиву, но и её корни. Только на этом пути может добиться полной победы публицист-марксист.

Сборник «За мир!» в наши дни более чем актуален. Его голос будет услышан всюду за пределами нашей страны. Слишком далеко зашла преступная игра поджигателей войны.

И вместе с советским писателем, советским народом народы всего мира воскликнут: «Время положить конец этому безумию. Время сказать — просто, по-человечески, со всей убежденностью матери,

которая ограждает с
который бережёт с
сказать спокойно и
Вам не спасти себя г
вы двинетесь с мест.
рейти от злых и блу
ному делу, вас буду
все матери, все камен
страшным судом они буду
убийц. Мы вам говорим: од
не дремлем. Мы не отворачи
смотрим на вас, мы следим за каждым
шим движением, мы вам не дадим поднять
руку, мы выьем из этой руки нож. Дети
будут расти. Яблони будут расти. Мы,
люди всего света, торжественно обещаем:
мы отстоим мир, мир для всех, мир дет
ского смеха, зерна и цветов».

Александр ЧАКОВСКИЙ.

★

Антология грузинской поэзии

Перед составителями антологии грузинской поэзии стояла большая и сложная задача: руководствуясь ленинско-сталинским учением о национальной культуре, показать зарождение, развитие, становление и победу прогрессивных, демократических и, наконец, социалистических начал в грузинской поэзии на всём протяжении её многовековой истории. Антология должна была явиться наглядным опровержением буржуазной «теории единого потока»; она должна была раскрыть глубоко самобытный характер грузинской поэзии, нанеся тем самым удар космополитическим концепциям. Составители антологии справились с этой основной, важнейшей задачей, стоявшей перед ними. Они раскрыли демократическую линию развития грузинской поэзии, показав, вместе с тем, как на различных этапах её истории преодоление неорганичных чужеродных (иранских, византийских и прочих) влияний обеспечивало грузинской поэзии движение вперёд, завершившееся в нашу эпоху переходом к качественно новому состоянию — к социалистическому реализму. В антологии выявлена тесная связь грузинской литературы с жизнью народа, с историческими судьбами страны. В ней показано не только развитие грузинской

поэзии, но и отражение истории Грузии в поэзии достигнуто сочетание значительности отражения со значительностью отображаемого.

Грузинская народная поэзия в образах нетленной красоты и силы раскрывает высокие моральные качества грузинского народа, она убедительно свидетельствует о том, что основной патриотической силой, противостоявшей захватническим стремлениям монголов, иранцев, турок и других агрессоров, являлся именно народ, а не угнетающая его феодальная знать, всегда готовая во имя своих узкоклассовых интересов продать и предать родину. В грузинском фольклоре нашло своё отражение и то, что именно народ поддерживал прогрессивные начинания выдающихся государственных деятелей, будь то Давид Строитель, царица Тамара, Георгий Саакадзе или Ираклий II (см. стихотворения «Царь Давид Строитель», «Царица Тамар», «О царе Ираклии», «О, горе нам...»).

Одна из основных тем грузинской народной поэзии — тема социальной борьбы. Включённые в антологию материалы ещё раз опровергают буржуазно-националистические теории о «классовом мире» и «социальной идиллии», царивших якобы в Грузии до конца XVIII столетия (см. балладу «Истребление князей Арешидзе»,

«Поэзия Грузии». Редакция В. Гольцева и С. Чиковани. Редактор А. Рябина. Гослитиздат, М.-Л., 1949.

песни «Мы я в Хидистави...», «В яму высь роса» и другие). В йтол впервые переведённые из образцы грузинского героического эпоса «Амиран» (перевод Н. Тиконова), «Гариэлиани» (перевод В. Державина), а также лиро-эпическая поэма «Этериани» (перевод А. Кочеткова).

Особый интерес представляют народные песни, созданные в период первой империалистической войны и господства меньшевиков в Грузии. В этих песнях проявилось неприятие простым народом империалистической войны, а также ненависть и презрение к меньшевистским «рыцарям на час».

Новый, невиданный расцвет народного творчества принесла Грузии победа социалистической революции. Народная поэзия обогатилась новыми идеями, новыми темами и мотивами. Колхозная жизнь, социалистическое строительство, осушение болот и орошение пустынь, преобразование природы — вот краткий перечень основных тем народных песен, созданных освобождённым народом.

Поэзия XII—XVIII вв. представлена в антологии именами И. Шавтели, Чахрухадзе, Ш. Руставели, Теймураза I, И. Тбилели, Арчила II, Вахтанга VI, Теймураза II, Д. Гурамишвили, Бесики, Саят-Новы и других писателей.

Из ближайших предшественников Руставели в антологию включены произведения Шавтели и Чахрухадзе. Произведения Шавтели и Чахрухадзе, будучи подлинно национальными творениями, отразили мощный патриотический подъём, который был связан с укреплением централизованного грузинского государства.

«Абдул-Мессия» Шавтели и «Тамариани» Чахрухадзе написаны с большим художественным мастерством; К. Липскерову в значительной мере удалось передать художественные особенности оригинала.

Нужно ли лишний раз говорить о значении гениального творения Руставели? Советский народ хорошо знает и глубоко ценит бессмертную поэму величайшего грузинского писателя. Поэма Руставели переведена на многие языки народов СССР. На русском языке имеется четыре полных перевода «Витязя в тигровой шкуре». Антология знакомит нас с новым переводом десяти глав поэмы, сделанным П. Антокольским. Перевод П. Антокольского — несомненное достижение советского пере-

водческого искусства, но есть в нём и ряд недостатков. В частности, не все руставелиевские афоризмы переведены удачно. Некоторые из них теряют в переводе свою афористическую форму (например, «Значит, лучше смерть со славой, а не жизнь в ярме позорном»; слово «значит», связывающая афоризм с предыдущими строками, лишает его тем самым необходимой самостоятельности). Недостатки эти сравнительно легко устранимы. Вступление к поэме и заключение даны в переводе Ш. Нуцубидзе.

Длительное монгольское иго (со второй половины XIII в. до конца XV в.), а затем — с XVI века — агрессия со стороны персов и турок не могли не отразиться и на состоянии грузинской культуры. Погибли многие культурные достижения прошлого, создание же новых ценностей надолго было заторможено. Лишь с XVI века появляются первые проблески оживления в культурной жизни страны. Большую роль сыграло в этом процессе усиление национально-освободительного движения. Так, поэтическим откликом на патриотическую деятельность Георгия Саакадзе явилась эпическая поэма поэта XVII века Иосифа Тбилели («Великий моурави», перевод Г. Цагарели).

Помещённые в антологию произведения Теймураза I, Арчила II, Вахтанга VI, Теймураза II и некоторых других писателей XVII—XVIII вв. впервые переведены на русский язык. Подбор их сделан удачно. Большую работу проделал К. Липскеров, переведший все включённые в антологию стихи Теймураза I, Арчила II и Теймураза II.

Творчество двух крупных писателей — Давида Гурамишвили и Бесики (Бесариона Габашвили), наиболее ярко отражает те тенденции, которые наметились в развитии грузинской поэзии к концу XVIII века. Выдающийся лирик, виртуозный мастер стиха, автор утончённых любовных стихотворений, элегий и од — Бесики не смог полностью избежать влияния рафинированной персидской поэзии. Это сказалось и в узости тематики его стихотворений, и в чрезмерной изошрённости его поэтических приёмов. Не следует, однако, сводить всё творчество Бесики к этому влиянию. Такие произведения, как «Аспиндзская битва» — стихотворение, пропитанное чувством пламенного патриотизма, — выводили поэта на столбовую дорогу развития грузинской поэзии. Стоило бы включить в

антологию и отрывки из сатирико-дидактической поэмы Бесики «Война снохи и свекрови» — это расширило бы поэтическую характеристику поэта.

Иным, чем у Бесики, был творческий путь великого грузинского поэта Давида Гурамишвили. Свободная от восточных влияний, поэзия Гурамишвили продолжала лучшие традиции грузинской литературы и в первую очередь традиции великого Руставели. Мироззрение Гурамишвили было передовым, исторически-прогрессивным. Давая верную оценку многих важных явлений своего времени, Гурамишвили указывал на необходимость борьбы за объединение Грузии.

Гурамишвили был поэтом, тесно связавшим свою судьбу с Россией и Украиной. Он ввёл в грузинскую поэзию русские и украинские мотивы, широко использовал песенный лад русского и украинского фольклора.

Крупнейшим историческим событием, определившим на заре XIX столетия пути развития грузинской культуры, было присоединение Грузии к России. Если царизм принёс в Грузию обычные для него методы колониального порабощения, то в лице русского народа и передовых деятелей русской культуры грузинский народ нашёл верного союзника в своей борьбе за национальную независимость и социальное укрепление.

Самым плодотворным образом сказалось на развитии грузинской поэзии влияние передовой русской литературы. Как правильно отмечено в предисловии к антологии, «оставаясь самобытно-национальной и отражая самые сокровенные чувства и мысли грузинского народа, грузинская поэзия XIX столетия совпадает с основной линией развития русской литературы...».

На примере творчества старшего грузинского романтика Александра Чавчавадзе можно увидеть тот перелом, который произошёл в грузинской поэзии XIX века под влиянием русской демократической культуры, в частности проследить процесс преодоления персидских влияний под воздействием русской литературы. Следы персидского влияния в творчестве другого крупного грузинского поэта-романтика — Григория Орбелиани уже совсем незначительны.

Наиболее самобытным и передовым поэтом первой половины XIX века был гениальный Николай Бараташвили. Для поэзии

его характерно «сочетание» глубочайшей скорби о несовершенстве мира с жгучей борьбой, активного действия. Поэтский шедевр Бараташвили «Мерани» — гимн борьбе, движению, неустанному стремлению вперёд.

Нет, не исчезнет душевный трепет того,
кто ведал, что обречён,
И в диких высях твой след, Мерани, пре-
будет вечно для всех времён:
Твоей дорогой мой брат грядущий про-
скачет, смелый, быстрее меня
И, поровнявшись с судьбиной чёрной,
смеясь обгонит её коня.
(Перевод М. Лозинского)

Заслуга Бараташвили состоит также в том, что в период, когда часть грузинской интеллигенции была заражена настроениями реакционного феодально-монархического национализма, он в полный голос заявил об исторической прогрессивности присоединения Грузии к России (см. поэму «Судьба Грузии» и стихотворение «Могила царя Ираклия»). Бараташвили был великим предшественником поколения грузинских шестидесятников.

Переводы стихотворений А. Чавчавадзе, Гр. Орбелиани и Н. Бараташвили, представленные в антологии, неравноценны. Глубокое и всестороннее изучение творчества переводимого поэта, а также эпохи и литературной атмосферы, питавших это творчество, максимальная добросовестность и большое мастерство в передаче стилистических особенностей оригинала, то необходимое чувство меры, поэтический такт, который даёт возможность переводчику, не становясь рабом подстрочника, сохранить вместе с тем идейный смысл и образную ткань произведения, — всё это обеспечило Н. Заболоцкому большую и заслуженную творческую победу. В антологию включены наиболее значительные произведения Орбелиани в переводах Н. Заболоцкого. Жаль, что нехватало места для такого поэтического шедевра, как «Мухамбази» («Только я глаза закрою...»).

Переводы стихов Александра Чавчавадзе также находятся на высоком художественном уровне. Особенно выделяются стихотворения «Гокча» (перевод А. Кочеткова), «Горе миру!» (перевод П. Антокольского), «О далёкие, полные света года!» (перевод В. Звягинцевой). Сложнее обстоит дело с переводом стихов Н. Бараташвили. Мастерство Б. Пастернака-переводчика неоспоримо. Ряд стихотворений пере-

ведён безупречно. Но нередко Б. Пастернак — глешит модернизацией текста, навязывает ему свои собственные, сугубо индивидуальные поэтические приёмы. В результате в ряде стихотворений, в частности в таком значительном произведении, как «Раздумия на берегу Куры», совершенно утрачены бараташвилевское дыхание, интонация, ритм и другие поэтические особенности. В стихотворении «Голубой цвет» господствует чисто пастернаковская поэтика и поэтическая интонация («синева иных начал», «в этот голубой раствор погружён земной простор» и др.). Две заключительные строфы целиком выдержаны в пастернаковском ключе.

Творчество трёх корифеев — Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели и Важа Пшавела — определило развитие грузинской поэзии во второй половине XIX столетия.

Чавчавадзе и Церетели обладали совершенно самостоятельными и оригинальными дарованиями, но их объединило то, что оба они явились основоположниками новой грузинской литературы, грузинского критического реализма, создателями нового литературного языка. Оба они стояли в центре общественной жизни своего времени и не только откликнулись на все важнейшие события эпохи, но и принимали в них непосредственное активное участие.

Близость двух великих грузинских классиков в значительной мере определялась и тем обстоятельством, что оба они формировались под воздействием идей русских революционных демократов — Белинского, Чернышевского, Добролюбова.

В антологии творчество Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели представлено довольно полно, но всё же приходится сожалеть, что недостаток места заставил составителей обойти такое значительное произведение И. Чавчавадзе, как «Отшельник», переведённое Н. Заболоцким, а также ряд его сатирических стихотворений («Как поступали», «Счастливая нация»). Несомненными достоинствами обладают переводы Н. Заболоцкого, В. Звягинцевой, П. Антокольского, В. Державина, С. Спасского. Хорошо перевёл Б. Пастернак мало известное, но очень интересное стихотворение А. Церетели «Памяти Гоголя». Но, думается, число переводчиков, привлечённых к переводу произведений И. Чавчавадзе и А. Церетели, слишком велико. Полтора десятка стихотворений И. Чавчавадзе переведены

восьмью поэтами. Примерно такое же количество стихотворений А. Церетели дано в переводах девяти поэтов. Это привело к некоторой пестроте и стилистическому разнообразию.

Творчество одного из самых своеобразных грузинских поэтов рубежа XIX и XX столетий — Важа Пшавела — представлено в антологии недостаточно полно. В предисловии к антологии высказана мысль, что Важа Пшавела «...силен не только как эпический поэт, но и как лирик». Это верно, но эпические поэмы занимают в творчестве Важа Пшавела такое большое место, что их, нам кажется, недостаточно было представить одной лишь поэмой «Бахтриони». Может быть для того, чтобы расширить поэтический материал, характеризующий Важа Пшавела, стоило сократить количество произведений некоторых других, менее значительных поэтов, например брата Важа Пшавела — поэта Бачана. И Важа Пшавела и Бачана представлены в антологии каждый восьмью произведениями! Кстати, ни о Бачана, ни о включённых в антологию поэтах Мамие Гуриели и Иосифе Давиташвили в предисловии почему-то ничего не сказано (правда, этот пробел частично восполняют комментарии).

С подъёмом пролетарского революционного движения в грузинскую поэзию проникают новые темы — темы жизни и борьбы рабочего класса. Иродион Евдошвили и несколько позднее Ной Чхиквадзе были наиболее яркими представителями этой новой революционной поэзии. Однако после поражения революции 1905 года в стихи И. Евдошвили и некоторых других представителей демократической поэзии (Ной Чхиквадзе, А. Абашели) начинают проникать пессимистические настроения. А. Абашели — ныне один из крупнейших поэтов советской Грузии — тогда постепенно сдавал свои демократические позиции и переходил в лагерь декаданса. После первых ярких поэтических выступлений, отразивших общественный подъём, вызванный революцией, пришли к декадентскому индивидуализму, к пессимизму, к антиреалистическим позициям и такие высокоталантливые (начинавшие тогда свой путь) поэты, как Галактион Табидзе, Сандро Шаншиавили, Иосиф Гришавили. Цитаделью декадентской поэзии явилась образовавшаяся в 1915 году литературная группировка «Голубые роги». Крайнего идейного и худо-

жественного упадка достигла грузинская поэзия в годы меньшевистского хозяйничания в Грузии.

Благотворное влияние Великой Октябрьской социалистической революции сказалось в первую очередь на творчестве Г. Табидзе, с первых же дней революции ставшего в ряды литераторов, посвятивших всё своё творчество борьбе за революционное обновление Родины.

В антологию включены некоторые лучшие образцы дореволюционной лирики Г. Табидзе. Но не стоило, на наш взгляд, помещать в книгу стихотворение «Синие кони», в котором сильнее всего сказались декадентские и символистские тенденции. Путь Г. Табидзе после революции отражён в антологии недостаточно полно. Читатель не найдёт здесь ни программного стихотворения «Мы себя, поэты Грузии, новым вихрям отдаём», ни некоторых других, этапных для грузинской поэзии, произведений Г. Табидзе 20-х годов. Стихотворение «Анри Барбюс...» даёт некоторое представление об интенсивной поэтической работе Г. Табидзе во второй половине 30-х годов. В эти годы поэт выступает со значительными произведениями о социалистическом строительстве в городе и деревне, гневно бичует буржуазный Запад, его растленную культуру, ярко рисует бедственное положение трудящихся в капиталистическом мире. Г. Табидзе поднимает голос против фашизма и империалистической войны, против фашистской интервенции в Испании и Абиссинии. Военные и послевоенные стихи Г. Табидзе также могли бы быть представлены в антологии более полно. Подбор стихотворений Г. Табидзе — одна из немногих, но, тем не менее, досадных неудач антологии.

Советские поэты старшего поколения — А. Абашели, С. Шаншиашвили, И. Гришашвили прошли довольно сложный творческий путь. Они не сразу смогли освободиться от старого декадентского груза, более медленно и с большими трудностями происходила их идейно-художественная перестройка. Но уже в конце 20-х годов эти поэты смогли создать ряд значительных произведений («Единственный сын» С. Шаншиашвили, «Самолёт в деревне», «Мой дед» А. Абашели). Свидетельством отхода И. Гришашвили от старых позиций (индивидуализма, эротики, идеализации тбилис-

ской старины) было его дерзкое стихотворение «Прощание со старым Тифлисом».

Подлинный расцвет творческих сил А. Абашели, С. Шаншиашвили и И. Гришашвили наступил в годы сталинских пятилеток. Отдавая свои силы преимущественно драматургии, С. Шаншиашвили создаёт и ряд превосходных лирических стихотворений. И. Гришашвили становится популярнейшим певцом нового, социалистического Тбилиси.

К сожалению, не все переводы стихов А. Абашели дают читателю должное представление о мастерстве этого крупного поэта. Вялыми и бледными представляются некоторые переводы С. Спасского. Лучшие переводы стихотворений И. Гришашвили сделаны Н. Тихоновым и Б. Пастернаком. Н. Тихонову — старейшему переводчику и популяризатору поэзии С. Шаншиашвили — принадлежат переводы всех включённых в антологию стихов поэта.

Мы уже говорили выше о декадентской группировке «Голубые роги». Состав этой группы был далеко не однородным. Некоторые наиболее талантливые «голуборожцы» в советский период, под влиянием новой, социалистической действительности, смогли преодолеть свои идейно-творческие ошибки и встали в ряды передовых деятелей советской литературы. Таков был путь известных грузинских поэтов В. Гаприндашвили, Р. Гветадзе, К. Надирадзе, Ш. Апахидзе (в антологии представлены характерные образцы творчества этих поэтов). Крупнейшим советским поэтом стал Г. Леонидзе. Ныне он — автор широко известной эпопеи о детстве товарища Сталина, автор целого ряда поэм и стихотворений, рисующих различные стороны советской действительности. По включённым в антологию стихам Г. Леонидзе читатель получит о нём ясное представление, как о большом и своеобразном художнике, поэте-публицисте («Родину пою», «Сталину»), как о певце сталинской дружбы народов («Поэтам советского Азербайджана»), мастере пейзажа и жанровых зарисовок («Из путешествия по родине», «Первый снег», «Тбилисские рассветы»), создателе больших эпических полотен (отрывки из эпопей «Сталин»). В стихотворениях «Поэту» и «Старый бубен» раскрыты эстетические взгляды Г. Леонидзе, его понимание пре-

красного и ^в ^{примерах} ^{его} ^{жизни} ^{народа}. Все эти произведения (в мастерских переводах Н. Тихонова, Б. Пастернака, В. Звягинцевой и др.) достаточно полно характеризуют творчество Г. Леонидзе, хотя для большей полноты этой характеристики в антологию стоило бы включить «Речь на Чрезвычайном VIII съезде Советов» или «Воспоминание делегата VIII съезда».

Стихотворение Ило Мосашвили «Прощание со старой деревней» знаменовало собой приход поэта к новым идейным позициям, свидетельствовало о преодолении старых ошибок. Дальнейший путь И. Мосашвили оказался весьма плодотворным: поэт создал ставшие популярными произведения о Родине и вожде, о Белоруссии и героической борьбе испанского народа, о социалистических преобразованиях в городе и деревне.

Переболев болезнью мнимого «новаторства» и «левизны», крупнейший советский поэт Симон Чиковани пришёл к созданию произведений, пользующихся заслуженной любовью у советского читателя. Уже сравнительно раннее (1927) стихотворение С. Чиковани «Дорога» говорит о тех больших возможностях, которые были у поэта, но находились под спудом в период его эстетических блужданий. Стихотворения начала 30-х годов («Вечер застаёт у Хахмат», «Мингрельские вечера», «Ушгульский комсомол») знаменовали собой приход поэта к полнокровному реалистическому изображению современности. Величественные темы Родины, вождя, победы, борьбы за мир легли в основу лучших военных и послевоенных произведений С. Чиковани. Поэма С. Чиковани «Песнь о Давиде Гурамишвили», пронизанная чувством патриотизма и неразрывного братства русского, украинского и грузинского народов, явилась крупнейшим достижением советской поэзии в области исторического жанра. Надо отметить, что подборка произведений С. Чиковани — и по отбору и по качеству переводов — принадлежит к числу лучших в антологии.

Творческий путь С. Чиковани протекал целиком в условиях советской действительности. То же нужно сказать и о таких поэтах советской Грузии, как Алио Мирцхулава (Машашвили) и Карло Каладзе. Они принесли в грузинскую поэзию молодой комсомольский задор, вели активную борь-

бу с буржуазно-декадентскими влияниями. В процессе творческого становления оба поэта не смогли избежать и ряда ошибок (комсомольский авангардизм, неправильное решение вопроса о традициях, влияния формализма и эстетства), но ошибки эти преодолевались, побеждало здоровое реалистическое начало. Лучшие свои произведения А. Мирцхулава и К. Каладзе создали в годы сталинских пятилеток и Великой Отечественной войны, в годы послевоенного мирного строительства. Особенно большую творческую активность за последние годы проявляет К. Каладзе. К сожалению, в антологии послевоенное творчество К. Каладзе представлено недостаточно полно. Не находим мы в антологии и значительного лирического произведения К. Каладзе — стихотворения «Весна на Пикрис-гора». В целом подборки стихов А. Мирцхулава и К. Каладзе удачны. Большинство переводов находится на высоком художественном уровне.

В начале 30-х годов выступает новое поколение поэтов, движущее вперёд грузинскую поэзию, обогатившее её новыми темами и мотивами, новыми оригинальными изобразительными средствами. Замечательным мастером политической лирики стал Ираклий Абашидзе. Популярность его стихотворения о герое Отечественной войны капитане Бухайдзе может сравниться с популярностью лучших стихотворений грузинских классиков. Поэт А. Гомашвили — большой и тонкий знаток грузинского фольклора — принёс в грузинскую поэзию картины обновлённой жизни обитателей горных деревень. В мастера поэтического эпоса вырос Григорий Абашидзе. Его поэмы «Весна Чёрного города» и «Победный Кавказ» — крупные явления грузинской поэзии. Острая политическая направленность в сочетании с рельефной изобразительностью и богатством поэтической палитры отличают и лирические произведения Г. Абашидзе.

Трудно в рамках рецензии охарактеризовать всех представленных в антологии поэтов. Однако обзор исторического пути, пройденного грузинской поэзией, был бы неполным без упоминания талантливых представителей поколения поэтов, сформировавшихся в годы Отечественной войны, — Иосифа Нонешвили и Реваза Маргиани. Стихотворения, включённые в антологию,

неполно характеризуют творчество этих растущих поэтов — они в своём росте обогнали темпы издания антологии. Но и по приведённым образцам читатель сможет составить себе представление о Р. Маргиани, как о создателе колоритных картин новой грузинской деревни, и об И. Нонешвили, как о способном лирике с оригинальной и вместе с тем естественной поэтической интонацией.

Необходимо отметить колоссальную работу, проделанную на протяжении многих лет русскими поэтами-переводчиками, для которых обращение к грузинской поэзии оказалось значительным фактом творческой биографии и наложило отпечаток на их оригинальное творчество. Н. Тихонов ещё пятнадцать лет назад первым из советских поэтов приступил к переводам грузинских поэтов, и с тех пор интерес его к грузинской поэзии не ослабевал.

Значительная работа проделана и Н. Заболоцким, с одинаковым мастерством переводившим и классиков грузинской поэзии (И. Чавчавадзе, Гр. Орбелиани, В. Пшавела), и советских грузинских поэтов (К. Калладзе, И. Нонешвили и др.).

В числе старейших переводчиков грузинских поэтов надо назвать П. Антокольско-

го, а также Б. П. [...], который, несмотря на ряд принципиальных ошибок, всё же внёс немалую лепту в дело популяризации грузинской поэзии. За последние годы много и плодотворно переводят с грузинского языка В. Звягинцева, В. Державин, К. Липскеров. Переводы Г. Цагарели, включённые в антологию, — лишь небольшая часть его многолетней работы, но и они дают возможность высоко оценить труд маститого поэта-переводчика.

Следует отметить серьёзный научный уровень комментария, которым снабжена антология (автор В. Гольцев). Некоторые из этих кратких, но всегда содержательных примечаний — плод серьёзной научно-исследовательской работы. Полезным приложением к антологии является краткая библиография «Грузинские поэты в русских переводах» (составитель В. Гольцев).

Несмотря на отдельные недочёты в подборе и переводе произведений, а также на некоторые недостатки технического характера, выход антологии грузинской поэзии на русском языке — крупное событие в культурной жизни советского народа, новое проявление крепнущих взаимосвязей братских литератур народов нашей страны.

Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ.

★

Два памфлета Ярослава Галана

Ватикан — это разбойничье гнездо чёрных рыцарей тьмы и бесправия — с первого дня своего существования вызывал к себе естественное чувство ненависти у всех, кому дороги были истина и свобода, кто смело боролся против мрака, насилия и зла. Неслучайно история памфлета — одного из самых боевых жанров литературы, начиная со знаменитого «Похвального слова глупости» Эразма Роттердамского, — знает немало произведений, страстно обличающих папство и католицизм.

Памфлеты Ярослава Галана являются превосходными образцами этого жанра в

Ярослав Галан. «Отец тьмы и присные». Перевод с украинского Вл. Россельса. Редактор А. Сурков. Издательство «Правда», М. 1950.

Ярослав Галан. «На службе у сатаны». Перевод с украинского В. Гарсис. Журнал «Звезда» № 2, М.-Л. 1950. Главный редактор В. Друзин.

наше время. На богатом фактическом материале писатель показывает истинные мотивы, которыми вдохновлялась разбойничья политика святого престола в последние десятилетия. Перед читателем встаёт исключительная по своей полноте и правдивости картина адской кухни, в которой готовились людоедские идеи фашизма, планы грабительских походов Муссолини и Гитлера. Читая памфлеты Галана, мы видим, как и сейчас эта кухня на всех своих жаровнях усиленно подогревает захватнические стремления поджигателей новой войны. Справедливости ради следует сказать, что папа и его кардиналы отнюдь не всю свою энергию тратят на занятия политикой: немало времени и сил «святых отцов» уходит на то, чтобы плести сети интриг и заговоров, подстрекать к убийствам, совершать мошеннические операции с валютой и ценностями. На многочислен-

ных фактах, и Ярослав Галан показывает, какими бесчисленными нитями связан Ватикан с матерыми финансовыми аферистами, как тесно сотрудничает армия шпионов святого престола с американской и английской разведками, какие ценные услуги оказывают частенько «его святейшеству» контрабандисты и убийцы.

Отчётливо набрасывает писатель образы творцов преступной политики святого престола—тех, кто с непрезойдённым иезуитским лицемерием прикрывает именем Иисуса самые отвратительные преступления, кто под личиной святости пытается скрыть свою явно уголовную физиономию. Первое место в галлерее этих образов по праву отведено «святейшему» Пию XII.

Духовной и политической карьере нынешнего «наместника бога на земле» Ярослав Галан посвятил памфлет «На службе у сатаны». Памфлет назван очень точно. Кардинал Ратти, бывший другом, наставником и предшественником Пия XII на папском престоле, как-то в порыве откровенности заявил: «Я заключил бы договор с самим дьяволом, если б это послужило интересам католической церкви». Многолетняя политическая практика Пиев XI и XII показывает, что эта фраза была произнесена в сослагательном наклонении только для отвода глаз верующих простаков. Папы никогда не заключали союзов с честными намерениями и с благородными целями, для них никогда, в сущности, не возникала проблема: служить богу или дьяволу, правде или лжи, добру или злу. Святой престол только тем и держится, что усердно и неизменно служит любому дьяволу, сидящему на денежном мешке, полирует правду и возвеличивает ложь, благословляет зло и предаёт анафеме добро.

Ярослав Галан отмечает, что сеньор Еудженнио Пачелли — ныне Пий XII, как выходец из старого банкирского рода, с юношеских лет хорошо помнит афоризм из «Виндзорских кумушек» Шекспира: «Где деньги идут впереди, все дороги открыты там настезь». Головокружительную духовную карьеру сеньору Еудженнио Пачелли помог сделать его родной дядя, директор ватиканского «Банко ди Рома». «Такое распределение ролей, — замечает автор, — вполне соответствует интересам алчной семьи: один Пачелли возглавляет банк, а другой, прикрываясь именем бога, грабит

народ, чтобы наполнить кассы этого банка».

Страсть к наживе у Пия XII, таким образом, является врождённой. Финансовые операции Ватикана не раз поражали мир и своим размахом, и своей наглостью. Папа римский — это прежде всего финансовый туз, обладатель несметного количества акций, хозяин различных предприятий от Бוליвийских свинцово-рудных копий до крупной недвижимости во многих европейских странах. Точно так же, как и американские монополисты, Пий XII грел руки на огне второй мировой войны. Понятно поэтому, почему так бешено Пий XII протестовал против открытия второго фронта. Понятно поэтому, почему с такой яростью папа предаёт анафеме тех, кто борется сейчас за мир.

У Пия XII богатый опыт сделок с сатаной. Являлось ли пред ним исчадие ада в облике одуловатого дуче, или в облике астеничного берлинского маньяка, возмнившего себя диктатором Европы, была ли это бульдожья морда Черчилля или постная физиономия вашингтонского скопца — папа всегда узнавал своего верного союзника и заключал с ним тесный союз. Основой этого союза всегда была идея установления мирового господства. Эта идея мутила разум не только Гитлеру и Муссолини, она не только лишает покоя бесноватых правителей Вашингтона, но является навязчивой идеей и Пия XII. Мечта папы — воскрешение из мёртвых священной Римской империи. Ещё тогда, когда фашизм только поднимал голову, а нынешний папа был нунцием в Мюнхене, в головах вагиканских политиков родилась идея, что только авторитарный режим, соединившись с католической церковью, может помочь осуществлению этой бредовой мечты.

В Мюнхене Еудженнио Пачелли становится свидетелем известного фашистского пивного путча. С этого дня Гитлер — надежда и предмет пламенной любви папского нунция. Рассказывая об этом периоде, Ярослав Галан сообщает любопытную подробность: «Нунций узнаёт, что его любимец пишет в тюрьме евангелие немецкого фашизма и что эту работу тормозит попросту невежество автора. Незамедлительно требуется интеллектуальная помощь. И тут же с охотой оказывает фюреру священник Штемплер. Удивительная жажда крови у новоявленного фашистского мессии не тре-

вожит служителя католической церкви, воспитанного на кровавых традициях инквизиции. И вот в стенах комфортабельной тюремной камеры начинается гармоническое сотрудничество между нацистским дьяволом и католическим сатаной, сотрудничество, в котором иезуитское коварство оспаривает пальму первенства у тевтонского разбоя. Так была создана пресловутая «Майн кампф».

В те годы, когда чума фашизма охватила Германию, Еудженнио Пачелли становится государственным секретарём папского престола. Удивительно ли, что Ватикан первым из европейских держав вступает в официальные переговоры с правительством Гитлера. Монсиньор Пачелли благословляет любую акцию фашизма. По его приказу в католических церквях служатся благодарственные молебны по случаю вступления чернорубашечников Муссолини в Аддис-Абебу, из-под пера Пачелли выходит полное чувств любви и пожелания побед папское послание Франко, когда его орды врываются в Мадрид. Монсиньор Пачелли оказал дорожку услугу Гитлеру и в дни захвата Австрии.

Когда после мюнхенского сговора жертвой фашистской агрессии стала Чехословакия, папский престол и тут оказался одним из рьяных союзников Гитлера. «Президентом» Словакии становится католический священник Тисо. Папа производит этого предателя в камергеры с духовным званием монсиньора и правом носить кардинальскую шапку. И Тисо начинает усердствовать. Вскоре он рапортует Ватикану: «В 1941 году Словакия может гордиться тем, что она первая страна на свете, в которой нет евреев». Злодеяния фашистского каннибала в Словакии получили немедленное одобрение святого престола. Ватиканское радио передало: «Заявление монсиньора Тисо... святой престол весьма одобряет».

В самый канун второй мировой войны Ватикан даёт Гитлеру отпущение всех грехов. В 1940 году, когда гитлеровские орды мечом и огнём уничтожают народы Европы, сеньор Пачелли, ставший уже Пиет XII, в рождественском послании призывает любить... врага. «Следует ненавидеть не грешника, а грех, — заявляет в этом послании усердный служитель сатаны. — Любовь к врагу — наивысший героизм».

Восторженный крик вырвался из груди

папы, когда Гитлер ^{свои} орды на Советский Союз, I и XII ^{лет} от престарелого львовского митра ^{он} Андрея Шептицкого, чтобы он проявил максимум усердия в вербовке ландскнехтов в дивизию СС «Галиция». Когда становится очевидным, что война Гитлером проиграна, папа пытается склонить союзников к separatному миру. И, наконец, в дни, когда народам мира ярко светит солнце победы, дворцы Ватикана полны траурной скорби о гибели фашизма и трепета перед возможным возмездием народов. Но проходит время, и для Ватикана начинает сиять заокеанское светило — доллар.

О том, как Ватикан усердно сотрудничает с англо-американскими империалистами в деле возрождения фашизма и развязывания новой войны, Ярослав Галан рассказывает в темпераментно написанном памфлете «Отец тьмы и присные». После войны Вашингтон присылает в Ватикан своего посла. Весь пропагандистский аппарат святого престола во главе с самим папой неустанно восхваляет теперь политику агрессии, проводимую Уолл-стритом. Когда «план Маршалла» был ещё модной новинкой, имя его автора в посланиях и проповедях папы упоминалось чаще, чем имя Иисуса. Введение фашистских порядков в странах империалистической агрессии встречает полнейшее одобрение Ватикана. Орган святого престола «Оссерваторе романо» высказывается на этот счёт без особого стеснения: «Святейший престол охраняет неприкосновенность принципа, запрещающего свободу новости, печати, союзов и собраний, ибо они являются способами распространения идей, не совместимых с догмами церкви».

Ватикан демонстрирует ныне свою горячую приверженность не только к Уолл-стриту, к Трумэну и Черчиллю, к Франко и Салазару, но и к греческим фашистам и титовским янычарам. Папский престол и его агентура используют все средства в борьбе с силами мира и демократии. Ярослав Галан наглядно показал связь Ватикана с бандитским подпольем, орудовавшим в Польше, с заговором Мииндсенти и Райка в Венгрии, с заговорщиками, действовавшими в Чехословакии. Руки фашистского недобитка — Пиет XII — обогреты кровью сынов и дочерей Польши, Венгрии, Чехословакии, Западной Украины. Достоинством

памфлетов — является и то, что в них пока? как сужается сфера влияния Ватикана, как народы мира с отвращением отвертываются от фашистских иезуитов, прикрывающихся именем бога. Ибо всё более очевидным становится, что «ватиканский анахронизм вместе с Уолл-стритом полным голосом объявляет войну прогрессивному человечеству, идущему вперёд; ошалелые кони Апокалипсиса должны вытащить из болота тонувший воз католицизма. Но время опередило обнаглевших могильщиков счастья человечества; окрепшие руки свободолюбивых народов под руководством СССР сумеют осадить взбесившихся коней войны, и трясина гибели, трясина забвения в недалёком будущем окончательно засосёт уолл-стритовское ватиканское исчадие ада».

Писатель вместе с тем предупреждает о том, что римская курия не сдаёт своих позиций без боя: «Да, папы умеют мстить, гадюки «Петровой скалы» умеют жалить».

Особенно теперь, в годы великих перемен, в годы похода человечества на завоевание достойных его вершин. Рождённая во тьме средневековья, вскормленная человеческой кровью, паразитствующая на ранах человечества, ватиканская клика мечется, перепуганная и ошалелая, на пороге грядущей эпохи, и мутит, брызжет отравленной слюной, интригует, кусает, сеет смерть и трупным смрадом отравляет воздух наших дней».

Ярослав Галан стал жертвой мести гадюк «Петровой скалы». Почти год назад он погиб, как воин, на боевом посту. Но страстное слово талантливого писателя-коммуниста и сегодня служит делу борьбы за мир, свободу и счастье народов. Талантливые памфлеты Ярослава Галана — сильное оружие в борьбе против фашистской нечисти, за мир во всём мире и счастье трудового народа.

Вл. НИКОЛАЕВ.

★

Слово о друзьях

События последних лет в корне изменили политическую и экономическую ситуацию всей Азии. Свободным и демократическим стал Китай с его почти полумиллиардным населением, на путь социалистического развития встала Северная Корея, весь мир с волнением следит сейчас за освободительной борьбой корейского народа против американских интервентов, стремящихся превратить Корею в свою послушную колонию. Новый Китай и Корея стали для народов Азии примером успешной борьбы за своё национальное освобождение, за принципы демократии. Поэтому всякое живое слово о Востоке, о трудолюбивых народах, в упорной борьбе строящих новую жизнь, находит горячий отклик у советского читателя. Нам, естественно, хочется как можно больше знать о друзьях с Востока — о друзьях, с которыми нам бок о бок идти по новым путям в грядущее.

С этой точки зрения отраден в нашей поэзии выход новой книги стихов А. Гитовича, целиком посвящённой Корее.

Советские читатели знают А. Гитовича давно. Однако нельзя сказать, чтобы его

прежние стихи оставляли яркое впечатление. Поэт не смог раскрыть в своём творчестве важнейших событий советской жизни, показать народ в его великом движении к коммунизму; при беспспорно неплохой технике стихосложения, на произведениях его лежала печать книжности, холодноватости, рассудочности. А если стихи не трогают сердца — они не находят и живого отклика у читателя. Истина эта проста и не нова, но, к сожалению, довольно часто забывается иными поэтами, полагающими, что достаточно взять общеизвестные мысли и факты и уложить их в гладкие рифмованные строки, чтобы создать художественное произведение. А иногда случается и так, что и мысли-то, в сущности, нет никакой, хотя в стихотворении сколько угодно красавостей.

Нельзя сказать, что в новой книге А. Гитович целиком избежал этих ошибок, что он до конца преодолел недостатки своего творческого метода. Так, например, на ложной значительности мысли построено стихотворение «Цвета Кореи». Вот его начало:

Когда на пёстром плоскогорье
Сияет лето —
Ты различишь в его просторе
Два ясных цвета.

Александр Гитович. «Стихи о Корее». Редактор А. Прокофьев. «Советский писатель», Л, 1950.

На нивах, зноем опалённых,
 На горных склонах,
 На лиственницах и на клёнах,
 К земле склонённых,
 Где в дымке горизонт струится,
 Где даль туманна,
 По всей Корее — от границы
 И до Фузана—
 С непостижимым постоянством,
 Подобным чуду,
 Зелёный цвет — её пространством
 Владеет всюду.

Стоило ли нагромождать такое количество строк, чтобы высказать примитивную истину, что земля летом зелена? И нужно ли доказывать, что зелёный цвет летом присущ, за исключением пустынь, любому другому краю, а не только Корее? Здесь поэт играет в красивые фразы, подчас довольно невразумительные, поэтому, например, истине вопреки клёны у него «к земле склонённые». Нечто подобное случилось и с другим стихотворением — «Дорога в Кайсю». В этом стихотворении поэт воспевает горячий ветер, сравнивает белых цапель со снежными хлопьями в России, рассказывает о слепящей пене прибоя и заалевших облаках. А в конце просто общает:

На 38-й параллели
 Стоит этот город Кайсю!

И не заметил автор ни городов и селений на этой, отнюдь не прямой и не раздольной, вопреки его утверждениям, дороге, ни каналов, прорытых трудолобивыми крестьянами, не заметил, что 38-я параллель есть не просто географическая линия, а грань, отделявшая до последнего времени свободную Северную Корею от Южной, истерзанной и измученной американскими империалистами. Отсутствие правды жизни, без которой нет поэзии, превращает эти стихи в своего рода пародию на искусство. Стихи эти подверглись критике в Союзе писателей в Москве при обсуждении журнала «Звезда», в котором они были напечатаны, и непонятно, почему они появились в сборнике.

Но два этих стихотворения — исключение в хорошей книге. Исполненным страсти стихотворением об истории Кореи и её народа, о путях, какими она пришла к сегодняшнему дню, открывается сборник:

Ты хочешь знать, как, обесславленной,
 Она жила в години страха,
 Пока солдаты армий Сталина
 Её не подняли из праха?

Ты хочешь знать? — Тогда же спрашивай
 И не ищи тогда ответа
 У книг, легендами украшенных; —
 Они солгут тебе про это,

Они солгут, как лгут религии
 Монахов старчески упрямых...

Правда — в народе, и от него узнаешь ты её, — говорит поэт. Но это — при одном условии: если ты сам чист и пришёл к народу без задней мысли, без камня за пазухой. Если:

Не фирмы иностранной ставленник,
 Торгаш, без племени и рода,
 Ты — человек из стана Сталина,
 И значит — друг её народа.

И только этим обосновано,
 Что, безусловно и правдиво,
 Тебе расскажет обо всём она,
 Чистосердечная на диво.

Это — чёткие строки, хорошо передающие истину. А истина заключается в том, что в Корее советский человек — всегда самый дорогой и уважаемый гость, перед которым открываются двери и сердца. У народа Кореи — тяжкая история. Корею называли когда-то «страной утреннего спокойствия» — и это звучало насмешкой: о каком спокойствии могла идти речь, если сорок лет подряд над корейским народом стоял японский солдат с плоским штыком, если даже запрещали писать и говорить на родном языке? Советская Армия принесла корейцам свободу, советские специалисты помогли быстро восстановить промышленность в Северной Корее. Теперь на северо-корейских предприятиях свои директора, инженеры, мастера, — а совсем недавно кореец, как бы он ни был талантлив, мог быть на предприятии только рабочим. Здесь ещё не забыли трагического случая, когда японцы живьём замуровали в бетоне плотины несколько десятков корейцев потому только, что спасение их задержало бы строительство.

Среди других стихотворений книги хочется выдлить корейскую легенду «Корень жизни». Содержание её бесхитростно и в то же время весьма мудро. Старик кореец, проживающий на краю болота, услышал, что где-то есть растение — Корень Жизни, спасающий от старости и болезни. Он посылает сына отыскивать этот корень. Проходят годы. Одряхлел и умер отец. И ещё проходят годы. Сын нашёл Корень Жизни, но сам он уже стар и сед. Он возвращается в родную деревню и за-

стаёт её освобождённой от японцев. Сердце его полно радости — теперь он сам примет сж чудодейственного растения и заживёт молодо и счастливо. Но вдруг он узнаёт, что в одной из хижин умирает раненный в бою советский солдат, и видит, что для всех односельчан это — величайшее горе. И понял старик многое, поновому увидел он всю свою жизнь:

И тогда, перед толпою скорбной,
Смолкнувшей, как поле после боя,
Вышел старец, странствиями сгорблен,
И сказал, что он спасёт героя.

— Люди добрые, — сказал он, — верьте
Старику, чей век почти уж прожит,
Потому что перед ликом смерти
Человек не лжёт и лгать не может...

Сам он никогда уже не познает молодости, но зато он спас от смерти воина-освободителя.

И сказал старик притихшим людям:
— Дорогие земляки и братья,
Мы о многом говорить не будем,
А немного хочу сказать я.
Половину века на чужбине,
Своему родителю покорен,
Я искал, знакомый мне огнине,
Корень Жизни — драгоценный корень.
Почему же, старый и согбенный,
Я, вернувшись к отческому дому,
Отдал этот корень драгоценный
Русскому солдату молодому?
Потому что он, в минуты эти,
Научил нас всех, живущих вместе,
Чтобы мы не думали на свете
О себе лишь и своём семействе.
Одному себе хотел добра я —
Он хотел его всему народу
И, от ран кровавых умирая,
Умирал за общую свободу.
Жизнь хотел от старости спасти я —
Он спасал нам сотни тысяч жизней,
Ибо так велит его Россия,
Та страна, что нету бескорыстней.
И огнине мы в своей отчизне
Никогда, корейцы, не забудем,
Что несёт Россия Корень Жизни
Есем простым и угнетённым людям...

Теплы и безыскусственно хороши и дру-

гие стихи сборника — «Ура СССР!», «Танец», «Актёр», темпераментно и полемически остро стихотворение «Свобода печати», но, пожалуй, легенда о Корне Жизни — одно из самых поэтически зрелых и глубоких произведений сборника.

Кроме оригинальных стихов, целый раздел в книге составляют переводы стихов корейских поэтов Те Ги Чена, Ли Ги Ена, Мин Бен Гюка, Тен Мон Су и Пак Си Ена. В этих стихах чувство дружбы выражено, так сказать, другой стороной — поэтами Кореи. Стихи эти глубоки по мысли, сложны по чувству — острая печаль при воспоминаниях о прошлом переходит в светлую радость ощущения освобождённой и расцветающей земли. Особенно следует отметить напряжённые и глубокие по мысли стихи Те Ги Чена и мастерскую метафоричность старейшего корейского прозаика и поэта Ли Ги Ена («Весна»).

Следует указать, что перевод стихов с корейского затруднён тем обстоятельством, что в корейском стихосложении размер необычайно своеобразен, он непрерывно меняется наподобие музыкальной импровизации, рифма отсутствует, а поэтическое очарование возникает из причудливой метафоричности. Передать эти особенности корейской поэзии в привычных и естественных для русского стиха формах — задача сложная, и А. Гитович справился с ней неплохо.

Советский читатель получил хорошую книгу стихов о братской, сердечнейшей и чистейшей дружбе советского и корейского народов.

И в эти нелёгкие для корейского народа дни, когда, выведенный из терпения кровавыми провокациями американских марionеток, он борется за своё объединение, свободу и независимость, мы все вместе пожелаем ему успеха и осуществления его вековых чаяний.

Н. ГРИБАЧЕВ.

★

Для детей и о детях

«Козодой!» — хлесткая, оскорбительная кличка придумана девочкой как бы в отместку за досадное разочарование. Синеглазый мальчик, тот, кто сейчас безбояз-

ненно ринулся за ребёнком в чашу крапивы, тот, кто так красиво и неумоимо плавал и, в ответ на просьбу сорвать одну лилию, собрал целый букет нежных и прохладных цветов, — этот смелый и симпатичный мальчик, оказывается, как заправская доярка, ухаживает дома за козой!..

Н. Артюхова. «Новести о детях». Редактор К. Иванова. «Советский писатель», М. 1949.

Облик нового приятеля сразу меркнет. Дружба, зародившаяся мгновенно—как это бывает у детей,—мгновенно и обрывается. И уже не тайное восхищение ловкостью и храбростью Серёжи, а насмешливое презрение к его «бабьему» занятию наполняет впечатлительную душу девочки.

Всё в этом эпизоде рассказано точно и выразительно: и то, как серьёзный и скромный Серёжа по-мальчишески «выставляется», переплывая реку на виду у незнакомой девочки; и то, как эта девочка «осторожно шагает по тропинке, поджимая пальцы босых ног», потому что она только сегодня из города, отвыкла ходить босиком и ей щекотно и больно; и то, как, идя из сарая с ведром надоенного молока, подвзванный большим женским фартуком и козынькой, «Серёжа встретился глазами с Катей. Она смеялась».

Такова завязка «Белой козы», повести Н. Артюховой, рассказывающей о судьбах детей и взрослых, переживших войну, о связях и противоречиях, симпатиях и антипатиях, словом о тех взаимоотношениях персонажей, которые Горький определяет, как «...истории роста и организации того или иного характера».

В центре повествования мальчик Серёжа. Это впечатляющий и поэтический образ, многосторонний и глубокий характер, со всеми трогательными и забавными, благородными и действенными чертами, отличающими его возраст и свойственными мальчишечьей натуре.

Житейская обстановка, в которой формируется характер подростка, нелёгкая. Отца у него нет. Мать целыми днями в городе, на заводе. На руках у Серёжи весь дом. Привычка к постоянному труду— пусть даже неприятному, с детской точки зрения,—рано укореняется в Серёже. Ответственность за семью и дом делает его не по годам серьёзным, а вынужденное одиночество (дети с ним «не водятся» из-за козы) придаёт его поступкам черты застенчивой сдержанности.

Эти особенности Серёжиной натуры раскрыты писательницей уже в самом начале повести. Знакомясь в дальнейшем с простой и вместе с тем уже такой сложной детской жизнью, читатель проникается всё большей симпатией к мальчику и верой в то, что серьёзные испытания не застанут Серёжу врасплох.

Закономерно и оправданно развивается сюжет «Белой козы». Та решимость, с которой Серёжа, пренебрегая опасностями, спасает в войну майора Курагина, выработана всей предшествующей жизнью подростка, всей системой его воспитания в советском обществе. Чувство ответственности за судьбу раненого командира, сознание своего гражданского, патриотического долга вполне законно берут верх над всеми другими естественными чувствами мальчика: беспокойством за судьбу своей семьи, боязнию попасть в лапы фашистов...

Так формируются черты героизма, так уже в детском возрасте складываются большие характеры. Поведение Серёжи во время войны, его поступки позволяют угадывать, каким будет путь, ожидающий мальчика в будущем. Это—славный и высокий путь честного, мужественного, свободолюбивого советского человека.

Ещё до окончания войны Серёжа и майор Курагин снова встречаются в деревне Дубровке.

Как тяжело отозвалась война на обоих! Владимир Николаевич контужен, плохо владеет ногами, лишился правой руки. Серёжа—совсем один. Маму убили немцы, сестра умерла. Мальчик вернулся из партизанского отряда на пепелище.

С трепетным чувством сыновней благодарности принимает Серёжа предложение Владимира ехать в Москву и жить вместе.

В Москве начинается новая жизнь для обоих. Но это—несколько странная жизнь. Автор как бы нарочито изолирует своих героев от окружающих, может быть для того, чтобы убедительнее выглядели старания Серёжи всё самому делать для Владимира Николаевича и оправданнее казалась замкнутость Владимира, обусловленная новым для него и непривычным сознанием своей неполноценности.

Родственники являются к Курагину только за тем, чтобы неделикатно напомнить об Ане, невесте, с которой он решил порвать. Серёжа мечется между домом и школой, начинает отставать, получает двойку за двойкой, а товарищи приходят к нему на помощь только после того, как их посылает учитель, и уже тогда, когда Владимир сам начинает помогать мальчику.

Многое в поступках и рассуждениях

Владимира искусственно. В самом деле, можно понять и оправдать его разрыв с невестой: она юная, красивая, у неё всё впереди, он болен, выбыл из нормальной жизни надолго, если не навсегда. Но разве нет у него других интересов, привязанностей? Как объяснить, что в прошлом сильный не только телом, но и духом, кипучий, общительный, влюблённый в своё дело человек, к тому же крупный изобретатель, в течение целого года не пытается вылезть из своей норы?

По воле автора Владимир с каким-то детским упрямством прячет от всех свои чертежи, вместо того чтобы поделиться с заводом своей идеей, доверив техническую часть работы товарищам-специалистам.

Не до конца продуман и образ Кати. По мысли писательницы внутренний мир девочки должен был бы раскрыться в письмах, которые она пишет дяде Володе на фронт и в госпиталь. Но Катя выражается то слишком по-детски, то слишком по-взрослому. Ни возраста, ни характера девочки по этим письмам определить нельзя.

Вообще, надо сказать, что взрослые и дети довольно часто меняются в повести местами. Владимир запальчив и капризен, как ребёнок. Серёжа подчас умнее Ани. Старая женщина могла бы позавидовать Катиной проницательности в житейских делах.

Эти и подобные недоразумения происходят тогда, когда писательница, вольно или невольно, грешит против жизненной правды. Желая подчеркнуть нравственную силу своих героев, Н. Артюхова подчас ставит их в несколько нереальные условия, заставляет их поступать не совсем правдоподобно, нарочито усложняет взаимоотношения персонажей.

«Белая коза» — одно из трёх произведений, включённых в книгу «Повести о детях». Это первая книга Н. Артюховой, но она убеждает, что писательница умеет создавать правдивые характеры, поэтически изображать действительность, когда эта действительность понята и осмыслена автором до конца.

Живые, обаятельные создания глядят на нас со страниц повести «Просто так». Бесстрашный капитан Кук-Шурик, задира и фантаст; хорошенькая, своенравная, изба-

лованная всеобщим вниманием Галя; робкий Юрик, склонный к отвлечённым рассуждениям; попрыгунья Зина с вечной песенкой на устах; суетливый Кириушка и, наконец, маленький Коля, многотерпеливый и безгласный свидетель детских затей. Верховодит детьми Лена, городская девочка. Она по-хозяйски вникает во всё, что делается вокруг.

Вот она бежит по тропинке мимо завода в школу. Весна, всюду лужи. Дети плещутся в них, как утята. Лена сердито думает:

«— Ну и завод!.. Ребята шатаются беспризорные, и никому до этого дела нет!»

Девочке в высшей степени свойственно сознание своей полезности, необходимости. С помощью других старших детей она организует «детский сад». Правда, это учреждение скоро распадётся (малышей всего «четыре с половиной человека», считая Коленьку, да и у «руководителей» опыта маловато). Но Лена продолжает возиться с детьми «просто так».

Убедительную правду детских характеров и детских взаимоотношений Артюховой удаётся раскрыть одной деталью, одним штрихом. Вот выясняется, что Шурику в постель ещё подстилают клеёнку, и сразу он перестаёт быть для Лены грозным капитаном Куком, самым непокорным из всей ватаги.

Скучно, но выразительно говорит писательница о большом, о главном.

«Грузовик проехал от завода и завернул на большую дорогу.

— Крахмал повезли, — сказал Юрик.

— Нет, — возразил Кук, — это сушёная картошка для армии. Мой папа будет есть, — прибавил он подумав.

— И мой, — сказала Галя-старшая.

— И мой, — как эхо, подхватил Юрик.

— И мой, — докончила Галя-маленькая».

Слово «война» не употреблено в повести, но её дыхание — всюду. Большой воинский состав остановился на путях — это война. В деревне появилась незнакомая девочка в коротенькой шубке — это война. Городские мамы сажают картошку — это война.

В повести «Просто так» отчётливо выступили наиболее сильные стороны дарования Артюховой. Писательница хорошо передаёт детскую речь, она умеет играть

и мечтать вместе со своими героями. Её персонажи, с их яркими, индивидуальными чертами, с разными и точно намеченными судьбами воспринимаются, как реально существующие дети. Это деятельные, пытливые, увлекающиеся ребята. Через их отношение к труду, через их споры, игры и, мы не боимся сказать, раздумья (речь конечно, о ребятах старшего возраста) писательница показывает драгоценные черты богатой, активной детской природы, рождённые нашей советской действительностью. «Просто так» — несомненная удача Н. Артюховой.

Слабее — третья повесть, «Лёля», произведение с элементами излишней чувствительности. Сюжет повести более или менее традиционен для детской литературы: девочка теряет и находит родителей. Традиционен и весь «арсенал» произведения: молодая, раньше времени поседевшая мамочка, старшеклассницы, по-институтски обожающие красивую и печальную учительницу, тяжёлая болезнь маленькой героини, смешной добродушный толстяк в роли приёмного отца и т. д. Многие в повести немодернизированы. Но всё же и в этой повести есть прекрасные страницы, написанные взволнованно и поэтично.

Свет подлинной поэзии, чистой и оптимистичной, озаряет страницы «Повестей о детях». Эта поэтичность — в описании природы, в раскрытии характеров, в истолковании и оценке повседневных событий и явлений, в самом замысле автора, увлечённо описывающего «дела житейские» своих маленьких героев.

Следует, однако, предостеречь писательницу от опасного тяготения к «эффектным» и в то же время шаблонным литературным приёмам (о чём говорилось выше), тяготения, вытекающего, видимо, из ложно понятого представления о пресловутой занимательности литературы для детей и о детях.

«Воспитательное значение художественной литературы огромно, потому что она действует одновременно и одинаково сильно на мысль и чувство», — говорил А. М. Горький.

Талантливая книга Н. Артюховой принадлежит, нам кажется, к разряду именно таких художественных произведений. Писательнице предстоит интересный и плодотворный путь совершенствования своего идейно-художественного мастерства.

Л. МИХАЙЛОВА.

★

«Фауст» в переводе Б. Пастернака

В одномомнике избранных произведений Гёте опубликован новый перевод первой части «Фауста», выполненный Б. Пастернаком.

Из всех прежних русских переводов знаменитой трагедии Гёте наиболее широкое хождение получил многократно переиздававшийся перевод Н. Холодковского, впервые вышедший в 1878 году. Этот текст — плод добросовестного труда литературоведа, но отнюдь не произведение поэта. Он отягощён словесными штампами, местами тяжеловесен в ритмическом отношении и, конечно, не может дать полного представления об идейном богатстве подлинника, о его поэтической красоте и силе. Новый советский перевод

«Фауста» (особенно — первой его части) давно уже стал настоятельно необходим.

Перевод первой части «Фауста», принадлежащий Б. Пастернаку, — результат длительной, по-своему тщательной работы. По общему поэтическому уровню он гораздо выше старого текста Н. Холодковского. Но сумел ли Б. Пастернак донести до советского читателя всё богатство идей и образов бессмертной гётевской трагедии — и в первую очередь те идеи, те образы, на которых основано её непреходящее мировое значение?

Русская революционно-демократическая критика не раз отмечала, что в «Фаусте», несмотря на его фантастическую, аллегорическую форму, заключена большая жизненная правда. Характерно, что Белинский в полемике с приверженцами реакционно-эстетских теорий ссылался на «Фауста»: «На него в особенности любят указывать, как на образец чистого искусства, не под-

Иоганн-Вольфганг Гёте. «Избранные произведения». Составление, предисловие и комментарии Н. Вильмонта. Редакторы Н. Вильмонт и И. Миримский. М. Гослитиздат, 1950.

чиняющегося ничему, кроме собственных, одному ему свойственных законов. И однакож — не в осуд, будь сказано почтенным рыцарям чистого искусства — Фауст есть полное отражение всей жизни современного ему немецкого общества. В нём выразилось всё философское движение Германии в конце прошлого и начале настоящего столетия¹. Произведение, тесно связанное с реальной жизнью, насыщенное современной общественной проблематикой и в то же время сложным, остро актуальным для своего времени философским содержанием — таким предстаёт «Фауст» в трактовке Белинского.

Своеобразие «Фауста», как философской трагедии, определило многие особенности его художественной структуры. В нём немало строк-афоризмов, которые (безотносительно к тому, кто из персонажей их произносит) отражают различные грани мировоззрения самого Гёте и живут самостоятельной жизнью, прочно врезаясь в память читателя. К числу таких знаменитых гётевских афоризмов относятся строки из «Театрального вступления» к трагедии:

Was glänzt, ist für den Augenblick geboren,
Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren.

В переводе Холодковского они звучат так:

Мишурный блеск рождается на мгновенье,
Прекрасному — потомства поклоненье!²

А вот перевод Б. Пастернака:

Лоск схватывают с первого знакомства,
А подлинное ждёт суда потомства.

Не будем придирается к явно неудачной первой строке (как можно «схватывать лоск»? И допустимо ли в русском стихе неудобопроизносимое нагромождение согласных — сксхв?). Важнее другое: переводчик явно искажает мысль Гёте. Подлинное художественное произведение не пропадает для потомства, выдерживает проверку временем — так думал и писал Гёте. Произведение, ненужное современникам, может в будущем дожидаться благосклонного суда потомства — так, повидимому, думает Б. Пастернак. Белинский ссылался

¹ В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трёх томах. Гослитиздат, М. 1948, том 3, стр. 797.

² Перевод Н. Холодковского цитируется по собранию сочинений Гёте, том V, М. Гослитиздат, 1947.

на Гёте в споре с реакционной теорией «чистого искусства», Б. Пастернак же по сути дела использует искажённый текст Гёте для защиты реакционной теории «чистого искусства»!

Такое произвольное истолкование литературно-эстетических взглядов Гёте проявляется у Пастернака не только в цитированном отрывке. В том же «Театральном вступлении» поэт, выражая свою неприязнь к пошлой театральной публике, говорит:

Nein, führe mich zur stillen Himmelsenge,
Wo nur dem Dichter reine Freude blüht,
Wo Lieb und Freundschaft unsres Herzen Segen
Mit Götterhand erschaffen und erpflegen.

Холодковский перевёл эти строки несколько неуклюже, но довольно точно:

Нет, тишины ищу я, многодумный, —
Лишь там поэту радость расцветёт:
Тём, только там божественною властью
Любовь и дружба нас ведут ко счастью.

У Б. Пастернака сказано совсем другое:

Нет, поведи меня на те вершины,
Где радость одиночества цветёт,
Туда, где божьей созданы рукою
Обитель грёз, святилище покоя.

У Гёте идёт речь о тишине, сосредоточенности, которые нужны поэту для творчества, но нет у него «обители грёз, святилища покоя». Нет у Гёте и слов о «радости одиночества»: напротив, по его мысли, любовь и дружба, общение с людьми, близкими сердцу, оплодотворяет поэта. Б. Пастернак и здесь вносит в текст эстетско-индивидуалистический оттенок, не свойственный подлиннику.

Как известно, замысел «Фауста» сложился у Гёте ещё в годы его молодости. В «Посвящении», предпосланном первой части трагедии (и написанном в 1797 году), Гёте говорит о том, как «из дыма и тумана» (aus Dunst und Nebel) встают перед ним образы, которые впервые представились его взору ещё много лет назад. Поэт чувствует себя «юношески потрясённым» (jugendlich erschütterert) этими ожившими видениями.

Однако в переводе Пастернака читаем:

Но вы, как дым, надвинулись, виденья,
Туманом мне застлавши кругозор.
Всецело покоряюсь вашему чарам,
Дыша всей грудью колдовским угаром.

По мысли Гёте, в момент, когда в сознании поэта оживают образы, кругозор его не затуманивается, а проясняется. Возобновление прерванной творческой работы ощущается поэтом, как радостное, светлое событие, возвращающее ему силу молодости. А в интерпретации Б. Пастернака творческий процесс рисуется по-декадентски, как подчинение художника некоему наваждению, туману, «колдовскому угару»...

Обратимся к «Прологу на небе». Здесь — пусть в религиозно-мистифицированной форме — выражена одна из важнейших оптимистических идей трагедии. Господь, вручая Мефистофелю судьбу Фауста, уверен в конечном торжестве Фауста над Мефистофелем, добра над злом, истины над заблуждением:

Ein guter Mensch, in seinem dunklen Drange,
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst.

(Хороший человек в своих смутных стремлениях всегда сознаёт, где путь к истине).

Перевод этих строк, сделанный Холодовским («Знай: чистая душа в своём исканье смутном сознанием истины полна!»), нельзя считать удачным. Но в переводе Б. Пастернака этот замечательный оптимистический афоризм, выражающий веру Гёте в человека, вовсе отсутствует!

Противоречивость, сложность мировоззрения Гёте особенно проявилась на страницах «Фауста» в трактовке религиозных вопросов. В сюжет трагедии органически входит религиозно-мистический элемент. В поэтизации средневековых суеверий, в христианской символике трагедии — от «Пролога на небе» до «Мистического хора», завершающего вторую часть, — сказались черты филистерской ограниченности в мировоззрении поэта. Но эта христианская символика нередко оказывается лишь оболочкой, в которую заключено глубоко прогрессивное, стихийно-материалистическое, подчас и атеистическое содержание. Само собой разумеется, что долг советского переводчика — бережно донести до читателя все те строки «Фауста», в которых раскрывается Гёте-мыслитель, издавающийся над официальной церковностью и её прислужницей — схоластической лженаукой.

Фауст, услышав хор ангелов, прямо говорит: «mir fehlt der Glaube (во мне нет

веры). В переводе Б. Пастернака сказано неопределённо: «А где вы не найдёте благочестья». В одном из последующих монологов Фауст восклицает: Fluch dem Glauben (проклятие вере). В переводе Б. Пастернака эти слова отсутствуют.

Столетие тому назад первые переводчики «Фауста» смягчали или опускали наиболее «безбожные» места, подчиняясь требованиям царской цензуры. Но зачем же это делать советскому литератору?

Надо отдать справедливость Б. Пастернаку. И хоры ангелов, и хоры духов, и заклинание ведьмы, и причудливая чертовщина «Вальпургиевой ночи» — всё это передано им с исключительной поэтической виртуозностью и почти безукоризненно точно. Всюду, где у Гёте выступает на сцену фантастика, мистика, иррациональное, — Б. Пастернак явно чувствует себя, как рыба в воде: это ему интересно, это ему близко, тут он проявляет неподдельное мастерство. Но именно те эпизоды и строки «Фауста», где с наибольшей отчётливостью выражена смелая, трезвая мысль Гёте, его жизнеутверждающее мироощущение, подчас переданы наименее выразительно. Так, не удался переводчику разговор Фауста и Маргариты о религии. Знаменитый монолог, где Фауст наперекор церковной вере утверждает единство и материальность мира, — в переводе лишён и доли той страстности, эмоциональной силы, какую он обладает в подлиннике.

В сцене «Рабочая комната Фауста» герой произносит волшебное заклинание, и Гёте вкладывает в его уста следующий афоризм:

Wer sie nicht konnte,
Die Elemente,
Ihre Kraft
Und Eigenschaft,
Wäre kein Meister
Über die Geister.

(Кто не знает стихий, их сил и свойств — тот не в состоянии повелевать духами).

Познание сил природы — источник могущества человека: такова мысль Гёте. А в переводе Б. Пастернака этот афоризм обесцвечен, лишён своего рационального философского смысла, сведён к условной магической формуле:

Кто слышит впервые
Про эти стихии,
Их свойства и строй,
Какой заклинатель?
Зритель пустой!

Советским людям в наследии Гёте особенно близко — утверждение веры в творческие силы человека, утверждение практики, как средства познания и изменения жизни. Этот пафос деяния, практики, благодаря которому Гёте неизмеримо возвышался над современной ему немецкой идеалистической философией, особенно полно выражен именно в «Фаусте». Но передаёт ли его Б. Пастернак?

В «Театральном вступлении» Гёте устами актёра-комика высказывает творческий принцип, которому он следовал сам в лучших своих произведениях: «Смелее проникайте в гущу жизни!» (Greift nur hinein ins volle Menschenleben!). В переводе Б. Пастернака эта мысль передана упрощённо, почти с насмешкой: «Из гущи жизни загребайте прямо». Здесь изменён и смысл гётевских слов: вместо глубокого проникновения в жизнь, дающего основу для поэтического обобщения, поэту рекомендуется неразборчиво черпать из жизни всё подряд.

Фауст в беседе с Вагнером говорит о трагической судьбе передовых мыслителей (цитируем по переводу Холодковского):

Где те немногие, кто век свой познавали,
Ни чувств своих, ни мыслей не скрывали,
С безумной смелостью к толпе навстречу

Их распинали, били, жгли...

Иное у Пастернака:

Многих, проникавших в суть вещей
И раскрывавших всем души скрижали,
Сжигали на кострах и распинали
По воле черни с самых давних дней.

У Гёте идёт речь о людях, которых распинали и жгли за то, что они «раскрывали толпе свои чувства и знания» (Dem Röbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten), Б. Пастернак же приписывает Гёте реакционную идейку о том, будто эти передовые люди погибали «по воле черни!» Тут явное и грубое искажение подлинника.

Великий художник, который, по словам Белинского, дал в «Фаусте» «полное отражение всей жизни современного ему немецкого общества», не мог пройти мимо существенного явления современной ему жизни — роста денежных, капиталистических отношений.

Маркс ссылается на текст «Фауста», говоря о власти денег над человеком. «Свойства денег суть мои — их владельца — свойства и существенные силы...

Пусть я — по своей индивидуальности — хромою; но деньги предоставляют мне 24 ноги, и я уже не хромою; я дурной, нечестный, бессовестный, тупой человек, но деньги в почёте — значит, в почёте и владелец денег»¹. Слова Мефистофеля, которые цитирует и комментирует Маркс, звучат в переводе Холодковского так:

Когда куплю я шесть коней лихих,
То все их силы — не мои ли?
Я мчусь, как будто б ног таких
Две дюжины даны мне были!

Очень важно для понимания идейной концепции всей трагедии, что Мефистофель здесь (в диалоге с Фаустом, которого он соблазняет материальными благами и наслаждениями) намекает на всемогущество денег, на всеиле законов купли-продажи. (В подлиннике: Wenn ich sechs Hengste zahlen kann...). Б. Пастернак же переводит: «Завёл я, скажем, резвых шестерню...», и тон несколько нейтрализует антикапиталистический оттенок цитированного отрывка.

О жестокой, бесчеловечной власти денег, золота говорит простодушная Маргарита:

Nach Golde drängt,
Am Golde hängt
Doch alles. Ach wir Armen!

Холодковский переводит совершенно точно:

Все денег ждут,
Все к деньгам льнут;
Ах, бедные мы, право!

Сравним с этим перевод Пастернака:

Вся суть в кармане,
Всё — кошелек,
А нам, простым, богатства не дал бог!

Жалоба бедной девушки на всевластие денег передана здесь очень невразумительно и вдобавок смягчена ссылкой на волю богию.

Особого внимания заслуживает один из монологов Фауста (в сцене вторичной встречи его с Мефистофелем), где с особенной силой выразился гётевский пафос критики, отрицания. Но в переводе этого отрывка Б. Пастернаком есть существенные искажения (именно из этого монолога Б. Пастернак изъясил слова «проклятие вере»):

¹ «К. Маркс—Ф. Энгельс об искусстве». Государственное издательство «Искусство», М.—Л. 1933, стр. 68.

Я проклиная вас, соблазны
Высоких чувств и ваш дурман,
И эту землю, этот грязный,
Нам всем расставленный

капкан.
Я проклиная самоменье,
Которым ум наш обуян,
И проклиная мир явлений,
Обманчивых, как слой румян,
И обольщенье семьи и на,
Детей, хозяйство и жену,
И наши сны, наполовину
Неисполнимые, клянчу.
И нездоровье и здоровье,
И сил избыток и надлом,
И упоение любовью,
И опьянение вином.

Выделенные строки представляют чистый вымысел Пастернака и ничего общего с подлинником не имеют (не мог бы великий жизнелюбец Гёте назвать землю «грязным капканом!»). Зато из монолога исключены важнейшие мысли Фауста. Герой Гёте проклиная «обман славы», проклиная «всё, что льстит нам как собственности», и с особенной страстью проклиная Маммону—бога золота:

Verflucht, was als Besitz uns schmeichelt,
Als Weib und Kind, als Knecht und Pflug!
Verflucht sei Mammon, wenn mit Schätzen
Er uns zu kühnen Taten regt,
Wenn er zu müßigem Ergetzen
Die Polster uns zurechte legt!

(Проклинаю то, что лицемерит нам в мечтах — обман славы, блеск имени! Проклинаю то, что льстит нам как собственность — будь то жена или ребёнок, раб или плуг! Проклинаю Маммону, который сокровищами соблазняет нас на дерзкие дела и стелет нам ложе для праздных забав!)

Обличительный пафос Фауста имеет здесь вполне конкретный социальный адрес. Б. Пастернак же переносит весь монолог в абстрактно-пессимистический план.

Можно было бы значительно продолжить этот перечень более или менее грубых неточностей, которые, будучи взяты вместе, искажают социально-философский смысл первой части «Фауста». Но хочется отметить и другое. Б. Пастернак местами крайне произвольно обращается с языком трагедии Гёте. Там, где в подлиннике — благородная простота, в переводе Пастернака нередко либо вычурность, либо, напротив, нарочитая грубость.

То изумительное мастерство, с которым Гёте владел народным языком, ярко сказыва-

ется на страницах «Фауста» в речи Маргариты. Все реплики и монологи Маргариты отмечены особой непосредственностью, задушевностью. Надо сказать, что Б. Пастернаку бесспорно удался перевод бессвязного лепета обезумевшей девушки в заключительной сцене «Тюрьма». Но в предшествующих сценах трагедии — почти всюду, где звучит ясная, простая речь Маргариты, — переводчику не удалось передать обаяние этого образа. Он нередко придаёт речи гётевской героини оттенок искусственности, книжности (характерно в этом смысле начало сцены «На городском валу»).

Б. Пастернак проявляет совершенно неуместную изобретательность, «обогащая» текст трагедии Гёте разнообразными вульгарными выражениями. Мефистофель говорит Марте, что её муж умер. Б. Пастернак переводит: «Зато вот и пришёл ему каюк». Марта выражает сожаление, что не сумеет найти другого мужа, — Пастернак переводит: «Не подвернётся вновь такой бобёр». Валентин слышит шаги Фауста и говорит: «он ли это»; Пастернак переводит: «Поди и сестрин хахаль тут?»

«Как к пекарю за хлебом, прут к касиру», «Не будь застенчивым кисляем», «Ещё грубиянит, подлое мурло!», «Я весь горю, пойми мой нетерпёж», «Она, заметь, физьономистка и раскумекала меня», «А у меня свербёж другой», «Вы ж, бесстыдница и фря», «Старые лахудры» — таковы «красоты» стиля, которыми изобилует перевод.

Всё сказанное не означает, что новый перевод «Фауста» лишён каких бы то ни было достоинств. Как уже было отмечено выше, во многом удалось Пастернаку передать религиозный и фантастико-магический элемент трагедии. Есть у него и другие удачные страницы. Хорош разговор Фауста с крестьянами в сцене «У ворот», есть остроумные переводческие находки в беседе Мефистофеля со странствующим школяром, есть хорошие строки и в некоторых монологах Фауста. Но в целом новый перевод «Фауста» даёт не только неполное, но и во многом неверное представление о подлиннике как со стороны содержания, так и со стороны формы. Задача создания полноценного советского перевода «Фауста» невыполнена.

Т. МОТЫЛЕВА.

Некрасовские тома „Литературного наследства“

Три тома «Литературного наследства», посвящённые Н. А. Некрасову, заполнены настолько богато и разнообразно, что простой перечень вошедших сюда статей, текстов, сообщений, материалов с самым сжатым изложением их содержания занял бы немало страниц. Рецензент вынужден оставить за собой право на выборку. О многом, достойном внимания, не удастся даже упомянуть.

Перед читателем две линии исследовательской работы: во-первых, статья проблемно-обобщающего порядка, освещение важнейших вопросов мировоззрения и творчества великого русского поэта; во-вторых (как сказано об этом в редакционном предисловии), «собрание, систематизация и разработка богатого литературного наследия Некрасова и различных архивно-документальных материалов, относящихся к его творчеству и биографии».

Известно, что эта вторая линия исследовательской работы — одно из необходимых условий для создания научной биографии писателя. Известно также, что эта работа связана и с некоторыми специфическими опасностями. Исследователь, ведущий её в окрестностях биографии изучаемого им классика, может пропустить ту точку, где следовало бы остановиться; может продолжать свою деятельность там, где уже утрачивается всякое реальное и живое отношение к тому предмету, ради которого исследование предпринималось; может уйти совсем в сторону, увлечься фактами, не представляющими никакого интереса; перебирать песок, в котором нет ни одной крупинки хоть сколько-нибудь ценного металла.

Некрасов высмеивал таких заблудившихся «собрателей» (Зосим Ветхозаветный — «Современники»). В первом некрасовском томе, в интересной, хорошо комментированной публикации А. Максимовича («Некрасов — участник «Свистка»), среди других новых материалов находится фельетон Некрасова о «библиографе» Геннади, — пародийное предвосхищение того, как могут по-

рой воспроизводиться классические тексты — «Граф Нулин», например:

В охотничьем псари уборе
Псари в охотнич. уб-х
Чем св. уж на к (смазано)
Ворзые пр. на сворах.
(Тут капля коричневого цвета)
И барин — — —
Выходит барин на крыльцо.. и т. д.

А. Максимович справедливо говорит о том, что «библиографическое крохоборчество» порождается, в частности, отрывом историков литературы от литературной критики. Мы знаем, что в наши дни этот отрыв не полностью ещё изжит нашими учёными. Следы «архивной болезни», некоторые комментаторские излишества можно обнаружить и в рецензируемом издании. Вряд ли так уж существенно знать, какие отметки были получены воспитанниками Ярославской гимназии, экзаменовавшимися вместе с Некрасовым и принятыми в университет (Некрасов не был принят). Или: кто редактировал «Архив судебной медицины» после того, как был снят редактор, напечатавший в этом журнале статью, не помещённую в некрасовских «Отечественных Записках».

Никитенко советовал Некрасову напечатать в «Отечественных Записках» стихотворение А. Яхонтова «Памяти Ф. И. Тютчева». «Оно мило и правдиво», — писал Никитенко. Но на самом деле стихотворение было очень посредственным, и Некрасов его не напечатал. Стоило ли публиковать это стихотворение в некрасовском «Литературном наследстве»?

Один из корреспондентов Некрасова пишет ему о «деньгах, внесённых стариком Войтом». На основании «Тульского родословца» и «современных адрес-календарей», автор устанавливает, кто был Войт и какие должности занимали его сыновья. Гокарные ведомости «Современника» и «Отечественных Записок» — материал важный и нужный, помогающий установить авторство помещённых статей и т. д. Но вот, например, примечание: «Удержанные у Боборыкина 400 р. могли быть уплачены ему за IV часть романа «Солидные добродетели». Кому и когда понадобится такая справка — за что могли удержать 400 р. у Боборыкина?

Но это — частности, этих излишеств не так много.

«Литературное наследство. Н. А. Некрасов».

Тт. I, II, III. Редакция: П. Лебедев-Полянский (главный редактор), И. Зильберштейн и С. Макашин. Издательство Академии наук СССР, М 1929.

Из новых и несобранных текстов Некрасова в рецензируемое издание вошли: свод автобиографических набросков; стихотворные тексты; несобранный цикл «Заметок о журналах» (1855—1856 гг.; великолепный по своей конкретности, доказательности и остроумию разбор стихотворений Бенедиктова; полемика с Писемским, который отказывал Гоголю в лиризме; страстное выступление в защиту Пушкина против К. Полевого; высокая оценка рассказов и повестей Толстого; высокая оценка тургеневского «Рудина» — с оговоркой: отрицательная сторона типа изображена Тургеневым «полно и прекрасно», а положительная — «не столь ясно и полно»); ряд неизданных писем Некрасова. Много ценного в обширной публикации писем к Некрасову, хотя положенный в её основу «принцип максимальной полноты» не всегда представляется оправданным.

Богаты мемуарные материалы.

Интересен найденный А. Максимовичем отрывок:

О филантропы русские! Бог с вами,
Вы не притворно любите народ,
А ездите с огромными гвоздями,
Чтобы в потьмах усталый пешеход,
Или шалун мальчишка, кто случится,
Вскочивши на запятки, заплатил
Увечьем за желанье прокатиться
За вашим экипажем...

Эти строки, вместе с двумя другими предваряющими их черновыми набросками, показательны, как первоначальный подход к теме, позднее разработанной в стихотворении «Сумерки»; вот какая подготовительная работа понадобилась для того, чтобы потом, перейдя к другому, более энергичному ритму, в точности выражающему движение чувства, достигнуть той сжатости и той силы, которые потрясают нас в этих всем нам известных строках:

Не сочувствуй ты горю людей,
Не читай ты гуманных книжонок,
Но не ставь за каретой гвоздей,
Чтоб, вскочив, накололся ребёнок!

Выразителен отрывок (публикация А. Максимовича):

Если ты красоте поклоняешься —
Снег и зиму люби. Красоту
Называют недаром холодною.
Погляди ты коней на мосту,
Полубуйся Дворцовой площадью
При сиянии солнца зимой:
На колонне из белого мрамора
Чёрный ангел с простёртой рукой —
Не картина ли?

К. Чуковским («Несколько неизданных вариантов») публикуются прекрасные строки — из чернового автографа поэмы «Мороз Красный нос» (начало XVII главы):

Минув занесённое живо
И тихо ступив на бугор,
Савраска вступает пугливо
В пушистый серебряный бор.

Из набросков к поэме «Белинский»:

. мыслью новой
Стремленьем к истине суровой
Дышал горячий труд его.
Он полагал в него всю душу.
Он говорил: «Я всё разрушу
И не оставляю ничего».

На полях стихотворной рукописи Некрасов записывает — бегло, карандашом, «для себя» — несколько поразительных строк (публикация А. Максимовича):

«Сравнение — поэзия, картина — поэзия, событие может быть поэтично, природа — поэзия, чувство — поэзия, а мысль — всегда проза, как плод анализа, изучения, холодного размышления — но следует ли из этого, что поэзия должна обходиться без мысли? Дело в том, что эта мысль-проза в то же время — сила, жизнь, без которых собственно и нет истинной поэзии.

И вот из гармонического сочетания этой мысли-прозы с поэзией — и выходит настоящая поэзия, способная удовлетворить взрослого человека — и в этом задача поэта».

Сами эти строки — образец того совершенного слияния проникновенной аналитической мысли и поэтического чувства, о котором здесь говорится и на котором строится вся некрасовская поэтика.

О статьях, освещающих мировоззрение и творчество Некрасова (А. Еголин «Идеалы Некрасова», Б. Козьмин «Великий поэт революции», В. Гиппиус «Некрасов в истории русской поэзии XIX века», А. Лаврецкий «Литературно-эстетические взгляды Некрасова», В. Евгеньев-Максимов «Некрасов журналист»), можно сказать много хорошего. Жаль, что место им отведено (в трёх капитальных томах — 180 страниц) сравнительно скромное. Этот раздел — и по объёму, и по тематическому составу — следовало бы расширить.

В одной из этих статей короткий абзац: «Поэзия Маяковского созвучна творчеству Некрасова своим политическим пафосом,

глубокой идейностью и ориентацией на народные массы. Из современных советских поэтов по своим творческим принципам особенно близки к Некрасову Твардовский, Исаковский, Сурков, Лебедев-Кумач и многие другие». В статье, трактовавшей другую, обширную тему, не было возможности подробнее остановиться на том, что, разумеется, должно было бы составить предмет особой, специально посвящённой этим вопросам статьи. Такой статьи здесь нет, и этот абзац — всё, что в некрасовских томах «Литературного наследства» сказано о некрасовской традиции и советской поэзии (доведённый до 1948 года библиографический перечень стихотворений, посвящённых Некрасову, конечно, не может восполнить такого пробела). А между тем разработка этой темы совершенно необходима. Ведь даже в ответах на вопрос — в самой общей его постановке — «А что такое литературная традиция?» — нет единодушия, многое оказывается спорным; нужно как-то договориться, доспорить друг с другом. Вопрос действительно сложный. Думается, что каждое из лучших произведений советской литературы преемственно связано со всем лучшим, передовым в нашей классической литературе; эта общая преемственность, разумеется, отнюдь не исключает более индивидуального, «избирательного» подхода к освоению классического наследства, проявляющегося в переработке творческих принципов особо полубиблиографического художника-классика.

Так, например, особенно интересен в своём отношении к Некрасову неупомянутый в цитированном выше абзаце Демьян Бедный, — интересен тем, что у него можно отметить и попытки прямого переноса, непосредственного применения некрасовских форм, интонаций и т. п. к современному содержанию (например, «Письмо Якима Нагого») и глубокую их переработку: другие ритмы, другой словарь, другое построение фразы — но связь всё-таки остаётся ощутимой.

В статьях о мировоззрении Некрасова некоторые пункты можно было бы уточнить и развить.

В. И. Ленин писал: «... были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, все убожество пресловутой «крестьянской реформы», весь ее крепостниче-

ский характер. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышевский».¹ Приведя эти слова В. И. Ленина, Б. Козьмин продолжает: «К числу этих немногочисленных людей с полным правом должен быть отнесён и Некрасов. Он сразу же осознал, что наряду с «волей» реформа несёт новые страдания русскому крестьянству. «Так вот что такое эта «воля». Вот что такое она!» — воскликнул он, читая царский манифест. Не этого он ждал, не этого он желал для своего народа». Определённое можно было бы сказать и о различии: для Чернышевского всё это было ясным уже в процессе подготовки «реформы». Следовало бы привести весь разговор Некрасова с Чернышевским, как он изложен в тех самых заметках Чернышевского, из которых Б. Козьмин взял только приводимое им восклицание Некрасова.

Б. Козьмин считает, что слова из сатиры Некрасова «Недавнее время»: «А народ — мы не знали о нём» — могут быть отнесены к самому Некрасову (до 60-х годов). Разумеется, нет. Нельзя в приводимых Б. Козьминым словах усматривать личное признание самого Некрасова. Так в сатире Некрасова говорят о себе члены «имени того клуба», которые живут «по обычаю мудрых холопов». Ведь в «Недавнем времени», как об этом правильно пишет (в том же томе «Литературного наследства») А. Максимович, Некрасов ставил перед собой задачу «показать ренегатство либералов».

Большой интерес представляет статья В. Гиппиуса (погибшего в дни ленинградской блокады, автора многих ценных историко-литературных работ). Тема «Некрасов и Пушкин» разрабатывалась многими исследователями; В. Гиппиус вносит в неё новые и тонкие наблюдения. Интересно проведено им сопоставление трудовых мотивов в поэзии Кольцова и в поэзии Некрасова.

Ряд верных замечаний и обобщений имеется в статье А. Лаврецкого. Автор правильно подчёркивает, что Некрасов — литературный критик был не только учеником Беллинского и Чернышевского, но и самостоятельно обогащал революционно-демократическую эстетику. Есть у А. Лаврецкого и спорные утверждения: «Некрасов-критик ещё не мог теоретически осмы-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 17, стр. 96.

слить дело Некрасова-поэта... Даже в последние свои дни он писал:

Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть борцом...

свидетельствуя тем самым, насколько привычно было для него представление о созерцательности подлинной поэзии.

Сам А. Лаврецкий приводит известное высказывание из некрасовской переписки, когда поэт служит истине, «тогда всё выйдет ладно: станешь ли служить искусству — послужишь и обществу, и наоборот, станешь служить обществу — послужишь и искусству». Почему же «созерцательность»? Почему «не мог теоретически осмыслить»?

Статья В. Евгеньева-Максимова («Некрасов-журналист»), как правильно отмечено в редакционном предисловии, обобщает и подытоживает многолетние изыскания автора в области журналистской деятельности поэта.

В статье Б. Папковского и С. Макашина «Некрасов и литературная политика самодержавия» собран и систематизирован богатейший фактический материал. Но с некоторыми установками авторов нельзя согласиться. «Некрасов, — пишут Б. Папковский и С. Макашин, — был склонен в своей «личной» лирике к поэтическим формулировкам этического, самообличающего характера. Он сам отчасти повинен в том, что его трудная борьба с непоколебленным ещё в своей основе «царяющим злом», связанная с применением тактических компромиссов, издавна стала в литературе предметом субъективно-этических оценок и суждений. В зависимости от общего отношения к Некрасову его либо осуждали, либо оправдывали. Очевидно, однако, что это не почва для научного исследования. Своеобразие практической работы Некрасова-редактора и его методов борьбы за свои журналы может быть раскрыто и принципиально осмыслено лишь в том случае, если исследование исходит из исторической действительности.

Такое исследование, отдельные вопросы которого мы попытались осветить, показывает: 1) что осуществить свою задачу —

создание в царской России легальных органов демократической мысли — без ряда практических компромиссов Некрасов не мог, но что 2) по существу, от основной своей линии он никогда не отступал...».

Авторы предлагают снять со счетов эти некрасовские самообвинения, как нечто «субъективно-этическое». Некрасов настолько велик, что не нуждается в таких оправданиях. Известно, какое значение придавал некрасовским самообличениям В. И. Ленин (его слова о том, что Некрасов «...сам же горько оплакивал свои «грехи» и публично каялся в них»¹).

Интересны две статьи К. Чуковского: «Григорий Толстой и Некрасов» и «Ф. М. Толстой и его письма к Некрасову». Это — мастерски написанные социальные портреты. Григорий Толстой — как это установил К. Чуковский в одной из своих прежних работ — тот самый «стенной помешик», о знакомстве которого с Марксом рассказывает в своих мемуарах Анненков; Г. Толстой обещал Некрасову финансировать «Современник», но не выполнил обещания; это человек тех «благих порывов», которые, в конечном счёте, ни к чему не приводят; воплощённый в образе Данкова («Три страны света»), он занимает первое по времени место «в созданной Некрасовым большой галлерее «рыцарей на час», «героев слова», Решетиловых, Агариных, Пальцевых». Феофил Толстой — литератор и цензурный чиновник, которого Некрасов вынужден был подкупать, печатая его музыкально-критические упражнения.

Превосходно подобран иллюстративный материал.

У нас ещё нет обзора всего того, что за годы советской власти сделано в области изучения, издания и популяризации произведений Некрасова. Это — огромная, плодотворная работа, которой можно гордиться. Среди достижений этой работы выдающееся место по праву займут некрасовские тома «Литературного наследства».

В. АЛЕКСАНДРОВ.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 18, стр. 237

Пути венгерской интеллигенции

Иван Болдижар начал писать ещё в хортистской Венгрии. Он принадлежал к группе молодых прогрессивных писателей, называвших себя «социографами деревни». Пока хортистские власти не разобрались в политической направленности «социографов», эти писатели скупой, осторожно, но искренно и правдиво изображали остатки феодализма в венгерской деревне, нищету и безземелье венгерских крестьян. «Социографы» не были коммунистами, но между ними и загнанной в глубокое подполье венгерской коммунистической партией была установлена связь.

После освобождения Венгрии Советской Армией И. Болдижар, как и большинство бывших «социографов», активно борется за новую, народно-демократическую Венгрию. В этой борьбе он принимает участие не только как общественно-политический деятель, но и как писатель. Книжки Болдижара, написанные в течение последних лет, приобрели большую популярность в широких читательских кругах.

Книга-дневник «Форточка», посвящённая поездке писателя в СССР, разоблачает клеветнические измышления врагов демократии о Советском Союзе. Об интересе, вызванном среди читателей этой книгой, свидетельствует тот факт, что она перепродавалась уже три раза.

В своём новом сборнике рассказов «Зимний поединок» Болдижар пишет о сближении советского и венгерского народов. Время, изображённое автором в сборнике, — годы второй мировой войны. В соответствии с исторической правдой автор изобразил этот период, как переломный в истории венгерского народа. Рисую участие хортистской Венгрии — вассала гитлеровской Германии — в преступной войне против Советского Союза, И. Болдижар ярко и наглядно показал отношение различных слоёв интеллигенции к жгучим проблемам борьбы за национальную самостоятельность Венгрии.

В 1919—1920 гг. контрреволюция во главе с палачом венгерского народа Хорти расправилась не только с революционными рабочими, но и с прогрессивной интеллигенцией. С помощью интервентов, в атмосфере свирепого террора была восстановлена власть помещиков и капиталистов.

Иван Болдижар. «Зимний поединок». Издательство «Атэнэум», Будапешт, 1949.

В течение ряда лет хортисты отравляли молодёжь шовинистической пропагандой, разжигали звериную ненависть к Советскому Союзу. Однако они не смогли привлечь на свою сторону основную массу венгерской интеллигенции; многие деятели науки и искусства отказались от участия в общественной жизни страны, управляемой фашистами; лучшая часть интеллигенции вынуждена была покинуть страну или вместе с коммунистической партией уйти в подполье.

В рассказах И. Болдижара изображены представители различных слоёв венгерского народа, их отношение ко второй мировой войне. Скупыми, но яркими штрихами писатель раскрывает отвратительный «блэк озверевших фашистов, наживающихся на войне против Советского Союза, занимающихся грабёжом и истреблением населения. Но главными героями трёх рассказов, помещённых в книге «Зимний поединок», являются представители той части интеллигенции, которая пыталась своим отказом от участия в борьбе против хортистского режима, своей аполитичностью спастись от мрачной фашистской действительности и которая в годы войны поняла ошибочность своего поведения.

Персонажи, выведенные Болдижаром, отрицательно относятся к хортистскому фашизму. Но они оторваны от рабочего класса. Их путь к активной борьбе против хортизма и полуфеодалского порядка был преграждён агентурой буржуазии в рабочем движении, которая срывала союз рабочего класса как с крестьянскими массами, так и с прогрессивной частью интеллигенции.

Существенным недостатком книги И. Болдижара является то обстоятельство, что о лучших людях венгерской интеллигенции, которые и во время режима Хорти шли рука об руку с рабочим классом, автор не говорит совсем.

Мучителен и труден путь героев рассказов И. Болдижара до тех пор, пока они окончательно не осознают, во имя чего они воюют, кто является настоящими врагами венгерского народа.

Этот процесс политического прозрения особенно ярко изображён в рассказе «Зимний поединок».

Герои рассказа Медведский, Холло, Удварди прозревают только на фронте, где фашисты показывают своё истинное лицо, зверствуя над беззащитными пленными и мирным населением, где так называемые «союзники» — гитлеровцы — обращаются с венграми, как с пушечным мясом, как с низшей расой, предназначенной для рабского подчинения, для гибели за «фюрера». Герои Болдизжара прозревают, когда, с одной стороны, захватнические стремления немецкого фашизма определились, как направленные и против независимости Венгрии, а с другой стороны, когда они воочию убеждаются в беззаветном героизме советских людей, защитников первого на земле социалистического государства, защитников свободы и счастья народов всего мира.

1943 год. Бои на Дону. Гитлеровцы пытаются насильно заставить венгерскую воинскую часть прикрывать отступление фашистских войск. Венгерские солдаты и офицеры фактически находятся в плену у немцев. В этой чрезвычайно напряжённой обстановке происходит откровенный разговор между двумя венгерскими офицерами — лейтенантом Холло и старшим лейтенантом Удварди. Лейтенант Холло вспоминает своё прошлое. Читатель узнаёт о тяжёлой жизни крестьян при режиме Хорти. Холло, который до войны был юристом, хорошо знаком с невероятно тяжёлыми условиями жизни венгерских батраков, работавших с утра до вечера за грошовую плату. Когда же он попытался помочь крестьянам-беднякам, его едва не обвинили в коммунистической деятельности. Не найдя способа облегчить тяжёлую участь крестьян, Холло с отчаянья записал.

На фронте Холло познакомился с советской партизанкой Таней, которая, как выяснилось впоследствии, выполняла важные задания в тылу врага. Благодаря этому знакомству лейтенант имел возможность узнать правду о жизни советских людей и многому научиться у русской девушки.

Холло понял, что Советская Армия не угрожает Венгрии и что венграм незачем погибать из-за безумных затей бесноватого фюрера. И он начинает активно действовать. С помощью солдат он направляет против немецких фашистов единственную имеющуюся в распоряжении венгерского подразделения пушку.

Не менее сложен путь молодого фельд-

фебеля Медведского. Честностью, порядочностью и добрым отношением к рядовым бойцам он выделяется из среды хортистских офицеров, наживающихся на преступной войне против Советского Союза. Офицеры считают его чудачком и относятся к нему презрительно.

«Его считали офицером, когда нужно было возглавить опасное предприятие или когда штаб дивизии вызывал начальника подразделения в трескучий мороз или в проливной дождь. Но на него тотчас же переставали смотреть, как на офицера, когда распределяли шоколад или шампанское, либо представляли к награде, либо совещались по важным вопросам», — пишет автор.

Правдиво изображено формирование характера и политического сознания Медведского. Вначале Медведский показан как человек, хотя и не разбирающийся в политике, но внутренне протестующий против беспрекословного подчинения тупому и жестокому приказу. Когда же капрал Беллак — в мирное время будапештский рабочий, профсоюзный активист, — раскрывает перед ним истинную сущность фашизма, объясняет, как и почему рабочие и передовые интеллигенты подвергаются мучениям в так называемых «трудбатальонах» — штрафных военных формированиях для политически «неблагонадёжных» элементов, — Медведский начинает помогать этим людям.

В дальнейшем Медведский действует более активно и решительно. Вопреки приказу фашистского командования, он отказывается сжечь огромные склады с продовольствием и обмундированием и открывает их голодным и раздетым венгерским солдатам. В конце концов эти склады попадают в руки наступающих советских войск.

Военно-полевой суд приговаривает Медведского к смерти.

Благодаря наступлению Советской Армии, венгерский военно-полевой суд не мог привести в исполнение свой приговор. Медведский переходит на сторону советских войск.

В образе старшего лейтенанта Удварди — в мирное время учителя средней школы — автор также показывает представителя той части венгерской интеллигенции, которая прошла трудный путь от аполитичности к активной борьбе против фашизма.

Удварди — честный человек, возмущённый поступками своих коллег офицеров, садистски избивающих беззащитных пленных. Он человечно относится к рядовым бойцам, за что едва не попадает под военно-полевой суд. Но если Холло осознаёт свою ответственность за участие в преступной войне против Советского Союза и своего народа, то Удварди ещё не понимает этого. Лишь после расстрела немецким офицером венгерского старшины и под влиянием благородного и мужественного поступка Холло, перед Удварди постепенно раскрывается трагическая судьба венгерского народа, загибленного в тупик немецкими фашистами.

Несомненной удачей писателя является созданный им образ капрала Беллака. До

войны Беллак принадлежал к числу организованных рабочих, которые первыми поняли, что подлинными врагами Венгрии являются немецкие и венгерские фашисты и что венгерскому народу необходимо отказаться от участия в преступной войне, затеянной германскими империалистами. Уяснить эту неопровержимую истину Беллак помогает Медведскому и многим рядовым бойцам своей части.

Актуален для сегодняшней венгерской интеллигенции вывод автора: место передовой венгерской интеллигенции — на стороне рабочего класса, в лагере сторонников мира, в нерушимом союзе с могучей Советской державой.

И. ЛИППАИ.

★

Невоплощённый замысел

В повести Андрея Павлова «Одна семья» показана эвакуация колхоза во время войны.

Тема интересная. И не только потому, что её мало касались, но главным образом потому, что в ней заложены большие возможности раскрытия патриотических черт характера советского человека и морально-политического единства нашего общества. Это привлекло автора и может привлечь читателя.

В любую войну крестьяне при нашествии врага уходили с насиженных мест. Но как это происходило? Запрягалась сивка, на телегу накладывался немудрёный домашний скарб, привязывалась — если была — корова к задку телеги, и крестьянская семья с воплем и причитаниями отправлялась в страшный и неизвестный путь внутрь страны... Страшный потому, что по большакам и просёлкам продвигалась одинокая семья, до которой никому не было дела. Таких двигающихся семей было много, и порой они держали один и тот же путь, но каждая ехала сама по себе — без надежд, без будущего, на какое-то утешительное «авось»...

Не то мы наблюдали у советского крестьянства в прошедшую войну, не то описывает и А. Павлов в своей повести.

Партия поручила предрайисполкома Бряцеву и заврайзо Тругубенко вывести

Андрей Павлов. «Одна семья». Редактор С. Семёнов. Госиздат, Ростов, 1949.

колхозы из-под удара врага и определить на новое местожительство. Семья Алексея Урустина, как и все другие колхозные семьи, как весь колхозный район, отправляется в эвакуацию организованно.

Опасности и трудности пути (бомбёжка, заторы у переправ, высадка немецких десантников и так далее) преодолеваются коллективной сплочённостью, организованностью. В повести А. Павлова, как и было в жизни, мы видим патриотов, для которых отпор фашистским оккупантам — самое важное, кровное дело. В пути колхозники помогают фронту сдачей мяса, шерсти, молока. Колхозная молодёжь стремится на фронт. Так, из одной семьи Алексея Урустина, кроме сыновей, уже сражающихся с врагом, ещё две дочери и сноха отправляются помогать Советской Армии.

Но, к сожалению, хороший, значительный идейный замысел не нашёл в повести «Одна семья» убедительного художественного воплощения. Автор очертил только абрис — расставил действующих лиц, наметил их поступки, слова, указал, какие будут события.

Отсутствие подлинной изобразительности сказывается в первую очередь на героях повести. Они плохо запоминаются. Автор их обычно называет, но не показывает. Если самого Алексея Урустина мы всё же видим, то члены его семьи и другие колхозники ведут как бы бесплотное существование. Они появляются скопом и скопом исчезают.

«Мимо арбы пробежала Люба с ведром в руке, а за нею Лида и Ольга несли к пруду порожний бочонок». Или: «Спасая колхозное добро, бросились в реку Ткач, Алексей Васильевич, Андрей, Люба, Недомерков и Ермил Иванович». Или: «Следом за ней зашагал во двор Андрей, пробежала беловолосая Лида и медленно прошла кроткая, задумчивая Ольга».

Даже там, где автор прибегает к косякам краскам («кроткая, задумчивая»), они не оживляют картины, ибо краски эти условные, бездействующие.

Так, например, об этой «кроткой, задумчивой» Ольге автор сообщает: «Ольга была девушкой недоюжных способностей, хорошей учительницей, но необыкновенная кротость и застенчивость делали её какой-то одинокой и жалкой». Но в повести мы не найдём ни малейшего намёка на проявление «недюжинных способностей» или иных качеств «хорошей учительницы». Если бы они были проявлены, получили бы от автора зримую художественную силу, то понятия «недюжинные способности» и «хорошая учительница» тотчас вступили бы в явное противоречие с определениями: «одинокой и жалкой».

Нехватило у автора красок и на изображение душевных движений своих персонажей. Так, атмосфера дружбы и согласия среди колхозников выражается монотонными и, в сущности, пустыми словами: «дружески беседовали», «приветливо сказала», «ласково посмотрел», «ласково улыбаясь», «ласково погладил» и т. д.

Отправляя дочь в армию, Урустин говорит: «... Пускай идёт. Правильно решила Люба. Молодец». Отправляя через две страницы свою сноху работать в госпиталь, тот же Урустин говорит: «Так, дочка, стало-быть, и ты решила повоевать? Ну что ж, в добрый час». Отправляя вскоре в ремесленное училище и вторую дочь, он говорит: «Так, хорошо... Правильное твоё решение, дочка. Поезжай, поезжай».

Эти однообразно-спокойные напутствия, за которыми трудно предположить большое и горячее чувство, конечно обедняют внутренний облик главного и, пожалуй, единственного героя, духовный мир которого автор пытался раскрыть.

Так же бесцветно, как бы регистрируя, говорит А. Павлов о деятельности своих

персонажей. Вот предрайисполкома Брянцев: «Всё это время он находился в горячем пылу дел и забот о людях, о хозяйстве и жил напряжённой, трудной жизнью». Или о другом человеке: «...Трегубенко был хорошим, крепким хозяйственником».

Таких регистраций, относящихся к деятельности разных лиц, в повести немало, и каждый раз они удивляют или своей ненужностью или недостаточностью. Ненужностью там, где деятельность героя (как, например, Брянцева) хоть бледно, но показана; и недостаточностью (как, например, Трегубенко), где кроме этой пустой регистрации ничего нет.

Обращаясь к языку повести, мы должны упрекнуть автора за «сроплан», «пашаница», «итить», «дюжа чижолый груз» и т. д. И упрекнуть серьёзно, хотя, казалось бы, это мелочь. Слишком часто и слишком охотно идут некоторые авторы на это коверканье русского языка. Вероятно, при этом у них есть какое-то удовлетворение: «подслушал жизнь!» Но это ведь подслушивание не жизни, а уходящего, исчезающего и абсолютно недорогого, того, что отнюдь не стоит возрождать, культивировать в печати.

В повести есть несколько неплохих зарисовок пейзажа, есть верные интонации, встречаются запоминающиеся сцены (например, рождение ребёнка в степи), но в целом нужно признать, что интересный замысел повести о колхозном единстве нашёл только свой абрис, но не нашёл ещё красок, многоцветного художественного воплощения.

На этом можно было бы и остановиться в оценке повести А. Павлова, если бы издание её было случайным, единичным явлением. Однако существует ещё немало редакторов, которые в предлагаемых для печати рукописях ищут только идейный замысел автора, тематическую сущность его произведения. И коль скоро сущность эта не вызывает у редактора сомнений, он склонен смотреть весьманисходительно на всё остальное — в том числе и на художественное воплощение замысла. И вот появляются произведения вроде «Женщины одного дома» Н. Медведева, «Сергея Сазонова» А. Вахова, появляется разбираемая повесть «Одна семья» А. Павлова и целый ряд других.

Читатель хочет найти в произведении искусства и значительную тему, и живое, полнокровное художественное воплощение этой темы. Редакторы и редколлегия обязаны указывать молодым авторам на это законное желание советского читателя.

Выпуск в свет схематичных, недорабо-

ванных произведений кроме того неправильно ориентирует молодых писателей, внушает им самоуспокоенность и ничем не оправданное самодовольство, мешает их работе над собой, а следовательно, и нормальному творческому росту.

Н. МОСКВИН.

★

«Розы возвращения»

Прогрессивный французский писатель Поль Тийар, написавший после войны книгу о гитлеровском концлагере Маутхаузене и две книги о движении Сопротивления, в прошлом году выпустил новый роман — «Розы возвращения». Время действия этого произведения — 1945—1946 годы, его тема — верность традициям Сопротивления.

Заключённых, находившихся в гитлеровском концлагере Маутхаузене, освободила Советская Армия. Двое из освобождённых, французы, возвращаются в Париж. Жорж Фромон, преподаватель истории, был во время оккупации Франции командиром партизан — «макизаров». Люсьен Мерсье, рабочий-железнодорожник, был в том же отряде политическим руководителем. В мае 1943 года макизары, достигнутые гитлеровской полевой жандармерией, вступили в неравный бой и дрались до последнего патрона; среди двенадцати взятых в плен оказались Фромон и Мерсье, и лишь они двое выжили в нечеловеческих условиях гитлеровского концлагера.

Они вернулись домой, к своим семьям. Но Люсьен Мерсье узнаёт, что его жена и ребёнок погибли накануне освобождения Франции, убитые бомбой, сброшенной на мирное население американским или английским самолётом. А Жорж Фромон, который оставил Николь, свою жену, ожидавшей ребёнка, и ежедневно мысленно видел, «как растёт его сын», — потрясён открытием: нет у него ребёнка. Жена встречает его не радостно, а растерянно. С болью он замечает, что до войны она не одевалась так элегантно.

Одинокий, неуверенно ковыляет он по

Paul Tillard. „Les roses du retour“. Roman. „La Bibliothèque Française“. Paris. 1949. (Поль Тийар. «Розы возвращения». Роман. Издательство «Французская библиотека», Париж, 1949).

бульварам и улицам Парижа, крепко прижимая к груди букет роз, который ему подарила простая женщина, цветочница, от души пожалев этого парня, без объяснений поняв, что он был там, в аду фашистского концлагера.

Друзья отправляются в деревню, которая была базой их партизанского отряда, и оказываются в своём родном доме, в своей семье, где о них помнили, где их ждали. Эта «деревня-мученица» потеряла в борьбе с захватчиками семьдесят пять человек. Для населения этой местности Фромон по-прежнему «капитан». Старые боевые друзья встречают Фромона и Мерсье с любовью, нежностью, гордостью, как народных героев. Теперь Фромону и Мерсье будущее уже не кажется пугающе-неясным. И здесь же они на деле знакомятся с предательской политикой деголлеровской реакции, которая сделала своей подлой традицией преследование героев Сопротивления и оправдание тех, кто «сотрудничал» с гитлеровцами. Фромон и Мерсье видят: нужно в новых условиях снова продолжать борьбу с замаскировавшимися врагами народа. Они организуют комитет освобождения заключённого в тюрьму по ложному обвинению брата Люсьена Мерсье, Эмиля, также бывшего партизана. Друзья быстро набираются сил. «Это так легко — вновь найти смысл жизни», — когда ты окружён товарищами по борьбе.

Через весь небольшой, лаконично, просто и ясно написанный роман проходит поэтически и мужественно звучащая тема братства бойцов за свободу и независимость родины.

Деревенский сапожник Марк, который одним из первых в департаменте примкнул к Сопротивлению, показывает Фромону то место в поле, где он был ранен в грудь: «Не кажется ли тебе, что здесь урожай

особенно хорош?.. Этот клочок поля я обрабатывал ещё лучше, чем другие места... «Только тот доказал своё право на любовь к земле, кто бился с врагами за неё», — так заключает Марк. Это выражение углублённого, благодаря опыту Сопротивления, по-новому осознанного чувства патриотизма, перекликающееся с бессмертными строками Маяковского о силе великой любви к земле, «которую завоевал и полуживую вынаничал», характеризует духовный облик не только Марка, но и его друзей. А слова Фромона: «Не помогает ли чистота чувств найти человеку путь к правде?» — могут служить эпитафией к роману. Чистота чувств Фромона, Мерсье, Марка, жизнерадостного крестьянина Руфиака не только делает обаятельными этих людей; чистота их любви к родине, чистота их ненависти к её врагам и предателям помогала им в прошлом и помогает теперь найти верный путь. Сознание долга, чувство ответственности за будущее страны — в основе психологии героев романа Тийара. Эти образы — цельные, гармоничные, светлые — во всём противоположны персонажам чёрной декадентской литературы, в которых собрана болотная муть низменных инстинктов и циничных, грязных мыслей отребья капиталистических стран, готового служить любым фашистским авантюристам и поджигателям войны.

О любовью, правдиво, реалистически изобразил П. Тийар тех людей, из которых состоит мощный лагерь демократии и мира во Франции. В этом романе писатель ставит перед собой творческую задачу, которая стоит перед всей прогрессивной французской литературой, — он овладевает искусством реалистического изображения нового. П. Тийар стремится показать людей, в которых воплощены лучшие черты французского национального характера, по-новому расцветшие в борьбе за независимость родины. Эти мужественные люди глубоко человечны, любят жизнь, свой труд, детей, поля и города своей страны — и именно поэтому они так жгуче ненавидят врагов народа и человечества. Эти простые люди хорошо помнят о страданиях народных масс в годы второй мировой войны, — и именно поэтому они знают: для предотвращения новой войны недостаточно высказываться против войны в кругу друзей; «нужно действовать», — говорит Марк, —

нужно создать единство всех, кто страдал во время второй мировой войны.

В центре романа П. Тийара — образ интеллигента Жоржа Фромона, изображение его психологии. О таких людях, как Фромон, сказал недавно французский прогрессивный поэт Поль Элюар: «Неукротимое стремление к свободе, родившееся в рядах героического движения Сопротивления, свято сохраняется и сейчас передовой французской интеллигенцией». До войны ум, честность, смелость, искренность, жизнерадостность молодого историка Фромона проявлялись только в его отношении к любимому труду, к семье. Как и тысячи других интеллигентов, Фромон вышел из «университета» народной борьбы с захватчиками переродившимся, новым человеком — сильным, неустрашимым, готовым на жертвы ради блага человечества, счастливым от сознания, что он, живя и борясь вместе с народом, познал сущность подлинного патриотизма, искренность любви к миру, «возбуждающую радость битвы за справедливость», повелительную «потребность в свободе». Он понимает, что он дрался и за своё право историка «отражать историческую правду»; теперь лучше, нежели до войны, он понимает, каким должен быть его вклад в «Историю людей»: нужно отнестись к вековой борьбе народов за свободу. Невозможно отделить его уверенность в своих силах, с какой он доводит до конца борьбу за освобождение Эмиля Мерсье, от его уверенности в неодолимости лагеря демократии: он сам — часть этой огромной силы. На улицах любимого Парижа, ощущая контакт с толпой, он чувствует себя «сильным её отвагой».

Скупыми, резкими штрихами обрисованы замаскировавшиеся враги, которые засадили в тюрьму Эмиля Мерсье. Отлично написан реалистический образ мэра деревни Пьера Луазеле. Этот старик — богатый промышленник и помещик, фашист-кагуляр, приверженец Петэна. Его племянник Мишель, лохотённый любитель космополитических курортов, опустошённый человек без родины, заклятый враг народа, деголлевец и агент «Интеллидженс Сервис», был сброшен с английского самолёта с заданием «мешать развёртыванию борьбы французов против бошей». Шпионские сведения о Сопротивлении он одновременно посылал и в Лондон и офицеру гестапо

Он выдал отряд Фромона и Мерсье. Он выдал гестано своего коллегу Жерара, который выражал сочувствие партизанам. А потом он обвинил в этом преступлении Эмиля Мерсье.

П. Тийар показывает, что эти предатели не только бесчеловечны, но и трусливы, что их деголлевский авантюризм порождён не только ненавистью к народу, но прежде всего — страхом перед ним. Трясётся от страха старый волк Пьер Луазеле, ежедневно ожидающий своего разоблачения. Мишеля этот страх гонит в Индо-Китай, где — надеется он — будет создана база для борьбы против народа Франции.

Реалистически верно написаны противостоящие друг другу герои романа, но искусственно-мелодраматична сюжетная линия, соединяющая лагерь предателей с семьёй Фромона: Мишель оказывается тем неотразимо-элегантным «участником Сопротивления», с которым Николь, жена Фромона, легко утешилась, поплакав после заключения Фромона в фашистскую тюрьму. Рассказывая об отношениях между Николь и Мишелем, П. Тийар опускается почти до уровня бульварной литературы.

Образ Николь — самый неудачный в романе. Её поведение говорит о том, что она прежде всего — бессовестная, бесчувственная цинично-жестокая и трусливая тварь. А писатель пытается объяснить её предательство слабостью характера, пытается усложнить её переживания, заставляет её мучиться «угрызениями совести» (а потом — снова предавать), приписывает

ей размышления о том, какая она «сложная» и какой Фромон «простой». Точную характеристику мнимой «сложности» сознания Николь и ей подобных давно дал М. Горький в своих высказываниях о зарубежной декадентской литературе и в своих «Заметках о мещанстве» (недавно они были изданы и во Франции).

Та же склонность П. Тийара надуманно «усложнять» психологию проявилась и в экспрессионистском изображении поведения военнопленного-сибиряка, который совершает героический поступок накануне освобождения Советской Армией заключённых в концлагере, а затем... неожиданно кончает жизнь самоубийством, так как он... «опьянён» сознанием, что приближается час освобождения (!).

Когда П. Тийар пишет о том, что он недостаточно хорошо знает, он начинает искусственно «усложнять» — и получается надуманная мелодрама. А с психологией участников французского Сопротивления писатель хорошо знаком, она ему близка. Поэтому он реалистически отразил чувства, помыслы и поступки этих людей в годы, когда реакция, направляемая англо-американскими империалистами, начала своё предательское наступление на демократическую Францию. Поэтому так чисто и взволнованно звучит в романе призыв к борьбе за справедливость, демократию и мир, так отчётливо выражена в нём гордая уверенность в силе «свободолюбивого французского народа».

Я. ФРИД.

★

История. Международные отношения. Рабочее движение

Сын народа

„Народ Франции не будет, никогда не будет воевать против Советского Союза», — эти пламенные слова, прозвучавшие, как клятва, прозвучавшие, как клятва, произнёс с трибуны Национального Собрания генеральный секретарь французской коммунистической партии верный сын народа Морис Торез. Призыв Тореза стал боевым лозунгом миллионов честных французов, борющихся за мир, против тёмных сил реакции.

Морис Торез. «Сын народа». Перевод с французского. Предисловие Жака Дюкло. Редактор И. Тихомирова. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

Французская коммунистическая партия — передовой отряд рабочего класса и всех трудящихся Франции — упорно и последовательно разоблачает предательскую политику правящих кругов, жертвующих национальными интересами Франции во имя преступных планов Уолл-стрита. План Маршалла, агрессивный Северо-атлантический договор, «грязная война» во Вьетнаме ведут страну к экономической катастрофе, углубляют обнищание широких народных масс. Непосильным бременем ложатся на плечи трудящихся огромные военные рас-

ходы, продиктованные Вашингтоном. В маршаллизованной Франции растёт безработица, непрерывно снижается реальная заработная плата трудящихся. Боевая партия французского рабочего класса под руководством Мориса Тореза организует французский народ на борьбу за его права, увязывает эту борьбу с движением за мир, с активным сопротивлением планам американских империалистов, готовящих новую войну.

Почти тридцать лет возглавляет Морис Торез, организатор и боевой руководитель французской коммунистической партии, борьбу за дело рабочего класса, за светлое будущее Франции. Автобиографическая книга Мориса Тореза «Сын народа», вышедшая в русском переводе, рассказывает о славном жизненном пути генерального секретаря ЦК коммунистической партии Франции и в то же время даёт исторический очерк деятельности партии, как бы подводит итог её 30-летней борьбе.

Морис Торез — потомственный шахтёр, сын и внук рабочего. «Когда я вспоминаю о своём раннем детстве, — начинает свою книгу Торез, — мне, сыну и внуку шахтёра, припоминаются всегда одни и те же картины: тяжёлая жизнь рабочего люда, много горя, мало радости. Унылый шахтёрский посёлок, ко входу в шахты тянется длинная вереница шахтёров, измотанных напряжённым трудом на глубине нескольких сот метров под землёй».

В юные годы Торез узнал горе и нужду, видел нещадную эксплуатацию рабочих, был свидетелем страшного обвала на шахте, вызвавшего многие жертвы, перенёс в годы первой мировой войны разлуку с близкими, скитался вдали от родного дома. Всё это способствовало раннему формированию политического сознания Тореза.

Огромное влияние оказала на Тореза Великая Октябрьская революция. Он жадно впитывал вести, приходившие из России, с восхищением следил за успехами русского рабочего класса, сумевшего под руководством Ленина и Сталина свергнуть власть капиталистов и помещиков.

Кончилась война, и Торез вернулся в свой родной посёлок. Он — снова на шахте № 4, где работал мальчиком до начала войны. Но теперь это уже зрелый человек, с увлечением отдающийся профсоюзной и политической деятельности. Политическое и

экономическое положение Франции способствовало росту революционных настроений пролетариата.

В марте 1919 года Морис Торез вступил в коммунистическую партию и стал профессиональным революционером, кадровым партийным работником, обнаружившим блестящий талант и организаторские способности. В 1924 году — в возрасте двадцати трёх лет — он был избран членом Центрального Комитета партии, а в 1930 году — её генеральным секретарём. Стратегии и тактике революционной борьбы Торез учился у Ленина и Сталина. Гениальные произведения вождей русской революции оказывали решающее влияние на формирование молодого французского революционера. «Если бы мы не изучали Ленина, как могли бы мы преодолевать все трудности и препятствия, на которые наталкиваемся на своём пути к социализму? Ленинизм — это теория победоносной пролетарской революции», — пишет Торез в своей книге.

В 1925 году Торез впервые посетил Советский Союз, впервые виделся с И. В. Сталиным. Эта встреча произвела на Тореза и на всех делегатов неизгладимое впечатление. Волнующие страницы книги Тореза посвящены описанию пребывания в Советском Союзе и беседы с товарищем Сталиным. «Когда мы прощались, Пьер Семар от имени всех поблагодарил нашего великого товарища, — рассказывает Торез. — Сталин ответил просто: «За что спасибо? Мы с вами — братья. Я только исполняю свой долг коммуниста».

Ленинско-сталинская теория классового боя борьбы помогла Торезу выбрать правильный путь: он понял, что достигнуть победы над врагами можно лишь добившись единства рабочего класса и сплочения демократических сил. По книге Тореза можно проследить, как, вопреки предательской тактике верхушки социалистической партии, коммунисты добивались на различных этапах единства с массами рядовых социалистов.

Перед лицом фашистской угрозы, особенно обострившейся после прихода Гитлера к власти в Германии, французская компартия боролась за объединение широчайших слоёв населения в Народном фронте. И эти усилия принесли свои плоды. В 1934 году, когда фашистские молодчики пытались организовать путч во Франции, рабочие.

под руководством коммунистической партии, сорвали эти преступные замыслы. Четыре с половиной миллиона рабочих прекратили 12 февраля 1934 года работу на предприятиях и вышли на улицы Парижа. Это была блестящая демонстрация единства трудящихся, это было контрреволюционное пролетариата, сорвавшего фашистский путч.

Торез с большой силой разоблачает предательскую политику правых социалистов накануне второй мировой войны, действовавших заодно с реакцией, обезоруживших Францию и отдавших её на разграбление гитлеровским ордом.

Французская коммунистическая партия неустанно боролась против мюнхенской политики правящих кругов, предупреждая о грозных последствиях, которые будут иметь тактика уступок гитлеровским агрессорам. Вождь французской коммунистической партии в своей книге срывает маску с фальсификаторов истории, пытающихся скрыть правду о мюнхенском предательстве правящих кругов США, Англии и Франции. Торез рассказывает о том, как уже после начала второй мировой войны западные державы пытались направить гитлеровскую агрессию на Восток.

Едва началась вторая мировая война, правящие круги Франции издали закон о запрещении коммунистической партии. Торез и другие французские коммунисты перешли на нелегальное положение. Находясь в подполье, французская компартия не сложила оружия и ни на один день не прекращала борьбы против вишійской клики. Коммунисты руководили сопротивлением народа немецким оккупантам. Коммунисты были в первых рядах борцов за освобождение Франции от гитлеровских захватчиков.

Французский народ по заслугам оценил деятельность французской коммунистической партии, единственной партии, боровшейся в трудные дни оккупации за интересы своей родины. Народ сделал компартию первой партией в стране. Коммунисты вместе с социалистами обладали абсолютным большинством и могли взять в свои руки дело восстановления страны.

Но правые социалисты остались верны своей предательской тактике. Несмотря на тягу рабочих — и коммунистов и социали-

стов — к единству, лидеры социалистической партии не захотели, чтобы было сформировано правительство из представителей обеих партий.

Торезом французские реакционеры, выходя под волю своих американских хозяев, хотели отстранить коммунистов от участия в правительстве, воспользовавшись для этого услугами правых социалистов. Начиная с 1943 года, коммунисты в трудных условиях ведут борьбу против насаждения реакции на рабочий класс, против превращения Франции в плацдарм американского империализма, против экономического и политического закабаления Франции Уолл-стритом.

Последние главы книги Тореза говорят о насущных задачах сегодняшнего дня, разоблачают агрессивные планы американского империализма и его пособников в Европе. «Сегодня, как и вчера, — пишет Торез, — реакционеры, побуждаемые классовыми интересами, ненавистью к народу и к демократии, приносят в жертву нашу национальную независимость; они ищут защиты у американских капиталистов. Ныне доллар выполняет ту роль, которую недавно играли бронетанковые дивизии Гитлера. И, как и тогда, жертвой является Франция».

В своих выступлениях Морис Торез призывает трудящихся бороться против попыток вовлечь французский народ в агрессивную войну, которую империалисты готовят против Советского Союза и стран народной демократии. Французские коммунисты возглавляют движение за мир, охватившее всю Францию. Они подчёркивают особое значение кампании по сбору подписей под призывом Стокгольмской сессии Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия. Коммунистическая партия направляет французский народ на действенную конкретную борьбу против военных мероприятий поджигателей новой войны.

С каждым днём ширится сопротивление французских трудящихся империалистам. Докеры, железнодорожники, рабочие военных заводов отказываются разгружать оружие, прибывающее во французские порты из-за океана. Они мешают отправке

вооружения в Индонезии, где вьетнамский народ мужественно борется против колонизаторов. Французский народ решительно протестует против американской интервенции в Корею. В авангарде самоотверженных борцов за мир, как всегда, — французские коммунисты.

«Сила — на стороне народов, — с огромной страстью говорит Торез. — Они не допустят войны. И если когда-нибудь преступные правительства посмеют вогнать

мир в пропасть страдания и разрушения, — горе им тогда!

Сторонники мира одержат победу, если будут действовать единодушно и активно. Ибо они борются за жизнь, а жизнь всегда побеждает смерть. Единство трудящихся обеспечит мир всему миру».

Книга Мориса Тореза — волнующая повесть о борьбе коммунистической партии за свободную и независимую Францию.

А. АЛЕКСАНДРОВА.

★

Полезная брошюра о Корее

Выход в свет этой книжки чрезвычайно своевременен. Об этом говорит хотя бы тот факт, что несмотря на значительный тираж она была распродана буквально в течение нескольких дней.

Это и понятно ввиду огромного интереса советских людей к судьбам Кореи и корейского народа, подвергшегося нападению американских империалистов и их наёмников.

Рецензируемая книжка вышла в новой серии Географиза — «У карты мира». Это полезное начинание издательства следует всячески приветствовать.

В соответствии с задачами серии, автору удалось в сжатой конспективной форме дать читателям общее представление об истории Кореи, о её природных условиях, населении, хозяйстве, государственном и административном устройстве Корейской народно-демократической республики. Несомненно, эти сведения окажутся весьма полезными для советских читателей, так как помогут получить более полное представление о жизни страны, её экономике, о мужественном корейском народе, ведущем борьбу за объединение своей родины, против империалистов и их презренных ставленников.

Американские агрессоры стремятся во что бы то ни стало удержать в своих руках Корею. Географическое положение Корейского полуострова делает его важным военно-экономическим плацдармом для агрессивных действий на континенте.

В. В. К о в ы ж е н к о, «Корея». Под редакцией члена-корреспондента Академии наук СССР Е. М. Жукова. Географиз, М., 1950.

От почему так яростно цепляются за Корею американцы, вот почему они не жалуют не только вооружения и военного снаряжения для армии предателей корейского народа Ли Сын Мана, но и крови своих солдат, брошенных в огонь агрессивной войны.

Как известно, уже через несколько дней после начала военных действий в Корею Трумэн полностью сбросил маску миролюбца и показал всему миру своё истинное лицо матёрого поджигателя войны и агрессивного колонизатора. События в Корею доказали, что американские правящие круги от подготовки агрессии перешли к прямым актам агрессии.

Действуя по американской указке, предательская клика Ли Сын Мана сорвала осуществление предложения Единого демократического отечественного фронта Кореи от 7 июня 1950 года о мирном объединении страны и начала вооружённое вторжение на территорию Северной Кореи. С первых же часов вторжения выяснилось, что наёмная армия предателей корейского народа терпит поражение. В тот же день, по заранее намеченному плану, США вмешались в гражданскую войну в Корею и бросили свои вооружённые силы против Корейской народно-демократической республики.

Американские правящие круги грубо нарушили Устав ООН и при этом использовали ООН в качестве орудия своей агрессивной политики. Военно-воздушные и военно-морские силы, а вслед за ними и наземные войска США получили приказ «защищать» Южную Корею и Формозу.

Обнажив до конца свои агрессивные планы по отношению к части китайской территории, какой искони является остров Формоза (Тайван), американские империалисты лишним раз доказали, насколько далеко идут их захватнические намерения. Но история показывает, как сказал в обращении к народу председатель кабинета министров Корейской народно-демократической республики Ким Ир Сен, что «народ, решительно поднявшийся на борьбу за свою свободу и независимость, непобедим».

Корея долгое время разделяла судьбу стран, которые — вследствие их природных богатств или географического положения — манили к себе алчных рыцарей лёгкой наживы. Вспомним историю Греции, Филиппин, Вьетнама. Захват чужих территорий, политическое и экономическое поражение народов — непреложный закон капиталистических хищников, закон, который исчезнет не раньше, чем исчезнет с лица земли мир капитализма.

На протяжении своей многовековой истории миролюбивый корейский народ не один раз становился жертвой агрессии, в частности со стороны своего извечного врага — Японии. Во второй половине XIX века у японских захватчиков появляются серьёзные конкуренты в лице империалистов США, Англии и Франции, также желавших получить свою долю в колониальном грабеже. Но в результате двух войн — с Китаем в 1894—1895 гг. и с Россией в 1904—1905 гг. — позиции Японии на Дальнем Востоке значительно укрепились. Этому содействовала предательская сделка за счёт Кореи между Японией и США, натравливавшими Японию на Россию и укреплявшими тем временем своё господство над Филиппинами. В 1910 году Япония включила Корею в состав своей империи, как колонию.

В Корею был установлен жестокий колониальный режим. Японские капиталисты, превратив Корею в аграрно-сырьевой придаток империи, хищнически расхищали природные богатства и экономические ресурсы страны. Доля корейского капитала в промышленности не превышала 5—6 процентов. Корейские народные массы были фактически бесправными и жестоко эксплуатировались. Для них были изданы особые законы, корейский язык преследо-

вался. Рабочий день для корейцев был установлен в 13—16 часов, причём кореец получал за свой труд вдвое меньше японца.

В августе 1945 года Советская Армия, разгромив в Маньчжурии и Корею императорскую японскую армию, принесла освобождение измученному корейскому народу. Выполняя указание товарища Сталина, советское военное командование предоставило корейскому народу возможность самостоятельно, на основах подлинной демократии, начать строительство новой жизни.

Американские экспансионисты всяческими путями пытались воспрепятствовать нормальному демократическому развитию Кореи. На Московском совещании министров иностранных дел в декабре 1945 года представители США выдвинули план, по которому Корея на неопределённый срок превращалась в подмандатную территорию. Эта попытка американских дипломатов была пресечена благодаря чёткой позиции Советского Союза, твёрдо и последовательно осуществляющего сталинскую миролюбивую внешнюю политику.

Совещание приняло справедливое решение об оказании эффективной помощи корейскому народу для скорейшего создания Временного демократического правительства.

Но уже в следующем, 1946 году представители США сорвали работу совместной советско-американской комиссии, которая также была образована решением Московского совещания. Американцы, открыто противясь объединению корейского народа, сорвали и предложение советского правительства о предоставлении возможности самим корейцам сформировать демократическое правительство при условии одновременного вывода американских и советских войск из Кореи. Отказавшись вывести войска из Южной Кореи и фальсифицировав там выборы, американские империалисты привезли из США врага корейского народа Ли Сын Мана и поставили его во главе марionетного «правительства».

38-я параллель, пересекающая Корею, оказалась не только географическим понятием: она стала и политическим водоразделом между двумя частями страны, с двумя диаметрально противоположными системами — подлинно народной демократии и

антинародного, военно-полицейского режима.

Основным методом «управления» американцы избрали метод террора и насилия, став достойными преемниками японских захватчиков. Демократические партии были разогнаны, десятки тысяч корейских патриотов арестованы.

Но корейский народ продолжал свою справедливую борьбу. В августе 1948 года совещание основных политических партий и демократических организаций Северной и Южной Кореи постановило провести всенародные выборы в Верховное Народное Собрание Кореи. В этих выборах приняли участие три четверти общего числа избирателей Южной Кореи, несмотря на полицейский террор. Из 572 депутатов 360 были избраны от Юга и 212 от Севера. Таким образом, правительство, возглавляемое Ким Ир Сенем, является подлинно выборным правительством всей Кореи.

Верховное Народное Собрание объявило Корею народно-демократической республикой, приняло конституцию и избрало народное правительство, возглавляемое героем антияпонской борьбы и руководителем Трудовой партии Северной Кореи Ким Ир Сенем.

Какую бы отрасль народного хозяйства или культуры мы ни взяли, всюду мощно и свободно поднимаются вверх ростки новой жизни в Северной Кореи. В то же время в южной части страны подавляется всё прогрессивное, живое. Колонизаторы сменили лишь вывеску: вместо японских империалистов пришли американские.

В рецензируемой книжке приводится ряд выразительных цифр. За два года — с 1946 по 1948 — численность промышленных рабочих в Северной Кореи увеличилась почти в три раза. Полностью ликвидирована безработица. Растёт количество населения в городах и промышленных районах. К этому следует добавить, что с 1946 по 1949 год уровень промышленного производства вырос почти в четыре раза.

В то же время на юге царит экономическая разруха. Большинство предприятий прекратило работу. Из городов в деревни потянулись толпы безработных, обездоленных людей в поисках заработка. По свидетельству даже американской печати, в 1949 году уровень производства составил

в Южной Кореи лишь десять процентов довоенного.

Такой же разительный контраст наблюдается в сельском хозяйстве, главной отраслью которого является земледелие. В Северной Кореи была проведена земельная реформа, в результате которой свыше миллиона гектаров, принадлежавших японским и корейским помещикам, было передано народными комитетами безземельным и малоземельным крестьянам. Увеличилась посевная площадь, улучшилась обработка почвы, повысились урожаи. Благодаря подъёму сельского хозяйства население промышленной Северной Кореи полностью обеспечивается продовольствием.

В Южной Кореи американцы запретили проведение земельной реформы. Клика Ли Сын Мана, потворствуя произволу помещиков и спекулянтов, довела крестьян до небывалой даже при японских властях нищеты. Восемьдесят процентов крестьян стали безземельными арендаторами — издольщиками, отдающими помещикам от 50 до 75 процентов урожая. Обработка земли, как и при японском господстве, осталась на крайне низком уровне и производится большей частью вручную, при помощи самых примитивных орудий.

Население Южной Кореи ясно понимает, что лишь ликвидация оккупационного американского режима и объединение с Северной Кореи в единой демократической республике выведут его на широкую дорогу свободы и благосостояния. В этом причина той глубокой радости, с которой жители Южной Кореи встречают своих освободителей — северокорейские войска, в этом корни растущего с каждым днём грозного для оккупантов партизанского движения в Южной Кореи.

Жаль, что автор лишь мимоходом говорит о культуре корейского народа. А этому следовало посвятить отдельную главу. Известно, что корейская культура — одна из древнейших в мире. По свидетельству историков, корейцы в начале XV века — на пятьдесят лет раньше, чем в Европе, — начали отливать печатный шрифт из металла, изобрели фонетический алфавит, научились владеть компасом.

Северная Корея после её освобождения добилась выдающихся успехов в культурном строительстве. Открыты университет, ряд институтов, создана своя кинопромыш-

ленность, полиграфия. Книги и газеты начали издаваться на корейском языке, начали работать национальные театры.

Советские люди могли ознакомиться с высокими достижениями музыкальной культуры Кореи во время недавнего пребывания корейских артистов в СССР. О древности этой культуры говорит хотя бы то, что корейский музыкальный народный инструмент каягым существует уже более двух тысяч лет.

С момента выхода в свет рецензируемой книжки прошло немного времени. Но оно

насыщено событиями первостепенной важности для будущих судеб Кореи.

«Руки прочь от Кореи!» — эти гневные слова — на устах всех честных людей мира. Советский народ, как и вся мировая демократическая общественность, требует прекращения американской агрессии в Корею. Он глубоко сочувствует борьбе корейского народа за создание единой независимой демократической Кореи и твёрдо верит в его близкую и полную победу над тёмными силами реакции.

А. ИГЛИЦКИЙ.

★

Американский империализм и Ватикан

Реакционная роль папства в истории человечества широко известна. Во все времена и эпохи глава католической церкви был на стороне сил, противодействующих прогрессу, на стороне эксплуататорских классов — против демократии и свободы народов, против науки и просвещения. Папа римский и высшая иерархия католической церкви были союзниками аристократии и феодализма в эпоху буржуазных революций, они пытались воспрепятствовать образованию национальных государств буржуазной Европы, в частности национальному объединению Италии. В эпоху империализма у правящих классов современных капиталистических государств нет более верно-го помощника в борьбе против рабочего класса, против социализма, чем Ватикан.

Если бы нужны были какие-нибудь новые доказательства реакционнейшей сущности американского империализма, его отрицательной роли в поступательном движении человечества, достаточно было бы указать на союз Уолл-стрита и Ватикана. Трумэн и Пий XII — две зловещие фигуры, слицающиеся ныне тёмные силы прошлого, ведущего ожесточённую борьбу с новым, растущим, непобедимым, с тем, чему принадлежит будущее.

Союз с Ватиканом, сочувствие Ватикана — это несмываемое клеймо антидемократизма, реакционности, враждебности интересам народов, их свободе и независимости. Римский папа — союзник интер-

вентов против молодой Советской республики, покровитель и сообщник Муссолини, вдохновитель палача Испании Франко, пособник гитлеровских агрессоров, а в послевоенное время — организатор антинародных заговоров в странах народной демократии. Кто бы и где бы ни возглавил шайку преступных наймитов империализма против свободы и независимости народа, ему обеспечена помощь князей католической церкви. В наши дни Пий XII приветствует Тито и посылает к нему своих представителей, он официально «признаёт» Бао-Дая и шлёт знаки отличия этой ничтожной, ненавистной вьетнамскому народу марионетке американско-французских империалистов.

Но главным, основным потребителем «идеологического товара» Ватикана стали в послевоенный период правящие круги США. Американский империализм возглавляет ныне антидемократический лагерь войны и реакции. И он, естественно, является в наше время подлинным хозяином в Ватикане, определяющим не только его политику, но и содержание пропаганды, проводимой верхушкой католической церкви. Империалисты США — самые важные заказчики и потребители «услуг» папы.

Работа М. М. Шейнмана, в которой популярно изложена история Ватикана за последнее столетие и в особенности за период после второй мировой войны, даёт советским читателям полезный и актуальный материал. Большое место в книге уделено реакционной идеологии и столь же реакционной послевоенной политике Ватикана. Автор добросовестно собрал наиболее

М. М. Шейнман. «Идеология и политика Ватикана на службе империализма». Редактор Д. Е. Михневич, Госполитиздат, М. 1950.

яркие факты и высказывания руководителей католической церкви, относящиеся к современному периоду истории Ватикана.

Как это было и в прошлом, папы XX века неизменно стоят на страже капиталистической собственности, призывают благословение на эксплуататоров, выступают в защиту социального неравенства. В 1931 году предшественник нынешнего папы — Пий XI, защищая основы буржуазного строя, заявил в очередной энциклике: «Право частной собственности, данное природой, должно всегда оставаться нерушимым». Совсем недавно, в апреле 1950 года, на приёме участников международного конгресса торговых палат в Риме, нынешний папа Пий XII решительно осудил передачу торговли в «руки государства». К удовольствию представителей капиталистических монополий он сказал: «Торговля — это, прежде всего, частная деятельность человеческой личности, дающая ей первый толчок и зажигающая духовный огонь и страсть в том, кто предаётся этой деятельности».

Может ли быть что-нибудь более отрадное для уха американских капиталистов, чем это «идеологическое» обоснование «святости» капитализма, его «духовного» значения!

«История всех времён учит нас, что всегда были богатые и бедные, что всегда будут богатые и бедные, — вот заключение, которое мы можем сделать из неизменных отличительных черт человеческой природы», — таково другое принципиальное заявление Пия XII, как идейного вождя современной реакции, врага и ненавистника коммунизма. Характерно, что это изречение содержится в папском послании к американской католической иерархии от 1 ноября 1939 года. Уже тогда, всячески помогая фашистским властителям Италии и Германии, идеологически оправдывая и восхваляя фашистский режим, Ватикан видел в американском империализме основную силу в борьбе против растущего стремления масс к социальным преобразованиям, к социалистической революции.

В послевоенный период, как это показано в книге, идеологическая пропаганда Ватикана поставлена целиком на службу американскому империализму. Папа оправдывает военные блоки и гонку вооружений, он не находит ни одного слова осуждения замыслам апологетов атомной войны. Под-

держивая американскую проповедь космополитизма, стремление США к уничтожению национальной независимости западно-европейских государств, Ватикан подчёркивает, что и христианство — это «сверхнациональная организация». Усилия агентов Ватикана в Польше, Венгрии, Румынии, Чехословакии направлены на подрыв строя народной демократии, на восстановление влияния империалистических держав. Как показали судебные процессы кардинала Миндсенти в Венгрии и процессы фашистских заговорщиков в других странах, огромное число американских шпионов и диверсантов прикрывалось званием католических прелатов и получало задания от своих хозяев через Рим.

В книге отведено большое место разоблачению реакционной сущности католических, так называемых «демохристианских» партий в Западной Европе. Это партия католиков во Франции — МРП, возглавляемая Бидо и Шуманом; партия христианских демократов в Италии, руководимая де Гаспери; наконец партия Аденауэра в Западной Германии. Всё это организации, тесно связанные с Ватиканом и беззаветно выполняющие волю американских империалистов. Их лидеры — в прошлом ставленники реакционных фашистских кругов, ныне — американские марионетки, приветствующие и «план Маршалла», и агрессивный Северо-атлантический блок. Это в полном смысле слова партии национального предательства.

Обстоятельная, содержащая ценные сведения о современной структуре и аппарате Ватикана книга М. М. Шейнмана не лишена существенных недостатков. Недопустимо мало внимания уделил автор книги самому могучему, всенародному движению ссрременности, движению сторонников мира, недостаточно осветил он отвратительную, антинародную политику Ватикана в этом жгучем вопросе нашего времени — вопросе о войне и мире. «Раскол в католическом лагере», о котором пишет автор в последней маленькой главе книги, происходит именно по вопросу о борьбе за мир. На стороне друзей мира — миллионные массы верующих католиков и значительная часть рядовых католических священников. На стороне англо-американских поджигателей войны — князя католической церкви, Пий XII, Ватикан. Тысячи, миллионы подписей верующих под Стокгольмским воззванием По-

стоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира — неопровержимое свидетельство того, что подавляющее большинство людей во всём мире — без различия религиозных убеждений — выступает за мир, против американских претендентов на мировое господство. «Проклятие» папы римского от 13 июля 1949 года, как правильно отмечает автор, «направлено против сотен миллионов людей во всех странах, борющихся за свободу и мир и следующих в этой борьбе за коммунистами, как за наиболее последовательными борцами за интересы трудящихся».

Сейчас папа отлучает от церкви католических священников, подписывающих Стокгольмское воззвание. Папа благословляет все мероприятия англо-американских империалистов, направленные к подготовке новой войны, в частности ремилитаризацию Западной Германии и пресловутый «план Шумана», продиктованный Ачесоном.

Когда недавно итальянский сенатор-коммунист Террачини потребовал, чтобы папа возглавил поход за запрещение атомной бомбы, радио Ватикана с непревзойдённым лицемерием заявило, что это было бы «вмешательством» папы в светские дела. «Последователи антихриста, — заявляет ватиканское радио, — доходят до того, что требуют вмешательства наместника Христа на земле». Однако «неземной» характер папы не мешает ему получить концессию на монопольную продажу в Италии американского напитка «кока-кола», владеть огромными капиталами и поместьями, осуществлять государственную власть в Италии через бывшего служащего Ватикана де Гаспери и его демохристианскую партию.

Припёртые к стене, магнаты католической церкви пытаются оправдать свой решительный отказ присоединиться к Стокгольмскому возванию сторонников мира нелепыми и казуистическими отговорками. Католическая газета «Куотидиано» пишет: «Итальянские католики для участия в защите мира вовсе не нуждаются в присоединении к этим сторонникам мира и к стокгольмскому предложению».

Следовало сильнее подчеркнуть в книге решающий американский диктат над Вати-

каном. Папа не только «одобряет» американскую политику, он претендует на роль её главного помощника и проводника.

Газета «Берлинер цейтунг» писала 18 марта 1950 года в сообщении из Рима: «В своём послании от 17 марта папа Пий XII потребовал, чтобы все кардиналы, нунции и резиденты Ватикана в европейских странах безоговорочно поддерживали проводимые США мероприятия и соответствующим образом влияли на правительства и в особенности на руководство католических партий... Между правительством США и Ватиканом заключено секретное соглашение, по которому в странах, находящихся под влиянием США, американские монополии должны осуществлять экономическую эксплуатацию, в то время как Ватикан берёт на себя духовное управление».

Известно, что на «духовное управление» претендуют и правые социалисты, активно сотрудничающие во всех странах с католическими партиями. Однако несмотря на всю «преданность» право-социалистических предателей целям американского империализма, они пользуются куда меньшим доверием Уолл-стрита, чем агенты Ватикана. США предпочитают во Франции Бидо и Шумана Жюлю Моку и Рамадьё, в Италии — де Гаспери Сарагату, в Западной Германии — Аденауэра Шумахеру. Но несмотря на соперничество, несмотря на то, что правые социалисты в Европе видят своего главного покровителя скорее в лице лейбористской Англии, они готовы идти на сделки со своими конкурентами по идеологическому оболваниванию масс. Об этом свидетельствует в частности соглашение Бевина с папой по вопросу о политике в Германии, предусматривающее директиву Ватикана немецким католикам — отказаться от лозунга единства Германии, как лозунга «опасного» для интересов Англии и США.

Провокационная роль Ватикана в великой борьбе народов за мир, прислужничество папы перед американскими претендентами на мировое господство — таковы основные факты, характеризующие Ватикан как одну из самых реакционных сил нашего времени.

Б. ЛЕОНТЬЕВ.

Поворотный пункт в истории Европы

Сборник «Образование Германской демократической республики» возвращает нас к тем дням, когда в столице Германии Берлине свершился исторический акт провозглашения нового демократического миролюбивого германского государства. Перед читателем последовательно развёртываются зафиксированные в официальных документах события — от решения президиума немецкого народного Совета и антифашистского демократического блока созвать пленарное заседание немецкого народного Совета с целью создания временной народной палаты и правительства немецкой демократической республики — до одобрения временной народной палатой правительственного заявления премьер-министра Германской демократической республики Отто Гротевоя.

Период, охватываемый этими событиями, невелик — 5—13 октября 1949 года. Но история учит, что иногда несколько дней в жизни народа могут иметь большее значение для всего его дальнейшего развития, чем предшествовавшие им столетия. В течение этих немногих дней свершается то, о чём мечтали гениальнейшие мыслители народа, о чём писали его крупнейшие писатели и поэты, за что боролись его лучшие сыны — передовые борцы за народное счастье.

Октябрьские дни 1949 года, когда была провозглашена Германская демократическая республика, несомненно сыграли именно такую роль в жизни германского народа. Значение образования Германской демократической республики с гениальной прозорливостью было раскрыто в приветствии товарища Сталина Вильгельму Пику и Отто Гротевюлю: «Образование Германской демократической миролюбивой республики, — указал товарищ Сталин, — является поворотным пунктом в истории Европы. Не может быть сомнения, что существование миролюбивой демократической Германии наряду с существованием миролюбивого Советского Союза исключает возможность новых войн в Европе, кладёт конец кровопролитиям в Европе и делает

невозможным закабаление европейских стран мировыми империалистами»¹.

7 октября 1949 года войдёт в историю Германии как дата рождения Германской демократической республики. В этот день в Берлине 9-я сессия немецкого народного Совета провозгласила преобразование немецкого народного Совета во временную народную палату. 10 октября была образована вторая палата — палата земель, а 11 октября на совместном заседании народной палаты и палаты земель был избран президент Германской демократической республики — Вильгельм Пик.

Образование миролюбивой демократической республики в Германии нанесло сильнейший удар англо-американским поджигателям войны.

Германская демократическая республика стала центром притяжения демократических сил во всей Германии. Это было с особой силой продемонстрировано на общегерманском слёте молодёжи в конце мая 1950 года, в котором приняло участие 700 тысяч юношей и девушек.

За небольшой срок, прошедший со времени образования республики, демократические силы добились больших политических и экономических успехов. План 1949 года был выполнен на 104 процента. Было проведено значительное снижение цен на промышленные и продовольственные товары. Благодаря широко развернувшемуся движению активистов труда, уже завершается выполнение двухлетнего плана в целом. Трудящиеся республики встречают третий съезд Социалистической единой партии Германии новыми производственными достижениями. Во всей республике активно проходит подготовка к всеобщим выборам, которые должны состояться в октябре 1950 года. Политические партии договорились о выставлении на выборах общего списка кандидатов. Это свидетельствует о сплочении широких трудящихся масс вокруг правительства республики.

Расцвету экономики в Германской демократической республике противостоят упадок народного хозяйства и непрерывный рост военного бремени в Западной Германии. Задолженность боннского марионеточного «государства» достигла 13 милли-

«Образование Германской демократической республики. Документы и материалы». Госполитиздат, М., 1950.

¹ «Правда» от 14 октября 1949 года.

ардов марок. Мирная промышленность переживает упадок в угоду всемерному развитию военной промышленности. Растёт число безработных. Каждый четвёртый рабочий и служащий в боннском «райхе» и каждый третий рабочий в западных секторах Берлина либо полностью лишён работы, либо имеет работу лишь в течение 3—4 дней в неделю.

Англо-американские империалисты превращают территорию Западной Германии в свой военный плацдарм, а её население в «пушечное мясо». Недавно американский сенатор Истмен с предельной циничностью сформулировал планы поджигателей войны в США и Англии в отношении Западной Германии. «Мы должны, — заявил он в сенате, — разрешить Германии перевооружиться под нашим контролем... Германия снова становится аванпостом западной цивилизации». Под западной цивилизацией американский сенатор понимает «цивилизацию» пушечных королей, нефтяных магнатов и банковских воротил США, гангстерскую «цивилизацию» американских империалистов, стремящихся к мировому господству. Эту «цивилизацию» истмены, ачесоны и трумэны хотят «защитить», собирая в Западной Германии всякий фашистский сброд, восстанавливая гитлеровские вооружённые силы и могущество рейнско-рурских магнатов, готовя развёртывание третьей мировой войны.

В середине июня боннский канцлер Аденауэр выступил с планом создания «федеральной полицейской армии», которая и должна будет служить костяком будущих западногерманских вооружённых сил. Как указывает коммунистическая партия Германии в специальном заявлении по поводу плана Аденауэра, этот план «вполне соответствует замыслам западных генеральных штабов о вовлечении Западной Германии в американские агрессивные планы».

Создание миролюбивого германского государства показывает, что эти расчёты англо-американских империалистов построены на песке. Германская демократическая республика — оплот всех демократических и патриотических сил Германии, которые извлекли правильные уроки из исторического прошлого страны и стали на путь мира. «Главная задача Германской демократической республики, — указывается в

проекте резолюции третьего съезда СЕПГ, — состоит теперь в том, чтобы доказать всему немецкому народу превосходство существующего в Германской демократической республике антифашистско-демократического порядка, убедить его в том, что республика представляет собой пример для всей Германии».

Документы, принятые в дни создания республики и вошедшие в рецензируемый сборник, показывают, что путь, по которому идёт Германская демократическая республика, — это единственно правильный путь для всего германского народа. Этот путь ведёт к мирному и демократическому развитию Германии, к включению её в качестве равноправного члена в общую семью миролюбивых народов.

В речи, произнесённой после избрания его президентом, Вильгельм Пик призвал немецкий народ крепить молодую Германскую республику, отдать все свои силы на борьбу за единую демократическую и миролюбивую Германию. «Сегодня мы стоим на повороте нашей истории, — заявил Пик. — Благодаря неустанной работе лучших сил немецкого народа и благородной помощи, оказанной нам Советским правительством, мы предпринимаем первые самостоятельные государственные шаги. Путём сознательного, лояльного и дружественного сотрудничества мы должны доказать, что мы в состоянии решать исторические задачи и со временем сможем устоять перед приговором истории».

В заявлении премьер-министра Гротеволь была сформулирована демократическая и миролюбивая программа деятельности правительства Германской демократической республики. Отто Гротеволь разоблачил раскольническую империалистическую политику западных держав в Германии. Он показал, что эта политика направлена на то, чтобы втянуть немецкий народ в новую военную катастрофу. Как указывал Гротеволь, целью западных держав является: «превратить юридически обоснованную временную оккупацию в незаконную и не ограниченную временем вооружённую интервенцию в Западной Германии».

В этих условиях перед правительством Германской демократической республики стоят особенно важные и ответственные задачи. Правительство республики провозгласило своей целью борьбу за мирное и

демократическое развитие Германии. При этом правительство исходит из решений Потсдамской конференции.

Особое место в выступлениях Пика и Гротеволья занимает вопрос об отношении Германской демократической республики к Советскому Союзу. Руководители демократической Германской республики отмечают, что лишь благодаря героическим усилиям советского народа, разгромившего немецко-фашистскую армию и освободившего германский народ от господства гитлеровской клики, стало возможным демократическое развитие Германии и провозглашение нового, демократического и миролюбивого германского государства. Советский Союз, руководствуясь указаниями великого Сталина, всегда делал различие между германским народом и гитлеровской кликой, всегда защищал подлинные национальные интересы Германии, интересы её мирного развития в рамках единого и демократического государства. «Мир и дружба с Советским Союзом, — заявил Гротеволь, — являются предпосылкой не только расцвета, но и самого национального существования германского народа и государства». Гротеволь указал, что политика мира и дружбы с Советским Союзом должна быть распространена и на взаимоотношения Германской демократической республики со странами народной демократии.

Оставаясь верным своей неизменной политике демократического и миролюбивого разрешения германской проблемы, Советское правительство решило передать временному правительству Германской демократической республики функции управления, принадлежавшие ранее Советской военной администрации, и создать вместо

Советской военной администрации в Германии Советскую контрольную комиссию.

Важным вкладом в дело укрепления дружественных отношений между Советским Союзом и Германской демократической республикой явилось решение правительства СССР, принятое по согласованию с правительством Польской республики, о сокращении наполовину репарационных платежей для Германии.

Миролюбивая внешняя политика Германской демократической республики приводит к укреплению внешнеполитических позиций республики, к установлению дружественных отношений с другими демократическими народами. Большое значение с этой точки зрения имело подписание 6 июня 1950 года соглашения о демаркации польско-германской государственной границы по рекам Одер—Нейссе между Польшей и Германской демократической республикой. Это соглашение показало, что происки англо-американских империалистов, пытающихся разжечь вражду между польским и германским народами, терпят провал. Показателем новых дружественных отношений, возникающих между германским народом и народами демократических стран Центральной и Восточной Европы после образования Германской демократической республики, являются также соглашения о политическом, экономическом и культурном сотрудничестве между Германской демократической республикой, Чехословакией и Венгрией.

Германская демократическая республика стала важным фактором мира в Европе. Она заняла своё место в великом лагере мира, во главе которого стоит могучий Советский Союз.

Д. МЕЛЬНИКОВ.

★

Борец за демократическую Германию

В дни, когда немецкий народ напрягает свои усилия, чтобы построить единую, демократическую и прогрессивную Германию, занять место среди свободных и миролюбивых народов мира, всё чаще и чаще в памяти миллионов людей оживает образ выдающегося революционера,

В и л л и Б р е д е л ь. «Эрнст Тельман». (Главы из книги). «Октябрь», № 4, 1950. Главный редактор Ф. Панфилов.

вождя германской коммунистической партии Эрнста Тельмана.

Шестнадцать лет тому назад Георгий Димитров в предисловии к книге «Эрнст Тельман» писал о принципиальной важности изучения трудящейся молодёжью жизни и деятельности замечательных революционных борцов. Путь Тельмана, — указывал Г. М. Димитров, — «это трудный и тернистый путь революционера-пролетария,

сумевшего благодаря упорной, непрерывной работе над собой, в постоянной борьбе с лишениями, невзгодами и опасностями, неутомимо служа делу своего класса, шаг за шагом вырасти в вождя германских рабочих, пользующегося любовью и уважением широких трудящихся масс».

Тельман дорог не только трудящимся Германии. Благородное, мужественное имя вождя немецких коммунистов, верного ученика Ленина и Сталина, дорого сегодня всем, кто борется за мир, за лучшее будущее народов, против неофашизма, прстив англо-американских империалистов.

Интерес к жизни и деятельности Эрнста Тельмана в нашей стране очень велик.

Вот почему в 1950 году—в журнале «Октябрь» № 4 почти полностью, а в журналах «Звезда» № 3 и «Огонёк» в отрывках—появился перевод книги немецкого писателя-антифашиста Вилли Бределя «Эрнст Тельман». Книга эта является по существу первым сводом материалов к политической биографии Тельмана.

Написанное точным, скупым языком, обильно документированное историческое повествование Бределя достоверно и художественно правдиво. В одиннадцати главах перед нами проходит жизненный путь Тельмана от рождения (16 апреля 1886 года) до трагической гибели (август 1944 года), в неразрывной связи с борьбой германских трудящихся против капиталистического господства и кабалы юнкерства, против кайзеровской империи, социал-предателей и кровавой фашистской диктатуры третьего рейха.

В первых главах—«Отчий дом Эрнста Тельмана», «Годы политической учёбы» Бредель показывает капиталистический Гамбург—торговые ворота германской империи, рисует рабочих Гамбурга—«социалистической столицы Германии».

Отец Эрнста Тельмана Иоганн Тельман был активным участником социалистического движения. Детство Эрнста Тельмана совпало с годами, когда имя отца было занесено в «чёрные списки». Семья бедствовала, и молодому Эрнсту пришлось после окончания гамбургской народной школы стать чернорабочим. Ещё подростком нанялся он помощником коচেга на пароход, отходивший в Америку. Несколько месяцев проработал он подёнщиком на

ферме вблизи Нью-Йорка. В скором времени Тельман возвратился на родину.

Ему было шестнадцать лет, когда он вступил в ряды организованного рабочего движения. Несмотря на молодость, Тельман стал доверенным лицом своих товарищей по партии и профсоюзу. Вскоре, вслед за отцом, Эрнст Тельман попал в «чёрные списки» и лишился работы. Около двух лет, испытывая лишения безработицы, Тельман с неослабевающей энергией продолжал профсоюзную деятельность, выступая против реформистской бюрократии, объединяя молодёжь, отстаивая интересы трудящихся.

В главе «Первая мировая война» Бредель рассказывает, каким тяжёлым ударом для миллионов немецких трудящихся было предательство вождей социал-демократической партии Германии—Каутского, Шейдемана, Эберта, Носке и других, проголозовавших за военные кредиты.

Тельман, как «бунтовщик», ранее призыва своего года был отправлен на фронт. Там, в окопах Шампани, на Сомме, у реки Энн, продолжал он вести среди товарищей антивоенную агитацию.

В книге Бределя рассказано, какую решающую роль сыграла в судьбе Тельмана Великая Октябрьская социалистическая революция. «Суровая школа военных лет сделала Эрнста Тельмана непоколебимым революционером. Величественная победа русского рабочего класса под руководством партии Ленина наполнила его, как и тысячи других немецких рабочих, новой уверенностью и новой волей к борьбе».

Интересно привести выдержки из сделанной Тельманом на немецком языке во время одного из посещений Советского Союза записи в книге почётных посетителей легендарного крейсера «Аврора» (запись эта в книге Бределя отсутствует):

«В исторические часы, которые тогда переживал весь мир, у революционных рабочих и матросов родилась новая революционная надежда. И если буржуазия, если продажная социал-демократия развяжут новую империалистическую войну, вам—красные матросы, вам—революционные рабочие, даём мы клятву—мы будем с вами вместе, вместе с Советским Союзом... Наш боевой призыв, наш боевой сигнал будет в эти часы—«Аврора!».

Последующие главы книги Бределя — «Против милитаризма и реакции», «Личность Эрнста Тельмана» и «Авангард трудового народа» — рассказывают о том, как Тельман после возвращения с фронта возглавил в Гамбурге борьбу с реакцией.

Разоблачая перед массами тайные планы заклятых врагов народа, борясь против милитаризма и реакции в Германии, Тельман снискал любовь и преданность трудящихся, вызвал люютую ненависть врагов. В декабре 1920 года Эрнст Тельман привёл за собой в ряды коммунистической партии девять десятых членов гамбургской организации «независимых».

Бредель рассказывает о том, какое внимание уделял Тельман революционной теории, марксистской философии. «Самоучка, он неутомимо и упорно работал над собой. С особым вниманием изучал он историю русского рабочего движения, историю партии Ленина, и каждая речь, каждая статья Эрнста Тельмана свидетельствует о том, насколько глубоко вникал он в проблемы Великой Октябрьской революции и социалистического строительства».

Героическая борьба гамбургского пролетариата в октябрьские дни 1923 года свидетельствовала о большой внутренней силе, спаянности организации, выкованной Тельманом. Вопреки социал-демократическим вождям, добивавшимся раскола рабочего класса, вопреки троцкистским предателям, сорвавшим подготовку вооружённого восстания в стране, Эрнст Тельман возглавил борьбу красного Гамбурга, повёл рабочих на баррикады.

Героическое гамбургское восстание, преданное троцкистско-брандлеровскими изменниками, было подавлено. Но оно показало всей трудовой Германии, что единственная партия, ведущая до конца борьбу с буржуазией, — это коммунистическая партия.

Вилли Бредель, сам участвовавший в баррикадных гамбургских боях, уделил в своей книге гамбургскому восстанию и участию в нём Тельмана недостаточное место. Думается, что в последующих изданиях книги автору следует исправить это упущение.

С проникновенной любовью к вождю немецких рабочих рассказывает Бредель о многосторонней деятельности Тельмана в

качестве председателя ЦК компартии Германии (1924—1933).

В речи на заседании германской комиссии VI расширенного пленума ИККИ 8 марта 1926 года товарищ Сталин говорил: «Нынешний ЦК германской компартии сложился не случайно. Он родился в борьбе с правыми ошибками. Он окреп в борьбе с «ультралевыми» ошибками... Это есть ЦК ленинский. Это есть та самая руководящая рабочая группа, которая нужна теперь германской компартии»¹.

Задача компартии Германии, сформулировал товарищ Сталин в своей речи, состоит «в том, чтобы проложить дорогу к социал-демократически настроенным рабочим массам, заблудившимся в дебрях социал-демократической неразберихи, и завоевать таким образом большинство рабочего класса на сторону компартии»².

Всей своей повседневной работой, в личном общении с массами, в статьях, в речах на митингах, в выступлениях в рейхстаге Эрнст Тельман последовательно и убеждённо боролся за единство рабочего класса. Он призывал всех социал-демократических рабочих, всех трудящихся Германии, независимо от их партийной принадлежности, к единству действий против угрожающей фашистской опасности. В то время, когда вожди социал-демократии выдвигали парализовавшую пролетариат «теорию меньшего зла», подготавливая передачу власти германскому фашизму, призывая голосовать за предоставление буржуазному правительству чрезвычайных полномочий, Тельман и руководимая им коммунистическая партия мобилизовывали трудящихся на защиту демократических свобод, предостерегали от провокаций национал-социалистов.

«Коммунистическая партия, — говорил Эрнст Тельман, — не имеет особых партийных интересов, отличных от классовых интересов рабочих. Её политика — это политика рабочего класса. Именно поэтому только коммунистическая партия в состоянии обращаться к пролетарским массам с призывом о боевом едином фронте, без всяких задних мыслей, не ради тактических манёвров, без оговорок, не ставя никаких условий, кроме одного: чтобы единый фронт, подлинный единый фронт,

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 8, стр. 110.

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 8, стр. 111.

был выкован для борьбы за интересы пролетариата, для борьбы против капитала, против буржуазии, против классового врага».

Тельман призывал трудящихся Германии учиться на примере страны победившего социализма. Он говорил немецкому народу: «Вся политика Советского Союза — это неизменная политика мира».

Тельман неоднократно бывал в СССР — в Москве, Ленинграде, Киеве, приезжал на новостройки и в колхозы, бывал дорогим гостем в частях Красной Армии и на боевых кораблях. Многим заводам, колхозам, школам в нашей стране присвоено имя Тельмана. Жаль, что Вилли Бредель приводит в своей книге недостаточно материалов о поездках Тельмана в СССР.

С непоколебимой силой выступавший против поджигателей войны, Эрнст Тельман звал германский народ и все другие народы к единству в борьбе против фашизма. С волнением читаем мы рассказ о том, как в октябре 1932 года Тельман, которому французское правительство отказало в визе, перешёл нелегально границу, чтобы выступить в Париже на митинге в защиту мира.

Тельман говорил: «Мы должны показать со всей необходимой ясностью, что мы можем осуществить национальное освобождение народа без захватнической войны, без угнетения чужих народов. Они, нацисты, — это партия реванша, мы, коммунисты, — партия мира».

Слова Тельмана, борца за мир, находили ответный отклик в сердцах всех, кому ненавистен фашизм.

Заключительные главы книги Бределя — «Самая мрачная эпоха германской истории», «Письма Тельмана из тюрьмы», «Убийство Эрнста Тельмана» — рассказы о революционном мужестве славного сына трудовой Германии, о стойкости его духа, о борьбе, которую вёл Тельман в течение одиннадцати с половиной лет за тюремными стенами.

Потерпев решающее поражение на Лейпцигском процессе над Г. М. Дмитриевым, гитлеровцы не осмелились вступить в судебный поединок с Тельманом, они боялись своего узника. Но ни жестокие пытки, ни полная изоляция от внешнего мира не сломили его боевой дух.

Из писем Тельмана, сгруппированных

Бределем в особую главу, из политических высказываний Тельмана, о которых его друзья узнавали тайным путём, явствует, что и в фашистских застенках Тельман оставался верным учеником Ленина и Сталина, передовым борцом за мир и свободу.

М. Горький сказал о Тельмане и о его смелых товарищах, не прекращающих борьбу: «Настанет момент, когда эти сердца вспыхнут единым пламенем и выжгут до корней фашизм, гнилую язву мира.. Да здравствует Тельман и его мужественные товарищи, которые неумоимо роют могилу фашизму»¹.

В письмах, которые Тельману удавалось пересылать товарищам по борьбе, он радовался хозяйственным и политическим успехам Советского Союза. В ответ на клеветнические измышления нацистского следователя, пытавшегося ему «доказать», что Советская Россия должна рухнуть, Тельман ответил: «Советский Союз существует уже двадцать лет. Третья империя столько не просуществует».

Отрезанный от мира, Тельман исключительно ясно и точно оценивал политическое положение. После мюнхенского соглашения он писал: «Война близка. Манёвры гитлеровского правительства не могут вести в заблуждение на этот счёт. На мой взгляд, всё идет к тому, что катастрофа вскоре разразится...»

Осенью 1941 года, когда фашистские войска стояли под Москвой и Ленинградом, несколько гестаповцев пришли к Тельману в камеру и стали над ним издеваться: «Ну что вы теперь скажете? С Советской Россией покончено».

Тельман ответил им: «Сталин свернёт Гитлеру шею!»

Любовно, по крупицам, собрал Вилли Бредель проверенные факты о последних годах жизни Тельмана. Через стены Моабита, Ганноверской, Бауценской тюрем, где томился Тельман, патриоты-антифашисты, рискуя жизнью, поддерживали связь вождя коммунистической партии Германии с народом, передавали ему братские слова дружбы и приветия. И хотя у нас нет об этом сведений, хочется верить, что к Тельману в его одиночную камеру пробивались, долетели в феврале 1942 года вещи Сталинские слова: «Опыт истории говорит,

¹ «Правда» от 16 апреля 1936 года.

что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остаётся»¹.

...В августе 1944 года нацисты злодейски расстреляли Эрнста Тельмана в концентрационном лагере Бухенвальд близ Веймара. Но имя Тельмана живёт в Гер-

¹ И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Госполитиздат, 1947, стр. 46.

манской демократической республике, присягнувшей на вечную дружбу с Советским Союзом. Оно живёт в делах Социалистической единой партии Германии, верной интересам трудящихся.

Оно живёт и в той правдивой и честной книге, которую посвятил выдающемуся деятелю германского народа Эрнсту Тельману писатель-антифашист Вилли Бредель.

В. АЗАРОВ.

★

Дорога чести — дорога коммунистов

Жизнь в маршаллизованной Франции наших дней во многом напоминает жизнь Франции в канун второй мировой войны.

Как тогда, так и теперь правящие круги Франции проводят политику чуждую её собственным национальным интересам, политику, которая грозит новыми бедствиями многострадальному французскому народу.

Как тогда, так и теперь единственной партией, которая находит в себе мужество бороться против подобной позорной и предательской политики, является коммунистическая партия.

Как тогда, так и теперь реакция, опасаясь дальнейшего роста влияния французской коммунистической партии, создаёт вокруг её руководителей атмосферу клеветы, провокации и репрессий.

Как тогда, так и теперь Национальное Собрание Франции проявляет широкую готовность воспользоваться любым предлогом, чтобы лишить парламентского иммунитета и выдать шакалам юстиции для судебной расправы депутатов-коммунистов, беззаветно отстаивающих интересы народа.

Однако наряду со сходством, в обстановке тогдашней и теперешней Франции имеются и различия. Если до войны предательская политика правителей Франции проводилась в угоду фашистской Германии, то теперь она проводится в угоду империалистической Америке. Основным фактом, резко отличающим послевоенное политическое положение во Франции, является огромный рост сознательности ши-

роких масс французского народа. Коммунистическая партия ведёт за собой теперь не тысячи, а миллионы тружеников Франции. А попытка реакции оклеветать компартию и загнать её в подполье встречает мощное сопротивление народа, в ходе истории убедившегося, что только коммунисты — последовательные защитники его интересов. Компартия стала самой сильной и организованной партией Франции.

В связи со всем этим большой интерес представляет книга члена Центрального Комитета коммунистической партии Франции Флоримона Бонта «Дорога чести». Книга эта посвящена описанию Франции 1939—1940 годов и главным образом сфабрикованному тогда процессу над депутатами-коммунистами. Этот эпизод, уже принадлежащий истории, отражает беззаветную борьбу коммунистов, ведущих трудовой люд Франции на штурм капитализма. И поэтому повествование о событиях десятилетней давности звучит весьма актуально и теперь.

Флоримон Бонт показывает, как в преддверии второй мировой войны, когда угроза смертельной опасности государственному бытию Франции стала очевидной, её демократические элементы во главе с коммунистической партией призывали трудящихся к единству и мобилизации всех сил для боевого отпора врагу.

Но французская буржуазия, предав общенациональные интересы, предоставила чрезвычайные полномочия своему правительству не для организации обороны страны, а для перехода в наступление против рабочего класса, против крестьянства, против коммунистической партии и повела гнусную антисоветскую кампанию.

Флоримон Бонт. «Дорога чести». Перевод с французского. Редакторы Л. Зактрегер и Л. Телешова. Издательство иностранной литературы, М. 1949.

Газета «Тан» писала тогда: «Враг № 1 — не германская армия, а СССР, коммунизму».

Тысячи коммунистов были брошены в тюрьмы, коммунистические газеты — в том числе и центральный орган коммунистической партии Франции «Юманите» — закрыты.

5 октября 1939 года правительство Даладье отдало приказ об аресте и предании военному суду 44 коммунистических депутатов.

Поводом для обвинения явилось образование рабоче-крестьянской группы парламента (она была создана в полном соответствии с правилами, действовавшими в палате депутатов, и утверждена председателем палаты с опубликованием её программы в «Журналь офисель») и посылка этой группой письма председателю палаты Эррио с требованием ходатайствовать перед правительством о разрешении на созыв палаты.

С самого начала было очевидно, что правящие круги Франции собираются только процессуально оформить предreshённый за стенами суда вопрос о расправе с депутатами-коммунистами.

Подсудимый Жорж Леви иронически заявил суду: «Господа судьи, вас поставили перед трагической дилеммой. Правительство и палата депутатов уже вынесли нам приговор. Вы должны либо дезавуировать их, либо приговорить нас — вы лишены свободы решать».

Однако после первого же дня судебного разбирательства стало очевидным, что расправиться с депутатами-коммунистами будет не так легко. Газета «Попюлер» — орган «социалистической» партии — в самом начале процесса вынуждена была с грустью признать победу депутатов-коммунистов над своими противниками. Она писала:

«Было бы совершенно тщетно в конце этого долгого судебного дня кривить душой или пытаться что-то скрыть. Истина выявляется с очевидностью, и достаточно кратко рассказав о судебном разбирательстве, чтобы показать, что депутаты-коммунисты добились большой победы, а трибунал потерпел тяжёлое поражение»...

Убедившись в боевом настроении депутатов-коммунистов и их адвокатов, правительственный комиссар полковник Лорно

в начале второго заседания возбудил ходатайство о слушании дела при закрытых дверях. Это требование вызвало негодующие возражения депутатов-коммунистов и их адвокатов. «Да что же это такое! В течение ряда месяцев, — говорили депутаты-коммунисты, — на нас злостно клеветали и поносили нас в печати. Нас обвиняли в измене. А сегодня мы не имеем права доказать, что мы верны Франции, доказать свою невиновность». Но военный трибунал объявил своё решение о слушании дела при закрытых дверях, так как «гласность судебного разбирательства могла бы представлять опасность для порядка».

Тем не менее сквозь наглухо закрытые двери судебного заседания французский народ услышал голос своих избранных; вести об их героическом поведении передавались из уст в уста, и провал процесса вынуждена была признать и буржуазная печать.

Кто же призван был «изобличить» на этом процессе депутатов-коммунистов?

Против них обвинительная власть сумела мобилизовать только девять свидетелей — шестерых буржуазных парламентских журналистов, переписчика из агентства «Гавас», привратника из палаты депутатов и полицейского комиссара из управления судебной полиции, причём показания этих свидетелей под перекрёстным допросом депутатов-коммунистов и их адвокатов закончились полным конфузом.

Этим «свидетелям» обвинения со стороны защиты были противопоставлены общественные деятели, чей высокий моральный авторитет говорил сам за себя, — широко известные профессор Ренэ Моблан и Анри Валлон, выдающийся писатель Жан Ришар Блок, один из прославленных физиков мира Поль Ланжевэн. Их показания не оставили камня на камне от шаткого здания обвинения. Несмотря на то, что в период подготовки процесса буржуазная печать изо дня в день изображала депутатов-коммунистов предателями и шпионами, обвинители оказались вынужденными признать клеветнический характер всей этой кампании:

«С самого начала нашей обвинительной речи, — сказали оба обвинителя, — мы хотим заявить, что здесь на суде не стоит и не может стоять вопрос ни о предательстве, ни о шпионаже, ни о связи с врагом.

Мы должны заявить, что у нас нет никаких оснований для подобных обвинений». Однако и те пункты обвинительного акта, которые поддерживали прокуроры, звучали в их устах чрезвычайно искусственно и неубедительно. Каждый присутствовавший в зале судебного заседания чувствовал, что обвинение поддерживается только в силу приказа правительства и стоящей за его спиной клики монополистов.

На последнем заседании суда от имени всех депутатов-коммунистов с ответом на «обвинения» выступил Франсуа Бию.

«На этом процессе, который сейчас приходит к концу, — сказал он, — обвиняемыми были не коммунистические депутаты и не коммунизм».

Франсуа Бию вскрыл мотив привлечения к судебной ответственности депутатов-коммунистов: «Нас привлекли к суду потому, что мы были единственными, кто нашёл в себе мужество обратиться к народу с призывом прогнать правительство Даладьё, то самое правительство, которое несёт тяжёлую ответственность за войну и которое установило в нашей стране реакционные порядки и применяло гитлеровские методы».

С огромным подъёмом Франсуа Бию закончил свою речь словами, полными презрения к предателям и трусам, полными любви к французскому народу — потомкам коммунаров, «штурмовавших небо», полными веры в победу пролетариата.

Несмотря на явный провал процесса и полную бездоказательность обвинения, де-

путаты-коммунисты были признаны виновными и осуждены в общей сложности к 212 годам тюрьмы и сверх того к штрафу на сумму свыше двух миллионов франков.

По указанию правительства для осуждённых были созданы условия более унижительные и тяжёлые, нежели для самых закоренелых уголовных преступников. Даже тяжёлое болезненное состояние депутатов Альбера Пети, Александра Прашэ, Луи Про, Гастона Корневена, Анри Лозере не было признано достаточным основанием для перевода осуждённых на положение политических заключённых. Это становится вполне понятным, если иметь в виду, что министром юстиции Франции в это время был «социалист» Альбер Сероль, который «прославил» себя только тем, что ввёл смертную казнь за коммунистическую пропаганду.

Но депутаты-коммунисты и на каторге остались верны своей партии.

Морис Торез был глубоко прав, когда писал в 1944 году, что депутаты-коммунисты «показали себя достойными наших великих традиций», что они «вели себя, как настоящие большевики».

Можно не сомневаться, что книга Флоримона Бонта, повествующая об исключительном мужестве и патриотизме французских депутатов-коммунистов, будет с большим интересом и пользой прочитана самым широким кругом советских людей.

Доктор юридических наук
М. ШИФМАН.

★

Соревнование в невежестве и во лжи

Гитлеровский фельдмаршал фон Рундштедт, крепко битый советскими войсками во многих сражениях, горько жаловался в час расплаты на неосведомлённость германского командования: сведения фашистов о Советском Союзе оказались, к его огорчению, сплошным вздором — свои бредовые планы уничтожения советского государства и советской культуры Гитлер мог строить только на невежестве и на лжи.

По примеру Гитлера и Геббельса, боссы Уолл-стрита также считают, что самое луч-

шее средство воодушевить себя на поход против Советского Союза — это закрыть раз и навсегда глаза на правду и провозгласить культ лжи во всём решительно, что относится к ролю, могуществу, истории и культуре советского народа. Так проще и так приятнее... И опять-таки, подобно Гитлеру и Геббельсу, магнаты Уолл-стрита находят в подвластных им государствах ревностных прислужников среди того класса, который рад бы продать им полностью свою страну, достоинство и независимость своего народа.

Перед нами французский энциклопедический словарь «Новый маленький Ларусс»

„Nouveau Petit Larousse illustré“. Paris, 1949.
(«Новый маленький иллюстрированный Ларусс», Париж, 1949).

издания 1949 года. Словарь этот — типичнейший продукт французского буржуазного мышления. Перелистав «Маленький Ларусс», боссы Уолл-стрита останутся довольны. Они охотно признают, что как только речь идёт о Советском Союзе, французская буржуазия способна перещеголять в невежестве и лжи своих ааокеанских хозяев.

В предисловии к словарю сказано: «Читатель может быть уверен, что найдёт о каждом событии, о каждом шедевре, о каждой стране и о каждом знаменитом человеке ясную и достаточную монографию». И далее объявлено, что в словарь включено множество данных о деятелях и событиях второй мировой войны, «о которых нельзя не знать и которых не следует забывать». Откроем же словарь и посмотрим, что, по мнению его составителей, достойно сохраниться в памяти французского маршаллизованного буржуа.

Франция — страна четырёх революций. Читатель словаря мог бы, следовательно, ожидать, что раздел, посвящённый революциям, будет в нём особенно обстоятельным. Действительно, Французской буржуазной революции в этой краткой энциклопедии отведено не менее 52 строк. Ну а Великой Октябрьской социалистической революции? Три строки. Вот их точный перевод: «В XX веке великая война вызвала русскую революцию 1917 года, которая свергла царский строй и династию Романовых». И всё. Как видим, составители словаря всецело идут навстречу пожеланиям французского буржуа.

Второй мировой войне «Маленький Ларусс» отводит почти три страницы. Поищем же в них отклик на те события, о которых, как объявлено в предисловии, не следует забывать. Что сказано, например, о битве под Москвой, впервые рассеявшей миф о непобедимости гитлеровской армии? Ничего не сказано. Величайшему в истории Сталинградскому сражению отведено столько же места, сколько наступлению Монтгомери на Триполи и походу французского полковника Леклера. О битве на Курской дуге читатель словаря опять-таки ничего не узнает. Читаем далее, что Вена была занята, что Берлин пал, но кем была занята, перед кем пал — об этом «Ларусс» умалчивает. О Черчилле, всячески тормозившем открытие второго фронта в Европе, сказано, что он был «вдохновителем союз-

нического сопротивления во второй мировой войне». Думается, в этих словах сквозит забота не только о французском буржуа, но и о самом Черчилле и иже с ним.

Некогда один французский буржуазный историк опубликовал справку об Иване Грозном, начинающуюся так: «Иван Грозный, прозванный за свою жестокость Васильевичем». Современным французским буржуазным историкам куда труднее щеголять умышленным и подлинным незнанием России, нежели их предшественникам. Могучий авторитет Советского Союза проламывает стену лжи и замалчивания. И вот «Маленькому Ларуссу» приходится заниматься буквально цирковой эквилибристикой. Так, в разделе «СССР» он вынужден даже пробормотать, что Советский Союз «мощно содействовал победе союзников во второй мировой войне». Не ищите, однако, в словаре признания, что это «содействие» принесло избавление народам Европы, в том числе и французскому народу, от фашистского рабства: о нет, французская буржуазная энциклопедия спешит пояснить, что военная мощь Советского Союза дала ему возможность... «распространить своё владычество над всей Восточной Европой». Какая трогательная переключка с «Голосом Америки», с мёртвым Геббельсом и другими гитлеровскими преступниками, закончившими свои дни на виселице!

В разделе «Россия» читаем: «Холод изгнал Наполеона из России». Таково «освещение» причин разгрома наполеоновских войск русской армией. И здесь легко усмотреть поразительную аналогию с гитлеровскими высказываниями в 1941 году, когда неудавшийся Наполеон XX века тоже осылался на холод, чтобы уменьшить горечь своего поражения под Москвой.

Впрочем, вряд ли стоит спорить со «знатоками» русской истории, которые сообщают о Борисе Годунове: «Русский царь, министр Фёдора I, которого отравил и заменил на престоле; покончил самоубийством» (!). Что можно добавить к этому? Даже в Голливуде ещё не выдумали такого «сюжета» для очередного фильма из «русской истории».

О городах Советского Союза, о численности их населения и об их промышленности «Маленький Ларусс» приводит сведения, чаще всего соответствующие данным, помещённым в русских дореволюционных изданиях. Такая статистика приятней и

американским хозяевам и их французским лакеям. Не вышло в жизни, так пусть хоть в словаре Россия останется бедной провинцией Европы! Так в точности поступали и нацистские информаторы, которые столь сильно подвели своё начальство.

А вот как расправился словарь с русской наукой. О великом её основателе и мировом гении сказано: «Ломоносов (Михаил Васильевич) русский поэт и литератор, родился в Холмогорах (1711—1765)». И больше ни слова. Дальше как будто итти некуда? Но, оказывается, можно пойти и дальше. О величайшем физиологе И. Павлове, чьё имя известно во всём мире каждому образованному человеку, не сказано ничего. Имя И. Павлова попросту отсутствует в «Маленьком Ларуссе».

«Благодаря трудам Бранли, Маркони и т. д., — сообщает словарь, — удалось построить аппараты беспроволочного телеграфа». И так, А. Попов, истинный его изобретатель, попал, очевидно, в категорию «и т. д.». Об Эдисоне с расшаркиванием объявлено, что он изобрёл электрическую лампочку, а о Лодыгине, который изобрёл её на самом деле, ни слова. Равным образом не упомянуты в «Маленьком Ларуссе» корифеи русской и мировой науки: И. Сеченов, П. Чебышев, Н. Жуковский, К. Тимирязев, И. Мичурин.

Русское искусство. Повезло В. Верещагину: попал в «Маленький Ларусс», да ещё как «автор красивых картин». А вот В. Суриков не попал, не удостоился, равно как и И. Репин, К. Брюллов, А. Иванов, К. Крамской.

О композиторе М. Мусоргском «Маленький Ларусс» сообщает своим читателям, что его звали просто «Петровичем»: «Мусоргский (Петрович), русский композитор...» Это уж прямо смахивает на приведённую выше справку о Грозном.

Литература. Вот что сказано о Пушкине:

«Пушкин (Александр), русский лирический поэт, родился в Москве (1799—1837); автор «Руслана и Людмилы», «Онегина», «Бориса Годунова». И так, Пушкин — только лирический поэт. Между тем, по тому же «Ларуссу», лирический поэт — это такой поэт, который пишет оды, кантаты и т. д. Очевидно, по мнению словаря, «Евгений Онегин» — ода, а «Борис Годунов» — кантата. О Льве Толстом, как о писателе, узнаём всего-навсего, что он превосходно описывает русскую жизнь и русские нравы. И на том спасибо! О Некрасове ни слова, ни слова и о Герцене, о Белинском, о Чернышевском...

Среди современных французских писателей составители словаря почтительно упоминают о всех отпетых реакционерах, особо выделяя таких матёрых врагов демократии и прогресса, как Жид и Мориак. А о Барбюссе ни слова. Как же судят эти господа о самом прогрессе? В справке о Луи Блане они пишут, что это был деятель «взглядов передовых, но благородных». О, это бесподобное «но», в котором вытянулись во всю длину «мидасовские» уши составителей «Маленького Ларусса»!

Что же сказать в заключение? Не сможет «Ларусс» скрыть от французского читателя правду о Советском Союзе! Площади и улицы, носящие имя Сталина и Сталинграда в городах Франции и в городах всех стран, обязанных Советскому Союзу своим спасеньем, названы так по воле миллионов людей, и эти люди черпают сведения об СССР не из буржуазных энциклопедических словарей. Эти люди с великим уважением и надеждой смотрят на страну социализма и клеймят презрением грязных клеветников, тщетно пытающихся очернить вдохновляющий пример советского народа.

Л. ЛЮБИМОВ.

★

Экономика

Книга о народном хозяйстве Украины

Задача создания обстоятельной истории экономического развития Советского Союза давно уже стоит перед учёными нашей страны. Очевидно, что такая история не может быть создана без подробных исследований, посвящённых отдельным союзным республикам. Поэтому заслуживает пристального внимания коллективная работа Института экономики Академии наук УССР «Очерки развития народного хозяйства Украинской ССР». Эта работа является первой попыткой подвести итоги экономического и культурного развития советской Украины.

В книге собран богатый материал. Тема книги исключительно актуальна, так как в изучении социально-экономического развития отдельных союзных республик заинтересованы широкие круги советских читателей, стремящихся познать и осмыслить сложный путь, пройденный в своём развитии первым в мире социалистическим государством. Поучительная история хозяйства и культуры советских народов имеет важное значение и для трудящихся стран народной демократии, использующих богатейший опыт советских людей в построении социалистического общества.

Взяв за основу сталинскую периодизацию истории развития социалистического государства, составители книги подробно и последовательно изложили экономическую историю советской Украины на фоне общего развития хозяйства и культуры всего Советского Союза.

Сорокамиллионный украинский народ прошёл за годы советской власти большой и сложный путь. Под руководством большевистской партии он отстоял от многочисленных врагов свою социалистическую родину, а затем неустанно трудился над восстановлением и дальнейшим развитием своего хозяйства.

«Нариси розвитку народного господарства Української РСР». Академія наук Української РСР. Інститут економіки. Відповідальний редактор Д. Ф. Вірник. Видавництво Академії наук Української РСР, Київ, 1949.

«Очерки развития народного хозяйства Украинской ССР». Академия наук Украинской ССР. Институт экономики. Ответственный редактор Д. Ф. Вирник. Издательство Академии наук Украинской ССР. Киев, 1949).

Предвоенные сталинские пятилетки неузнаваемо преобразили экономику и культуру Украины. Из страны раздроблённого мелко-крестьянского хозяйства Украинская ССР превратилась в цветущую индустриальную и колхозную республику. Промышленная продукция Украины за это время возросла в восемь раз. На Украине появились новые отрасли промышленности, механизированные шахты и сверхмощные электростанции.

В республике давно уже достигнута сплошная грамотность населения. Мощное развитие получила украинская культура, национальная по форме и социалистическая по содержанию.

В годы Великой Отечественной войны советская Украина особенно сильно пострадала от фашистского нашествия. Общий ущерб, нанесённый народному хозяйству Украины, выражается огромной цифрой в 285 миллиардов рублей. В книге рассказано о больших успехах украинского народа в восстановлении хозяйства республики, о постоянной братской помощи, оказываемой советской Украине русским народом и другими братскими народами нашей страны.

Авторы использовали большое количество статистических источников, официальные материалы, а также документы, извлечённые из местных украинских архивов. В отдельных разделах книги читатель найдёт немало новых и интересных данных, касающихся различных отраслей экономики Украины.

Наряду с достоинствами рецензируемой книги приходится отметить и серьёзные её недостатки.

Некоторые разделы и части книги носят описательный характер и не дают глубокого анализа рассматриваемых явлений и процессов. Например, крайне бегло и расплывчато изложена в книге история экономического развития дореволюционной Украины. Автор первого раздела — «Народное хозяйство дореволюционной Украины» — даже не отметил исходного момента своего изложения. При чтении некоторых мест складывается впечатление, что данный раздел начат с реформы 1861 года.

В других случаях автор ведёт своё изложение с начала XX века, с империалистической стадии развития капитализма.

Несмотря на то, что именно Украина в начале XX века являлась главной ареной деятельности многих наиболее крупных синдикатов, монополиям в этом разделе уделено исключительно мало места.

При изложении аграрной программы большевистской партии в период революции 1905—1907 гг. совершенно выпала проблема перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую, что является грубейшей ошибкой.

Содержательный, насыщенный многими новыми материалами третий раздел книги «Народное хозяйство Украины в период иностранной интервенции и гражданской войны» вместе с тем обходит ряд принципиальных проблем периода гражданской войны. Вопрос о продразвёрстке, например, освещён весьма поверхностно — не в достаточной степени показан автором временный и вынужденный характер этого мероприятия, не привлечены конкретные исторические материалы, отражающие борьбу партии за выполнение продразвёрстки на Украине.

Последний раздел книги, посвящённый восстановлению и развитию народного хозяйства Украинской ССР после Великой Отечественной войны, непосредственно подводит читателя к ознакомлению с современной экономикой советской Украины, содержит ряд новых и важных материалов.

Но, к сожалению, этот раздел носит ещё более незавершённый, фрагментарный характер, чем остальные части книги. Увлёкшись статистическим описанием роста отдельных отраслей народного хозяйства Украины, составитель этого раздела уделил мало внимания внутренним процессам, происходящим в экономической жизни страны в послевоенные годы.

Только бегло, попутно автор упоминает о таком важнейшем мероприятии в области социалистической организации труда в по-

слевоенные годы, как среднепрогрессивные нормы, не раскрывая, что они собой представляют, и не обобщая опыта их применения на украинских предприятиях.

В книге не отражён также опыт украинской промышленности в деле сверхплановых накоплений на основе экономии сырья, топлива и различных материалов. Указано лишь, что работники украинской промышленности взятое на себя обязательство «с честью выполнили». Но ведь это и без того известно всякому следящему за газетами читателю.

Хотелось бы найти в этой специальной работе историю борьбы передовых украинских предприятий и отраслей промышленности за сверхплановые накопления, анализ деятельности таких предприятий. Поверхностно и лаконично изложена проблема ускорения оборачиваемости оборотных средств в промышленности.

Существенным недочётом является отсутствие необходимой органической связи между отдельными разделами книги, написанной двенадцатью авторами. Изложение последующих разделов не опирается на выводы предшествующих. Редакционной коллегии не удалось добиться внутреннего единства и цельности всего труда.

Рецензируемую работу следует рассматривать лишь как первый шаг на пути к выполнению важной задачи — дать глубокую, подлинно научную марксистско-ленинскую историю экономического развития советской Украины.

Приветствуя почин Института экономики Академии наук УССР, надо пожелать украинским экономистам, чтобы их дальнейшие работы над этой важной темой были бы подняты на более высокий теоретический уровень и вместе с тем глубже обобщали бы богатейший опыт работы передовых предприятий и колхозов советской Украины.

Доктор экономических наук
А. ПОГРЕБИНСКИЙ.

★

Х и м и я

Капитальный труд по истории отечественной промышленности

В текущем году Сталинской премии была удостоена работа профессора П. М. Лукьянова. Это — первая награда, присуждённая труду по истории химической техники. Она свидетельствует не только о высоких достоинствах рецензируемой работы, но и о том значении, которое приобрели в наши дни вопросы истории отечественной науки и техники.

Капитальный труд П. М. Лукьянова, рассчитанный на пять томов (предстоит выпуск ещё трёх томов), посвящён возникновению и развитию промышленной химии в нашей стране.

Автору пришлось провести работу над многочисленными первоисточниками, хранящимися в архивах Московского университета, Архиве древних актов, Ленинградском архиве и других. Часто бывая на заводах, автор нашёл и использовал большое число ранее неизвестных материалов и в результате смог дать оригинальное и убедительное изложение истории химической промышленности и промыслов в России. Оно полностью опровергает существовавшее ранее у ряда химиков мнение о несамостоятельном характере развития химической промышленности в России, о заимствовании её у Запада и ярко и аргументированно показывает ведущую роль русской передовой химической технологии.

В первом томе своего труда автор, начиная с допетровского периода, детально рассказывает о возникновении и последующем развитии производств пороха, серы, поташа, смолокурения, солеварения, показывает связь химического производства с аптечным делом. Опираясь на первоисточники, богато иллюстрируя текст рисунками и фотокопиями, устанавливая везде, где это он имел возможность сделать, непосредственную связь производства с экономическими и политическими условиями данного времени, П. М. Лукьянов в живой и интересной форме сообщает читателю большое количество ранее неизвестных фактов. Так, напри-

мер, мы узнаём о возникновении лабораторного дела в Москве, о работе «алхимистов», о личном участии Петра I в химических работах. Описывая развитие промышленности во взаимодействии с ростом науки, автор останавливается на химико-технологической литературе, изобретательстве, возникновении и деятельности научно-технических обществ, а также на постановке химико-технического образования в России.

Детально дано описание деятельности нашего великого химика М. В. Ломоносова, а также таких выдающихся технологов, как Севергин и Любавин.

Интересны страницы, посвящённые первому русскому «техникуму» — химико-техническому училищу в Костроме, давшему нашей стране многих работников химической промышленности; одним из преподавателей училища был ставший впоследствии академиком Е. И. Орлов.

Во втором томе П. М. Лукьянов освещает историю производства поташа, селитры, серы, серной кислоты, купоросов, квасцов, азотной кислоты, соды, едкого натра, доводя её изложение до XX века. Характерной чертой рецензируемого труда является показ развития химической промышленности в тесной связи с общим развитием производительных сил, с общим ходом культурно-экономического роста России, с политическими условиями каждого данного периода. Такой подход к изложению истории технологии делает этот труд ценным и интересным не только для химика, но и для историка.

Положительной чертой разбираемого труда является последовательно проводимая и подробно обоснованная автором в каждом отдельном случае борьба за приоритет передовой русской науки и техники. Так, например, гораздо ранее, чем за рубежом, у нас было поставлено производство серной кислоты камерным способом, извлечение золота из руд цианированием и т. д. Даже в тех случаях, когда в тяжёлых условиях царского режима промышленная реализация открытий русских химиков задерживалась, работа отечественных новаторов в области химии шла впереди анало-

П. М. Лукьянов. «История химических промыслов и химической промышленности России до конца XIX века». Под редакцией академика С. И. Вольфовича. Тт. I и II. Издательство Академии наук СССР. М. 1948—1949.

гичных трудов учёных других стран. Таково открытие Зининым восстановления нитробензола в анилин, ставшее основой анилокрасочной промышленности, синтез Кучеровым уксусного альдегида из ацетилена и многое другое.

Однако не во всех отношениях книга проф. П. М. Лукьянова удачна. Прежде всего возражения могут быть сделаны по поводу самого её построения, её общего плана. Почему глава «Связь с зарубежной техникой» (если вообще этот вопрос выделять в особую главу) помещена перед главой о роли Академии наук в развитии промышленности и перед главой о химико-технологическом образовании в России (том I)? Такая последовательность кажется нам нецелесообразной. Неудачно и то, что в этом же томе вопрос о химической технологии как научной дисциплине изложен не до, а после вопроса о химико-технологическом образовании.

План этого тома выглядит последовательнее, в нём почему-то глава о квасцах в ственной ей главы о купоросе в производстве серы. Раздел об азотной кислоте почему-то попал между разделами о квасцах и о серной кислоте. Такое расположение разделов, по нашему мнению, не диктуется материалом и вредит стройности изложения.

Ошибок и упущений в книге весьма немного. Вряд ли можно согласиться с безоговорочно положительной характеристикой деятельности проф. Любавина, данной автором. Слишком мало внимания уделено технологическим работам Мусина-Пушкина. Но эти ошибки носят, однако, второстепенный характер.

Книга П. М. Лукьянова заслуживает широкого распространения.

Член-корреспондент Академии наук СССР
А. КАПУСТИНСКИЙ.

★

География

Ценная работа об Алтае

Ослепительно белеют на фоне голубого алтайского неба бесчисленные ледники. Извиваясь длинными, широкими лентами по дну горных долин, они медленно сползают со склонов высочайших вершин Алтая — Белухи, Катунских и Чуйских Белков. Острые пики вершин поднимаются над ледниками. Далеко вниз, подёрнутые синевой мглой, уходят выпаханые ледниками широкие долины, с крутыми или отвесными склонами и усеянным валунами дном. Глыбы льда, нагреваемые солнцем, подтаивают в ясные летние дни, и по трещинам ледника стекают вниз шумные горные потоки. Пенными струями они падают с обрывов в глубокие пропасти и сотнями водопадов украшают мрачные склоны гор.

Многочисленные ручьи, питающиеся тающими водами ледников, дают начало мощным горным рекам, которые используют для орошения в предгорных степных районах и межгорных котловинах Алтая.

Для изучения гидроэнергетических и водных богатств алтайских рек громадное зна-

чение имеет изучение ледников Алтая, их площади, границ ежегодных изменений. Не менее важно исследование причин этих изменений, которые зависят, как это недавно доказано, не только от общих климатических явлений, но и от деятельности самих ледников.

Большая заслуга в изучении ледников Алтая и открытии ряда закономерностей в их развитии принадлежит Михаилу Владимировичу Тронову. Вместе со своим братом Борисом Владимировичем он посвятил этому делу более двадцати лет жизни.

Преодолевая тяжёлые подьёмы по крутым склонам горных долин, заваленным осыпями, валунами и щебнем, под брызгами шумных водопадов, порою по пояс в ледяной воде, пробирались братья Троновы к ледникам величественных вершин Алтая. С тяжёлым рюкзаком за плечами и ледорубом в руках они преодолевали скользкую поверхность льдов, нередко рискуя свалиться в глубокие и узкие трещины на поверхности ледника. Сочетая искусство альпинистов со знаниями и страстью учёных, братья Троновы изучили и нанесли на карты Алтая десятки и

М. В. Тронов. «Очерки оледенения Алтая». Редактор С. В. Калесник. Географгиз, М. 1949.

сотни ледников, изгибы, пощади, режим и особенно ^{большой дождь} ступания и распределения. Этих работ понадобилась большая сила воли, физическая выносливость и выдержка. Но смелые учёные успешно преодолели все препятствия, все трудности работы в высокогорных условиях.

Ещё до Великой Октябрьской социалистической революции М. и Б. Троновы, располагая лишь ограниченными средствами, которые тогда отпускались на научные работы, подробно исследовали более ста сорока ледников на склонах Южно-Алтайского хребта. После революции возможности исследовательской работы резко увеличились. Братья Троновы организуют многочисленные экспедиции. В период с 1926 по 1934 год они изучают ледники в истоках всех рек Катунского хребта.

Весь этот хребет почти сплошь покрыт льдом. Лишь небольшие участки на его южном склоне лишены ледников. Отроги хребта, особенно северные, также покрыты мощными ледниками. Произведённые здесь исследования значительно подвинули вперёд каталогизацию ледников Алтая. Множество ценных наблюдений способствовало установлению связей между рельефом, климатом и оледенением Алтая. Особенно интересным оказалось детальное изучение Катунского ледника, произведённое в 1933 году.

Благодаря исследованиям М. Тронова, в настоящий момент изучены и учтены все крупные и средние ледники Алтая. В «Очерках оледенения Алтая» автор приводит подробную характеристику ледников Южного Алтая, Южно-Чуйского хребта и Северо-Чуйских гор, ледников Катунских Белков и ряда более мелких хребтов, на склонах которых известны группы небольших ледников. М. Тронов подробно останавливается на условиях, способствовавших оледенению Алтая: характере климата, особенностях рельефа и положении снеговой линии. В комплексе причин, обусловивших оледенение Алтая, М. Тронов придаёт большое значение абсолютным высотам вершин Алтая, ориентировке хребтов и долин и влиянию так называемой экспозиции склонов, то есть расположению их на юг или на север. Это естественно отражается на характере нагревания склонов солнцем и по-разному влияет на развитие ледников.

Большое значение в формировании ледников имеют также характерные для Алтая плоские водоразделы и оставшиеся на склонах гор от древних ледников впадины каров и цирков, где скапливается снег, превращающийся впоследствии в фирн и лёд.

Современное оледенение Алтая находится в фазе убывания. Ледники, некогда мощные, постепенно уменьшаются. На характер их уменьшения и особенности режима большое влияние оказывает сама форма ледника и его соотношение с долиной, по которой он движется. Если эта долина, обработанная и расширенная древним ледником, значительно больше размеров современного ледника, то он легко распадается на отдельные части, особенно если на дне долины имеются крутые перепады и котловины. Изолированные части распавшегося ледника на дне широкой, освещённой солнцем долины должны таять быстрее, чем крупные массивы льда в узких, затённых долинах, размеры которых соответствуют размерам расположенных в них ледников.

М. Тронов назвал установленную им закономерность «принципом соответствия», имея в виду соответствие между размерами ледника и размерами занимаемой им долины или ледниковым цирком. В случае полной гармонии или соответствия между формой рельефа, оледенением и климатом, ледники достигают максимальных размеров. Если же имеется несоответствие между оледенением и рельефом, то ледники не отличаются большой величиной.

В «Очерках оледенения Алтая» автор приходит к интересному выводу о взаимодействии между ледником и внешними условиями его существования — рельефом и климатом. Чем больше размеры ледника, тем активнее он воздействует на изменение рельефа и климата прилегающей территории. Чем меньше размеры ледника, тем он больше подчиняется влиянию климатических условий и изменениям рельефа.

Раньше, в доисторическое время, размеры оледенения на Алтае были больше современных, а современные ледники занимают те же долины и цирки, по которым спускались ледники древне-четвертичного оледенения. Поэтому можно считать современные ледники Алтая остатками прошедшего мощного оледенения.

Таким образом, ледники Алтая находятся в стадии сокращения или, как говорят, в регрессивной фазе. С этим связано разнообразие форм и размеров ледников Алтая, так как, по образному выражению одного известного советского гляциолога, все ледники живут и развиваются более или менее одинаково, но зато умирают по-разному.

С этими различиями связано большое разнообразие форм ледников, которые М. Тронов тщательно описывает в рецензируемой книге. Наиболее распространёнными типами ледников являются Толдунский и тип ледников Белухи. Ледники первого типа лежат в больших пологих цирках со сходящимися к их центру довольно короткими ледниковыми языками. Ледники второго типа делятся на две части. Большая из них состоит из крутых фирновых полей и потоков, спускающихся ледопадами по крутым склонам гор. Меньшую образуют длинные и пологие ледниковые языки, извивающиеся по долинам.

В процессе сокращения ледников Алтая намечается несколько стадий или ступеней. Для изучения более молодых стадий существенное значение имеют морены Катунского ледника, отложившиеся в пятидесятых годах прошлого столетия. Время их образования определено на основании описания Катунского ледника, сделанного Габлером в 1836 году. К моренному валу, отложенному в пятидесятых годах девятнадцатого века, близко примыкает ещё

одна гряда морен, образовавшаяся около 1820 года, до посещения Катунского ледника Габлером. Эти морены находятся на расстоянии около тысячи метров от современного края ледника. Такие же моренные валы имеются и в долинах других крупных ледников Алтая.

Изучение этих морен показывает, что с середины прошлого столетия на Алтае намечается процесс отступления ледников. Нет сейчас ни одного ледника, конец которого подходил бы вплотную к моренам середины прошлого века. Скорость отступления ледников различна и колеблется от 4 до 25 метров в год. Особенно быстро отступает Софийский ледник, который отодвинулся от морен 1850 года на полтора километра.

Это отступление, однако, не является максимальным по сравнению с последней фазой древних ледников Алтая. Бывали моменты, когда снеговая граница располагалась выше современной и многие ледники были короче, чем сейчас. На это сокращение указывают остатки погибших деревьев, которые поднимаются теперь выше современной верхней границы лесной растительности, тогда как в эпоху сокращения льдов значительно поднималась вверх и граница лесов.

Таково краткое содержание книги М. Тронова, труды которого удостоены в нынешнем году Сталинской премии.

Доктор географических наук
Н. ДУМИТРАШКО.

★

Впечатления советского натуралиста

Недавно, три года тому назад, Бразилию и Аргентину посетил Л. Е. Родин — участник экспедиции Академии наук СССР по наблюдению солнечного затмения. Он являлся сотрудником ботанического отряда, в задачи которого входил сбор коллекций живых тропических растений и гербария для Ленинградского ботанического сада и Ботанического института. Итогом путешествия явился «предварительный отчёт», как назвал Л. Е. Родин свою книгу. Но автор, — пишет он сам в заключе-

нии, — гражданин Союза Советских Социалистических Республик, и он не мог пройти мимо тех сторон жизни и быта, которые так резко отличаются два мира — мир передовой социалистической культуры и мир капиталистической «культуры» стран, находящихся под властью Уолл-стрита, «маршаллизации» и доллара». Вот почему, хотя в подзаголовке книги значится: «Впечатления натуралиста», книга эта содержит разнообразнейшие наблюдения и над природой и над хозяйством, бытом и жизнью населения посещённых автором территорий.

Советский читатель впервые имеет воз-

Л. Родин. «Пять недель в Южной Америке. Впечатления натуралиста». Редактор С. В. Узин. Географгиз, М. 1949.

возможность ознакомиться с этими далёкими странами не по описаниям наших соотечественников, побывавших там в XIX веке, не по энциклопедическим справочникам или специальным монографиям и статьям, не по сочинениям иностранцев—любителей «экзотики», а по запискам советского исследователя, оружие которого, по его же словам,—«глаз и наблюдательность». И оружие это остро.

Вот первая стоянка в шведском порту Карлсхелмн, где «у витрин продуктовых магазинов стоят голодные «зрители» соблазнительных вещей, расположенных за толстым зеркальным стеклом: они недоступны карману рабочего человека». Теплоход «Грибоедов» проходит мимо острова Фернандо де Норонья: «Уже близко материк Южной Америки. Острова принадлежат Бразилии. Сюда ссылают коммунистов и других борцов за демократическую свободу. Здесь размещается бразильская каторга. Недурная «вывеска» в океане, оповещающая о приближении к Новому Свету».

По прибытии в Бразилию советский корабль не был допущен реакционным правительством Дутра в столичный порт. Однако и рядовые служащие аэродрома в глубине Бразильского нагорья, и простые люди в Росарио, и учёные Аргентины оказывали советским исследователям трогательное внимание. «Четыре дня, проведённые в общении с учёными Байреса и Ла-Платы, показали нам, как это высоко и гордо звучит: советский, русский учёный! Я почувствовал, какая большая честь — быть представителем русской, советской науки». Дух партийности, чувство советского патриотизма помогли Л. Родину верно отобразить наблюдавшийся им чуждый мир — не только мир пальм и мангровых зарослей, не только «страну благословенной природы», но и «проклятой нужды», как назвал он одну из глав.

Книга написана в форме путевых записок, позволяющих последовательно проследить путь экспедиции. Но дневниковые записи плавания на «Грибоедове» и короткие абзацы, рассказывающие об отдельных этапах маршрута, чередуются с более пространственными тематическими описаниями Бразильского плоскогорья, столиц Бразилии и Аргентины, плантаций кофе, какао и цитрусовых, растительных ресурсов и скотовод-

ства, университета Ла-Платы и т. п. Автор умело сочетает непосредственные наблюдения с литературным материалом. Детали, тонко подмеченные очевидцем, оживляют сухой язык статистических данных. Читатель почти неощутимо, «без нажима» получает из книги Л. Родина разнообразнейшие сведения о Бразилии и Аргентине — «от геологии до идеологии».

Вот, например, описание «прекраснейшего города» Рио-де-Жанейро. Автор рисует живописную картину бухты и города, раскрывающуюся с борта корабля, попутно сообщая интересные сведения о возникновении и росте города. Этому способствует сопоставление приведённых в книге старинной правюры и современного снимка.

Вы узнаете много интересного о жизни страны, попавшей в орбиту Уолл-стрита. Например, строительство «небоскрёбов» законсервировано в связи с отсутствием «благоприятной конъюнктуры»... после окончания войны. 68 процентов детей школьного возраста в этой «блестящей» столице не учатся, а семь восьмых населения Бразилии неграмотны. Показывая (также и посредством фотоиллюстраций) окраины и центр Рио-де-Жанейро, автор сообщает, что на благоустройство столицы тратится в год 116,7 доллара на душу населения, а в важнейшем промышленном штате страны — Минаш-Жераиш — 0,3 доллара («стоимость двух пачек посредственных сигарет»). Автор знакомит с жульническими рекламными приёмами «бизнеса», показывает характер кинопродукции США (бразильские фильмы в крупных кинотеатрах не демонстрируются). Интересная деталь: в англо-португальском «разговорнике» отсутствуют слова: школа, наука, искусство, театр, музей, но зато имеются: дансинг, ревю, кабаре и другие, менее скромные.

Л. Родин посетил гордость страны — знаменитый медико-биологический институт, который существует на средства... от продажи выпускаемых им лекарств. Не удивительно, что в наиболее «американском» (то есть «благоустроенном») городе Бразилии — Сан-Паулу — умирает каждый восьмой ребёнок, а в Ресифе — каждый третий, что есть штаты, где двадцать процентов населения болеют проказой.

Автор рассказывает, что на улицах города вы «не увидите ни одного водителя такси — негра: ведь не всякий белый со-

гласится сидеть в машине рядом с негром...» «В витрине расхваливается усовершенствованная модель полумоечной электромашины... Но человеческий труд в этой стране дешевле и безотказнее. Пройдите в сумерки по этой же улице. Из-под приспущенных железных жалюзи в дверях вы увидите мелькающие чёрные босые ноги на мокром плиточном полу магазина: негры вручную, без всяких машин, моют замызганный за торговый день пол».

Попутно автор сообщает поистине страшные сведения о положении «цветного» населения. «В Бразилии существует такое общество: «Общество защиты индейцев и приобщения их к цивилизации». Я не знаю, что делает это общество, но в Рио, в магазине безделушек, один продавец настойчиво предлагал мне купить мумифицированную голову индейца «на память» о Бразилии». И со следующей страницы книги на вас смотрит запечатлённая фотоаппаратом автора циничная витрина этого магазина «безделушек».

Мастерски сделано описание рынка. Специальные ботанические знания помогают автору просто, ясно и образно рассказать о незнакомых нам тропических плодах и овощах, об их хозяйственном значении, способах возделывания и использования, о географическом распространении.

Столь же многогранно и доступно «открывает» читателю советский ботаник-писатель дикие и культурные растения Бразилии и Аргентины. Кокосовая и другие пальмы, знаменитый каучуконос гевея, «американский орех» — каштанья, кофейное и красное деревья, бананы и дерево какао

становятся почти осязаемыми в описаниях Л. Родина. Перед глазами читателя встают чёткие образы переплетённых лианами тропических горных дебрей — гилей, бразильских саванн-кампус, или болотистых плавней Параны. Характерно, между прочим, для уровня науки и культуры «американизированной» страны, что в ботаническом саду Рио автору не могли показать хотя бы схему размещения растительности Бразилии; лесной заповедник не ведёт никакой научной работы из-за отсутствия средств.

Главы книги изобилуют зоркими наблюдениями, яркими штрихами, насыщены разносторонним познавательным материалом и легко читаются.

Более сухо дано описание Аргентины, составленное лишь по литературным данным. Вызывает удивление отсутствие в книге схематической карты маршрута экспедиции. Встречаются и мелкие неточности в транскрипции и небольшие погрешности в специальном материале (например, вулканическое происхождение горы Панде-Ашужар). Но они не могут умалить достоинств книги. К числу последних следует отнести хорошие фото и особенно рисунки, в том числе заставки и концовки, изображающие отдельные ландшафты и растения. Усвоению материала помогает также специальный словарь.

Книга представляет большой интерес как для специалиста географа или ботаника, так и для широкого круга читателей, особенно молодёжи.

Кандидат географических наук
Е. ЛУКАШОВА.

★

Заявка на большую тему

Советский народ преобразует лицо своей земли. Масштабы строительства, осуществляемого в стране, столь грандиозны, темпы его столь стремительны, что географам, краеведам, экономистам не так легко поспеть за ними. Безнадёжно устарела вся экономгеографическая литература, вышедшая полтора-два десятка лет тому назад, например изданная Госиздатом

С. Николаев. «Камские просторы». Редактор К. М. Николаев. Молотовское областное государственное издательство, 1949.

в 1930 году серия «СССР по районам». Работы, опубликованные непосредственно перед войной, также нуждаются в серьёзнейших коррективах. А потребность в географической литературе очень велика.

Особо велик интерес нашего народа к сталинскому Уралу. Двадцать лет Урал представляет как бы одну грандиозную строительную площадку. Естественно, что на Урале произошло особенно много перемен в экономике и географии края. И потому надо приветствовать начин Молотовского

областного издательства, выпустившего книгу, посвящённую современному Западному Уралу — Молотовской области.

Молотовская область имеет свой неповторимый облик, выделяющий её из других областей Урала. Редко где можно встретить столь удивительное многообразие природы, естественных богатств, отраслей народного хозяйства. На севере Западного Урала раскинулась тундра, на его юге ощущается дыхание степей. Горные пейзажи, альпийские луга перемежаются с речными просторами. Триста рек протекают на территории области.

Столь же своеобразна экономика Молотовской области. Здесь находится ряд крупнейших предприятий страны — гиганты химии, бумаги, машиностроения. Калий и магний, уголь и нефть, металл и машины, бумагу и туки, готовые дома и древесину даёт могучая индустрия Прикамья. И в то же время Западный Урал — область промысловой охоты, передовых колхозов.

Западный Урал — тема большая и благодарная и для краеведа, и для публициста, и для экономиста! С. Николаев приводит в своей книге много интересных и разнообразных фактов, цифр, материалов о природе области, о её естественных богатствах, о её экономике. Ряд страниц написан не только доходчиво, но и увлекательно. Автор любит родную природу и умеет тонко её наблюдать. Его язык подчас образен и даже поэтичен. Работа С. Николаева сыграет свою положительную роль и найдёт читателя. И всё же её закрываешь с чувством неудовлетворённости.

Автор не сумел выделить главное, сделать обобщающие выводы из большого фактического материала, приведённого им, и потому книга потеряла в своей политической заострённости, в публицистическом звучании.

Вот несколько примеров. Промышленность Молотовской области создавалась в необжитых местах, в тайге, на севере, вдалеке от городов. На 61-й параллели вырос город бумаги Красновишерск, сердцем которого является целлюлозно-бумажный комбинат. Красновишерск оказал огромное влияние на жизнь примыкающих мест. В таёжных лесах всего Гайнского района, где ещё недавно пролегал лишь охотничьи тропы, теперь ходят поезда лесовозных железных дорог, рокочут тракторы. В тайге

севернее Кизела выросли новые шахтёрские города — Коспаш, Гремячий.

Но автор не подчеркнул великого преобразующего значения нашей социалистической индустрии, не показал её огромной пионерской роли в жизни этих прежде отсталых районов.

Книга в основном носит эмпирический, узко-описательный, информационный характер. Поражает отсутствие какого-либо продуманного критерия в изложении материалов, отсутствие пропорции. Так, С. Николаев, как это ни странно, посвящает грибам столько же места, сколько машиностроению и металлургии вместе взятым.

В краеведческой книге особо ценны личные впечатления автора. В предисловии С. Николаев пишет, что книга «скапливалась в многочисленных поездках по Уралу, в изучении материалов многих областных организаций, в ознакомлении со статьями о Западном Урале, опубликованными в газетах, журналах, книгах».

Читатель легко выделит части книги, составленные не по личным наблюдениям. Скупое, сухо, монотонно рассказывает автор об одном из самых интересных районов области — Коми-Пермяцком национальном округе, ограничиваясь скучным перечислением учебных заведений Кудымкара и приведением нескольких общезвестных фактов.

Нам пришлось недавно побывать в этих местах. Какое глубокое впечатление производят встречи с представителями мужественного и трудолюбивого коми-пермяцкого народа, судьбы которого так ярко отражают результаты сталинской национальной политики! Народ, ещё недавно сплошь неграмотный, теперь создал свою национальную интеллигенцию. Из коми-пермяцкого народа вышли крупные хозяйственные и политические деятели, художники, писатели, музыканты, инженеры, агрономы, врачи, генералы, лётчики.

В 1914 году всего лишь за три года до Великой Октябрьской социалистической революции некто Н. И. Драгин писал в популярном географическом сборнике: «Забитость и пришибленность, робость и трусость — характерные черты пермяков. Вместе с тем они отличаются апатией, равнодушием ко всему и ленью»...

Так клеветнически изображался муже-

ственный, энергичный народ, ныне самоотверженно трудящийся в колхозах, леспрохозах, на сплаве, на судах, выдвинувший столько талантливых людей.

Ещё четверть века тому назад по всему этому обширному краю нельзя было проехать и в телеге. А теперь можно наблюдать буквально поток автомашин на шоссе Менделеево—Кудымкар.

Автор книжки не сумел наглядно показать чудесные превращения, происшедшие в этих далёких и забытых ранее «медвежьих» углах.

Молотовская область имеет большую и интересную историю. С. Николаев почему-то ограничился одной—двумя страничками, посвящёнными древним торговым путям. А между тем было бы особо поучительно на фоне нынешних замечательных дел людей Западного Урала напомнить, что происходило на старом Урале в десятилетия, предшествовавшие революции. Молодому читателю было бы интересно узнать, что в течение почти полувека вся русская печать не переставала писать о «кризисе» Урала. Владимир Ильич Ленин в своём гениальном труде «Развитие капитализма в России» глубоко показал причины упадка хозяйства Урала. В 1899 году на Урал прибыла специальная комиссия, руководимая Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Великий русский учёный посетил Пермь (ныне Молотов), Кизел, Чусовую, объехал весь Урал. В одной из своих книг он перечислил мероприятия, способные, по его мнению, вывести Урал на большой путь. Он закончил свой труд следующими удивительными строками: «Вера в великое будущее России, всегда жившая во мне, прибыла и окрепла от близкого знакомства с Уралом». Но на Урале всё оставалось попрежнему. Под владычеством Строгановых, Абамелек-Лазаревых, Демидовых богатейший край страны оставался в состоянии хронического застоя и кризиса. Только Великая Октябрьская социалистическая революция, только сталинские пятилетки вывели Урал на широкую дорогу. Этот благо-

дарнейший исторический материал не использован автором.

С. Николаев допустил ряд неточностей. Например автор заявляет, что «по длине Кама — третья река в Европейской части Союза, уступает только Волге и Днепру». Между тем, например, река Урал длиннее Камы на 502 километра. С. Николаев сообщает, что плоты-гиганты формируются лишь на Каме и Северной Двине и «нигде больше». Это неправильно. Формируются гиганты-плоты и на Енисее. От краеведческой книги можно и должно требовать абсолютной точности даже в деталях.

Как видим, книга С. Николаева содержит ряд серьёзных пробелов. Её скорее надо рассматривать, как заявку на большую, нужную и благодарную тему. Впрочем, думаем, что дать фундаментальную работу, всесторонне показывающую лицо большого края на основе не только литературных материалов, но и собственных впечатлений, — не под силу одному человеку, хотя бы и самому талантливому. Такая задача по плечу лишь целому коллективу. Укажем, например, на коллективный труд, посвящённый Коми-Пермяцкому национальному округу¹.

Этот большой научный труд, созданный Институтом географии Академии наук СССР, — результат работ комплексной экспедиции — показывает и экономику, и культуру, и быт округа.

Назрело время дать такие же книги по всем областям и краям, в том числе и по всему Западному Уралу. Это благодарное дело для больших творческих коллективов, в которых должны принять участие и краеведы, и экономгеографы, и очеркисты, и публицисты, и бывалые люди всех специальностей, хорошо знающие и любящие свой край.

А. ХАВИН.

¹ «Коми - Пермьяцкий национальный округ». Под редакцией акад. А. А. Григорьева и др. Издательство Академии наук СССР, 1948.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Июнь — июль 1950 года)

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс. Гражданская война во Франции. 96 стр. Цена 1 р.

К. Маркс. Критика Готской программы. 48 стр. Цена 50 к.

В. И. Ленин. Апрельские тезисы. 64 стр. Цена 1 р.

В. И. Ленин. Социализм и война. 52 стр. Цена 60 к.

В. И. Ленин. Фридрих Энгельс. 22 стр. Цена 20 к.

И. В. Сталин. Анархизм или социализм? 62 стр. Цена 1 р.

И. В. Сталин. Марксизм и национальный вопрос. 64 стр. Цена 1 р.

И. В. Сталин. О диалектическом и историческом материализме. 36 стр. Цена 50 к.

И. В. Сталин. Относительно марксизма в языкознании. 32 стр. Цена 30 к.

И. Сталин. К некоторым вопросам языкознания. Ответ товарищу Е. Крашенинниковой. 8 стр. Цена 15 к.

И. Сталин. Относительно марксизма в языкознании. К некоторым вопросам языкознания. Ответ товарищу Е. Крашенинниковой. 40 стр. Цена 40 к.

Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б). Выпуск девятый. 36 стр. Цена 70 р.

Б. М. Волин. Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б) 92 стр. Цена 1 р 20 к.

В Совете Министров СССР и ЦК ВКП(б). О проведении уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1950 г. 36 стр. Цена 35 к

А. П. Ляпин. От социализма к коммунизму. 72 стр. Цена 65 к.

К. Осипов. Александр Васильевич Суворов. 336 стр. Цена 7 р. 50 к.

М. Д. Стученикова. Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. 116 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. А. Чепраков. Принудительный труд в странах капитала. 96 стр. Цена 1 р. 25 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Асеев. Разнолетье. Стихи. 274 стр. Цена 6 р. 50 к.

В. Берце. Первые одиннадцать. Повесть. Авторизованный перевод с латышского Д. Глезера. 262 стр. Цена 5 р.

П. Глебка. Под небом Родины. Стихи и поэмы. Перевод с белорусского. 198 стр. Цена 5 р. 50 к.

Г. Горностаев. Две поэмы. (Тула. Кремлёвские звёзды). 122 стр. Цена 3 р. 50 коп.

Т. Гуттари. Моя страна. Стихи разных лет. Перевод с финского. 108 стр. Цена 3 р. 50 к.

М. Казаков. Поэзия — любимая подруга. Стихи. Авторизованный перевод с марийского. 94 стр. Цена 2 р. 50 к

Ю. Капусто. В среднем районе. Очерки. 226 стр. Цена 4 р.

П. Комаров. Избранные стихи. 136 стр. Цена 3 р.

В. Лидин. Две жизни. Роман. 190 стр. Цена 5 р. 50 к.

К. Лисовский. Северная весна. Стихи и поэмы. 126 стр. Цена 3 р.

М. Луконин. Стихи 210 стр. Цена 5 р. 50 к.

Л. Никулин. России верные сыны. Исторический роман. 442 стр. Цена 10 р. 50 к.

Л. Татьяничева. Родной Урал. Стихи. 112 стр. Цена 2 р. 50 к.

Н. Якутский. Золотой ручей. Авторизованный перевод с якутского. 224 стр. Цена 6 р.

ГОСЛИТИЗДАТ

А. С. Грибоедов. Горе от ума. 120 стр. Цена 1 р. 25 к.

Чарльз Диккенс. Лавка древностей. Перевод с английского 568 стр. Цена 10 р.

Лидия Койдула. Стихи. Перевод с эстонского. 120 стр. Цена 3 р. 75 к.

В. В. Маяковский. Стихи. 104 стр. Цена 1 р. 50 к.

Фрэнк Норрис. Спрут. Роман. Перевод с английского. 456 стр. Цена 8 р. 35 к.

В. Н. Орлов. Русские просветители 1790—1800 годов. 478 стр. Цена 9 р. 50 к.

А. Н. Островский. Полное собрание сочинений. Том 3. Пьесы. 1862—1864. 412 стр. Цена 10 р.

А. Н. Островский. Снегурочка. Весенняя сказка. В четырёх действиях с прологом. 110 стр. Цена 1 р. 40 к.

И. И. Панаев. Литературные воспоминания. 472 стр. Цена 10 р.

Поэты советской Эстонии. Сборник произведений. 288 стр. Цена 8 р.

Болеслав Прус. Форпост. Повесть. Перевод с польского. 240 стр. Цена 5 р.

Пушкин-критик. Сборник статей, заметок и высказываний. 760 стр. Цена 15 р.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Избранные сказки. 86 стр. Цена 1 р.

М. А. Светлов. Избранные стихи и пьесы. 208 стр. Цена 7 р. 40 к.

А. В. Софронов. Стихи и песни. 216 стр. Цена 6 р. 50 к.

Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. (Юбилейное издание. 1828—1928). Серия 3. Письма. Том 60. Письма 1856—1862. 560 стр. Цена 18 р.

П. Г. Тычина. Жить, трудиться и расти. Стихотворения. Перевод с украинского. 340 стр. Цена 9 р.

Анатоль Франс. Современная история. Перевод с французского. 584 стр. Цена 13 р.

А. П. Чехов. Избранные произведения в трёх томах. Том 3. Пьесы, 1887—1904. 344 стр. Цена 6 р. 50 к.

А. М. Якобсон. Рассказы и пьесы. Авторизованный перевод с эстонского. 556 стр. Цена 11 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Мухтар Ауэзов. Абай. Роман. Авторизованный перевод с казахского под редакцией Леонида Соболева. 590 стр. Цена 13 р.

О. Гончар. Знаменосцы. Роман. (Однотомник. 1-я книга — «Альпы», 2-я книга — «Голубой Дунай», 3-я книга — «Злата Прага»). Перевод с украинского. 448 стр. Цена 11 р. 50 к.

А. Ефимов и Б. Яковлев. Колоралский жук. 48 стр. Цена 1 р.

Вас. Спиридонов. Дорога смелых. Повесть. 190 стр. Цена 4 р. 50 к.

В. Яковлев. Утренняя гимнастика для школьников среднего и старшего возраста. 48 стр. Цена 25 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Н. Бредюк. Сила почасового графика. 46 стр. Цена 1 р.

П. Вершигора. Люди с чистой совестью. Книга 3-я и 4-я. 408 стр. Цена 15 р. 50 к.

Б. Гаврилов. Военная работа московских большевиков в годы первой русской революции. 164 стр. Цена 5 р. 50 к.

О. К. Кедров-Зихман. Известкование дерново-подзолистых почв. 40 стр. Цена 1 р.

А. Кривицкий. Бессмертие. 106 стр. Цена 2 р. 25 к.

В. М. Морозов. Московские большевики в борьбе за создание вооружённых сил советской республики в 1917—1918 гг. 146 стр. Цена 5 р.

Москвичи. Очерки 406 стр. Цена 16 р.

И. Осипов. Комплекс ГТО в коллективе физкультуры. 114 стр. Цена 1 р. 75 к.

В. Снегирёв. В. И. Баженов. 246 стр. Цена 16 р.

Социалистические методы хозяйствования. Сборник статей. 250 стр. Цена 5 р.

ПРОФИЗДАТ

М. Басин, А. Гуревич. Справочник по огородничеству. Издание пятое, дополненное. 192 стр. Цена 2 р. 50 к.

Ф. Поташиков. Работа жилищно-бытовых комиссий ФЗМК. 112 стр. Цена 2 р.

Справочник по технике безопасности и промышленной санитарии. Составитель В. Марфенин. 776 стр. Цена 15 р.

ДЕТГИЗ

А. Августынюк и В. Вахман. Транспорт советской державы. 104 стр. Цена 7 руб.

А. Барто. Машенька растёт. 14 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Барто. Стихи детям. 224 стр. Цена 9 р.

И. Василенко. Звёздочка. Повесть. 94 стр. Цена 3 р. 30 к.

Ф. Вигдорова. Мозь класс. 128 стр. Цена 5 р.

М. Горький. Пепел. 16 стр. Цена 25 к.

А. Граши. Стихотворения. Перевод с армянского. 72 стр. Цена 1 р. 30 к.

Н. Григорьев. На зелёной улице. Очерки о работе железнодорожников. 108 стр. Цена 3 р. 70 к.

И. Гуро. В добрый путь, Кумрициса! Повесть. 56 стр. Цена 1 р. 80 к.

Т. П. Ершов. Конёк-Горбунок. 112 стр. Цена 4 р.

П. Журба. Александр Матросов. Повесть. 204 стр. Цена 8 р. 15 к.

Земля советская. Очерки и рассказы. Составил С. Плесков. 516 стр. Цена 16 р.

С. Маршак. Что такое год. 14 стр. Цена 1 р. 20 к.

Д. Нагишкин. Мальчик Чокчо. 32 стр. Цена 1 р.

П. Павленко. Счастье. Вступительная статья А. Тарасенкова. Роман. 288 стр. Цена 6 р. 50 к.

М. Познанская. Песенки. Перевод с украинского. 14 стр. Цена 2 р. 60 к.

А. Рогинская. Зараут-Сей. (Записки художника). О первобытной наскальной живописи, обнаруженной в Узбекистане. 56 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Рыбаков. Кортик. Повесть. 112 стр. Цена 4 р.

А. Фец. Петрусь Потупа. Повесть. 128 стр. Цена 4 р. 20 к.

Д. И. Фонвизин. Комедии. 152 стр. Цена 2 р. 95 к.

А. Шаров. Жизнь побеждает. 160 стр. Цена 5 р. 70 к.

Г. Штурм. Ф. Ф. Ушаков. 336 стр. Цена 6 р. 80 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Альберди. Экономический кризис Аргентины. Перевод с испанского. 156 стр. Цена 3 р. 40 к.

Ацел. Под сенью свободы. Перевод с венгерского. 302 стр. Цена 12 р. 20 к.

Э. Вильямс. Капитализм и рабство. Сокращённый перевод с английского. 214 стр. Цена 10 р. 40 к.

Стефан. Гейм. Крестоносцы. Роман. Сокращённый перевод с английского. 694 стр. Цена 22 р. 40 к.

Анри Клод. План Маршалла. Перевод с французского. 214 стр. Цена 4 р. 80 к.

Некоторые тенденции в развитии американского капитализма. Перевод с английского. 158 стр. Цена 8 р. 20 к.

Сборник китайских рассказов. Перевод с китайского. 296 стр. Цена 11 р. 65 к.

Современная корейская поэзия. Перевод с корейского. 226 стр. Цена 8 р. 20 к.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

Н. Афанасьева, М. Непомнящий, Е. Осликовская, А. Серебrenников. Пропаганда агротехнических и зоотехнических знаний в сельском клубе. 80 стр. Цена 1 р. 50 к.

Н. Г. Винников. Стель широкая (сокращённый вариант). С режиссёрскими примечаниями А. Д. Попова и А. З. Окуничкова. 78 стр. Цена 2 р. 50 к.

Л. Г. Воронин. В Африку за обезьянами. 160 стр. Цена 5 р. 50 к.

Э. С. Зеликович. Свет и цвет. 20 стр. Цена 3 р.

П. А. Каширин. Марксизм-ленинизм о религии. 36 стр. Цена 1 р.

С. А. Клепиков, А. С. Пушкин и его произведения в русской народной картинке. 130 стр. Цена 20 р.

С. А. Клепиков, И. А. Крылов и его произведения в русской народной картинке. 78 стр. Цена 10 р.

В. К. Никольский. Детство человечества. 156 стр. Цена 4 р.

А. Н. Островский. Не всё коту масленица. С режиссёрскими примечаниями Н. Д. Ковшова. 80 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Н. Островский. Доходное место. С режиссёрскими примечаниями Ф. И. Каверина. 96 стр. Цена 1 р. 50 к.

Д. А. Хаст. Чердынский музей имени А. С. Пушкина. 30 стр. Цена 1 р. 20 к.

Художественное слово. Материалы для чтцов художественной самодеятельности. Составители С. Т. Дунина и Н. М. Яковлев. 616 стр. Цена 17 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО»

М. В. Алпатов. Всеобщая история искусств, т. II. 408 стр. Цена 25 р.

А. Барянов. На той стороне. 80 стр. Цена 2 р. 75 к.

А. Барышников. Перспектива. 132 стр. Цена 11 р.

М. Горький. Дети солнца. 130 стр. Цена 3 р. 75 к.

С. Михалков. Илья Головин. 100 стр. Цена 2 р. 25 к.

А. Н. Островский. Бедная невеста. 132 стр. Цена 3 р. 50 к.

А. Н. Островский. Шутники. 84 стр. Цена 2 р.

А. Парамонов, Н. В. Томский. 26 стр. Цена 1 р. 25 к.

П. Суздаев, П. П. Соколов-Скаля. 36 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Тарасов, А. И. Морозов. 36 стр. Цена 1 р. 75 к.

А. Фёдоров-Давыдов, В. Б. Корецкий. 28 стр. Цена 1 р. 25 к.

ГЕОГРАФИЗ

О. А. Евтеев. Первые русские геодезисты на Тихом океане. 108 стр. Цена 2 р.

В. и Е. Зарины. Путешествия А. В. Потаниной. 98 стр. Цена 2 р.

Л. Е. Иофа, С. М. Дульян. Ереван — столица Армянской ССР. 48 стр. Цена 1 р.

В. В. Ковыженко. Корея. 32 стр. Цена 50 к.

С. О. Макаров. Океанографические работы. 280 стр. Цена 13 р. 50 к.

Н. Н. Никитин. Пекин. 70 стр. Цена 1 р. 25 к.

К. Осипов. Как русские люди открыли Антарктиду. 64 стр. Цена 1 р.

Г. Н. Потанин. Тангутско-Тибетская окраина Китая и Центральная Монголия. 652 стр. Цена 19 р. 75 к.

Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. Перевод с испанского и комментарии Я. М. Света. 532 стр. Цена 15 р. 25 к.

С. Н. Рязанцев. Фрунзе. 48 стр. Цена 90 к.

Ю. Г. Саушкин. Москва. 88 стр. Цена 1 р. 65 к.

В. Н. Татищев. Избранные труды по географии России. 248 стр. Цена 10 р. 75 к.

Н. Г. Фрадкин. Академик И. И. Ленин и его путешествия по России в 1768—1773 гг. 216 стр. Цена 5 р. 50 к.

П. Д. Ярошенко. Основы учения о растительном покрове. 220 стр. Цена 8 р.

В. С. Яценко. В горах Памира. 188 стр. Цена 4 р. 50 к.

ГОСТЕХИЗДАТ

Англо-русский авиационный словарь. 2-е переработанное и дополненное издание. Составители В. Н. Дубошин и В. С. Котов. 456 стр. Цена 13 р. 80 к.

И. С. Градштейн. Прямая и обратная теоремы. Издание второе, переработанное. 80 стр. Цена 1 р. 70 к.

Н. В. Ефимов. Краткий курс аналитической геометрии. 248 стр. Цена 7 р. 20 к.

В. Ф. Каган. Архимед. Краткий очерк о жизни и творчестве. 52 стр. Цена 80 к.

В. А. Кречмар. Задачник по алгебре. 2-е издание. 440 стр. Цена 10 р. 80 к.

А. И. Китайгородский. Рентгеноструктурный анализ. 652 стр. Цена 18 р. 40 к.

М. И. Корсунский. Атомное ядро. Издание 2-е, переработанное. 352 стр. Цена 6 р. 90 к.

Н. Г. Новикова. «Необыкновенные» небесные явления. 64 стр. Цена 1 р.

П. К. Рашевский. Курс дифференциальной геометрии. Издание третье, переработанное. 428 стр. Цена 12 р. 20 к.

К. А. Семендяев. Счётная линейка. Краткое руководство. Издание второе. 48 стр. Цена 1 р.

М. Ф. Субботин. Происхождение и возраст Земли. Издание второе, переработанное. 40 стр. Цена 70 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

Воспитательная работа в школе. Под редакцией А. А. Невского. 104 стр. Цена 1 р. 85 к.

Е. В. Гурьянов и М. К. Щербак. Психология и методика обучения письму в букварный период. 162 стр. Цена 3 р.

Из опыта преподавания биологии в средней школе. Под редакцией М. И. Мельникова. 186 стр. Цена 3 р. 70 к.

Литературное чтение в школе. Под редакцией В. В. Голубкова. 452 стр. Цена 11 р. 30 к.

А. Р. Лурья. Очерки психофизиологии письма. 84 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. С. Макаренко. Собрание сочинений, т. I. 764 стр. Цена 15 р.

А. С. Макаренко. Собрание сочинений, т. II. 494 стр. Цена 15 р.

Методика обучения иностранным языкам в начальной школе. Под редакцией И. В. Карпова и И. В. Рахманова. 236 стр. Цена 5 р. 60 к.

Г. Б. Поляк. Обучение решению задач в начальной школе. 248 стр. Цена 9 р. 50 к.

Ф. Д. Сказкин и Р. И. Лерман. Теория стадийного развития растений академика Т. Д. Лысенко. 76 стр. Цена 1 р. 30 к.

М. В. Ушаков. Обучение орфографии в средней школе. 176 стр. Цена 3 р. 30 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР

Т. Т. Виноградова. Пересадка хряща у человека. 68 стр. Цена 4 р. 30 к.

Вопросы онкологии. Труды Всесоюзной онкологической конференции. Под редакцией Н. Н. Петрова, А. И. Ракова, А. И. Сереброва, С. А. Холдина и Л. М. Шабалда. 536 стр. Цена 37 р. 80 к.

О. Б. Лепешинская. Происхождение клеток из живого вещества и роль живого вещества в организме. 2-е исправленное и дополненное издание. 224 стр. Цена 22 р. 20 к.

Современные вопросы общей патологии и медицины. Сборник трудов, посвящённый шестидесятилетию со дня рождения академика А. Д. Сперанского. 308 стр. Цена 23 р. 90 к.

ГОСПЛАНИЗДАТ

М. В. Дмитриев. Финансирование и кредитование промышленного предприятия. 56 стр. Цена 1 р. 50 к.

Н. А. Кипарисов. Курс теории бухгалтерского учёта. 260 стр. Цена 7 р.

Народное хозяйство СССР. Сборник № 3. 448 стр. Цена 13 р.

Г. В. Теплов. Резервы промышленных предприятий и их использование. 46 стр. Цена 1 р. 50 к.

Т. А. Юдин. Материально-техническое снабжение на предприятии. 32 стр. Цена 1 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Н. Н. Белехов, А. Н. Петров. Иван Старов. 180 стр. Цена 26 р. 50 к.

М. П. Коржев, Е. П. Чаус. Озеленение жилого квартала. 54 стр. Цена 1 р. 75 к.

М. Е. Массон, Г. А. Пугаченкова. Гумбез-Монаса. Памятники архитектуры народов СССР. 142 стр. Цена 8 р.

ГОССТАТИЗДАТ

Б. М. Волин. Статистика и политика. 40 стр. Цена 2 р. 10 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Том I, А — Актуализм. 634 стр. Подписное издание. Цена тома 50 р.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

П. П. Рассказов. Записки заключённого. 104 стр. Цена 2 р. 50 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО АДЖАРСКОЙ АССР

Дж. Ногаидели. Сказки. 106 стр. Цена 6 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗАРЯ ВОСТОКА» (Тбилиси)

А. Белиашвили. Бесики. Книги 2-я и 3-я. Перевод с грузинского. 492 стр. Цена 17 р.

Г. Бухникашвили. Грузинский театр за 100 лет. 100 стр. Цена 4 р. 25 к.

Э. Ниношвили. Сочинения. Том I. Перевод с грузинского. 298 стр. Цена 14 р. 75 к.

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Иванов. У синих гор. Повесть и рассказы. 144 стр. Цена 3 р. 70 к.

П. Хороших. По родному краю. 76 стр. Цена 1 р. 50 к.

Г. Чиж. Жизнь за Амур. Повесть. 252 стр. Цена 8 р. 65 к.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КУРСКАЯ ПРАВДА»**

Вперед! времени. Сборник о стахановцах Курской области. 114 стр. Цена 2 р. 70 к.
Е. Кочубая. Повесть о сыне. 164 стр. Цена 4 р. 50 к.
Краеугольное в школе. Сборник. 72 стр. Цена 1 р. 50 к.
Н. Островский. Как закалялась сталь. 314 стр. Цена 9 р. 50 к.
Н. Островский. Рождённые бурей. 202 стр. Цена 5 р. 75 к.

**НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

С. Глуздаков. По неизведанным путям. Записки участника ботанической экспедиции в район Восточного Саяна. 80 стр. Цена 1 р. 70 к.

Первый рейс. Сборник стихов и рассказов начинающих авторов. 240 стр. Цена 4 р. 90 к.

В. Пухначёв. Сказки старого Тыма. (Сказки народа ханты). 64 стр. Цена 1 р. 50 к.

Сергей Сартаков. На речных просторах. Повести для юношества. 248 стр. Цена 8 р. 60 к.

Гр. Федосеев. Таёжные встречи. Рассказы. 120 стр. Цена 4 р. 40 к.

**ЧКАЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

В. Е. Астафьев. Племенная работа на колхозной ферме крупного рогатого скота. 62 стр. Цена 1 р. 40 к.

С. С. Неуструев. Естественные районы Оренбургской губернии. 136 стр. Цена 2 р. 80 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский.**
 Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов.

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
 Вход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 28/VI-50 г.
 А 05037.

Объем 18 печ. л.

Тираж 104.000

Подписано 19/VII-50 г.
 Заказ № 1583.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова.

